

ГОДЫ ТЕРРОРА

КНИГА ПАМЯТИ ЖЕРТВ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ

ЧАСТЬ ШЕСТАЯ

Том 1



Пермское книжное издательство
ПЕРМЬ
2008

ББК 63.3(2) 615-49
Г59

Ответственный за выпуск
А. М. Калих

Редактор
А. М. Калих

Корректор
И. И. Плотникова

Книга подготовлена Пермским краевым отделением Международного историко-просветительского, правозащитного и благотворительного общества «Мемориал»

Организационная поддержка:
Комиссия по восстановлению прав
реабилитированных жертв политических репрессий
(председатель – И. Г. Шулькин, секретарь – Е. М. Попова)

Издание осуществлено при финансовой поддержке Пермской краевой администрации

Годы террора: Книга памяти жертв политических репрессий. Часть 6, том 1. – Пермь: Пермское книжное издательство, 2008. – 356 с.; илл.

ISBN 978-5-904037-07-9

- © Пермское краевое отделение Международного историко-просветительского, правозащитного и благотворительного общества «Мемориал»
- © Пермское книжное издательство, 2008

К ЧИТАТЕЛЯМ

СУД СОВЕСТИ. СВИДЕТЕЛЬСТВА ЖЕРТВ

К началу июля 2008 года в Пермском крае проживали 16018 граждан, пострадавших в годы сталинских репрессий. В том числе в городе Перми их проживало 4431 человек. С болью приходится признать – они уходят. Тихо уходит поколение, выстрадавшее преследования, гибель близких и родных, бесчисленные унижения, голод, изнуряющий страх за детей, за семью. К старости все сходится в один пучок – возраст, болезни, одиночество и горькая память о пережитом.

Мы делаем все, что в наших силах, чтобы облегчить участь репрессированных. Помогаем материально и морально, волонтеры Молодежного «Мемориала» ремонтируют их квартиры, оказывают социальную помощь на дому. Но все равно не проходит боль и безотчетное чувство вины перед ними. Вины, которую не чувствует государство, не желает чувствовать, не желает знать их трагическую историю. Придворные идеологи даже придумали объяснение официальному беспамятству: мол, если рассказывать правду о репрессиях, о преступлениях сталинского режима, тогда не воспитать патриотов. Патриотов, как они понимают, надо воспитывать только на великих свершениях и победах. А реальная история, правда о ней – это лишнее. Знать правду нынешнее поколение не должно. Или вариант помягче: знать свою историю вам милостиво разрешают, но в урезанном, отфильтрованном, а то и в извращенном виде. Таким, скажем, как в последних, официально одобренных учебниках истории для средних образовательных заведений. В них Сталина называют «эффективным менеджером», а политические репрессии определяют как историческую необходимость.

Только в Пермской области жертвами этой «исторической необходимости» стали 34279 человек, приговоренных по политическим мотивам к различным срокам заключения в истребительных лагерях

и тюрьмах. Для многих из них приговор означал высшую меру наказания – расстрел. Далеко не все вернулись и из лагерей. Голод и непосильный труд доводили людей до полного истощения, смерть была для них избавлением от мук. К сегодняшнему дню все они полностью реабилитированы за отсутствием состава преступления.

Еще больше пермяков пострадали в период так называемого раскулачивания. По данным, приведенным старшим помощником прокурора Пермской области А. Уткиным («Пермские новости», 3 апреля 1993 г.), более 200 тысяч крестьян были выселены из собственных домов, а их имущество конфисковано. Неисчислимы страдания перенесли эти люди, заброшенные в глухие места, спецпоселки. Практически каждая высланная семья потеряла от голода и холода родных, близких, детей.

Этот том Книги памяти жертв политических репрессий отдан воспоминаниям тех, кто знал 1937 год, кто выжил в страшные годы сталинских кампаний по раскулачиванию крестьян, депортаций целых народов.

На протяжении 20 лет молодые сотрудники и волонтеры Пермского «Мемориала» записывали воспоминания жертв политических репрессий. Больше 50 записей опубликованы в прежних выпусках Книги памяти и на электронном сайте нашей организации. В этом томе мы печатаем 30 воспоминаний, исповедей о пережитом, о вчерашнем и сегодняшнем дне. В архиве «Мемориала» хранятся еще десятки рассказов репрессированных, они ждут своего часа, своей публикации.

Мне кажется, слово «воспоминания» не совсем точно отражает смысл и цель наших публикаций. Это свидетельства. Или, если хотите, личные показания, произнесенные на суде, где рано или поздно получают свой приговор преступления коммунистического режима. Это еще и предупреждение тем, кто под «крышей» официальной пропаганды торопится возродить, замылить, очистить от крови миллионов людей «величие» вождя всех народов и созданной им карательной системы.

«МЕМОРИАЛУ» 20 ЛЕТ

В ноябре 1988 года автор этих строк опубликовал в газете «Звезда» под заголовком «Долг памяти» беседу с прокурором области о том, почему в Пермской области приостановлена реабилитация жертв сталинских репрессий. В конце статьи я напрямую обратился к репрессированным: откликнитесь, расскажите о себе, о том, как все было, как жили все эти годы...

Никогда еще в своей журналистской биографии я не получал такой огромной почты. Сотни откликов, писем-исповедей, переполненных страданием. Многие из тех писем газета опубликовала под рубрикой «Долг памяти» (кстати, позже эта рубрика переключалась в газету «Пермские новости» и – редчайший случай долгожительства в газетной практике – «работала» в «ПН» почти 16 лет). Но был еще один, совсем не побочный результат у той ноябрьской публикации: началась переписка активистов «Мемориала» с авторами откликов в газету. Мы нашли их. Они нашли нас.

День рождения Пермского «Мемориала» – 12 декабря 1988 года. Помню, как ночами мы расклеивали листовки с приглашением на первое собрание в ДК строителей на улице Куйбышева, где под страшным секретом нам дали зал. Совершенно неожиданно пришло много людей. Это было не собрание – скорее, вечер поминовения жертв. Люди плакали, вспоминали, рассказывали о пережитых страданиях. Многие из них, прошедшие лагеря и тюрьмы, когда-то давали пресловутую расписку «о неразглашении». Страх стерег их многие десятилетия. И вот впервые в жизни говорили вслух, публично. Решение о создании «Мемориала» было простым и необходимым, как дыхание.

В следующем году «Мемориал», организация, не признанная властями, не разрешенная свыше, впервые вышла на первоймайскую демонстрацию. На всю жизнь я запомнил остолбеневшие трибуны, на которых стояли местные партийные бонзы. Молчание Октябрьской площади... Что было в этом молчании? Угроза? Удивление? Сочувствие? Не берусь гадать. Помню только ощущение: мы шли в пустоте, в полной тишине.

Еще в самом начале мы записали свидетельства очевидцев о тайных захоронениях в логу неподалеку от Егошихинского кладбища расстрелянных в тюрьме НКВД № 1 (ныне следственный изолятор в районе Разгуляя) политических заключенных. Именно здесь мемориальцы решили строить памятник тем, кто стал жертвой системы насилия. Памятник создавался на пожертвования тысяч людей. Потребовались большие усилия, чтобы его построить. В условиях кризиса по крохам собирали и оберегали от инфляции народные средства. В 1995 г. архитектор Михаил Футлик предложил проект своеобразной колоннады, состоящей из столбов, опутанных колючей проволокой. Между столбами закреплен колокол Памяти.

30 октября 1996 г., в День памяти жертв политических репрессий, памятник был открыт. Сюда приходят не только в дни массовых митингов. Здесь, рядом с вечным покоем, можно посидеть одному, вспомнить прошлое, помянуть близких...

Здесь, у памятника, мы поминаем тех, кто поднимал «Мемориал», кто отдал ему годы своей жизни. Среди них – Израиль Абрамович Зек-

цер, основатель и первый председатель Ассоциации жертв политических репрессий. Он умер летом 2002 года, умер неожиданно, на минуту оторвавшись от дел. Боль от удара, который мы тогда пережили, не прошла до сих пор.

Его избрали председателем Ассоциации жертв политических репрессий в 1990 году. Святым делом для Зекцера стала защита прав и интересов своих собратьев, тех, кто стал жертвой политического насилия. В многотысячной Ассоциации, пожалуй, нет человека, который бы не получил полноценной юридической консультации Зекцера, которого бы не защитил в суде. В этом деле он не знал компромиссов, мог из чиновника вытянуть все жилы. Он был максималист, он был единственный, кому разрешалось прикрикнуть даже на бывшего репрессированного, если тот уж слишком «качал» права. Он знал о жизни репрессированных все, сам прошел весь этот тяжкий путь. И знал, кому верить, а кому нет.

...За 20 лет «Мемориал» создал не только осязаемые материальные ценности, вещественные свидетельства своей деятельности – выставки, Книга памяти, издания по правам человека, Памятник жертвам политических репрессий, сотни записей воспоминаний репрессированных. А еще родившийся 10 лет назад Молодежный «Мемориал», ежегодные волонтерские лагеря и экспедиции по местам расположения бывших лагерей ГУЛАГа, социальная волонтерская служба помощи жертвам репрессий на дому, правозащитные проекты в защиту молодых людей, призывников, военнослужащих.

Появилось еще и что-то нематериальное, но не менее важное. То, что я бы назвал философией «Мемориала». Первое, и главное, заключается в том, что «Мемориал» исповедует особое отношение к истории, к изучению тоталитарного периода страны. Для нас изучать историю – значит, жить в истории, сопереживать тем, кто страдал, кто жил в той эпохе. Знать, почему происходили массовые преступления в стране. Такое знание нам необходимо для того, чтобы понимать сегодняшний день и более точно прогнозировать завтрашний.

За прошедшие годы в публикациях краевых газет, на радио и телевидении, в созданных мемориальными фильмах, фотовыставках собрана «вторая» история, 20-летняя история самого «Мемориала».

В этом томе мы представляем лишь малую часть того, что опубликовано в прессе о нашей работе, о судьбах сотен людей, которых удалось защитить, вернуть им доброе имя.

***Председатель краевого отделения
общества «Мемориал» А.М. Калих***

Редакционная коллегия выражает искреннюю благодарность за помощь в создании этого тома Книги памяти Владимиру Гладышеву, Екатерине Зайцевой, Ирине Кизиловой, Светлане Зыковой, Милене Ковтуновой, Елене Скряковой, Елене Мироновой, Ярославу Шулакову, Надежде Арсибековой, Роберту Латыпову, Светлане Чащиной (г. Киров), Инес Удельнов (Германия), Андрею и Светлане Гребенщиковым, Михаилу Черепанову, Александру Чернышеву и многим другим друзьям и помощникам «Мемориала».

КОЛПА ПАМЯТИ

Ничто не забыто

Дни памяти жертв сталинских репрессий в Пермском крае

Дни памяти жертв сталинских репрессий в Пермском крае...

В Пермском крае в эти дни проходят мероприятия...

В Пермском крае в эти дни проходят мероприятия...

Те годы нас не сломили

В эти годы нас не сломили, мы остались верны...

В эти годы нас не сломили, мы остались верны...

В эти годы нас не сломили, мы остались верны...

Вновь предложения

Вновь предложения по поводу проведения мероприятий...

Вновь предложения по поводу проведения мероприятий...

Вновь предложения по поводу проведения мероприятий...

Обращаемся к читателям «Звезды», к тем, кто невинно пострадал в 30—40-е и 50-е годы, к их семьям, родственникам, знакомым. Напишите нам о пережитом, о судьбах ваших дедов, отцов и матерей, братьев и сестер. Расскажите о том, как живете сегодня.



Как идет реабилитация жертв сталинских репрессий в Прикамье? На вопросы корреспондента «Звезды» отвечает прокурор области, старший советник юстиции И. Ю. ЛУМПОВ.

В этой работе для нас нет ивальных, проверяю два излучения наиболее опытных работников. Большой опыт успешной работы требует быстрой и качественно проведенных необходимых следственных действий, дать правильную оценку...

В Пермском крае в эти дни проходят мероприятия...

В Пермском крае в эти дни проходят мероприятия...



Человек способен только для тех дел, предвещающих может быть на этом случае вопрос о присяге...

Advertisement for 'ПОД ПАМЯТИ ЖЕРТВ СТАЛИНСКИХ РЕПРЕССИЙ' featuring a portrait of a woman and the phone number 700454.

ри кормилица на общих основаниях был бы лишний жилец, то этот по Рязаню пойдете. Я же, как вы знаете, голодной. Д. Уточню четче сформулировать нам ее, вызвало себя отвечать. Рассказали бы есть современная. На даче в органы информацию о бывших жителях в области. Какая часть из них закончилась, этого никто не знает, устанавливая, кто оспорил. Осуществить предложение прилетит в респект, собственная? Неужто у нас не Наркомвнешпроблем жет. Если выждут более дешевые способы маж молодым афганцам, так и жорский, не прокуратора обвинил, пять органы, а утерю, ничего не угавал.

Истину, о трудовом коллективизма в той работе, которую они сейчас секрет, что аресты, репрессии 30— оставили свой трагический след

ПРАВДА ОБ ОТЦЕ

Дядя у Тарти, где живет...
Дядя у Тарти, где живет...
Дядя у Тарти, где живет...

...в 1941 году, в Череповицком районе...
...в 1941 году, в Череповицком районе...
...в 1941 году, в Череповицком районе...

...а мое место Удмай отец, был...
...а мое место Удмай отец, был...
...а мое место Удмай отец, был...

...В феврале 1942 года...
...В феврале 1942 года...
...В феврале 1942 года...

...Ты, Вова, делай часть...
...Ты, Вова, делай часть...
...Ты, Вова, делай часть...

...НА СЛУЖБЕНИИ день...
...НА СЛУЖБЕНИИ день...
...НА СЛУЖБЕНИИ день...

...Ученика Вовоча и пошел...
...Ученика Вовоча и пошел...
...Ученика Вовоча и пошел...

...Сестра Тамарочка...
...Сестра Тамарочка...
...Сестра Тамарочка...

...И. А. Зекцер...
...И. А. Зекцер...
...И. А. Зекцер...



И. А. Зекцер, первый председатель Ассоциации жертв политических репрессий.

«Не говорите, где ваш отец...»

...Вотбы вы знали...
...Вотбы вы знали...
...Вотбы вы знали...

...Слова отца...
...Слова отца...
...Слова отца...

...Моя жена...
...Моя жена...
...Моя жена...

...Кто вы...
...Кто вы...
...Кто вы...

Девиз конкурса — «Мемориал»

...Вотбы вы знали...
...Вотбы вы знали...
...Вотбы вы знали...

Долг памяти

ИСПОВЕДЬ О ДОБРЕ И ЗЛЕ

...Моя исповедь...
...Моя исповедь...
...Моя исповедь...

Чтобы не ушли в небитие

...Вотбы вы знали...
...Вотбы вы знали...
...Вотбы вы знали...



Надо успеть, надо написать

...Вотбы вы знали...
...Вотбы вы знали...
...Вотбы вы знали...

Юбилей

...События...
...События...
...События...

Предлагаю от имени «НИЧЕМУ НЕ ВЕРЬ»

...Вотбы вы знали...
...Вотбы вы знали...
...Вотбы вы знали...



ВОЗВРАЩЕНО ДОБРОЕ ИМЯ

Продолжаем публикацию начатого в №№ 4, 5, 6, 7, 10—13, 15, 19—23, 27—34, 37, 38, 41—43, 45, 47—49, 51 [за 1991 г.], № 2, 4, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 19—23, 25—28 [за 1992 г.] «ПН» списка жителей Пермской области, пострадавших в годы сталинских репрессий и реабилитированных сегодня.

588. ВШИВКОВ Логин Егорович, 3 октября 1869 года рождения, уроженец д. Шемя Очерского района Свердловской области, без определенного места работы, проживал по месту рождения, арестован 5.08.37 г., подвергнут ВМН.

589. ВШИВКОВ Михаил Насимович, 20 ноября 1909 года рождения, уроженец д. Пророки Очерского района Свердловской области, работал слесарником на ж. д. ст. Верещагина, проживал в п. Верещагина Свердловской обл., ул. Свободы, д. 97а, арестован 25.10.37 г., подвергнут заключению в исправительно-трудовой лагерь сроком на 10 лет.

590. ВШИВКОВ Павел Васильевич, 14 октября 1878 года рождения, уроженец д. Богатка Чернушинского района Свердловской области, крестьянин-единоличник, проживал по месту рождения, арестован 13.10.37 г., подвергнут 10 годам лишения свободы.

591. ВШИВКОВ Роман Лаврентьевич, 18 октября 1871 года рождения, уроженец д. Кошмил Чернушинского района Свердловской области, крестьянин-единоличник, проживал по месту рождения, арестован 20.10.37 г., подвергнут ВМН.

592. ВШИВКОВ Яков Давыдович, 23 октября 1871 года рождения, уроженец д. Бузона Верещагинского района, без определенных занятий, проживал в д. Тосковята Сивьянского с/с Верещагинского района, арестован 22 октября 1937 г., подвергнут 10 годам лишения свободы.

593. ВЫГОЛОВ Андрей Аверкиевич, 1 октября 1870

района Свердловской области, арестован 30.09.37 г., подвергнут 10 годам лишения свободы.

598. ВОРОБЬЕВ Николай Яковлевич, 1891 года рождения, уроженец с. Дуброво Оханского района Свердловской области, работал диспетчером транспортного отдела на заводе № 172 км. Молотова, проживал в г. Молотове, арестован 29.09.37 г., подвергнут 10 годам лишения свободы.

599. ВОРОБЬЕВ Павел Кузьмич, 16 февраля 1898 года рождения, уроженец д. Глухово Кабжаевского района Сарапульского района, стюард Михайловского завода, проживал в д. Рагузы Фокисинского с/с Фокисинского района Свердловской области, арестован 2.11.37 г., подвергнут ВМН.

600. ВОРОБЬЕВ Павел Павлович, 1880 года рождения, уроженец с. Алмаз Тральской области, нигде не работал, проживал по месту рождения, арестован 2.05.30 г., подвергнут 1 году принудительных работ.

601. ВОРОБЬЕВА Луиза Густавовна, 1898 года рождения, уроженка х. Вахтешино Лифляндской губернии (Эстония), счетчик работниц в Кунгурской конторе «Аптекоуправление», проживала в г. Кунгуре, арестована 19 декабря 1937 года, подвергнута 3 годам лишения свободы.

602. ВОРОВА Иван Павлович, 1907 года рождения, уроженец с. Вруснетско Колдынского района УССР, спецпереселенец, проживал до ареста в пос. Виски Дубровского района, арестован 12.09.32 г., подвергнут 5 годам лишения свободы.

603. ВОРОНИН Иван Андреевич, 1901 года рождения, уроженец Оханского района, Кождествевского с/с, д. Луговая, работал счетоводом в колхозе «Страна Советов», проживал в Оханском районе, д. Луговая, арестован 17.10.37 г., подвергнут 10 годам лишения свободы.

604. ВОРОНОВ Федор Михайлович, 17 февраля 1870 года рождения, уроженец д. Гари Пермского района Свердловской области, работал на XI дистанции службы пути железных дорог в г. Гари

ВОЗВРАЩЕНО ДОБРОЕ ИМЯ

Продолжаем публикацию начатого в №№ 4, 5, 6, 7, 10—13, 15, 19—23, 27—34, 37, 38, 41—43, 45, 47—49, 51 [за 1991 г.], № 2, 4, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 19—23, 25—28 [за 1992 г.] «ПН» списка жителей Пермской области, пострадавших в годы сталинских репрессий и реабилитированных сегодня.

566. ВЕСНИН Иван Петрович, 22 сентября 1880 года рождения, уроженец д. Пальцы Селькупского с/с Добрянского района Свердловской области, работал плотником в Добрянском райпрофесове, проживал в г. Добрынке, арестован 05.11.37 г., подвергнут 10 годам лишения свободы.

567. ВЕТКОВ Петр Павлович, 28 июня 1885 года рождения, уроженец с. Миладино Тарасовского района Костромской области, работал плотником на строительстве фабрики Гумана, проживал в г. Красновилье в трущобах Гована, (Гари № 36, к. 18), похоронен в Гари.

562. ВЕТРКОВ Иван Петрович, 1912 года рождения, уроженец д. Радуха Косовского района БССР, работал на заводе Сталина в г. Пермь, проживал по адресу: г. Пермь, ул. № 14 им. Сталина, д. № 23, арестован 28.09.37 г., подвергнут ВМН.

563. ВЕЧТКОВ Марьянович Назанович, 1873 года рождения, уроженец с. Кельмет Чердынского района Пермской области, крестьянин, проживал там же, арестован 14.05.30 г., подвергнут 5 годам лишения свободы.

564. ВЕГ Адам Горькович, 24 октября 1912 года рождения, уроженец Обдесской области, работал плотником на 2 строящемся участках, проживал в п. И. Курья Пермской области, арестован 31.12.37 г., подвергнут ВМН.

565. ВЕНЧЕК Павел Павлович, 20 марта 1879 года рождения, уроженец Швабной, Варшавской губернии, с. Павлиха, работал пом. начальника ОТК на Муусонском металлургическом заводе, проживал в г. Чусовой, ул. Ленина, д. 64, арестован 1.03.38 г., подвергнут 5 годам лишения свободы.

566. ВЕЧТОВОЙ Иван Петрович, 2 февраля 1907 года рождения, уроженец д. Вискра Сарапульского района Кировской области, работал слесарником Чернушинским отделением Красноуральского ареста, проживал в пос. Алма Чернушинского района Свердловской области, ул. Урицкого, д. 42, арестован 12.08.37 г., подвергнут ВМН.

567. ВЕШНЯКОВ Николай Васильевич, 31 декабря 1897 года рождения, уроженец д. Сельково Верещагинского района Пермской области, вел единоличное хозяйство, с июля 1929 года работал плотником на заводе «Гор. Отдварты» в г. Пермь, проживал в д. Сель-Мусыла (генерал Пермь), арестован 28.10.29 г., подвергнут ВМН.

568. ВИДАВСКИЙ Бар Желевич, 1918 года рождения, уроженец г. Лодзь Лодзинской области, агроном-зооветеринар, проживал в пос. Коростово Чернушинского района Молотовской обл., арестован 16.10.40 г., подвергнут 5 годам лишения свободы.

569. ВИДАВСКИЙ Яна Зельмановна, 1890 года рождения, уроженец г. Лодзь Лодзинской губернии (Польша), агроном Чернушинского лесхоза, проживал в пос. Коростово Чернушинского района Молотовской области, арестован 16 октября 1940 года, подвергнут 8 годам лишения свободы.

СОХРАНИТЬ ПАМЯТЬ

Для того чтобы сохранить память о жертвах репрессий и помочь людям восстановить историю их семей, общество «Мемориал» в 1998 г. начало работу по созданию единой базы данных, сводя вместе информацию из Книг памяти, уже напечатанных или только подготовленных к изданию в разных регионах бывшего СССР.

Результатом этой работы стал выпущенный в начале 2004 года альбом «Жертвы политического террора в СССР», где были представлены более 1 300 000 имен жертв репрессий из 62 регионов России, из всех областей Казахстана и Узбекистана, двух областей Украины – Одесской и Харьковской.

Эти списки включают лишь очень небольшую часть из общего числа жертв террора – не более 10–12%. (Примечание составителя: с того времени «Мемориал» выпустил новый электронный альбом, включающий 2 614 978 жертв политического террора.)

Несмотря на огромные перемены, происшедшие за последние годы во всех странах на территории бывшего СССР, проблема увековечения памяти жертв государственного террора остается нерешенной.

Это касается всех аспектов проблемы – будь то реабилитация незаконно осужденных, или публикация документов, связанных с репрессиями, их масштабами и причинами, или выявление мест захоронений казненных, или создание музеев и установка памятников. Не решен до сих пор и вопрос о публикации списков жертв террора.

Сотни тысяч людей в разных регионах бывшего СССР (да и во многих странах мира, где живут наши соотечественники) хотят узнать о судьбах родственников. Эта информация нужна историкам, краеведам, журналистам. Но даже если биография человека включена в какую-то из Книг памяти жертв политических репрессий, об этом очень трудно узнать: такие книги издаются, как правило, маленьким тиражом и в продажу почти не поступают – даже в главных библиотеках России нет полного комплекта изданных мартирологов.

Изучение советского государственного террора еще далеко не завершено, и история политических репрессий не написана. Чтобы было понятно, чьи имена могут встретиться в публикуемых списках, напомним об основных, наиболее массовых категориях жертв политических репрессий в СССР.

1. Первая массовая категория – люди, по политическим обвинениям арестованные органами государственной безопасности (ВЧК–ОГПУ–НКВД–МГБ–КГБ) и приговоренные судебными или квазисудебными (ОСО, «тройки», «двойки» и т.п.) инстанциями к смертной казни, к разным срокам заключения в лагерях и тюрьмах или к ссылке. По предварительным оценкам, за период с 1921 по 1985 г. в эту категорию попадает от 5 до 5,5 миллиона человек. Чаще всего в Книги памяти,

а значит, и в нашу базу данных, включались сведения о людях, пострадавших в период 1930–1953 гг. Это объясняется не только тем, что в данный период осуществлялись наиболее массовые репрессивные операции (напомним, что только в 1937–1938 гг. было арестовано более 1,7 миллиона человек), но и тем, что процесс реабилитации, начатый в хрущевскую эпоху и возобновившийся во время перестройки, прежде всего коснулся жертв именно сталинского террора. Реже в базе данных встречаются жертвы репрессий более раннего (до 1929 г.) и более позднего (после 1954 г.) периодов: дела их пересмотрены в гораздо меньшей степени.

Самые ранние репрессии советской власти (1917–1920 гг.), относящиеся к эпохе революции и Гражданской войны, документированы настолько фрагментарно и разноречиво, что даже их масштабы пока не установлены (да и вряд ли могут быть установлены корректно, так как в этот период нередко имели место массовые бессудные расправы с «классовыми врагами», что, естественно, никак не фиксировалось в документах). Имеющиеся оценки жертв «красного террора» колеблются от нескольких десятков тысяч (50–70) до более миллиона человек.

II. Другая массовая категория репрессированных по политическим мотивам – крестьяне, административно высланные с места жительства в ходе кампании «уничтожения кулачества как класса». Всего за 1930–1933 гг., по разным оценкам, вынужденно покинули родные деревни от 3 до 4,5 миллиона человек. Меньшая часть из них была арестована и приговорена к расстрелу или к заключению в лагерь. 1,8 миллиона стали «спецпоселенцами» в необжитых районах Европейского Севера, Урала, Сибири и Казахстана. Остальных лишили имущества и расселили в пределах своих же областей, кроме того, значительная часть «кулаков» бежала от репрессий в большие города и на индустриальные стройки. Последствием сталинской аграрной политики стал массовый голод на Украине и в Казахстане, унесший жизни 6 или 7 миллионов человек (средняя оценка), однако ни бежавшие от коллективизации, ни умершие от голода формально не считаются жертвами репрессий и в Книги памяти не включаются.

III. Третья массовая категория жертв политических репрессий – народы, целиком депортированные с мест традиционного расселения в Сибирь, Среднюю Азию и Казахстан. Наиболее масштабными эти административные депортации были во время войны, в 1941–1945 гг. Одних выселяли превентивно, как потенциальных пособников врага (корейцы, немцы, греки, венгры, итальянцы, румыны), других обвиняли в сотрудничестве с немцами во время оккупации (крымские татары, калмыки, народы Кавказа). Общее число высланных и мобилизованных в «трудовую армию» простиралось до 2,5 миллиона человек (см. таблицу).

Национальность	Год депортации	Количество высланных (средняя оценка)
Корейцы	1937 – 1938	172000
Немцы	1941 – 1942	905000
Финны, румыны, другие национальности союзных с Германией государств	1941 – 1942	400000
Калмыки	1943 – 1944	101000
Карачаевцы	1943	70000
Чеченцы и ингуши	1944	485000
Балкарцы	1944	37000
Крымские татары	1944	191000
Турки-месхетинцы и другие народности Закавказья	1944	100000
Итого:		2461000

Кроме этих крупных консолидированных потоков, в разное время имели место политически мотивированные депортации отдельных национальных и социальных групп, в основном из пограничных регионов, крупных городов и «режимных местностей». Представители этих групп, общее число которых установить крайне сложно (по предварительной оценке с начала 1920-х по начало 1950-х гг. – не менее 450 тысяч человек), довольно редко попадают в Книги памяти.

Перечень категорий населения, подвергшихся политическим преследованиям и дискриминации, можно продолжать еще долго. Мы не упомянули, например, сотни тысяч людей, лишенных гражданских прав за «неправильное» социальное происхождение, убитых при подавлении крестьянских восстаний, высланных на Север и в Сибирь жителей Прибалтики, Западной Украины, Молдавии и Польши, расстрелянных заградительными отрядами на фронте, репатриантов, принудительно работавших в фильтрационных лагерях, и многих, многих других.

А ведь кроме этих бесспорных жертв политического террора, чьи имена, может быть, рано или поздно окажутся на страницах Книг памяти, были еще миллионы людей, осужденных за разные незначительные «уголовные» преступления и дисциплинарные проступки. Их традиционно не считают жертвами политических репрессий, хотя многие репрессивные кампании, которые проводились силами милиции, имели явно политическую подоплеку. Судили за нарушение паспортного

режима, за бродяжничество, за самовольный уход с места работы (изменение места работы) или отъезд из колхоза; за опоздание, прогул или самовольную отлучку с работы; за нарушение дисциплины и самовольный уход учащихся из фабричных и железнодорожных училищ; за «дезертирство» с военных предприятий; за уклонение от мобилизации для работы на производстве, на строительстве или в сельском хозяйстве, и т. д., и т. п. Наказания при этом, как правило, были не слишком тяжелыми – очень часто осужденные даже не лишались свободы. Трудно подсчитать число людей, которых настигли эти «мягкие» наказания: только с 1941 по 1956 г. осуждено не менее 36,2 миллиона человек, из них 11 миллионов – за «прогулы»! Очевидно, что главная цель всех этих карательных мер – не наказать конкретное преступление, а распространить систему принудительного труда и жесткого дисциплинарного контроля далеко за границы лагерей и спецпоселений (в терминологии самой власти это и значило «установить твердый государственный порядок»).

www.memo.ru

Дорогая редакция *Взгляд*

Я Айрия Федор Андреевич родился в автономной республике Немане новонеме где вырос и жил до войны с 1932 я пошел в своя родина и до 1940 я находился в дзет доме с 1940 по возвращению я жил в деревне у дяди работал в колхозе. Но начался война с фашистами. В сентябре нас выселили мы как говорится выжили из собственного дома.

“ЛИКВИДИРОВАТЬ КАК КЛАСС”

Алтайский район с. Дмитриевское где я 20^м апреля 1941 года армией военкоматом нас отправил в усолье где нас считали как военные комбаты. Там маркс в фактически содержали как заключенные это было второе наказание как нами применялось все что перешло. Обязательное возвращение там не надо где находимся до 47^{го} года в 1947, приехал в Красноярск там по надлюдскими командантами до 1952. Жились в 1952, жена Басова м. П. была комсомолка за то что была замуж за меня то есть немца ее истощили выжили 5^м детей 3^х сыновей 2^х дочери старший сын майор морской авиации служил в Николаеве Басков Венямин Федорович.

11 января 1930 года в «Правде» была опубликована передовая статья «Ликвидация кулачества как класса становится в порядок дня». В ней прозвучал призыв «объявить войну не на жизнь, а на смерть кулаку и в конце концов смести его с лица земли».

Раскулачиваемые делились на три категории.

К первой относился «контрреволюционный актив» – участники антисоветских и антиколхозных выступлений (они сами подлежали аресту, а их семьи – выселению в отдаленные районы страны).

Ко второй – «крупные кулаки и бывшие полупомещики, активно выступавшие против коллективизации» (их выселяли вместе с семьями в отдаленные районы).

И, наконец, к третьей – «остальная часть» кулаков (она подлежала расселению специальными поселками в пределах районов прежнего своего проживания).

Массовые операции по ликвидации «кулаков» начались в феврале 1930 года. Были «задействованы» тысячи и тысячи партийных, советских и хозяйственных работников, мобилизован гужевой и железнодорожный транспорт.

Точные данные имеются лишь о численности семей, высланных в отдаленные районы страны (то есть о тех, которые были отнесены к первой и второй «категориям»). В 1930 году выселена 115 231 семья, в 1931 г. – 265 795. За два года, следовательно, были отправлены на Север, на Урал, в Сибирь и Казахстан 381 тысяча семей. Часть кулацких семей (200–250 тысяч) успела «самораскулачиться», то есть распродать или бросить свое имущество и бежать в города или на стройки.

В 1932 году и после специальные кампании выселения не проводились. Однако общее число высланных в то время из деревни составило не менее 100 тысяч. Примерно 400–450 тысяч семей, которые должны были расселяться отдельными поселками в пределах краев и областей прежнего проживания (третья «категория»), после конфискации имущества и разных мытарств в массе своей также ушли из деревни на стройки и в города. В сумме получается около 1 миллиона 100 тысяч хозяйств, ликвидированных в ходе раскулачивания.

Для справки:

Средняя крестьянская семья в 20–30-е годы насчитывала минимум 5 взрослых и детей, причем дети начинали трудовую деятельность с раннего возраста. Нетрудно подсчитать, что в гибельную стихию раскулачивания были вовлечены не менее 4,5 миллиона крестьян.

«МНЕ ВСЕГДА БОЛЬШЕ ВСЕХ БЫЛО НАДО...»

Из воспоминаний Ивана Семеновича Апанасенко

С 1914-го по 1924-й годы, то есть начиная со дня рождения и до десятилетнего возраста, я жил в своем родном хуторе. Хутор мой – это что-то вроде аула под горой. Теперь это Кубань, а тогда был Северо-Кавказский край. Домишек стояло меньше сотни – мазанки, деревянные хаты, обмазанные изнутри и снаружи глиной и побеленные известью. Известь делали собственноручно: собирали известняк в реке и гасили. Известь была хорошая, во всяком случае, клопы там не водились, не терпели. В этом хуторе я и жил.

Конечно, полноценной школы там не было. Была школа-трехлетка. Раньше так и полагалось: на хуторе, в основном, жили люди 3-го сословия. А третьему сословию больше трех классов и не надо – для того, чтобы пахать, свиней и коров разводить... Вот эту школу я и окончил в 1924 году.

Родители, не желая, чтобы я остался, по их словам, быкам хвосты крутить, сказали: «Учись, Ванька, учись». И отвезли меня в соседнюю Апшеронскую станицу, что за 9 километров от дома. Там была ШКМ – школа крестьянской молодежи. Я начал учиться. Сначала меня поселили к крестной матери, где я прожил два года. А потом отец сказал: «Нечего тебе баклуши бить, давай живи у столяра и учись столярному делу». Я был любопытный и с удовольствием согласился. И за следующие два года освоил столярное дело и окончил школу. Чтобы учиться дальше, надо было иметь двухлетний производственный стаж. И мне посоветовали отправиться в Нефтегорск. При царском режиме это была английская нефтяная концессия, а потом, уже при советской власти, мы стали там добывать нефть для себя. Там располагалась школа ФЗУ – фабрично-заводское училище. Учили на бурильщиков – мастеров, которые могли управлять бурильной установкой. Учеба моя в ФЗУ шла неплохо, хотя время было тяжелое. Питались мы так себе. А ведь кроме учебы была еще практика на буровых вышках. Работали в 3 смены, правда, два дня в неделю. В бригаде было 5–6 человек.

Во время учебы у меня даже костюма не было. Было отцовское пальто с каракулевым воротником, фуражка, рубашка, штаны и все. Помню, надо было фотографироваться группой, у всех ребят пиджаки, костюмы, а у меня нет. Я решил сняться в пальто: мол, не какой-нибудь голодранец, а в пальто, да еще с каракулевым воротником. А было тепло. Как меня ни отговаривали, но я так и снялся. Фотограф как-то заретушировал, чтобы не бросалось в глаза. Вот такая деталь.

Но в целом нормальная была жизнь, пока однажды не произошел там со мной инцидент. Это были уже последние дни учебы. Я был

членом редакционной коллегии стенной газеты и попросил одного преподавателя написать статью о том, что ребята недовольны плохим питанием. Он написал. Уже не помню всего содержания, но в статье была такая фраза: «Ребята, потерпите, сейчас государство пока не в состоянии кормить вас куропатками, но со временем...»

Вот за эту фразу и уцепился один парнишка по фамилии Сухоручкин, который хотел двигаться по партийной линии. Он взял и «стукнул» в горком комсомола: такая-то статья, слабость государства... Этого учителя вызвали – и он исчез. Потом вызвали меня. Я говорю: «Что вы! Там ничего нет, статья как статья». Меня отпустили. Но горком передал, очевидно, в райком, оттуда позвонили нашему директору. Он вызвал меня. А я ему, видимо, понравился, у него сынишка был вроде меня, такой же белобрысый. Он ничего мне не сказал, просто выдал мне удостоверение, что я окончил ФЗУ такого-то числа, обучался с 1931 по 1933 год, мне присвоено звание бурильщика 1-го разряда, подпись, печать. Вручил мне и говорит: «Ты, Ванюшка, посылай документы в институт, а сейчас у тебя срочное задание – езжай в Тверскую. Там надо помогать обрабатывать посевы».

Тверская была довольно зажиточной станицей. Но дело в том, что в эти годы как раз всех ловили: то троцкистов, то зиновьевцев, то просто вредителей. Шла коллективизация, раскулачили поголовно всю станицу, и те, кто там остался, не в состоянии были обработать посевы.

Я сразу послал документы в Новочеркасский авиационный институт и отправился в Тверскую. А пока был там, к отцу зашел мой дружок Костя. Он узнал, что меня райком ищет. Поэтому зашел предупредить отца, что, мол, такое дело. Отец мне присылает в Тверскую вызов: «Ваня, немедленно домой!» А от Тверской до дома шесть километров, через гору переходишь – и дома. Я в тот же день под вечер махнул домой. Отец меня встретил и говорит: «Тебя ищет Ревазов – секретарь райкома. Тебе пришел вызов из Новочеркасска – езжай. Адрес никому не оставляй, чтобы даже я не знал». И я уехал.

Но спасло меня не это. Одно время у местных немцев была организация по типу нашего комсомола. И в школу к нам приезжал один такой шефсбундовец. И так получилось, что через какое-то время Ревазов был арестован за связь с этим немцем. И слежка за мной прекратилась. К тому моменту Костя успел мне прислать учетную карточку комсомольца. Правда, печать пришлось подделать. Костя работал в табак-совхозе, а у них печать – с изображением табачного листа, на котором жилки вроде лучей солнца. В общем, похожа на райкомовскую.

Меня поставили на учет, и жизнь у меня пошла своим чередом.

В Новочеркасске я стал готовиться к сдаче экзаменов в институт. И вдруг обнаружилось, что я тригонометрию вообще не представляю.

Помог мне ее освоить мой дружок Ваня Гункин. Он тоже сдавал экзамены. Непростая судьба у этого Вани была: его отца расстреляли прямо у него на глазах. Причем расстреляли красные, по ошибке. И это его травмировало на всю жизнь.

В общем, математику я сдал. Зато завалил химию. Этот Ваня Гункин переполошился и опять меня выручил: пошел к преподавателю и сказал: «Вы не должны были у него принимать экзамен, ведь он в этот день три экзамена сдал. Что же вы, специально хотели завалить?» Тот подумал и говорит: «Ладно, пусть приходит, пересдает». И на другой день принял экзамен. И все у меня уладилось.

Еще будучи в Апшеронской станице, начал заниматься спортом. Круглый год каждый день ходил на речку окунаться. И когда поступил в Новочеркасский институт, сразу выбрал себе лыжную секцию. Она меня привлекала не только тем, что я любил это дело, а еще и потому, что лыжникам полагалось обмундирование: одежда, ботинки, лыжи и палки.

Я занимался спортом еще и потому, чтобы поменьше заниматься общественной работой. Время тяжелое. В Новочеркасске много институтов, и во всех разоблачали троцкистов, зиновьевцев, вредителей-промышленников. Исчезали преподаватели, студенты, на химическом факультете кто-то повесился... А я был занят спортом, для меня главное – учеба, еще чего доброго исключат. И я не ходил на эти собрания.

Туго было и с продуктами. Вот, скажем, наступили зимние каникулы. Все разъехались по домам. А я и еще один дружок – ехать не на что было – остались. Ребята оставили нам хлебные карточки. Мы по ним закупали хлеб, сушили его на батарее, складывали в чемоданчик, и потом нас эти запасы поддерживали.

В 1935 году наш курс перевели в Харьков. В Новочеркасске авиационный факультет закрыли. Видимо, посчитали, что готовят недостаточно квалифицированные кадры.

В Харькове готовили самолетчиков и мотористов. Я пошел в мотористы. В институте был целый комплекс: общежитие, учебные заведения, спортивные залы, стадион, магазины. Авиационников учили серьезно – готовились к войне. Я по-прежнему серьезно занимался лыжами. И опять-таки неспроста – получил право на казенные лыжи, на казенный костюм, казенный велосипед. И в любое время мог ими пользоваться. А поскольку наша команда занимала неплохие места, нас поддерживали: перед соревнованиями – дополнительное бесплатное питание, летом – лагерь на Северном Донце, под Харьковом.

Институт закончил в 1939-м году, получил диплом с отличием. Началось распределение. Я на последней практике был в Запорожье и там понравился начальнику СКБ. Хорошо чертил, мышление пространственное. Начальник этот написал письмо в институт, чтобы меня направили в Запорожье. Там был завод по производству двигателей воздушного охлаждения французской фирмы «Фиат». Меня и направили

туда. А дружка моего распределили в Пермь. Я растерялся: не хотелось ехать в Пермь, но и друга терять не хотелось. Колебался, колебался, но все же решил попросить, чтобы мне сменили путевку. Когда сказал об этом на комиссии, гляжу – на меня как-то подозрительно смотрят: что он там хочет делать? Передрейфил я немножко, но пронесло. Вернул 100 рублей из выданных мне двухсот и поехал в Пермь.

С курса приехали сюда 17 человек – 2 девушки и 15 парней. Друга моего направили в ОКБ – опытно-конструкторское бюро, а меня в СКБ – серийно-конструкторское. Начали работать.

Но дело в том, что я любил везде совать свой нос. Вот и тут стал наводить порядки, давать советы. Например, написал министру, что нас недостаточно загружают. Идет война, а у меня есть возможность в рабочее время выполнить «шабашку» на такую-то сумму. Конечно, «шабашка» эта очень нужна для оборонного института, я не жалею, что ее сделал, но раз у меня есть на это время, значит, мы недостаточно загружены на работе. После этого меня быстренько повысили в должности – перевели в начальники ОТК, в сборочный цех № 90.

Раньше начальником ОТК был Левченко. Он чем прославился? Его в числе целой группы попытались обвинить во вредительстве – время такое. Так он на следствии разбил кулаком лицо следователю за то, что тот попытался ему что-то навязать. Его освободили, и он продолжал работать, но зуб-то, видимо, на него в верхах имели. И все-таки добились того, что его с завода убрали. А тут как раз я подвернулся. Он меня предупредил: «Будь осторожен. Малейшая ошибка твоя попадет в двигатель, этот двигатель установят на самолет, и тогда авария в воздухе неминуема – а это гибель самолета и гибель людей». Я контролеров, рядовых, мастеров – всех распределил по узлам, чтобы знать, кто пропустил дефект. Все, конечно, боялись, тщательно смотрели за производством. Начальники ОТК других цехов боялись, что их брак «засветит» начальник ОТК сборочного цеха, то есть я. И ко мне относились с уважением. Но я быстро сообразил – зачем мне «капать»? Когда попадался дефект, просто относил деталь начальнику цеха, и мне давали взамен новую, без дефектов. Но это нечасто происходило – все были осторожны, боялись...

Я по образованию – конструктор, административная работа мне не по душе. И в 1945 году меня перевели в опытно-конструкторское бюро. Здесь тоже был любопытный эпизод. Мне поручили доводить до ума систему воздушного охлаждения турбокомпрессора. На двигатель поставили дополнительный вентилятор. Это такие лопатки, которые гонят воздух. Я подумал и решил: неправильно запрессовывают. Надо свободно зафиксировать: видел чужие турбокомпрессоры, на которых эти лопатки свободно сидят. После того, как я сделал, собрали в цехе один вентилятор – все лопатки с максимальным размером. И их пришлось силой запрессовывать. Обод этот так напрягся, что дал трещину. При монтаже это не заметили, а при испытаниях

трещина увеличилась. И тут сразу ко мне явился представитель из КГБ. Меня защитил Щевцов – начальник бюро. Так меня «пронесло» и в этот раз.

К тому времени я уже был партийный. Тогда ведь как? Хочешь быть руководителем, – вступай в партию. Я был членом парткома ОКБ и сталкивался с разными случаями. Скажем, разбирали такое дело: у одного рабочего, Николая, брат был на фронте и попал в плен. И к Николаю цепляются, начинают разбирать: кто ты такой, почему твой брат попал в плен? Я пытался за него вступаться, мол, он-то тут при чем? На меня тогда уже косо смотрели. Все боялись, как бы им не пришлось отвечать за то, что у них работает брат пленного.

Должен сказать, что хотя я не верил коммунистам, но верил в коммунизм. Тогда КГБ правил Берия, а у него была установка: КГБ не ошибается. Раз не ошибается, значит, любой арестованный – враг. Поэтому и признавались в том, чего не делали. Был у него и второй постулат: инициатива наказуема. То есть не высовывайся. Скажут тебе «делай» – делай, а со своими предложениями не лезь. Без тебя разберутся.

А я по-прежнему продолжал наводить порядки. Нет-нет да напишу. В конце концов, написал три таких письма, что подписывать их было совершенно неразумно, послал анонимно. Но конспиратор я был еще тот, поэтому, когда мое авторство раскрылось, я и не старался отнекиваться.

Я не мог молчать: мне не нравилось, что разоряли деревню, накладывали налоги на каждый корень яблони, на каждый куст винограда. Зачем вы советских солдат, убежавших из немецких лагерей, снова посылаете в лагеря? Вот об этом я и писал. «Какие вы коммунисты, если катаетесь как сыр в масле, а народ – так себе? Похоже, что вы идею коммунизма предали. И есть единственный путь спасения – перестрелять вас всех, от ЦК до райкомов». Вот за эту фразу мне и «влепили» срок.

Написал я письмо в надежде, что меня все-таки поймут. Отправил его в газету «Правда». Просил Сталину передать. Был убежден, что Сталин не знает всей правды, ЦК не знает. Считал, что Сталина одурачивают, что к нему надо как-то пробиться. Вот и пробивался.

Утром по дороге к проходной меня задержал оперуполномоченный. Говорит: «Пойдем в отдел кадров», затем предложил сесть в машину. Я ни о чем не догадался, думал, будут, наверное, предлагать работать председателем какого-нибудь колхоза. Тогда многих направляли. Ну, а когда привели... «Ваши письма?» – «Мои».

Так я попал в лагерь.

На суде свою роль сыграли мои трудовые награды и заслуги. В конце войны меня наградили медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне», за время работы выдали множество грамот. А вот какую характеристику мне дали от ОТК ОКБ:

«Апанасенко Иван Семенович, 1914 года рождения, украинец. Закончил в 1939 году Харьковский авиационный институт, после окончания института по 1945-й год работал на заводе имени Сталина. И с 1945-го по 1955-й год работал в ОКБ при заводе имени Сталина в должности ведущего конструктора и начальника конструкторской бригады. Занимаемым должностям Апанасенко Иван Семенович соответствовал, проявил в решении сложных технических вопросов должную энергию и инициативу. С 1946-го по 1955 год Апанасенко состоял членом КПСС. За это время показал себя перед парторганизацией политически грамотным и активным. Являлся агитатором, членом партбюро, избирался заместителем председателя участковой избирательной комиссии по выборам в местные Советы, заместителем председателя товарищеского суда ОКБ. В 1955 был избран членом партийного комитета предприятия. Враждебных выступлений или разговоров за Апанасенко не замечалось. Аморальных или каких-либо дурных поступков в быту за Апанасенко не замечалось. В 1949 году за участие в создании новой техники был награжден орденом «Знак Почета». Характеристика выдана по просьбе жены Апанасенко для предоставления в комиссию по пересмотру судебных дел заключенных в лагере».

А вот выдержки из моего приговора:

«Молотовский областной суд в составе председательствующего Хлопина, народных заседателей Лихачева, Соболева, при секретаре таком-то, с участием прокурора Куканова и адвоката Борисовой, рассмотрел в закрытом судебном заседании города Молотова 30 августа 1955 года дело по обвинению Апанасенко Ивана Семеновича, 1914 года рождения, из крестьян, село Ким Апшеронского района Краснодарского края, по национальности украинца, состоящего членом КПСС с 1946 года, исключенного в связи с настоящим делом, имеющего высшее образование: в 1939 году окончил Харьковский авиационный институт, с 1939 года работавшего по день ареста на заводе имени Сталина, до последнего времени руководителем бригады, женатого, имеющего двух детей, 13 и 11 лет, ранее не судимого, обвиняемого по статье 58, часть 1 (это политическое преступление). Писал письма антисоветского содержания в адрес редакции «Правды» и руководителям КПСС и Советского правительства (они что, боялись, что я их переагитирую?). В июле 1953 года, находясь в командировке в Черняховске (я тогда от одного из работников узнал, что скоро снимут Берию и, естественно, переполошился), написал одно из писем и направил из города Казани анонимное письмо контрреволюционного содержания с клеветой на политику партии, условия жизни трудящихся СССР и советскую печать в адрес одного из руководителей Советского правительства. Весной 1955 года написал еще одно письмо, где тоже клеветал.

Суд считает: контрреволюционные выступления со стороны Апанасенко доказаны (будто я был против революции!). Переходя к вынесению приговора, облсуд находит возможным учесть следующее: Апанасенко с 1939-го года работал на заводе безупречно, о чем подтверждает представленные суду для обозрения четыре почетные грамоты, которыми он был награжден в 1949–50-х годах, приказ по заводу 57867 от 16 февраля 1944 года, авторское удостоверение на техническое усовершенствование 1948 года, благодарность запасного авиационного полка».

Надо сказать, что в первые дни после ареста я был так ошарашен, убит, раздавлен, что находился на грани умопомешательства. Когда сидел в камере, пытался о батарею разбить голову. Не ожидал, что меня осудят. Думал – разберутся, когда узнают кто я. Не может же быть: столько мне доверяли – товарищеские суды, парткомы...

Однако понимал: что я буду спорить на суде? С кем? В общем полностью признал себя виновным, раскаялся. «Суд приговорил Апанасенко Ивана Семеновича признать виновным и подвергнуть его на основании ст. 58-10 прим. к лишению свободы сроком на 3 года с последующим поражением его в избирательных правах в силу статьи такой-то на 2 года (в сумме 5 лет получилось). Мера пресечения – содержание под стражей – оставить. Приговор можно обжаловать».

Но я обжаловать не стал и поехал по этапу. Конечно, страшно переживал: ведут под конвоем, везут через Свердловск с собаками, вместе с уголовниками. Ну, в общем, тяжелое время.

Привезли в лагерь в Мордовии – поселок Явас, почтовый ящик ЖХ-385/7. Там располагался деревообрабатывающий завод, где делали ящики для приемника, кажется, «Рекорд». По приезде прошел пункты обеззараживания. Там я встретил ребят, которые уже возвращались из лагеря. Они хорошо пели украинские песни – заслушаешься. Эти ребята мне посоветовали: «Иди сразу к Шарапову, начальнику бригады». А когда я к начальству обратился, мне сказали, что ждали инженера, и такой специалист, как я, им требуется. Так я стал работать на заводе. Потом они мне дали характеристику:

«За время нахождения и работы на предприятии п/я ЖХ-385/7 Апанасенко Иван Семенович характеризуется с положительной стороны. Находясь на предприятии с сентября 1955 года, он работал инженером-конструктором, а затем старшим технологом деревообрабатывающего завода. Работая на заводе, являлся активным рационализатором и изобретателем. Было внедрено в производство 6 рацпредложений. К порученной работе относился честно и добросовестно. За хорошую работу имел ряд благодарностей от руководства предприятия. Дисциплинарных взысканий не имел. Поведение хорошее».

Завод был расположен не на территории зоны. Он был окружен, как и сама зона, и пропускали на него через проходную. Работали здесь и вольнонаемные, но немного – заключенных хватало.

Жили мы в помещении по типу казармы. Вплотную друг к другу стояли двухэтажные нары, мое место было на втором этаже. Была кирпичная печка, топили как следует. Завод-то – деревообрабатывающий, поэтому дров было не счесть.

По зоне мы передвигались свободно – там же все огорожено колючей проволокой, полосы были размечены, на которые нельзя становиться, иначе за попытку к бегству расстреляют.

Вокруг стоял лес. Подальше был поселок, где были другие заключенные, которым разрешено было жить на свободе. Это ведь было время хрущевской «оттепели».

Кормили нельзя сказать, чтобы сытно, но и не голодно. А мне за рацпредложения даже премия была.

Письма домой разрешали писать сколько угодно, но их проверяли. И посылки разрешались. Но что могла моя семья прислать? Жили на заработки одной жены, а она работала библиотекарем.

В лагере в основном сидели политические. Был там один молодой парнишка, Костя. Работал в лагере в том же заводском отделе, что и я, технологом. Его отца посадили. А он знал, что это несправедливо, и ходил, расклеивал листовки, мол, напрасно людей губят... Ему дали 25 лет. Много «западников» сидело – бандеровцев с Западной Украины. Работали грузчиками.

Были и уголовники, но мало. В основном – «бытовики», осужденные за бытовые убийства. Но я с ними в контакт не входил – работал допоздна.

Когда просидел полгода, мне Леонтий Фридман, бывший летчик, посоветовал написать в Верховный суд. Я и написал, чтобы отменили приговор. А через пару недель в лагерь приехала комиссия Президиума Верховного Совета СССР с правом досрочного освобождения. Меня и освободили. Дали справку, что такой-то «освобожден по постановлению комиссии Президиума Верховного Совета СССР от 18 июля 1956 года. Срок снижен до фактически отбытого снятием судимости и поражением в правах».

С этой бумагой я и поехал домой. Приехал, ткнулся в ОКБ – не берут. Я ведь не был реабилитирован. Потом в другие места – не берут. Выручил меня случай: у жены Любы был знакомый по учебному комбинату, Пожман Александр Поликарпович. Он тоже был авиационником, отсидел в свое время и работал в тресте Камлесосплав. Пошел к нему, рассказал о своих бедах. Он позвонил главному инженеру треста, Зотову Николаю Васильевичу, и тот взял меня конструктором.

В это время Хрущев начал разгонять министерства и гнать их на периферию – совнархозы стали создавать. Я стал вхож в наш совнархоз, и опять полез со своими предложениями. Как-то даже по радио выступил: мол, зачем плодить мелкие проектные институты, бюро – нужно создать один. И сразу в редакцию поступило письмо на мой счет:

«Зачем вы слушаете этого? Он же случайный человек». Но на этом дело и закрылось. Потом все-таки оказалось, что я был прав: мелкие конторы были объединены, создан институт, в котором я впоследствии стал работать.

Реабилитировали меня в 1968 году.

НАС РУБИЛИ ПОД КОРЕНЬ, НО МЫ ВЫСТОЯЛИ...

Вспоминает Анатолий Серафимович Баглай

Мой отец еще в конце 20-х годов понял, что будут душить крестьянина-середняка. Он, не будь дурак, взял да и сократил посевы. А тут вышло постановление об уничтожении кулачества как класса. Вот отца и признали вредителем.

Сначала раскулаченных выслали на один год, чтобы без шума отделить от родственников. А потом погрузили в товарняк и отправили на Урал. Нас привезли в Пермь и – на спецпоселение. Все делалось скрытно. Некоторые партии гнали с Верещагино, затем на подводах переправляли в район Гайн. В частности, нашу семью – деда, его жену, двух сыновей и двух дочерей – погрузили в Перми на баржи и вверх по Каме с заходом в Косью отправили в поселок Сергиевский Гайнского района. До самого Сергиевского гнали на подводах: детей и женщин везли, а мужчины шли пешком.

Вот учетно-посемейная карта, сделанная на отца:

«Баглай Поликарп Климентьевич, 1877 г.р., его жена Евдокия Каллистратовна, 1885 г.р.; Баглай Серафим Поликарпович (мой отец), 1912 г.р., его жена Татьяна Парамоновна, 1912 г.р.; Баглай Ольга Поликарповна, 1923, г.р., Баглай Матрена Поликарповна, 1920 г.р., Баглай Николай Поликарпович, 1916 г.р. (сестры и брат моего отца); народились на поселении: Леонид (мой старший брат), 1933 г.р., Анатолий Серафимович, 1936 г.р.».

Выслали их в июле 1931 года, а привезли в Сергиевский осенью 1932 года, уже пошел снег. И началось самое трагическое – выживание.

Отец рассказывал: что было – золотишко, вещи – все поменяли на хлеб. Но начался голод, росли кладбища. А вокруг болота. Поликарп собирает семью и говорит: «Здесь не выдержим, погибнем, нужно скрываться». И дали задание Серафиму, моему будущему отцу: бежать на Украину. Ему тогда было 19 лет. Из всех молодых ребят решились бежать двое – Серафим и его друг Мишка. Идти надо было пешком через тайгу 300 с лишним километров. В лесу заблудились, совсем умирали от голода, но нашелся пермяк, охотник, показал им дорогу. Обычно у охотников другая установка была: встретил беглеца, – выдай его властям, получишь пуд муки, сахар и порох. А этот

оказался добрым. «Ну, – говорит, – знаю, кто вы такие, но не бойтесь – я вам ничего плохого не сделаю». Показал просеку, по которой можно выйти на железную дорогу. Они вышли на Верещагино, купили билеты, сели и поехали, на Украину. Откуда им знать, что на Украине страшный голод. Ехали на свою погибель. Но, как говорится, не было б счастья, так несчастье помогло. На подъезде к Глазову мой отец что-то сказал Мишке, выронил слово украинское, – и тут же в вагоне появился КГБ-шник. Их сняли с поезда.

Так отец попал на пересыльный пункт в Пермь. Он скрыл, что бежал из Сергиевского. Паспортов у ребят не было.

А в это время происходило следующее. Мою будущую маму выслали на Урал из Белоруссии. И она на тот же пересыльный пункт попала. Там и познакомилась с отцом, там и семья создавалась. Отец сначала работал на «Красном Октябре», потом их отправили в Краснокамск. Там дети народились. Наша семья уже занимала полдомика, кредит за него выплачивала. Так бы и жили, если бы папу по 58-й статье не арестовали.

Отец работал на строительстве бумажного комбината. В 1936 году (как раз я родился), когда строительство уже почти было закончено, там произошел взрыв. Производство требовало много углекислоты, что-то случилось – взорвались емкости с кислотой, и потрянуло весь Краснокамск. Списали все на вредительство переселенцев. Пришли ночью и арестовали папу. Сидел он в 1-м СИЗО год и четыре месяца. Но попал он на период послабления, Ежова к тому времени убрали. Отца не расстреляли, сняли с него обвинение и перебросили к семье на спецпоселение в Майкор...

Чуть позже из Сергиевского бежали сестра и брат отца – Матрена и Николай. В Пермь добрались не по железной дороге, а на барже по Каме. Им удалось добраться до Украины, но приехали они, чтобы умереть. Николай умер первым – заболел тифом, а Матрена потом умрет на руках у матери.

Остался дед, бабушка и маленькая Ольга десяти лет. Поликарп, глава семьи, умер прямо в новогоднюю ночь с 1932 на 1933 год. «Что-то тяжело стало, – говорит, – пойду прилягу». Прилег, уснул и умер. Сердце, видимо, не выдержало...

Бабушка осталась с дочерью вдвоем. Летом 1933-го они тоже бежали из Сергиевского. Потому что – либо жизнь, либо смерть. Сначала шли в сторону Верещагино. Но на железной дороге были облавы. И они дошли до самой Москвы пешком. Можете представить? Ночью идут, а днем спят. По пути в деревнях просили подаяние, и им помогали. Стали решать, как им до Киева дойти, но в Москве их поймали. Отправили домой. Они вернулись, нашли Матрену, и та у них на глазах умерла. Уже хлеб появился, а она умерла от голода, опухшая. Так моя бабушка, Евдокия Калистратовна, и тетка, Ольга Поликарповна,

остались на Украине. Нанялись к богатым людям – к тем же самым коммунистам: стирать, водиться с детьми. Жить-то ведь надо было.

Папа сначала им не писал, они думали, что он погиб. Но потом сообщил, что жив, здоров. А приехал на Украину первый раз только в 1952 году, уже после освобождения...

На Украине люди работали в колхозах за «палочки». А в войну и вовсе ввели налог за каждую яблоню и курицу. Когда отец по приезде навестил своих друзей, так они в стариков превратились. Он говорил: «Господи! Так кто же из нас репрессирован?!» У нас в Чермозе, хоть и тайга, зато корчуй и сажай, сколько хочешь.

Но вернемся в 1938 год. Отца освободили, он дал расписку, что будет молчать о том, где был, и под охраной вернулся в Краснокамск. Вернулся – а семьи нет. Нас как «врагов народа» выслали в спецпоселок Горки под Майкором. Там было много леспромхозов для спецпереселенцев, каждый в полутора-трех километрах друг от друга. Нас перевозили туда на пароме.

Приехав в Майкор, отец стал работать на домне, которая вырабатывала чугун для Чермозского завода. Чугун погрузили на баржи и переправляли в Чермоз, где изготовляли кровельный лист. Топили домну древесным углем. Лес забирали с округи и грузили на вагонетки. Но надо было готовить лесную базу, и нас в 1939 году перебросили в Чермоз, в так называемый Напарьинский лесопункт Чермозского леспромхоза.

Во время войны на Чермозском заводе делали бронелист, снаряды, печурки. «Бьется в тесной печурке огонь...» – это как раз про чермозскую печурку.

Лесопункт находился в поселке Напарья. Там стоял один домик, в котором пряталась от раскулачивания какая-то семья. До этого там была одна тайга, которую нужно было вырубать. Но мы жили не в самом поселке, а рядом. Когда туда приехали, некоторые бараки были уже построены. Помню, строили и при нас. Напарья была основной базой для Чермозского завода, позже появились Леква, Пожва и Ерма. И всю войну там рубили тайгу.

Откуда у поселка такое название? Рядом протекала речка, такой небольшой ручеек, который можно было перепрыгнуть, более-менее широкой она становилась, когда впадала в Чермозский пруд. Этот ручеек и назывался – Напарья. В Напарьинский лесопункт входили: Новострой, Центральные бараки и Комсомольский.

От Чермоза до Ильинска шел 40-километровый гравийный Дмитриевский тракт. Чермоз поставлял в Ильинск промышленную продукцию, а Ильинск давал Чермозу сельхозпродукты. Если идти 12 километров по Дмитриевскому тракту в сторону Ильинска, а потом сделать резкий поворот на 90 градусов, то там найдешь четырехкилометровую «лежневку», которая и вела к Новострою.

Это типичный поселок спецпереселенцев. Там стояли не рубленые двухквартирные дома, а бараки. Всего было пять. Первый – как бы управленческий, где находились контора, «красный уголок», общежитие, комендант. Общежитие – для колхозников, которые приезжали на лошадях, чтобы вывозить зимой лес. Ведь весь лес вывозили на лошадях. Спецпоселенцы занимали два с половиной барака. Еще в одном размещались клуб, детсад, ясли. Кроме того, в поселке работала пекарня, общественная баня, столярка, магазин, медпункт. Были также два небольших рубленых домика, где отдельно жили начальник Антошин и начальник ОРСа Круглов. Последнего потом посадили – заворовался.

Что из себя представляет барак? Центральный проход, восемь комнат с одной стороны, восемь – с другой. Между некоторыми комнатами нет капитальной стены – только дощатая. Комнатки – до 15 квадратных метров. У нас стоял стол, две кровати, печка, плита и полати, где спала ребятня. Все. Семья наша, как и все, занимала одну комнату. Так и жили. В 1939 году в Новострое жили 350 человек. Это была одна большая семья.

Отцы работали в лесу. А мы, дети, учились. Летом играли в лапту, водились со своими младшими сестрами и братьями, пасли скот. Воровали горох в колхозе. А зимой ловили зайцев на петли, сами делали лыжи, коньки. Мы все были худые, но здоровые, питались земляникой. В тайге море ягод, грибов. И с медведями вместе малину собирали. Лось, медведь, волк – никаких зверей не боялись...

За бараками стояли сараи, где держали коров, коз и сено. Люди были трудолюбивые, добрые и дети такие же. Я всю жизнь благодарю Бога за то, что с такими людьми общался. И свое предназначение вижу в том, чтобы бескорыстно помогать бывшим спецпереселенцам, они мне как родные.

Школа в поселке располагалась отдельно, в рубленом домике. Класс небольшой, все сидят вместе. Всего два учителя. Учебники у нас были, тетради, ручки – тоже. Все учились хорошо. Школа как школа. А после 4-го класса ходили уже в Чермозскую школу за 16 км. В старших классах дети жили в Чермозе, а на выходные бегали домой. Зимой по дороге играли в войну. Весело было...

Но в войну не до веселья, трудились без выходных, тогда действительно ужасные были условия. У одного мужчины умерла дочь, и он в воскресенье не вышел на работу, так ему дали срок – шесть месяцев. А он хоронил ребенка, понимаете?!

В поселке жили люди разных национальностей – украинцы, белорусы, русские. Многие – из Курганской, Челябинской областей, из Татарии. Были и местные раскулаченные. Некоторые семьи бедствовали: отцов расстреляли, а матерей с детьми сюда сослали. Но сыновья подрастали и начинали работать. Всего в поселке насчитывалось

примерно 30 процентов таких семей, где хозяева расстреляны, а жены и дети высланы...

У нас медпункт, но взрослые особо не болели. Помню, только один спецпереселенец скончался от туберкулеза. И одна бабка – по старости. А вот дети умирали один за другим. Зимой в бараках холодно, а мы все босые, одеть-то нечего. Один корью заболел, второй заразился, – и пошли на тот свет... У меня сестра Аллочка тоже умерла. Ей был год и восемь месяцев, папа ее очень любил. Я сестренку похоронил, а сам не заболел. Нет семьи, которая не потеряла бы ребенка...

В войну, когда стало тяжело – надо было объем поставок леса увеличивать – прислали киргизов. Они были не спецпоселенцами, а трудармейцами. Все в шубах ходили, но все равно мерзли, болели и умирали. Кого хоронили в Напарье, так это киргизов. Остальных всех, в том числе нашу Аллочку, – в Чермозе, на кладбище. Не разрешали здесь. После войны киргизы уехали, но оставили след – могилы. Потом начали поступать пленные болгары. Позже стали присылать репатриированных. Во время войны немцы угоняли подростков в Германию. После освобождения некоторые из них остались на Западе, стали хорошо жить, а другие захотели вернуться – коммунизм строить. Но поезд остановился не на Украине, а в Перми, в Хмелях. После чего их отправили сюда, в леспромхозы...

Спецпоселенцы трудились на пилоправке. Главное назначение лесопункта – добыча леса для металлургического завода. Норма выработки – примерно 5 кубометров. Пила только ручная, лучковая, но сдавалась каждый день «пилоправам» и они ее так настраивали, что мой папа любое дерево – раз! – и сваливает, не отдыхает.

Работали бригадой. Мужчины валят, женщины сучки рубят. Потом размежевывают и вывозят на волокушах. И все – только ручная работа. Никаких кранов. Режим был жесткий. Если кто норму не выполнял, оставался на участке и работал 9–10 часов.

Какой корень был у этих спецпоселенцев! Работать надо было, план выполнять, поэтому трудились – будь здоров, а иначе не получишь ничего.

Каждая семья обзавелась хозяйством. У нас был огород, корова, кто-то коз держал. И были еще подсобные хозяйства: свеклу, морковь, картошку выращивали... Мужчины с работы приходили – и сразу в столовую. Их в первую очередь кормили. Поддерживали работяг... А мы уже – как придется. Голодно было, но не так. Все знали: если папы не станет – мы не выживем...

Политических сюда не привозили, поэтому нас, спецпоселенцев, никто не охранял. Но до 1951 года мы были под надзором коменданта. Постучишься к нему, скажешь: «Я пошел в Чермоз». Ушел, пришел – все по докладу.

Хотя еще в 1947 году вышел Указ. В нем говорилось, что всех, кто находится на спецпоселении, необходимо освободить. Но нам никто об этом не сказал, и мы еще несколько лет продолжали жить без паспортов. Потом можно было уехать к родственникам в Белоруссию или на Украину. Но кто нас там ждал? Подумали мы и решили остаться.

БОЯЛИСЬ, ЖДАЛИ, ЧТО СЕЙЧАС ПРИДУТ

Из воспоминаний Веры Ивановны Васильцевой

Васильцева Вера Ивановна, родилась 25 сентября 1930 года в поселке Нижняя Курья близ Перми. Отец, Брагин Иван Федорович, 1904 года рождения, раскулачен в 1931 году, спецпереселенец, позднее – трудармеец. Мать – Брагина Лариса Александровна.

Мой отец родом из села Брюхово Суксунского района. Там жила вся его семья. У его отца, моего деда, была кожевенная мастерская. Сами выделывали кожи, шили сапоги. Скота было много, так вот и завели мастерскую. Стали люди приходить с кожами на заказ. У его жены были два брата. Вместе с ними, на паях, он кожевенную мастерскую и держал. А потом, во время коллективизации, в документах написали, что они были батраки. А это родственники были. У деда, у семьи, было 27 десятин земли – это около 30 гектаров. И ее надо было обрабатывать. Поэтому нанимали людей, особенно в страду. Если есть люди, которые хотят поработать – не бесплатно, так почему бы и нет?

В документах, которые я нашла в архиве, было написано: «Решение исполкома Суксунского районного совета депутатов трудящихся... Слушали предоставленные материалы о правильности выселения с территории Суксунского района кулака Брагина. Брагин Иван Федорович, 1904 года рождения, уроженец села Брюхово Суксунского района, в прошлом крестьянин-кулак, как до октябрьской революции, так и после, имел дом с надворными постройками, рабочих лошадей до 5 голов, крупного рогатого скота до 5 голов, мелкого скота до 15 голов, сельхозмашины – молотилку и жнейку, кроме того имел кожевенное производство по выделке кож и двух постоянных батраков... Выселение кулака Брагина и его жены Ларисы Александровны считать правильным».

Когда началась коллективизация, дед решил отца отделить, поэтому отправил его в отходничество, зарабатывать себе на дом. Хозяйство было совместное, но хотели отцу хутор построить. Хоть и крепкая семья была, но денег на дом не хватало – надо было зарабатывать, чтобы строиться. Вот и отправили его зарабатывать деньги. Он уехал в 1929 году, а в 1930 году дед отвез к нему мою маму и двух моих старших братьев. А там и я родилась.

В том же 1930-м деда арестовали и отправили в Красновишерск. Там шло строительство целлюлозно-бумажного комбината. Дед работал на лесозаготовках, потом заболел и умер в 1931 году. Брат отца ездил его навестить. Отец был простуженный, весь в нарывах. Брат спросил: «Отец, за что же тебя посадили?». А он ответил: «За то, что в колхоз не пошел, и вам не надо об этом знать». Мамин дед, священник, был убит. Где, не знаю. Говорили, что священников держали в Кунгуре и забивали там их железными прутьями. В архивном деле написано, что его расстреляли. А где – не сказано.

Всю семью деда в марте 1931 года раскулачили и выслали в Кизел: бабушку, семи двух отцовских братьев и сестры. Это я знаю со слов младшего брата отца. Поселили их в общие бараки, где раньше жили заключенные. Там было плохо: и болезни, и насекомые... Тогда они нашли отдельное строение – конюшню на четыре стойла, пошли к коменданту и попросили эту конюшню. И они эти четыре стойла заняли, вычистили, обустроили, перегородили конюшню, построили печки и стали жить. Рядом в лесу они выстроили баню. И их миновали все болезни.

Нашей семье там не было. Мы, когда это все произошло, жили с отцом в п. Мулянка, где он работал в отходничестве. Он хотел получить справку, что живет отдельно от семьи своего отца. Ему дали справку, что он отправлен в отходничество, но там же и указали, что он принадлежит к хозяйству отца и подлежит раскулачиванию. Его причислили к спецпереселенцам и отправили в Краснокамск. Там заключенные уже вырубали леса под бумкомбинат, а в их бараки заселили спецпереселенцев. Называли соломицкие бараки. Потому что они дощатые были, со множеством щелей, которые для тепла закладывали соломенными матами. Это был 1933 год.

Мне было три года, но я кое-что помню. Когда отец и мать уходили на работу, а я плакала и просила есть, какая-то бабушка мне говорила: «Тю-тю мамы, тю-тю, нету мамы». И помню, как уголь ела. Голодно было, 1933-й очень голодный был год: хлеба не хватало, продуктов вообще не было. А в 1934 году стали давать ссуды под строительство домов. В поселке Майский, это пригород Краснокамска, в 1935 году мы заселились в свой дом. Строили пятистенные дома, рубленые, на двух хозяев. Помню, как дом отделявали. Помню, как в садик ходила с братом. А потом пришел 1937 год. Страшный год. Это я очень хорошо помню. На нашей улице во всех домах окна закрывали, как при бомбежке, никакого света не было – боялись, ждали, что сейчас придут, постучат в окошко и хозяина арестуют.

На нашей улице, где было домов десять, осталось только трое мужчин. У отца была котомка приготовлена: если заберут, так с собой взять. Недалеко от нас комендатура была, и как стемнеет, машины с арестованными шли мимо нашего дома одна за другой. «Черный ворон» их называли.

Мы каждый день ждали, что отца возьмут. Сначала людей по ночам забирали, по домам ходили, арестовывали. А потом на работе стали арестовывать. С утра отец идет на работу, а мы и не знаем, вернется он домой или нет.

Нельзя было общаться ни с кем. Поголовные аресты шли, так это-то ведь утаить нельзя. Соседка пришла: «Ой, у меня мужа забрали». Другая соседка: «Ой, с работы не пришел». И мы ждали. Но к нам не пришли. Наш отец был счетоводом на бумкомбинате. А мама чурки на конвейере считала, учетчиком была.

В первую очередь арестовывали спецпереселенцев. В спецпоселке Майский были и поляки, и белорусы, и украинцы, и татары. Спецпоселок был большой, и хозяева рачительные были. Субботники проводили, озеленением занимались, чистоту соблюдали. А в 1938 году нас всех выслали оттуда. Надо было лес рубить в других местах. Спецпереселенцев использовали как дешевую рабочую силу. Мама плакала, очень жалела, что уезжать приходится, только жить начали.

Жителей нашей улицы отправили в Добрянский район на лесозаготовки. Нашу семью выслали в «149-й квартал», километров 7 от Добрянки, где два барака было. В одном четыре семьи, а в другом семей шесть. Бараки и лес. Речка Тюсь текла. Ближе всего была деревня Завожиг.

Отца сначала отправили в лес. Но у него зрение было плохое и ноги у него болели. Он десятником работал, а потом его бухгалтером взяли в контору лесоучастка, которая находилась в Завожиге, и мы туда переехали. Там я в первый класс пошла. А потом переселили нас в «150-й квартал». Позднее опять переехали в Добрянку. А потом отец опоздал на работу на 15 минут. Судить не судили, но перевели на три месяца на металлургический завод, где он тоже работал бухгалтером. Зимой, в конце 1939 года или в начале 1940-го отца назначили бухгалтером в Висим – лесоучасток в 30 км от Добрянки. Помню, как нас перевозили. Прислали с Висима человека с лошастью и в короб, в котором уголь взят для завода, загрузили меня и двух моих братьев. А в Висиме ждали, что вот приедет бухгалтер-кулак. Приехали, помню, нас выгружают, а люди стоят, смотрят: «Вот это кулак – одни ребята, а больше ничего и нету!» То есть барахла нет никакого. В Висиме мы прожили до 1941 года. В июле 1940 там родилась еще одна сестренка – Зоя. А в 1941 году, в мае, мы переехали в поселок Бор-Ленва, это 12 километров от Висима вниз по Каме. Там дали нам комнатушку в бараке.

В Висиме было много спецпереселенцев. Главная спецкомендатура была в Добрянке, а в поселках коменданты. В 18 километрах от нас лесной участок «Васькина лужайка». Туда много украинцев привезли в 1930-е годы. Привезли, и в чем были, бросили в тайгу. Отвели место, дали топоры и лопаты: «Стройте себе землянки, обустраивайтесь и рубите лес». И очень много там их умирало. Был лозунг: «Не выполнял норму – не выходи из леса!». Вот они и не вышли.

Как-то, это было в 1943 году, работникам лесоучастка по карточкам давали материал какой-то, по три метра. А отцу не дали. Может быть потому, что он спецпереселенец. И он обиделся: «Я и день, и ночь работал, а меня обошли». И поделился своей обидой с главным бухгалтером леспромхоза. Главный бухгалтер пошел к директору – защитить его, а вышло наоборот. Начальник лесоучастка, на которого пожаловался отец, был бывший комендант, нехороший человек. И нашего отца, больного, почти слепого, призвали в трудармию. Отправили его в Архангельскую область, в город Котлас на перевалочную биржу, на лесозаготовки. Он там поработал три месяца и заболел. Он писал: «Питание плохое. Еды не хватает. Работа тяжелая. Заболел. Так распухли ноги, что уже не входят в кальсоны». Положили его в больницу. Из больницы писал: «Если меня из больницы выпишут, я боюсь, что выйду, упаду от свежего воздуха и замерзну». А потом комиссовали его. Отпустили домой по болезни. Но до дома не доехал, потерялся в дороге. Мы искали его, писали в Котлас, но не нашли. Вот так мы его потеряли в 1944 году в возрасте 40 лет.

А старшего брата в декабре призвали на войну. Он был талантливый, хорошо писал, рисовал – картины, портреты. Его оставили при заводе в Нижнем Тагиле в конструкторском бюро чертежником. Там танк «Т-34» производили. Он писал, что «лучше бы я попал на фронт». Голодно было. Тяжело. Он уехал в Кривой Рог. Окончил танковое училище. Потом в академию его отправили. А умер он в 1944 году, в звании майора, от рака.

Двоих мужчин лишили. Сразу нам плохо стало. Брат младший, 15-ти лет, больной был. Мне было 13 лет, Миле 6 лет, Зое 2 годика. И мать беременная, на седьмом месяце. Пришлось мне идти работать. Сначала уборщицей в школе – печи топить, воду носить. А зимой, когда родился брат, маме дали работу – пересчитывать древесину в штабелях. И я с ней ходила, помогала.

А весной 1944-го года меня отправили в совхоз работать, чтобы заработать овощей. Лето я там проработала: коров, телят пасла, сено заготавливала. Нам дали по 4 сотки уже посаженной картошки: «Только сами окучивайте, копайте и при расчете забирайте». Капусты дали, свеклы, моркови. Брат, который старше меня, научился лапти плести. Лапти наплетет и в выходной уходит с мамой по деревням, на картошку меняют. Плохо нам было очень. Предлагали маме забрать у нее детей маленьких в детдом, она не отдала.

У нас хорошие родители были, грамотные. Мама училась в гимназии, революция помешала закончить. Мама в семь лет осталась сиротой, и ее взяла к себе как дочь ее двоюродная сестра. А у нее муж был священник. Его в 1937 году расстреляли.

Отец учился в сельскохозяйственном техникуме в Красноуфимске. И когда время было, всегда с нами занимался. Он покупал книжки

и нам читал. Старшего брата он учил всякие поделки делать. Старались воспитывать на своем примере. Нас, девочек, мать приучала к рукоделию. Она и на музыкальных инструментах играла – на гитаре, на балалайке. У нас дома был семейный ансамбль: мама на балалайке, брат на мандолине, я на гитаре играла. И пели. К нам женщины, у которых мужей арестовали и отправили в лагеря, приходили нас послушать. Нас родители всегда учили быть трудолюбивыми. Быть вежливыми с людьми. Не делать зла людям. Как заповедям нас учили: «Не делай этого, не делай того». «Не ругайся, не огрызайся, не прекословь старшим, здоровайся на улице со старшими, не обижай младших».

Пока мы жили в Висиме, я там закончила четвертый класс. С похвальной грамотой.

С сентября 1945-го по июль 1947-го я училась в ремесленном училище в Добрянке на слесаря-инструментальщика. Делали инструменты. А как я попала в училище? Пришла повестка моему старшему брату, а он не пошел. По повесткам учились тоже. Повестка пришла в поселок, что «одного человека отправляйте в училище». Мастер указал на брата, а брат: «не поеду, не поеду». Я поехала. Хоть какую-то специальность приобрету. Было голодно, а там три раза питание и 700 г хлеба. Спецодежду давали.

Жили в общежитии. Стипендии не было. Хоть мы и учились, но делали инструменты на заказ. Все деньги, которые завод за это платил, уходили на питание, спецодежду и общежитие. На руки нам никаких денег не давали. Даже домой редко отпускали на выходные. Учились так: день теории, день практики. Шесть дней в неделю. Каникул не было. А потом нас, 15 девушек, отправили в Кизел на шахту работать ремонтниками.

Поселили нас в бывшую зону для заключенных: в трех бараках досрочно освобожденные, и один на отшибе пустой. Вот нас в этот барак и заселили. Зона мужская была. Три барака мужиков. Нам проходу не давали. Ночью закрываемся и окна одеялами завешиваем, чтобы не смотрели. В окна пялились на девчонок. Как там жить-то? И мы в том же 1947 году самовольно оттуда убежали. Хотя нам в заводоуправлении и зачитывали указ: «Если вы опоздаете, не придете на работу или убежите, по военному времени получите от 5 до 10 лет». Это 1947 год. Еще не отменен этот приказ. Заводы считались военными. И вот разбежались. Общежития не было, ничего не приготовлено, а заявку завод подал.

Я вернулась домой, устроилась работать в леспромхозе, в лесу, на эстакаде. Там возили тракторами лес, я разметчицей работала. Восемь километров пешком ходили на работу. Вывозили лес на лошадях по узкоколейке на берег Камы. Узкоколейки строили в основном репатриированные, те, кто вернулся из немецкого плена.

ПРОШЛОЕ – ТЯЖЕЛЫЙ КРЕСТ

Из воспоминаний Клавдии Ивановны Гришиной

Я родилась в 1916 году в деревне Остров Волховского района Ленинградской области. Наш колхоз назывался «Остров социализма». Это недалеко от Волховстроя.

Семья наша состояла из тринадцати человек – отец с матерью и 11 детей. Двое детей умерли небольшими – восьми и четырнадцать лет. Остальные девять человек, братья и сестры, все были живы-здоровы. Родители мои, Гришина Анна Михайловна и Гришин Иван Федорович, очень много трудились. Мы не знали, когда они ложились спать и когда вставали. Отец с матерью были хорошими родителями, любили Родину, свой край и свою деревню, речку Волхов...

Наша семья сама, без принуждения, вступила в колхоз. Отец написал заявление. И все, что было, – корову, лошадь, телегу, сани – мы отдали в колхоз. Трудились в нем до 1935 года. Пять человек в семье работало, и колхоз нас хорошо обеспечивал. Мы были довольны. Это не то, что наш отец сохой да плугом пахал бы один на всю семью.

Родители старались, нас учили. Я в сельской школе закончила четвертый класс. Потом появилось много маленьких детей, мне пришлось вечером учиться, а днем нянчить братишек и сестреночек. Маме тяжело приходилось. Она работала на двух работах, при этом у нее всегда хватало времени на детей. Каждую неделю нас в баньке мыли. Банька стояла у речки, на очень красивом месте...

Вся наша семья была певчая, мама очень хорошо пела и нас учила. Что бы она ни делала, в поле или по хозяйству, всегда нас, детей, привлекала, мы с удовольствием трудились все вместе. И вместе с мамой пели песни. У нас в доме была гитара, балалайка...

Мама с отцом верили в Бога, может, поэтому сам Бог помогал им справляться со столь большой семьей. Мы ходили в церковь, мама нас, старшеньких, брала, и мы даже пели на клиросе.

Когда случилась революция 1917 года, отец нас ненадолго всех оставил, ушел на фронт. Мы надеялись, что после революции нам жить будет легче. Очень верили в это дело, верили в Ленина. Я и сейчас к нему отношусь с сожалением...

В нашей деревне коллективизация прошла дружно. Почему-то в коллективизацию, в колхоз все поверили. Единоличники хоть и оставались, но их было не так много. Помню, большинство работали в поле сообща.

Когда нас выселили, это было для всей семьи страшным ударом. Нам даже не сообщили о выселении. И раскулачивания никакого не было, потому что все в колхоз отдали, все работали там.

А получилось вот как.

Это было в 1935 году. Однажды ночью приехала машина, забрали старшего брата и отца и увезли в город Волховстрой, в 12 километрах от нас, в тюрьму. Объяснять никто ничего не стал. Я в это время училась в Ленинграде, в техникуме, на воспитателя детского сада, по направлению гороно. Какое-то внутреннее чутье мне подсказало: поезжай домой, там беда. Я скорее в узелок свои вещички связала и поехала домой. И что же? Мама с маленькими детьми сидит на сундуке посредине комнаты. А кругом что творилось! Соседи и какие-то незнакомые люди выносят из погреба огурцы, помидоры, муку... Из кладовых, из подвала, с сеновала и даже с чердака все растащили. Остались только дети и этот сундучок, на котором сидела мама.

Я проплакала всю ночь, а утром надела костюмчик и кофточку, которые мне сшили для учебы. Мама настряпала каких-то пышек, что-то положила в узелок и отправила меня в Волховстрой в тюрьму, проводить отца с братом. Приезжаю в эту тюрьму, подхожу к дежурному и говорю: «Передайте, пожалуйста, у меня тут папочка сидит с братом». Он передачу у меня взял и спрашивает: «А кто вы будете Ивану Федоровичу?». «Я его дочка», – с гордостью отвечаю. Дежурный куда-то ушел, потом приходит с пакетом и говорит: «Унеси этот пакет по такому-то адресу». Мне тогда еще семнадцати не было, соображения маловато. Надо было хоть немножко подумать, может, тогда моя судьба сложилась как-то иначе. Но я без тени сомнения сделала все, как мне велели. Прихожу по указанному адресу к дежурному. Он взял пакет, куда-то ушел с ним, потом вернулся и сказал: «Пройдите в такой-то кабинет». Там сидел лейтенант. Он при мне вскрыл пакет, достал из него какой-то документ, прочитал. Говорю: «Разрешите идти?». «Нет, вы арестованы», – отвечает. «Как?! – слезы градом покатались из моих глаз... – Как же так?! Я ведь ничего плохо не сделала, папа с братом тоже ни в чем не виноваты, мама страдает с детьми...» А он как ударил пистолетом об стол: «Молчать, вы арестованы!» До вечера там просидела, а вечером нас выстроили человек пятьдесят и повели в тюрьму.

В тюрьме я просидела с неделю. А потом подогнали эшелон товарных вагонов к вокзалу, нас всех туда привезли. И там я увидела маму. Она приехала вместе с детьми на дровнях-развалинах. Папу с братом тоже привезли. Нас всех поместили в один вагон...

Тогда многих повезли с Волховстроя, из других городов, деревень. Были образованные, интеллигентные люди из Ленинграда и простые крестьяне... Когда эшелон тронулся, мы видели, как по Волховстрою шли люди – с плакатами, знаменами, с портретами вождей. Они веселились, пели песни. А нас повезли в ссылку...

На больших станциях эшелон всегда в тупик ставили, стояли сутки-двое. Наконец, привезли на Урал, на станцию Всеволодо-Вильва. Начали выгружаться. Да что там выгружать? У нас из всех вещей –

только сундучок, тот самый, из дома. Но поскольку семья большая, начальство разрешило везти с собой корову. Благодаря ей мы и выжили... После Всеволодо-Вильвы нас на машинах переправили в Иваку, а оттуда уже по узкоколейке везли в лес, в тайгу. От Иваки – примерно 25 километров.

Приехали в поселок Степановка. Место живописное, исключительно красивая природа. Поселок разделен на две части: обе расположены на возвышенностях, а посредине речка. Нам дали небольшой домик, он просто срублен из леса – неотесанный ни снаружи, ни изнутри, чем-то прикрыта крыша... Кормили нас два раза в день, об остальном пропитании, сказали, хлопчите сами – идите в лес. Благо, в нем было много разной живности. Отец каждое утро приносил зайчика, а то и двух.

Мне и еще одной девочке предложили работать. Обули нас в лапти, отправили в лес. Дали топоры, чтобы мы бревна очищали от сучьев. Вот такая у нас была работа.

Мы всячески старались разнообразить наш быт. Открыли в клубе драмкружок, организовали хор – я в нем тоже пела. Клуб такой же деревянный, неотесанный, как и дома, но с очагом культуры было все равно веселее. Что-то придумывали, старалась участвовать в общественной жизни, во всех мероприятиях.

Вскоре в поселок приехал представитель горно и предложил мне организовать детский сад. Как уж мне это удалось – не знаю, но организовала. Работала и заведующей, и воспитателем. Малышей насчитывалось от сорока до пятидесяти – в основном это дети переселенцев. Я была счастлива, что из всех высланных меня освободили в числе первых. Иметь работу, паспорт – это было большим достижением. Документов ведь ни у кого не было, если кому-то надо было поехать в ближний город (далеко нам не разрешали), то брали разрешение у команданта. Без его ведома никто из поселка не отлучался.

Постепенно жизнь в поселке налаживалась. Где-то раздобыли книги, немножко население дало, и открыли библиотеку. Мою маму, как многодетную, направили работать библиотекарем. Так ей стало легче. Освободили нашу семью в 1944 году, всем выдали документы. Я пробыла в ссылке 5 лет – меньше, чем мои родные. Как освободилась, переехала в город Кизел, поближе к родителям. Постоянно к ним ездила, проводывала, помогала, как могла. Училась заочно в дошкольном техникуме и вечерней школе, а днем работала воспитателем в детском саду...

Вся-то жизнь прошла вот так: и родителям тяжело было, и нам. Вскоре умерла мама – не могли ее спасти, не было врача. Вечером приходили – мама была еще живая, а утром ее уже не стало. Это случилось в 1942 году. Война, голод... Отец остался один с пятью детьми. Впроголодь ходил, а детям свой кусочек делил. Он так и не женился.

У нас был замечательный отец. Во всех отношениях: и физически здоровый, и красивый, и трудолюбивый... Мои родители все умели делать: и валенки катать, и шубы детям шить, и еще много чего... А главное – они вырастили нас достойными людьми. Несмотря на все тяготы и лишения.

И какое может быть у меня сейчас впечатление от трудпоселенки? Правда, замуж я вышла, есть дочь, уже взрослая, но муж-то мой погиб после войны. В общем, так судьба сложилась, что мечтать о хорошем и вспоминать с улыбкой прошлое не могу. До сих пор что-то гнетет. Иногда вспоминаешь то, что пришлось пережить, и хочется плакать и плакать. Если все подробно описать, получился бы хороший роман, полезный для молодежи. Книга о моей жизни...

У НАС ДАЖЕ ФРУКТОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ ВЫРУБИЛИ, КОГДА РАСКУЛАЧИВАЛИ

Интервью с Валентиной Андреевной Кропотвиной

- Представьтесь, пожалуйста.

- Меня зовут Валентина Андреевна Кропотина. Я 1930 года рождения. Девичья фамилия – Колкова. Родилась в Белоруссии, Витебская область, Чашницкий район, деревня Кожары. Оба родителя белорусы, теперь их нет, осталась сестра. У нее сын, мой племянник.

А у меня детей не было. Не доносила ребенка. На Курилах жили. Остров Шикотан, я в 1950-х годах работала там на китокombинате. 8 месяцев беременности почти было, начались схватки, а потом уже воспаление, а лекарств не было...

- А кто были ваши родители?

- И отец, и мать крестьяне. Были свои наделы земли, но торговлей не занимались, только себя обеспечивали. Сажали картошку, сеяли зерновые, корова была, свинья, а потом – попали под раскулачивание.

Четверо первых детей у мамы умерли, видно, условия были тяжелые, а двое – сестра и я – выжили. Сестра живет в Перми, но она уже не ходячая. А родители здесь похоронены.

- Вы помните село, где жили в детстве?

- Одно из моих первых детских воспоминаний – раскулачивание. У нас за домом даже фруктовые деревья вырубили. А мы и кулаками не были. Я, маленькая, боялась одна сидеть дома взаперти, разбила окно ручонками, вся обрезалась. Соседка прибежала, забрала меня к себе, руки обработала. Зимой это было. Мать не брали на работу, даже в колхоз не взяли. Отца увезли – без суда и без следствия. Все забрали, все, что было. Еду забрали. На доске было засеяно сколько-

то муки... Хлеб пекли и из картошки, и из травы. И даже эту муку ссыпали с доски. Оставался один мешок гороха, мама на него села и меня на руках держит. А все равно ее стащили с мешка и все унесли...

А чем жить? Мать ходила по домам, работала за копейки. Поденщина. Сенокос или жатва, серпами жали, вот это все делала и картошку копала. Сестра в школу ходила, она старше меня. А потом приехала тетка из Иркутска, отцова родная сестра. Отца уже освободили, но не разрешили за нами в Белоруссию ехать. И он сестру за нами послал.

Мы в Иркутске жили, у тетки был частный дом. Рядом мост деревянный пешеходный, через приток Иркут. И нас затопляло, несмотря на высокие берега, даже через пол вода выходила. Но дом все-таки добротный, мы на чердаке сидели. А потом прямо по улице подошел катер, нас перевезли на другую сторону. Там Иркутский централ, тюрьма большая, обрыв, дорога и река. Реки большие, но Ангара такая! Бросишь денежку, и видно, какой стороной легла, такая вода чистая и холодная. Мы в Иркутске жили около трех лет. Но нас и оттуда выселили. Нас отовсюду выселяли.

Мать с отцом поехали на лесозаготовки. Людей в поселке немного было. Одна улица, и на одной стороне дома. Отец и мать пилили бревна. Сестра в школу ходила, а я дома сидела. Мне дадут команду: «столько-то картошки начисти», а я и не могу одна начистить, девченок позову.

Хлеб месяцами не отоваривали по карточкам. Я с кем-нибудь да договорюсь, отоварю один или два талона. Несу домой. Мама совсем безграмотная была, крестиком подписывалась. А у отца 4 класса образования. Он писал и читал газеты.

Мы все время с мамой жили и росли. Отец работой занимался. Даже помню, когда жили в Абакане, там школу занимала войсковая часть, и пригоняли лошадей из Тулы. И я видела, как отец этих диких табунных лошадей объезжал, и как они сбрасывали его. Я до сих пор этих лошадей боюсь...

Отец в Абакане завхозом в школе работал, мать – уборщицей. Война началась, когда мы в Абакане жили. У отца была 92 рубля зарплата, у матери – 30 рублей.

- Его не взяли в армию, потому что пожилой был?

- Из-за того, что репрессированный был, его взяли в трудовую армию.

- Вы говорите, что больше трех лет вам не разрешали жить на одном месте?

- Да, в Иркутске прожили три года, и «убирайтесь!». На «Пятом отделении», это где-то за Черемховым, три года, и «убирайтесь!» В Абакане очень много репрессированных было – немцев Поволжья. В Абакане нас уже не трогали.

Я 8 классов закончила. Можно было и десять закончить, но мы очень бедно жили, пришлось идти работать. Сначала окончила плат-

ные курсы счетоводов. Денег не было за курсы платить, я отработывала, делала уборку. Потом преподаватель, плановик, он работал на хлебозаводе, пригласил меня работать учеником в плановый отдел. А потом я дальше училась, тоже платно, на бухгалтера. Хорошо закончила. И всю жизнь проработала бухгалтером. И сестра у меня тоже бухгалтер.

Детство так голодно прошло. Я и хлеба магазинного не видела, для меня это был праздник. Даже когда училась во вторую смену, а дома есть нечего, мы с мамой шли на старые картофельные поля и картофельную гниль собирали. Потом лепешки делали или клецки.

- А был страх?

- Всегда был. И у сестры, и у меня.

- Когда вы учились, в школе знали, что вы репрессированная?

- Нет. Никто ничего не знал. Иногда слышала, как отец с родственником, с дядей Сашей разговаривал. Но они всегда или на природу уйдут, или, где сено есть, сядут и разговаривают. Потом придут, мама им стол накроеет. А я не присутствовала. Какой мне тогда интерес?

- Но слышали, что отец про лагерь говорил?

- Нет, никогда. Единственное краем уха слышала, что он чуть там не умер. В лазарет попал, там лежал, опухший весь. А на кухне белоруска работала, и она его подкармливала. А так там многие погибали.

- А родители на русском языке говорили или на белорусском?

- Отец на русском говорил, а мать так и не научилась. Я на белорусском не разговариваю, но все понимаю. Ездил уже спустя 30 лет из Перми в Белоруссию. Уже три раза ездила, и мужа возила, ему очень там понравилось. И думала: как там, а вдруг не узнают да не пустят. Но какой гостеприимный народ, какой добрый, какой доверчивый! Вот идет чужой с поезда, со станции, так они выскакивают на улицу и здороваются, кланяются. И вот на станции Чашники я вышла, чтобы узнать, где это – Сорочино – там тетка жила. И какой-то мужчина меня на розвальнях повез. Там уже снег был, и он довез. И тетку я увидела – копия мама, как не узнать! И она меня узнала, я копия мамы. И так много разговоров ночами было. Очень хорошо принимали. И даже приходили со всей деревни проводить. И с той деревни, где мы с мамой жили, и из другой деревни, где еще одна мамина сестра жила – Агриппина. Она всю ночь со мной проплакала.

Такой добрый народ белорусы. Я сама по характеру резкая, вспыльчивая, но если ко мне по-хорошему, так я все отдам, вся выложусь. Для пользы, для человека. Не люблю ни вранья, ни обманов. Всю жизнь проработала бухгалтером, 37 лет чистый стаж, а никого никогда не обманула, не обсчитала. Все до копейки. И к людям у меня такие же требования.

- Вы пионеркой были?

- И пионеркой, и октябренок была. Комсомолкой была.

- А в партию не вступили?

- Уговаривали на Сахалине. Я сказала: нет. Отказалась. Знала, что я репрессированная, знала, что будут проверять.

- Как вы познакомились с мужем?

- Я на Сахалине вышла за него замуж. Окончила курсы бухгалтеров. И была вербовка на Дальний Восток. Я поехала, так меня сразу в бухгалтерию. На китоккомбинат островной.

- И сколько вы там проработали?

- В общей сложности на Сахалине и Курилах 10 лет. С мужем познакомилась на танцах. Я любительница танцев была. Муж партнер по танцам замечательный: высокий, прямой, танцевал – прелесть.

- А муж откуда родом?

- Пермь.

- А как он оказался там?

- Муж был летчик. В Ейске окончил авиационное училище. Потом его полк расформировали. Мы переехали в Абакан. Там прожили недолго и переехали в Пермь. Его мать уговорила: «Давайте в Пермь». Ну, поехали в Пермь. Он уехал раньше. А я осталась продавать дом. Продала и приехала. Сколько-то сидела дома, потом пошла на работу. А он пошел в военкомат. Его уговаривали, чтобы шел в милицию работать – квартира будет и прочее. Но он сказал: я не пойду, не надо мне квартиры, ничего не надо. И пошел на завод Свердлова.

- А не было проблем с пропиской, город-то закрытый?

- Так я уже на его фамилии была. А он пермяк – солены уши.

- Вы мужу рассказывали о репрессиях?

- Да никаких трений не было. Мой-то отец, наверное, ему рассказывал. Мужские разговоры, за чаркой. Мы идем по своим делам, а они сидят, разговаривают, муж моей сестры еще.

- Отца реабилитировали?

- Да, но он до реабилитации не дожил. В 1972 году умерла мать, парализованная лежала 9 месяцев, он за ней, через шесть дней умер. На Пасху оба умерли.

ЗА НАМИ НИКАКОГО ГРЕХА НЕ БЫЛО

Интервью с Николаем Ивановичем Мешалкиным

- Представьтесь, пожалуйста.

- Я, Мешалкин Николай Иванович, родился 5 декабря 1927 года в селе Ломовка Лунзинского района Пензенской области.

- Расскажите, пожалуйста, о своих родных, о родном селе.

- Отец мой, Иван Акимович Мешалкин, родился в 1898 году. Мать, Мешалкина Анна Романовна, родилась в 1896 году. Они уроженцы того же села Ломовки. Дедушка – Мешалкин Аким Филиппович, бабушка – Мешалкина Матрена Лукьяновна. Брат Леонид Иванович родился в 1929 году. Был еще один брат, но он умер в детстве.

Село большое, церковь. Улица Мещерская, улица Базарская, улица Набережная. В общем хорошее, красивое русское село. О нашем хозяйстве могу рассказать только на основании документов, которые получил, когда стал взрослым.

- То есть документов о реабилитации?

- Вот именно. Дело в том, что мне было 5–6 лет, когда шло так называемое раскулачивание и выселение. Мы жили в большом доме. По-деревенски он назывался «пятистенок». То есть большой дом, разделенный капитальной стеной пополам. В одной половине жили мы с родителями, а в другой – дедушка с бабушкой, их незамужняя дочь да неженатый сын. Вот в справке написано: «Справка дана Ломовским сельсоветом на гражданина Мешалкина Ивана Акимовича... Семья состоит из трех человек: жена Анна, 32 года, сын Николай – 5 лет, сын Алексей – 4 года... Мешалкин Иван Акимович, трактирщик, проживавший в селе Ломовка, 40 лет, русский, грамотный, исключен из колхоза... Имел три лошади, две коровы, восемь овец, надел земли 10 десятин... Имел трактир, пекарню». Вот что было у нашего отца. За что он и пострадал.

Я об этом узнал после, когда потребовалось подать заявление на реабилитацию. Вышел закон о реабилитации жертв политических репрессий, и в нем есть пункт о денежной компенсации за конфискованное имущество.

- А родители об этом не рассказывали?

- Нет. Об этом у нас в семье разговоры не вели. Я знаю, что отец был в колхозе, еще до раскулачивания. Когда семью выселили, дом разобрали, увезли в другую деревню, у нас ничего не осталось. Кроме, может, 5–10 кур. Оставили только конюшню, в которой раньше были лошади, коровы, свиньи. А остались бабушка с дедушкой, которые не подлежали раскулачиванию, да их дочь незамужняя и сын неженатый, которые как бы не относились к нашей семье. Но все равно из дома выгнали всех. Отца с матерью увезли под конвоем на выселение, а дедушка с бабушкой, дядя, тетя – остались. Нас, малышей, тоже сперва не взяли, потому что была зима. Всех переселили в конюшню.

- И сколько вы там жили?

- Два-три года, до того времени, когда мне пришел час идти в школу. Учебный год начал в Ломовке, а потом бабушка меня отвезла к родителям. Родителей выслали вначале в Карелию. Медвежьегорский район. И там был поселок Кярг-озеро. Там жили до начала войны.

Карелия граничит с Финляндией, до границы совсем недалеко. Когда началась война, нас погрузили в товарные вагоны и увезли в Коми АССР.

- Помните тот день, когда к вам пришли сотрудники органов?

- Это было в 1933 году, в ноябре. Забрали отца ночью, мы спали, и нам, детям, не сразу об этом сказали. Когда приехали ломать дом, нас с братом одели, обули и выпроводили из дома, сказали – погуляйте, поиграйте. Доски отдирали, гвозди скрипели, шум такой, и для нас все это было непонятно. Мы и не плакали, не беспокоились. Правда, женщины плакали, слышно на полсела.

Когда все разобрали, погрузили на телеги, увезли – нашлись добрые люди, мастера: в конюшне окна расширили. Это я помню. А потом оставшееся барахлишко – кровати, столы, стулья – затащили в конюшню.

- Расскажите, что помните о бабушке и дедушке.

- Они уже в то время были не работники. Бабушка домохозяйка, дедушка где-то работал в другом селе. Потом он умер – в своем родном доме еще, когда дом не сломали, не разобрали, не увезли. Помню, как мы с ним ходили рыбу ловить. У нас была речка Ломовка. А бабушка всю жизнь – домашняя хозяйка. Она была большая мастерица стряпать. Вкусно готовила! Я потом в своей семье таких вкусных вещей не ел.

- Семья была верующей?

- Да. Все верующие. И мы с братом еще крестики носили, когда были малышами. В церковь нас возили. Были и колокольный звон, и служба, и причастие. А потом церковь закрыли. Когда в школу пошел, я уже ходил без креста. Уже мы понимали, что кресты – это что-то опасное. Надо их снимать.

- Когда родителей арестовали, отношение соседей, друзей к семье изменилось?

- По-моему, нет. Соседка частенько приносила молоко от своей коровы. Когда раскулачили родителей, овцы, лошади, коровы – все конфисковали в пользу колхоза. У нас знакомых и родственников по селу достаточно. Мы с бабушкой куда-то ходили, к кому-то в гости, там обедали. И давали с собой что-то такое – пирожок или булочку. Вот такое было. К нам относились неплохо, без всякого



*Николай Иванович Мешалкин
в возрасте 75 лет. Снимок
сделан 5.12.2003 года.*



*Семейное фото 1931 года. Слева направо:
мать Анна Романовна, брат Леонид,
брат Михаил (умер в 1931 или 1932 году),
отец Иван Акимович, Николай.*

этом думать. В семье разговоров не было о том, что нас раскулачили, что дом отняли, что мы бедные, несчастные. Ну, раскулачили, ну, выселили. Вон целый поселок, три тысячи человек, и все выселенные – из Украины, Белоруссии, из Воронежской области, Орловской области. Со всей страны собрались.

- Это какой поселок?

- Кярг-озеро. Да и деревня так называлась – Кярг-озеро. И наш поселок соответственно. На одной стороне озера там жили карелы – местное население, а по эту сторону озера жили мы, спецпереселенцы. Причем, такие типовые, вполне симпатичные дома там были. Один дом разделен на две семьи.

- А сколько комнат было в доме?

- Одна комната, 4 на 5 метров, в одной половине дома, и такая же

презрения, без насмешек.

- Не слышали такие слова, как «подкулачник», «сын кулака»?

- Нет, ничего такого не было. Товарищи мои с нашей улицы – все хорошие. Вместе в школу ходили. И в школе тоже меня никто не обзывал, не намекал, что я раскулаченный. Относились вполне нормально.

- А скажите, в те годы, когда арестовали родителей, когда сломали дом, пытались понять, почему это произошло?

- Нет. Конечно, потом уже, попозже, когда я уже учился в 4–5-м классе, я стал об



Семья Мешалкиных: Николай Иванович и Эльфрида Готлибовна с дочерьми Ириной и Мариной. Фото 1960 г.

комната в другой. В доме жили две семьи. Все дома были сделаны по одному шаблону. Но это были не бараки. Когда нас в Коми АССР привезли, мы там жили в бараках.

- Расскажите о жизни на спецпоселении в Кярг-озере.

- Там была школа начальная, школа-семилетка и даже средняя школа была. Баня, магазин, пожарная команда.

Нас не смешивали с местным населением. Комендант ходил в военной форме, с наганом на боку. Мы знали, что это комендант. Документов никаких не было, никуда не убежишь, кругом тайга... Уже мы понимали, кто мы такие. Спецпереселенцы. Потом маломальски жизнь настроилась. Мы уже не голодовали, не были оборванными. Но некоторые жили еще беднее нас. Мой сосед с другой стороны улицы, Колька Зайцев, – он даже в школу не ходил зимой, потому что не было валенок. У него фуфайка была вроде бы на голое тело.

- А чем занимались родители в Кярг-озере?

- Отец от рождения сельский житель, хлебороб, пахал, сеял. Но здесь работа одна на всех – лесоповал. Строился Беломоро-Балтийский канал, туда требовалось очень много леса. Короче, отец работал

на лесоповале. А мама не работала. Или работала как-то посезонно. Допустим, летом. Для женщин тоже была работа одна – корчевать пни. Каторжная работа.

- Расскажите, пожалуйста, о взаимоотношениях между спецпереселенцами.

- Мы все были одинаковы, все равны, и, значит, никто никого не упрекал, не делал замечаний. Все знали, что мы спецпереселенцы. Но никто не унижал, ни в школе, нигде. Может быть, взрослые как-то и переживали. Но вида не показывали, что они страдают. И мы не видели, чтобы мать плакала или отец горевал.

Работа, правда, была каторжная у отца, это понятно. И не денежная, и не хорошая. Но мы не понимали, что наши родители страдают. И жили вполне бодро, активно.

- Скажите, пожалуйста, как родители относились к советской власти, были ли какие-то разговоры в семье?

- Разговоров не было. Говорили только, что вот когда-то все это должно кончиться, и нам разрешат вернуться на родину.

- А они не говорили, кто в этом виноват, что они не на родине?

- Мы, дети, в это не вникали. Ну, так получилось... Это было по всей России. Мы знали, что, допустим, нас выслали в Карелию, а вот из той семьи, откуда родом мать, людей тоже выслали, но в Казахстан. Это моей матери сестра замужняя, у нее муж, и еще у них было три дочери. Так получилось, что нас выслали на Север, а их в Караганду. Потом мы узнали, что многих выслали в Коми АССР.

Наши родители ничего такого про советскую власть не говорили. Мы ходили в школу. В школе учитель прекрасно объяснял, что такое советская власть. Там песни пели «Широка страна моя родная...» Все такие патриотические песни воспитательного назначения – все это учителя нам вдалбливали.

- Вдалбливали или вам это интересно было?

- Да, интересно. Особенно история. Ну, Украина, Белоруссия, – все это братские республики. Говорили нам, как любой политработник потом говорил, и в армии, и в ремесленном училище. И в школе каждый учитель был, как политработник.

- Вы гордились своей страной?

- Как же не гордиться, когда мы знали, что Чкалов, Байдуков, Беляков полетели в Америку через Северный Полюс. А Марина Раскова с Валентиной Гризодубовой и Полиной Осипенко летели из Москвы через тайгу на Дальний Восток. Как не гордиться такой страной?

- А были среди них, среди этих людей, герои, кумиры?

- Ну, конечно. Тем более, нам и фильмы показывали: и «Чапаев», и «Пархоменко», и про Суворова, и про Кутузова. А я летчиком хотел быть. Такая мечта. Она оставалась, когда мы в город переехали.

- В какой город?

- Когда работы по лесоповалу в поселке Кярг-озеро закончились, очень много безработных оказалось. Отец переживал, что он приносит очень маленькую зарплату. И ругался как-то, возмущался. А потом, на наше счастье, приехали вербовщики из города. Набирали рабочих на Кондопожский бумкомбинат, недалеко от Петрозаводска. Отец завербовался, и мы переехали в Кондопогу.

Там получили комнату и кухню. Короче говоря, все нормально. Но дело-то в том, что комендант там тоже был. А жители – частью из спецпереселенцев, частью вольные. Отец ходил на работу регулярно. И зарплата, как обещали, 25 рублей в день – по тем временам, в 1939–1940 годы, хорошие деньги.

- То есть там вы себя почувствовали лучше, чем в Кярг-озере?

- Конечно, намного лучше. Это уже был город. И материально лучше. Кондопога хоть и небольшой городок, но все-таки есть магазины. Можно купить мороженое или там морс, выпить стакан квасу. Там как-то интереснее было, чем в поселке, для нас, для детей.

- Вы там более свободно себя чувствовали?

- По-моему, мы, дети, что в Кярг-озере, что в Кондопоге не чувствовали, что за нами какой-то надзор, наблюдение какое-то. Правда, родители ходили отмечаться, но мы в это дело не вникали. Только знали, что комендант есть. Мы его видели каждый день.

- А родители как вообще относились к советским законам?

- Как можно относиться к закону, если их выселили, дом сломали, если приходится жить под надзором. Сказать, что это все правильно, все хорошо – они не могли. Что ж тут правильного, когда их из родного села, где они, все их родители, предки жили, где они на земле работали, любили эту землю, этот край, их выдрали с корнем и увезли на север, в холод.

- Но вы верили в то, что наша страна развивается, процветает?

- По-моему, верили. Вот мы видели по своему отцу: он работал на лесоповале, а сейчас, пожалуйста, в городе на бумажном комбинате работает. На работе у них полный порядок. Воскресенье – выходной. В воскресенье мать устраивала небольшой праздник семейный. Пожалуйста, вам угощение.

- Какое угощение?

- Ну, самая обыкновенная суп-лапша молочная – это уже для нас, для детей, было что-то хорошее. Мороженое покупали. В первый раз купил в Кондопоге, в 1939 или в 1940 году, не раньше.

Еще нужно сказать несколько слов. Меня не раз звали вступить в пионеры. «Ты, Коля, учишься на «пятерки», на «четверки». Почему не пионер?» Я говорю: «Не знаю». – «Давай, думай. Мы тебя примем».

Я отмалчивался. И в пионеры не вступал. Вот брат мой, младший, он любил это – красный галстук, пионерские сборы, всякие мероприятия. Он потом рассказывал: «Я охотно в пионеры вступил, охотно в комсомоле был...» И так далее. И в партию он вступил. А я говорю: «А я нет. Не был ни пионером, ни комсомольцем, ни тем более в партию не вступал».

Это же не просто – повесил галстук и живи. Нужно какие-то там торжественные обещания давать. Получается какая-то нагрузка, какая-то неволя. Это не для меня. В армии я учился в полковой школе сержантского состава, учился хорошо, охотно. А комсомольцем не был. Кто-то пустил слух: «Если кто не комсомолец, то ему звание дадут, а должность нет. Так сказать, сержант без портфеля». И все, кто не был комсомольцем, побежали к комсorghу: «Запишите меня в комсомол!» Ну, тогда я тоже записался в комсомол.

- То есть комсомольцем-то все-таки стали?

- Был. Но только по принуждению. Когда я демобилизовался, мне дали пакет: «Сдашь в комитет комсомола, чтобы тебя там поставили на учет». Я подумал: «На черта мне нужен ваш учет?» Короче говоря, я этот пакет сжег в печке.

- Не боялись, что могут наказать?

- Нет, не боялся. Никто ко мне не приходил, никто никуда меня не вызывал, не допрашивал. А зачем взносы платить? Что мне дает это звание комсомольское?

- Когда вы уехали в Коми АССР?

- Это был 1941 год, война уже шла. Уже немцы окружили Ленинград. Короче говоря, нам объявили, что нас повезут не через Ленинград, а через город Беломорск. То есть повезут на север. Там железная дорога поворачивает на Вологду. А от Вологды уже на Котлас и в Коми АССР. И привезли нас в Сыктывдинский район, в Кряжский лесопункт.

Кряж – это такой поселок барачного типа. И там жили одни лесозаготовители. Это не деревня, не село. Промышленное поселение. Когда все, что положено вырубить, вырубят, поселок бросят. Где-то в другом месте снова поселок построят.

Долго мы ехали. Не сказать, что месяц, но почти что. Потому что шла война. Когда приехали в поселок Кряж, там опять-таки комендант уже ждал. Рабочие пилили сосны, елки, сучки обрубали и увозили на склад. Бревна в штабеля уложены. Зимой бревна возили на лошадях. Вот мой отец этим делом занимался – возчиком был. А в поселке была только школа начальная, может быть, на 5–7 детей, не больше.

- И вы уже не учились?

- Нет, мы уже не учились. Было очень голодно. Давали по карточкам хлеб, немного, 400 граммов иждивенцам и 600 граммов взрослым работникам. Год промучились вот так. Это зима 1941 – 1942 года. Потом мы в семье решили, что надо мне работать... А я несовершенно-

нолетний. Кто-то подсказал: надо идти в ремесленное училище. Там хорошо кормят, там чему-то учат. И мы с товарищем, тоже спецпереселенцем, пошли в ремесленное училище.

- Взяли и ушли? Или получили разрешение?

- Нужно было справку с места жительства и документ об образовании. Справку мне дал комендант. Мать сходила к нему и сказала: «Мой сын идет поступать в ремесленное училище». Он говорит: «Пожалуйста, в ремесленное училище – как не пустить?» Потому что такая была политика – трудовые резервы, значит. Многие кадровые рабочие ушли на фронт, надо готовить замену. Это приветствовалось, когда молодежь шла в ремесленное училище. Так что возражений не было.

В ремесленном училище три раза кормили, жили в общежитии. Мне исполнилось всего ничего – 14 лет. Конечно, было тоскливо. Все незнакомые, все какие-то измученные. Мало того, что незнакомые, еще и недружественные. Всего двое-трое добровольно пришли. Но большинство были как бы по мобилизации. То есть ему объявили в деревне или в селе: «Идешь в ремесленное училище». Он говорит: «Не хочу, не пойду». – «Нет, пойдешь...» Короче говоря, по принуждению привезли в ремесленное училище.

- А вы откуда знаете?

- Потому что они потом убегали. Не хотели учиться. Некоторых возвращали. Говорили, надо учиться, не надо бегать. «Сейчас война идет, порядки строгие, могут осудить за то, что ты убегаешь».

- А они были спецпереселенцы или вольные?

- Нет, все вольные. Из спецпереселенцев я был там один всего.

- И как себя чувствовали среди вольных?

- А ничего. Для них, этих вольных, мы были совсем неинтересный объект. Они все были коми. Правда, по-русски понимали и даже могли разговаривать. В школе их тоже учили русскому языку. Мы не то чтобы были врагами, но они как-то нас вроде не любили. У них почему-то такое мнение, что русские – нехорошие люди. Потребовалось еще долгое время, чтобы как-то в коллективе освоиться. Потом они стали нас уважать. А меня даже выбрали старостой группы! Меня, русского. А потом уже чем дальше – тем лучше все. Ремесленное училище я закончил хорошо в 1944 году.

- Скажите, пожалуйста, когда вы в первый раз услышали словосочетание «враг народа»?

- Это в школе было. В учебнике истории портреты стали зачеркивать – Тухачевского, Егорова, еще кого-то. И было такое выражение: «враги народа». Подробности нам никто не сообщал. Ну, враг так враг. Хотя мне было жалко, допустим, – Тухачевский, красивый такой маршал Советского Союза – и вдруг он «враг народа»! А тем более – как же он до маршала дослужился, если он был врагом?

- И в газетах, по радио об этом, наверно, говорили?

- У нас в поселке Кярг-озеро даже радио-то не было, и газет не было.

- То есть источник информации – это учитель?

- Правильно. Источник информации – это только учитель. Больше никто.

- А в семье об этом говорили?

- Нет, мы в семье это не обсуждали.

- А себя «врагами народа» не считали?

- Нет. Да какие мы «враги народа»? Мы сами себя-то знали, что мы родились в селе Ломовка. Работали на земле, в поле, в огороде. Какие мы «враги народа»? У нас не было даже охотничьего ружья.

- Ну, а то, что раскулачены вы?

- Я не помню, чтобы мои родители что-то там обсуждали, опровергали это дело. Спецпереселенцы – ну что уж теперь? Все зажиточные семьи – они были кулаки. Их так называли. Их надо было всех расселить, выгнать, отделить, изолировать от общей массы населения села.

- И то, что вашу семью раскулачили, это правильно?

- Если бы их не раскулачивали и не выселяли – было бы лучше. Трудлюбивые люди, мастера своего дела. Кроме как помощи колхозу от них бы ничего не было. Пусть бы отняли лошадь, корову, там, овец в пользу колхоза. Но поставили бы работать в колхозе. Отец мой, например, не возражал.

- А колхозы, на ваш взгляд, коллективизация вообще – это полезное, нужное дело было?

- Когда село еще было более-менее прочное, еще там народ был, работники были хорошие, здоровые, чувствовалось, что люди живут хорошо. Хотя они это не в колхозе нажили, это у них еще старые запасы были. А вот после войны, когда много мужчин погибло, остались одни женщины, наше село – оно втрое уменьшилось по количеству населения и по количеству домов. Многие во время войны уехали, кто куда мог: где-то на железную дорогу устроились работать или в Пензу на завод, на фабрику. А колхоз беднел и беднел. Дело в том, что в войну все из колхоза брали, все, что можно взять. Все для фронта, все для победы...

Короче говоря, мать моя съездила туда. Потом говорит: «Съезди, посмотри. Какое наше село стало бедное, убогое». Дома – у кого были большие – их стали переделывать на маленькие почему-то. Многие совсем уже развалились. Они уже брошенные, только на дрова. Я ездил на родину в 1956 году, через 11 лет, как война кончилась. У нас был клуб еще до войны – бывший поповский дом. Так вот, через столько лет – все тот же дом, в который входит 50–60 человек, а остальные через окно смотрят...

У всех свои дома были прежде, свои усадьбы. И поп тоже имел свой дом. Но потом попа или расстреляли, или выслали, или в тюрьме сгноили, но дом-то остался. Его конфисковали, обобществили. Так же как, допустим, обобществили наш дом. Нас выгнали. А дом оставили бы на месте. Нет! Его разобрали по бревнышку, увезли в другое село, и там из него то ли детсад сделали, то ли школу.

- Вот это обобществление – оно нормальное, полезное явление?

- Что тут полезного-то? Уж если нужно было в том селе построить школу, так надо строить школу. А что это за школа, если обыкновенный жилой дом. Этот дом-то и на школу не похож.

- Ну а колхозы – они какую-то пользу принесли?

- Нет. Вот сколько уже об этом говорили, писали, про тысячи «мертвых» деревень. А там раньше были колхозы. Деревня жила, был народ, мужчины, женщины, семьи, дети, внуки и так далее. А сейчас деревня пустая. Живут только лишь два старика-инвалида или две старухи. Об этом сейчас уже, не скрываясь, говорят, что работали дарма в колхозе. Я вот помню, мой дядя в конце года полмешка домой принес то ли ячменя, то ли какой-то крупы. Это он заработал за все лето.

Я ездил в 1956 году в родное село. Там у матери брат с семьей жил. Мой племянник, ему было уже 16 лет, летом работал прицепщиком у тракториста. И он мне рассказывал с гордостью: «Я все лето работал! Заработал себе на брюки!» Он на штаны заработал за лето. И больше ни денег, ничего.

- Давайте сейчас вернемся немного назад к годам войны. Вы на кого учились в ремесленном училище?

- На кузнеца. Когда ремесленное училище закончил, нас, тех, кто 1927 года рождения, всех направили в Воркуту. Предполагалось, что осенью возьмут в армию. А мы были до того голодные, до того отощавшие – еле ноги таскали. Потому что в ремесленном училище кормили плохо. А я кузнец, кувалдой работаю целый день. В Воркуте мы работали на заводе. Там порядки строгие. Но очень хорошая была норма питания, хотя и по карточкам. Короче говоря, в Воркуте нас подкормили, мы выросли, окрепли. И я был уверен, что еще на войну попадем.

- А где вы работали?

- На ремонтном электромеханическом заводе, который обслуживал всякими ремонтами шахты. Там, в Воркуте, шахт много. Тогда, в 1944 году, там и заключенных было много. И на заводе тоже работали.

- Ваш отец был на фронте?

- Нет. Отец на фронте не был. Спецпереселенцев на фронт не брали. Брали их детей. Вот мне подошло время – 17 лет исполнилось – пожалуйста, получай повестку и иди на сборный пункт.

- Но вы ведь тоже спецпереселенец?

- Да. Ну, вот там, в документе, указано, что я освобожден от надзора в 1944 году. Это означает, что в 1944 году меня взяли в армию. В ремесленном училище тоже меня не тревожили отметками в спецкомендатуре.

- А в армию разве с 17 лет призывали?

- Да. Ребят 1925, 1926 и 1927 года рождения брали 17-летних.

- Вы хотели идти на фронт?

- Я хотел идти на фронт. Потому что это Воркута, я там не хотел жить. Крайний Север, тундра. Завод сам по себе неплохой, но кузнецом работать я не хотел. Отец всю жизнь работал с бревнами. Это каторжный труд. А мне досталось – с кувалдой работать. Я мечтал быть или шофером, или летчиком. И когда получил повестку в армию, обрадовался: ну вот, наконец-то от кувалды освобожден. В армии попал в пулеметную роту. А хотел в танкисты или в шоферы. Танкист – это все-таки лучше, чем пехотинец. Но попал именно в пехоту пулеметчиком.

Уже шел декабрь 1944 года, потом январь 1945 года пошел, февраль, март. А в апреле приехали вербовщики и говорят: «Мы собираем из вашего полка роту для отправки на фронт в войска НКВД. Берем только добровольцев, без всяких приказов, без принуждения. Подходите к столу, записывайтесь». Я сперва не хотел. Потому что было такое мнение у нас, у 17-летних, что война скоро кончится, и нас освободят из армии. А пойдешь на фронт, неизвестно – вернешься или нет. Но взводный говорит: «Ну, что вы, ребята, что вы? Смелее, смелее!» А один молодой человек сказал: «Ребята! Пойдемте! Там мы хоть досыта поедем». Ну, ребята вроде бы взбодрились и пошли валом к столу записываться добровольцами на фронт. И я тоже записался.

Попали мы не туда, где стреляют или в атаку ходят. Попали в войска правительственной связи. И наше дело было – в прифронтовой полосе восстанавливать разрушенные линии связи: столбы, провода, изоляторы. В руках лопата, лом, кирка-мотыга. Это был Второй Прибалтийский фронт. В Латвии сопротивлялась так называемая Курляндская немецкая группировка. Второй Прибалтийский фронт ее удерживал в блокаде. Там действовали и войска связи. Но мы только слышали бомбежки, видели, что танки идут или пленных ведут. Но сами в атаку не ходили.

- А вы хотели этого?

- Нет, не хотел. Если и хотел, если раньше и мечтал, то воевать в танке, а так, чтобы в атаку ходить, – не мечтал. Война скоро кончилась, и весь полк погрузили в эшелон и повезли на Дальний Восток. Предполагалась война с Японией. На территории Китая мы тоже какую-то линию связи обслуживали, которая построена не нами, а японцами. Скоро нам объявили, что Япония капитулировала.

Мы вернулись из Китая обратно на свою территорию. Это было там, где теперь город Уссурийск. А тогда он назывался город Ворошилов. Год я был на Дальнем Востоке. В Корее был. Корейцы к нам относились хорошо. Не как к оккупантам, а как к освободителям. Приветствовали, даже бесплатно в парикмахерских обслуживали, в бане. В общем, в Корее мы были полгода-год. Просто как войска освободителей. Мы, конечно, так себя и считали, потому что нам же говорили, что Корея была оккупирована японцами, японцы относились к корейцам очень нехорошо. Правда, в Китае китайцы как-то к нам относились, по-моему, равнодушно. Я помню, нужно было линию нам тянуть, провода размотать. Нас было немного. Так мы приглашали китайцев помочь. Они нам помогали. В общем, они тоже были мирные, спокойные люди.

- Вы никогда не стремились именно на фронт, на передовую?

- Нет. Дело в том, что к тому времени, когда я попал ближе к фронту, там наши войска уже имели опыт боевых действий, уже там были 1925 года рождения, 1924 года, 1923 года. А мы, 1927 год, мы же были подростки почти что. Мне даже рассказывали фронтовики. Они спросят меня: «Какого года рождения?» Я говорю: «1927 года». – «Знаю, – говорит, – были у нас такие, пополнение 1927 года. Так командир полка сказал – их в атаку не брать. Они же еще неопытные, бестолковые. Убьют сразу, и все. Что от этого, какая польза?»

- А вообще гордитесь тем, что приняли участие в войне, хоть такое?

- Да. Нам командиры все время напоминали, что мы чекисты, мы выше на голову пехотинца, допустим, или других родов войск. Этим надо гордиться, что в основе наших войск были ЧК, Дзержинский. Вот в таком духе нас воспитывали командиры.

- Вы были сын кулака, а в войска НКВД сложно было попасть.

Вы в анкете что писали?

- Что я из рабочих.

- А если бы написали «из спецпереселенцев», что было бы?

- Не знаю. Скорее всего, меня бы отчислили обратно куда-нибудь в пехоту. Я в армии отслужил шесть с половиной лет. За это время меня никто ни о чем не спрашивал.

- Вы не задумывались над тем, что НКВД – это те войска, которые занимались репрессиями? Репрессировали ваших родителей?

- Это я даже не знал. Когда служил в армии, это же были технические войска, войска НКВД разные бывают. А наши войска – они же рабочие. Связисты. Вот мы линию построили – по этой линии ставка Верховного главнокомандования разговаривает со штабом фронта. Вот так нам говорили, чтобы мы чувствовали ответственность за свою работу и гордились. Может, даже сам Сталин говорит с кем-то из ге-

нералов, командующим каким-то фронтом. Я лично этим гордился, да и все товарищи. Все мы были дети рабочих и крестьян, у нас было образования по 4, по 5 классов – не больше.

- Когда Сталин умер, вы уже демобилизовались?

- Уже был дома. Объявили, что в 12 часов будут гудки гудеть. Мы знали, что сегодня день похорон Сталина. Тогда было уже радио везде. А я работал в Усть-Локте – это такое место, где идет ремонт буксирных катеров. А дело было еще в марте, катера стояли на суше. Жил я один, в общежитии. Короче говоря, ничего особенного. Помню, конечно, что пол-литра я купил. Я не плакал, допустим, там, не горевал особенно. Ну и что – умер Сталин? Кто-нибудь есть же у нас там вместо него. Мы дети рабочих и крестьян – чего нам бояться, что будет какая-то трагедия? По-моему, ничего такого не было.

- Когда вернулись из армии, то снова стали спецпереселенцем? Вас поставили на учет?

- Нет. Ко мне никто никаких претензий не имел. Я был обыкновенный, вольный рабочий.

- А родные, отец, мама, брат?

- Мама была на учете. А брат к тому времени в армию ушел. Папа умер в 1943 году.

- Служба в армии сняла с вас ярлык спецпереселенца?

- По-моему, да. Армия мне как бы помогла стать нормальным человеком, не спецпереселенцем или раскулаченным.

- И чем стали заниматься после армии?

- Представьте себе – пошел учеником электромонтера. Хотя у меня был документ, что я линейный надсмотрщик первого класса. Линейный надсмотрщик – это имеется в виду тот, которую линию осматривает воздушную. И мне сказали: «Пойдешь в линейный узел связи в городе, и тебе будет зарплата 960 рублей». А 960 рублей в 1951 году – это были большие деньги. Когда я пришел в линейный узел связи, мне сказали, что зарплата будет не 960, а 460 рублей. Я говорю: «Это не пойдет». – «Ну, не пойдет – как хочешь. Вон там, за рекой есть ремонтно-механические мастерские, там электрика могут взять, тем более ты по столбам умеешь лазить. Могут взять тебя или как связиста, или как монтера». Вот я и пошел туда.

- А скажите, пожалуйста, при каких обстоятельствах вы познакомились со своей будущей супругой?

- Тут ничего такого романтического, интересного нет. Просто время подошло – жениться и замуж выходить.

- Вы знали, что она немка?

- Знал. Ну и что же? Ничего. Тут у нас полно таких вот. Мужик один, мой товарищ, русский, а взял в жены коми. Другой немец, а у него, я знаю, жена русская. Ну и что ж? Немцев, которых выселяли, их ведь не считали «врагами народа». И нас, раскулаченных, тоже не счита-

ли. Нас не по суду выселяли. Вот в документах написано: решением «райтрройки» Лунзинского района. Была какая-то «райтрройка». Я не знаю, кто в эту «трройку» входил, но они имели право решить – раскулачить и выселить со всеми членами семьи. Но нас, мне кажется, врагами не считали. А «врагами народа» считали тех, которые были арестованы. Обыск, арест, следствие, применяли к людям репрессивные средства. Били, короче говоря, спать не давали. К ним относились очень жестоко. Я читал книгу «Архипелаг ГУЛАГ» Солженицына. Вот у него, по-моему, все – правда, и все очень подробно написано.

- Что девушка ваша тоже репрессированная, знали?

- По-моему, знал. Там, где мы жили, все немцы были репрессированные.

- Когда вы узнали, что она была вместе с семьей депортирована?

- Давно. Про немцев Поволжья писали где-то. Или в газете, или по телевидению был такой разговор. Были какие-то такие сведения.

- Не спрашивали у нее, как она оказалась в Сыктывкаре?

- Мне это было тогда неинтересно. Мы молодожены, у нас медовый месяц. Совсем другой интерес.

- А сами ей не рассказывали, что вы из семьи спецпереселенцев?

- По-моему, нет. После смерти Сталина уже очень много можно было вслух говорить. И что-то спрашивать, и что-то объяснять. В 1956 году уже были совсем другие темы для разговоров. Тогда были в Венгрии какие-то выступления против коммунистов, венгры хотели избавиться от коммунистического руководства и хотели сделать такую же демократию, как, допустим, в Австрии, во Франции.

- Откуда об этом узнали?

- Об этом говорили и по радио, и особенно «Голос Америки». Радиоприемник у меня был.

- Вы слушали «Голос Америки»?

- Слушал.

- За это ведь наказывали.

- Не знаю. Приемники работали, правда, глушили, но иногда «глушилки» молчали. Пожалуйста, слушай. И «Голос Америки» слушали, и Лондон – «Би-Би-Си».

- Почему работали «глушилки»?

- Потому что была такая политика, мол, у нас все хорошо, и люди не должны ни о чем беспокоиться.

- Вы верили, что у нас все хорошо?

- Не верил.

- Скажите, когда вашей маме выдали паспорт?

- Она мне прислала в армию письмо, сообщила, что получила паспорт, что ее сняли с учета. Или это было, когда я вернулся из армии в 1951 году? К тому времени она уже была больная, инвалид.

- Не пытались в 1960-е годы писать в архивы, куда-то еще, для того чтобы родителей и вас реабилитировали?

- Нет, куда мы не писали, никаких жалоб у нас не было. За нами никакого греха не было.

- А почему в 1990-е годы стали писать?

- Это уже на основании закона, в соответствии с законом. В законе было сказано, что подлежат реабилитации репрессированные. Кажется, так и было там написано – раскулаченные. Или просто выселенные. А потом вышел второй закон, как дополнение к первому. О компенсации конфискованного имущества, включая дом.

- Еще вопрос о знакомстве с женой – вы видели в ней более близкого друга, потому что она тоже репрессированная?

- Правильно. Я это называю солидарность. Было чувство солидарности с этой женщиной, что она тоже пострадавшая и репрессированная. Я думаю, что и у нее такое чувство было.

ЭТО НЕ ВЛАСТЬ, А ПРЕСТУПНИКИ

Интервью с Антониной Михайловной Моисеевой

- Представьтесь, пожалуйста.

- Антонина Михайловна Моисеева. Я 1927 г. рождения. Моя девичья фамилия – Костикова. Родные все в Саратовщине. Я там родилась в славной деревеньке Чеганак. Отец у нас был председателем поселкового совета, его выбрали после Гражданской войны, потому что он вызывал доверие, был грамотный, эрудированный. Пропадал сутками на работе. Не пил, не курил, и вся его родня непьющие и некурящие.

Я старшая из детей, они совсем маленькие были. А теперь уже ушли из жизни. Я одна осталась из нашей семьи.

- Расскажите об отце.

- Отца звали Михаил Иванович Костиков. Он 1897 года рождения. Прошел Гражданскую войну, а в Отечественную ушел добровольцем, чтобы искупить какую-то непонятную вину – он раскулаченный. Я нашла потом папино заявление о том, чтобы его взяли добровольцем на фронт. Папа сказал: «Я иду на фронт, чтобы оправдать себя, я не виновен, я должен чувствовать, что я гражданин Советского Союза». А вернулся – 17 ран, череп пробит, терял сознание, память, долго не приходил в себя. Доставали осколки, лечился в трех госпиталях Москвы.

Когда я повзрослела, – родителей уже на свете не было – решила, что надо, наконец, узнать точно, за что отец и семья наша пострадали. Мы жили в Чеганаке, это Аркадашский район. Там поблизости жили хорошие, трудолюбивые люди – немцы (Республика немцев Поволжья, Саратовская область – ред.). Отец тоже трудяга. Хоть он и был

руководитель, но и частное хозяйство имел, от деда перешло. Жили все вместе, папа строил дом, и тут нас решили раскулачить, за что – непонятно. И материалы, что я получила из саратовского архива, не помогают. Овечки были, куры, дом, лошадь, корова. Еще обозначена машина какая-то, я думаю, это прялка. И хлеб – полтора пуда. Мебель папа сам делал, деревянную.

Мамочка рассказывала, что когда нас забрали и повезли на Урал, то папе даже не дали сменную рубашку – в чем были, в том и увезли.

- Вас раскулачили в 1930-м?

- Материалы относятся к 1929 году, а увезли, может быть, и в 1930-м. Не могу сказать, мне было всего три года. Оттуда началась кампания раскулачивания – с Поволжья.

- А детские воспоминания о доме остались?

- Я помню красивый сад, где я бегала, помню постройки и подвал. В подвале у нас хранились моченые яблоки. Все хорошо устроено, аккуратно. И еще помнится, как родственники к нам приходили, маме помогать надо. Дедушка звал меня: «Дочка, принеси травки для подушки». Это он травкой, как подушкой, обкладывал яблони. Или еще: «Дочка, принеси крупные яблоки, антоновские». Я беру своими маленькими ручками, еще не обхватывали они большие яблоки. Несу деду.

В семье и прадедушка жил. Дед и бабушка, отец с братьями и сестрами. Мама. Нас трое появилось. Теснота! Но дружная семья была. Любили, уважали стариков. Папа и мама их называла по имени-отчеству всегда. И между собой было принято называть всех ласковыми именами – Фенечка, Манечка. Выпивок дети не видели.

Когда нас освободили и когда папа с войны пришел, так было тяжело... Но – ни рюмок, ни табака. Раз и навсегда распределены обязанности. Мужчины должны работать в поле. У женщин хватало дел дома. Нужно кухней заниматься, продукты заготавливать, огород поддерживать. О детях заботиться. Рукодельничать. Мама моя, например, вязала ажурные платки, всех обвязывала: и сестер, и теток, кто зайвочку даст.

Нас всех воспитывали одинаково. Ни грубостей, ни ссор. Все трудились. У всех распределены грядочки. Это Сашина грядочка – он очень хорошо полон. Эта Володина, эта Валина. Я и сама воспитывала так своих деток. На работе от зари до зари. Детям записочку пишу: сделайте то, то и то. Приезжаю – все сделано. Оставляла им только еду. Они оценки друг другу ставили за дежурство. И если тройку получил, – дежурь еще раз. В конце концов дети всему научились: ремонтировали квартиру, рубили дрова, строили, шили.

Папа у нас был умница. Ему грамоту дали по окончании 4-го класса, обещали в гимназию принять. Но бабушка сказала: «А кто будет работать в поле?». Так и остался аж до 1929 года, пока его не забрали. А он даже в ГУЛАГе учился. Изучал иностранный язык, математи-

ку. Его окружали хорошие люди, профессора, научные работники. На расстрел людей водили. Отец переживал, что до него очередь дойдет, и его поведут. Каждый вечер, каждую ночь кого-то уводили.

Мимоходом папа рассказывал об этом, но осталось осадочком у нас. Он рассказывал маме, потому что и она тоже отбыла свое. Рассказывала, что женщины были малограмотные вокруг, не обученные ничему, а вот мужчины – грамотные, умные люди. Никакой за моими родителями вины. Если бы эти люди сохранились, если бы не раскулачивали, не переселяли, страна была бы сегодня богатая, и дети получили бы наследство. У меня дочка замуж выходила, мы не могли ей приданое дать. Образование – единственное, что они смогли получить. Две дочери инженеры, а третья педагог.

Когда отец вернулся, ему поручили вести ликбез, это были 1933–1934 годы. К нам приходили совершенно неграмотные люди. И он вел занятия. Периодическую печать получал, следил за газетами. Собирали библиотеку. Его очень хвалили. Я недавно написала в Чусовское районо, чтобы не забыли, что один из первых курсы ликбеза вел Михаил Иванович. Еще назвала ряд фамилий, сколько помнила, но они не откликнулись.

Мама была домашняя хозяйка. Потому что четверо детей, нужно же хозяйство вести. Тихонечко завели козу, затем корова появилась. Покос был. Мама главная дома. А папа работал в бухгалтерии, уставал. Но и в хозяйстве помогал прилично. Сам построил дом. Перед войной как раз, деревянный.

Дедушку по маминной линии сослали на Соловки. Она часто говорила, когда не слушались, мне и моему братику Володе: «Вышлю на Соловки». С Соловков никаких вестей не было. А дед по отцовской линии сгинул в Караганде. Бабушка умерла в тот момент, когда вещи уносили при раскулачивании. Мне кажется, это не советская власть, а преступники.

Родители были религиозные, знали все молитвы. Папа особенно знал. Он говорил, спроси его посреди ночи, все прочтет наизусть. Но я не видела, чтобы они молились. Они сказали: «Чему вас учат в школе, тому и учитесь, а это, может быть, и не обязательно». Я с трудом выучила несколько молитв, иногда молюсь по вечерам.

А вот внучка моя, от средней дочки, ушла в монастырь. Говорит, это ее путь. Сказалось, наверное, что все наши родственники были религиозные. Церковь недалеко. Нас троих окрестили. У мамочки была одна икона, видно, она ее давно приобрела. Оставила ее мне в наследство. Мы ходили в храм к внучке, и матушка Мария дала мне несколько молитв, я ей очень благодарна. Я их выучила наизусть. А муж у меня читает Псалтырь вечерами. Просит у Всевышнего здоровья.

Мы все учились. Папа пришел с фронта, чтобы детей выучить. Саша стал летчиком, последнее время преподавал в политехниче-

ском институте, в горном техникуме. Теперь уже ушел из жизни. Я получила высшее образование – сельскохозяйственное. Проработала 20 лет в агрономии. Затем агрономы не стали нужны, их сократили, пришлось переквалифицироваться. Пять лет училась и стала преподавать в домах культуры, школах, клубах прикладное творчество. До сих пор работаю. 52 года стаж – 20 лет агрономический, 32 – педагогический. Хотела уйти, но руководители убедили: «Не бросайте детей». И мне пришлось остаться. Дети любят со мной работать.

- Ваш отец никогда не был партийным?

- Желания, видимо, особого не было. Когда ушел на фронт, там ведь их агитировали. Партийному больше доверия. А он все равно не вступил.

- Как он относился к советской власти?

- Хорошо относился.

- Несмотря на высылку семьи, раскулачивание?

- Да, несмотря на это. Он был оптимист. Раскулачили, наказали, – когда-нибудь разберутся. И разобрались. Он заново все начал. Боялся только расширить свое хозяйство. Маме наказывал: «Не сади смородину! Отберут! Не сади столько картошки – отберут!». Мама тихонечко уйдет в лес, полянку раскопает, – посадит. Осенью картошечка своя. Папа сердился, боялся, что отберут, а так не осуждал.

- Куда вывезли вашу семью сначала?

- Сначала вывезли в какую-то деревеньку, там было два или три дома. В Саратовской области. А потом на телеге куда-то. Брат еще только начал ползать. По дороге ехал мужчина, и, помню, наехал на него, схватил за ножку и кричит: «Кулацкое отродье, что ты тут ползаешь?»

Помню, как мы ехали в вагоне. Как мама меняла пеленочки Саше. Приехали на Всесвятскую (Чусовской район Пермской области – ред.), в барак. Он клопный был, и мама каждый вечер заваривала клопов кипятком из чайника, чтобы они не кусали нас. Спали на нарах. Мы, дети, думали, что это и есть нормальная жизнь, и не беспокоились как-то о будущем. Быть рядом с родителями – вот и все счастье.

Там много народу было, много крестьян. Только вот ученые почему туда попали, не знаю. Вышки наблюдательные хорошо помню. Колючая проволока. Мама с папой уходят, нам наказывают: «Не ходите никуда, медведи съедят». Даже за ягодами не выйдешь.

- Когда вас привезли в Чусовой, чем занимались родители?

- Мама в столовой работала и шила простейшую одежду. Из мешковины. А папа заготавливал лес. Помню, заболел от тяжелой работы. Его отправили в городскую больницу. Ему там сделали операцию.

Потом кончилась барачная жизнь, людей стали отпускать. У нас не было документов. Их отобрали, когда раскулачивали. Я в школу поступала, у меня не было документа. Поступала в институт, а у меня документа нет, свидетельства о рождении нет.

Папа отмечался в спецкомендатуре каждый месяц, и у него паспорта не было. И у мамы – тоже. Только после войны мама его получила, и папа пришел с войны, тогда только паспорт получил. Я получила свидетельство о рождении только в 1944-м. И то только благодаря тому, что папа воевал и сделал запрос в Саратовщину, написал, что дети без документов. Три свидетельства нам выслали.

В школе меня не принимали ни в октябрята, ни в пионеры, ни в комсомол. Знали, что я – человек высланный. Учителя давили, а дети меня любили, и все спрашивали: «Почему Тонечку не принимают, пусть она будет с нами».

- А было ощущение ущербности? Что вы не такие, как все?

- Да, было. Почему другим можно, а нам нельзя? Непонятно. Без документов – почему? Почему никуда шагу не ступить? Честно говоря, легче на душе стало лишь когда узнали в 1991 году о реабилитации. Стали писать, что-то узнавать. Писали в Саратов, ходили в УВД. Три или четыре года переписывались. Сначала получила бумаги о реабилитации папы, потом пришел ответ, что и я реабилитирована. Я еще просила реабилитировать брата и сестру. Пока оформляли документы, они умерли.

Война закончилась, и я пошла учиться в сельхозинститут. Приехала в Пермь, училась на дневном отделении. Хотела стать агрономом.

Жили в общежитии, по восемь человек в комнате. В свободное время занимались спортом и художественной самодеятельностью. Я, например, была в хоровой студии, занималась лыжным спортом и легкой атлетикой. Были смотры художественной самодеятельности. На одном таком смотре с будущим моим мужем познакомилась, он играл на аккордеоне.

Я тогда не знала, что он сидел. Отсидел и сразу занялся наукой. Дядя Моисеев Александр Кузьмич помог. Обязательно надо, говорит, получить высшее образование. Подарил ему брючки с заплатами сзади. И Борис Иванович в одних этих брючках на отлично закончил институт.

У них семья добрая, все либо врачи, либо учителя. Когда мы решили пожениться, у меня на руках уже было направление в Казахстан. Я пошла в областное управление сельского хозяйства. Вместе с мужем. Они мне дают направление в семеноводческое хозяйство – совхоз «Первое мая». Пермь – Серьга, это в Пермской области. Туда требовался специалист.

Приняли хорошо. Председатель хозяйства был сын «врага народа». Это я уже потом узнала. Мы с ним поддерживаем связь, он сейчас живет в Москве. Проработала в совхозе 11 лет. Жили с мужем, он в райисполкоме работал, а я на полях.

А потом началось дело с премией. Шел 1953 год. Умер Сталин. А тут мне решили дать государственную премию за успехи в сельском

хозяйстве. Документы специально оформляли, послали в Москву, и премия пришла. Бухгалтер даже поздравил, а потом раз – премии нет. Написала в министерство: почему премия задерживается? Прислали корреспондента, чтобы разобралась. Кто-то мешал. Какой-то Мелехин в райисполкоме был против, он временно исполнял обязанности председателя. Заявил, что я не заслужила государственной премии, и начал фабриковать нелепые обвинения. Но корреспондент разобралась. Меня оправдали. Из областного управления сельского хозяйства приезжал начальник. Итог такой: выдали 1/6 премии.

А объяснение простое: я дочь «врага народа».

- А второй арест Бориса Ивановича с чем был связан?

- У нас были семенные участки. Эти семена должны были оставаться в совхозе. А у них план был по заготовкам зерна, и они ринулись на меня. Поставили мне в вину, что я сдерживаю хлебозаготовки. Но будто виноват мой муж. А он и не знал ни о чем. У нас ведь сохранная записка выдается кладовщику, что семенной материал засыпан. А они кладовщик эти семена бережет. Потому что это элитное зерно. А они ночью послали машину и увезли это зерно. Кто дал указание? Райисполком. Узнаю на утро – у меня чуть не инфаркт. Звоню им, спрашиваю: «Куда вы его засыпали?» Они говорят, что в отдельный сусек. Съездила, посмотрела – правда. «Вы должны нам его вернуть, это ведь семенное зерно». Пришлось им вернуть.

А мужа арестовали, будто бы он мне мешает, сдерживает поставки. А это ведь моя работа, а не его. Он мне потом уже рассказывал, как сидел две страшные ночи.

Был такой человек – Чайников, жил в деревне и обо всем докладывал в КГБ. В частности, обо мне. Однажды приезжают из органов и говорят: «Вы крадете зерно». Я спрашиваю: «Когда, где и куда? Зачем мне красть зерно?» А вот, доложил житель деревни Чайников. Они не скрывали, чей был донос. Я говорю: «Давайте разберемся. Если я беру на проверку в контрольно-семенную лабораторию, то там должен быть килограмм зерна. У меня на все акты в папочке. И копия акта в контрольно-семенной лаборатории». Разобрались...

Все знали, что Чайников доносчик. Он однажды мне угрожал. Шли на поля проверять всходы, шли перелеском вместе с председателем сельсовета, и этот Чайников сказал: «Подожди, мы где-нибудь под кустиком тебя закопаем». Анна Васильевна, женщина, председатель сельсовета, сказала: «Не ходи-ка ты одна, он ведь все может».

- Расскажите, как вы вступали в партию.

- Это было тоже в 1953 году. Меня ведь не приняли. Двух учительниц приняли. А по поводу меня опять сигнал, что я дочка «врага народа», «кулацкое отродье». У нас секретарь парторганизации был хороший человек, самостоятельный. Но сорвалось. Ведь в органах все известно. Я не знала, а они сообщили.

- Как Вы отнеслись к смерти Сталина?

- Все плакали и я тоже... Ведь нам за многие годы внушили – его надо почитать, как бога. А потом пробуждение наступило – зачем мы плакали, ведь человек столько зла сделал? Не знаю, конечно, как относиться к партии, но я и от нее ничего не получила. Работали лучше, чем партийцы. А зарплаты самые маленькие. Мы ничего не говорили, молчали. Жили надеждой.

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

Интервью с Алексеем Васильевичем Шубиным

- ...Родился я в 1918-м году, в Пензенской области. Семья большая. В 1927-м году нас раскулачили, отца забрали, посадили, после этого он вскоре умер. У нас все отобрали. В 1931-м году я приехал в Пермь. Здесь работал брат, он вызвал нас, потому что деваться было некуда. С 1931-го года я проживаю здесь. В 1939-м году ушел в армию, служил на Дальнем Востоке. В армии служил хорошо, был отличным стрелком. Выбивал по 30 очков из 30 возможных, лучше уж некуда. Из винтовки выпуска 1916-го года, еще царской.

А еще стал отличным водителем, благодарности получал перед строем. В 1941-м году выехали мы в полевые условия, в лагеря. Я возил начальника артиллерии корпуса. Заправлял как-то машину, пришел дневальный, сказал, что вызывает комбат. Вытер руки тряпкой, пошел. Прихожу, докладываю, смотрю, сидят два «особиста», они всегда маскировались под политруков, с такими звездочками, но я их видел, они часто отирались в части, нюхали тут, ходили. И так приторно улыбались.

Мне что-то сразу стало нехорошо. Один подает мне бумажку, я смотрю – ордер на арест. Ну что? Сразу петлицы спорили, погонов-то еще не было. Комбату говорят: «Иди в казармы, загони всех в «красный уголок» и не выпускай, пока мы не уйдем». Даже дневального сняли, – всех туда.

И, один по одну сторону, другой – по другую, прошли на гауптвахту, там тщательно обыскали. Ну вот, меня затолкнули в камеру; стоит железная кровать, на ней три доски, и больше ничего. Метра два в ширину, под потолком окно маленькое, решетка, стекла нет. Декабрь. И вот я месяц прыгал в своей старой шинели, негде согреться – зима, снег задувает в форточку. И всего несколько раз позвали на допрос. Обвинения никакого, не к чему прицепиться. Сказали, что я выразился неласково, глядя на портрет «вождя всех народов». Конечно, глупость. Вы не знаете, а люди в то время жили в животном страхе, даже друг с другом не секретничали, не откровенничали, не говорили, а тут, чтобы вслух сказать, глядя на портрет, да что ты! Когда за анекдот по 25 лет

давали. Ну что, следовательно сразу заявил: «Будешь сознаваться, или колоть будем!».

- Колоть?

- Да, колоть. «Кулацкое отродье будет уничтожено, так и знай», – больше ничего в деле нет. Оказывается, до меня еще двоих посадили, и их заставили про меня сказать, про этот портрет. Так было уже заведено, что каждый арестованный должен притащить за собой двоих еще. Месяц просидел, а после отвезли в город Ворошилов, в областную тюрьму. Город Ворошилов, но тюрьма почему-то называется Уссурийская. Там я просидел год, в камере 75 человек нас было. Спали и на нарах, и под нарами. 75 человек, камера рассчитана на 15.

И за все время ни разу не вызвали ни на допрос, никуда. Шесть писем я писал начальнику тюрьмы, чтобы отправили на фронт, – ничего. Я ведь уже подготовлен, готовый солдат! И это в такое время, – конец 1941-го года, – когда такое положение под Москвой, под Ленинградом. И вот кадровых солдат, уже прошедших службу, загоняли в тюрьмы. А под Москву посылали 18-летних птенцов, и что там из них делали, понять несложно.

Через год вызывают в коридор, там тумбочка стоит, говорят: «Вот, распишись здесь». – «В чем, как, что?». – «Да расписывайся и сразу пойдешь». – «Если расписываюсь, так хоть знать, за что?». – «За что, за что, 10 лет тебе». – «Как же, суда не было!». – «Да, еще судить вас тут всех по одному, что ли, будут!».

И все, в лагерь. В Сибирь, на станцию Тайшет, на лесоповал. Зима, самый разгар зимы. На ноги давали из автомобильных покрышек простроченные чуни, кое-какие портянки, и на целый день в тайгу, по пояс в снегу. Люди умирали, падали на ходу. Идет человек, упал, собаку спустили, если не поднялся, идут дальше, потом подберут.

И так продолжалось почти до весны. Очень-очень много погибло людей, они были истощены до того, что просто скелеты. Видели кадры Бухенвальда, Освенцима? То же самое. Идет человек, думаешь, неужели он живой идет. Вот я метр восемьдесят ростом, у меня было 37 килограммов.

И вот бог, видно, спас. Совсем безнадежных, как я, стали активировать, как это называли. Пусть умирают там, за забором. Я попал в число безнадежных. На четвереньках выполз за ворота. Правда, домой не пускали, нет, кого в Казахстан, кого в Сибирь, на высылку.

Я попал в Казахстан, под Алма-Атой есть станция... по-казахски – Три холма. И столько там такого народу, доходяг освобожденных было! Есть нечего, работать не могут. Вот так я с палкой вышел, две ночи ночевал на скамейке в сквере, там хоть тепло. Думаю, все равно надо куда-то определяться, так пропадешь ни за что в 22 года.

И мне во второй раз повезло, попал на человека, – случайно встретился мне. Он сказал: «Пойдем, я постараюсь с главврачом больни-

цы поговорить (там железнодорожная больница была), может, он тебя куда-нибудь устроит». Но ничего делать, работать я не мог. Почему-то, я не знаю, мне поверили люди, дали место в прихойей переночевать. Утром пришел к главврачу, он посмотрел, ну что, я ни на что не годен.

А ему, видно, жалко было меня. Он спас, послал меня на бахчи сторожем, в степь. Там так арбузы вот такие величиной, дыни сладкие, пальцы слипаются, и как раз все стало поспевать. Я с голоду навалился. И тут открылась у меня дизентерия. Просто кровавая. Думаю, все, конец. И какая-то апатия, безразличие ко всему. Все равно не жилец. И вот недели две прошло, как-то все это связало, скрепило, кончилось.

Через месяц приехал карточку получать, а мне говорят: «Смотри, парень, стал на человека походить». Потом привязалась малярия. Малярия там в это время очень зверствовала. Там везде вода, сырость, комар. Попал в эту же больницу, тут я уже как дома. Из всего персонала, – больница огромная, – было два мужика: кочегар, еще кто-то и я третий. Но меня за мужика-то еще не считали. И начали колоть. В то время организовались курсы медсестер скоротечные такие, на фронт отправлять сразу, казахские, вот они на мне тренировались. И дотренировались, у меня руки вот так свело, что-то повредили. Высохли совсем, они и сейчас сухие после того. Совсем не разжимались, ложку придавлю, и вот так вот ем.

И все равно меня начальник не бросил, оставил работать на больничном дворе, я ходил, подметал. Пальцы стали постепенно разгибаться. Почему-то я производил впечатление такое, положительное. Мне стали доверять продукты возить, и я ни одного грамма никогда не украл, не продал. Когда надо, попрошу, мне не отказывали. Женщины – которой дров наколешь, еще что, она помидоров, огурцов даст. Хлеба-то не было, всего давали 600 граммов хлеба.

Когда поправился, мне повестка – в военкомат. В военкомат призвали, руки уже разогнулись, я нормальный уже, и меня в армию снова, в запасной полк, в Алма-Ату. Там служил до 1945-го года. А на фронт я попал уже в Австрии, границу уже мы перешли.

Война скоро закончилась. О том, что будет еще война с Японией, никто не знал. Принял я легковую автомашину американскую, и, как пришел приказ, поехал домой. Проехали Австрию, Венгрию, Чехословакию, Румынию. В Румынии говорят: началась война с Японией. Нас в эшелон, и туда. Все дороги забиты до отказа, и нас возили-возили, возили-возили, почему-то через Харьков, через Алма-Ату опять. До Красноярска доехали, и война кончилась.

Тут уже кончилось все. В 1946-м году я демобилизовался. Приехал обратно в Пермь. Я ушел в армию из дома, и домой вернулся. Про всякие эти лагеря молчал. Говорить нельзя, если бы сказал, меня бы не прописали, домой не пустили, не приняли на работу. Таких было много примеров.

В общем, я все скрыл, и в военном билете у меня нет отметки. В военкомат идти нельзя, чтобы хлопотать об удостоверении участника войны. Они разоблачили бы просто, да еще куда снова упрятали. Поэтому не имел и до сих пор не имею удостоверения участника войны.

- Расскажите, пожалуйста, какие между заключенными были отношения.

- Ничего не скажу, нормальные отношения. Несмотря на трудное положение на фронте, все тюрьмы были забиты военными и все по 58-й статье. Уголовников они не боялись. И потом, в лагере, уголовников держали в дисциплине. На глазах у меня не было, чтобы кого-то избили, не знаю.

- А какие в лагере нормы выработки были, нормы питания?

- Питание – 500, 600 граммов хлеба, раз в день жидкое. Какая-нибудь похлебка. Поэтому и истощались люди до крайности.

- А в лесу, сколько нужно было сделать, какова норма выработки?

- С кого там было требовать выработку? Человек на ногах не стоит, а надо валить вот такие, в обхват, сосны. Он ее начнет пилить, на коленках стоит, стоит, потом ткнется носом и все. Это было просто целенаправленное истребление людей. Иначе, чем объяснить, что в военное время люди сидят в тюрьме за анекдот?

- А чем занимались, когда приходили с работы?

- А чем заниматься, согреться и сидеть. Тепло рад, целый день на морозе, какое там занятие.

- Как вам удалось все-таки скрыть про лагерь, неужели никто не спрашивал, где вы были два года?

- Я попал в армию из запасного полка, а туда и гражданских брали. Там было очень много уголовников, в последний год уже не брезговали никем. Не знаю, как-то это не всплыло нигде. И сколько работал, никто не знал, и дома никто не знал. Дочери я рассказал свою биографию году в 1992-м. Тогда по телевидению, по радио объявляли о реабилитации, я думаю, дай попробую. Я поехал в город, в «башню смерти» (областное управление милиции). Там майор меня принял, выслушал, сам писать никуда не стал, дал несколько адресов. Надо сказать, отвечали аккуратно. Я арестован был на Дальнем Востоке, отбывал в Сибири, а дело, в конце концов, оказалось в Брянске. Из Брянска пришел ответ, вот эти документы, а это пришло из Хабаровска, из военной прокуратуры.

- Это о том, что распространяются льготы, предусмотренные законом о реабилитации жертв политических репрессий. А еще скажите, родственников ваш арест задел?

- Родственников задевало в 1937-м году, тогда в редкой семье кто-то не попадал. У меня муж старшей сестры был главным агрономом

большого совхоза, огромного совхоза, он попал. Там ведь как делалось: если человек попадает, уже заранее приготовлено, что он должен подписать. Ему предъявили, что он сжег автотранспортную мастерскую, организовал крушение, падеж скота.

- И что с ним случилось?

- Вышел из лагеря, пожил немного и умер. Там он здоровье подорвал.

- А почему следователь сказал, что весь ваш кулацкий род будет уничтожен?

- Не род, а отродье. Он имел в виду меня как сына.

- Как сына раскулаченного?

- Люди, которых раскулачивали, они вообще считались вне закона. Куда там пожалуешься, к кому пойдешь. Раскулачивала нас вся эта голь перекатная, вся неработь, все пьяницы, дали им власть полную – сейчас никто не поверит. Я хоть маленький был, помню, раньше шифоньеров-то не было, а были сундуки; вот он приходит, все раскрывает, все выбрасывает, выбрасывает! Что понравилось, сразу на себя примеривает. Остальное связали в узел, унесли, пропили.

- А у вас семья большая была?

- Последнее время шесть человек. Всего-то было двенадцать. Сейчас остался я один, никого больше нет.

- Это вместе с родителями?

- Нет, детей было двенадцать. И по четырнадцать было, и по пятнадцать. Тогда был естественный отбор, слабые умирали, сильные выживали. На нас, на всех, были одни старые разбитые валенки, остальные все ходили в лаптях. Еще снег не сошел, а уже босиком бегают.

- За что же раскулачивали, ведь нищие были?

- Вот кто бы мне ответил, почему. Сейчас вон на «Мерседесе» ездит, и никто его не спрашивает, каким путем он его нажил. А тогда люди буквально потом поливали землю. Я помню, мне было лет пять, меня утром, до восхода солнца, в зипун завернут, в телегу положат, и везут в поле. Там, сонного, сажают на лошадь – борони. Вот так работали, сейчас люди не представляют, каким трудом доставался хлеб.

- О чем вы говорили в тюрьме?

- О чем говорили? Удастся ли выжить, останешься ли живой. Человек живет надеждой.

- А были провокаторы в бараках?

- Кто его знает, они же не выявлялись. Но провокаторы везде были, их и в камеры сажали, люди об этом знали, не откровенничали ни с кем. Рассказывал там один, майором служил на Дальнем Востоке: после первомайского парада собрались за столом, песни пели, разговаривали. А тогда какую песню ни запоешь, все она о Сталине, то он – наш отец, то он – наш учитель. Он возьми да и скажи: «Давайте

споем какую-нибудь старинную: «Златые горы» или «Хасбулат», – и этого вполне хватило – «Отговаривал, чтобы не петь песни о великом вожде». 10 лет Колымы получил мужик. Сейчас кто поверит этому.

- Как вы считаете, почему именно вас арестовали, потому что вы сын кулака?

- Кто его знает, может, и это повлияло. И потом выбирали самых способных, кто выделяется. Я круглый отличник был по всем предметам. Теперь трудно объяснить, почему это все происходило. Помните, Туполев, Королев – все были в лагерях. Лучшие люди убежали в Америку, такие, как Сикорский, изобретатель вертолетов. А вот их учителя остались здесь, и их сгноили в лагерях.

- В вашей деревне много раскулаченных семей?

- 5 или 6.

- А с ними что случилось? Они там же остались или их вывезли куда-то?

- Не помню. В то время из деревни бежали как от чумы. Лишь бы куда уехать, и не оставляли адресов, чтобы не нашли.

- Тогда ведь выезд был запрещен из деревень.

- А это, кто как сумеет. В деревне и до последнего времени паспортов не было у колхозников. Никуда не вырвешься – паспорта нет, ни где не примут на работу. А в то время, в 30-х годах, паспортов вообще не было ни у кого, справки писали от руки. Если сумели председателю сунуть четверть самогону, он вам любой документ даст. Вот придут: «Василий Иванович, завтра 20 пудов ржи увезешь». – «Да как я, у меня все сдано». – «А сверх плана. Или четверть самогона ставь, договоримся». А если нет, последней корове или овце веревку на шею, и повели.

Рассказал я вам, ничего не преувеличивал. Конечно, людей все меньше и меньше остается, наше поколение вымрет, и вообще вся эта история сотрется.

- Мы студентки исторического факультета Пермского педагогического института. Поэтому и записываем ваши воспоминания, чтобы не стерлось, чтобы помнили.

ХЛЕБА ДОСЫТА НЕ ЕЛИ

Из воспоминаний Галины Дмитриевны Шутенко

Мой муж работал бухгалтером на станции. Потом в сельсовете трудился, а после этого его перевели в райисполком. Я у отца была единственная дочь – никогда не работала. А во время войны были хлебные карточки. Как только муж ушел на фронт, карточку у нас сразу забрали. Я осталась одна с двумя дочками – ни работы, ни еды. То пальто сменяю на хлеб, то еще что-нибудь.

Потом мужа отправили на Дальний Восток, там войны еще не было. Он оттуда нам посылки присылал. Однажды пришло извещение, а на почте мне вместо посылки дали две старые газеты. Хотя муж в письме сообщил, что девочкам послал тапочки красивые, еще что-то из одежды. Я ему тогда написала, чтобы он посылки больше не отправлял.

Во время войны я устроилась в детский санаторий и проработала там 20 лет. Сначала меня взяли нянечкой, потом стала сестрой-хозяйкой. А после перевели на кухню поваром. Жили в Усолье. Иждивенцам и детям давали по 400 граммов хлеба по карточкам. Соседка моя работала в швейной мастерской. Нас заставляли пилить ели. А мы их никогда не пилили. В день надо было сделать какую-то норму. Она в снег упадет, ее не видно, а надо все сучья обрубить, очистить ствол, распилить на метровые и сложить. Весной эти бревна приплывут по реке, мы их вытаскиваем на берег, грузим машину, дрова везем в санаторий.

Первое время, когда только начинала работать, пошла в пекарню. Я закончила только четыре класса. Чтобы учиться дальше, надо было ехать в другое село. Так с четырьмя классами неграмотная и прожила. Когда мужа не стало, только тогда подумала, что надо идти на работу, кормить дочерей.

После войны я вышла замуж второй раз. Квартира у меня была – военкомат дал. Девчонок выучили. Старшая закончила медицинский, стала детским врачом. Младшая – фельдшер, работает на «скорой» уже больше 30 лет. Внуки тоже выросли.

Сейчас мне 87 лет. Предки мои жили в Кировской области, там родились. И отец оттуда, и мать...

Отца арестовали, когда ему было 63 года. В областном архиве по делам политических репрессий за номером 26075 хранится его личное дело. Когда я с ним ознакомилась, поняла, что отец арестован по наговору. Свидетель обвинения Рудаков дал показания, что мой отец сказал: «Ведь убили же Кирова, убьют и Сталина». За это его арестовали и осудили на 5 лет. Отправили в Красноярский край.

Мама осталась с нами одна. 27 декабря отца судили, а 6 января маму заставили взять развод. Она собрала нас и уехала на КамГЭС. Когда мы приехали, станция только начинала строиться. Жили мы у брата в бане. Нас из бани не выпускали, пока мать не взяла развод с отцом. Брат очень боялся, что мы – враги народа, и пускал в дом только вечером. Когда мама взяла развод, гонения на нее прекратились. Братья сложились и купили маленький домик на Банной Горе. Там прошло все наше детство.

Матери было очень тяжело – она в 45 лет осталась одна. Двое старших детей уже учились в городе. А мы – мал-мала-меньше. Мне

было 3 года, когда отца арестовали, Любе – пять, старшему брату Александру – 14, сестре Павле – 11. Еще у мамы было двое детей от первого брака – сын Василий и дочь Нина.

Она рассказывала, когда был Колчак, она пекла хлеб для братьев. Она скрывалась в лесу. Но потом маму предали, и начальник приказал ее расстрелять. Но конвойный солдат пожалел маму. Довел до обрыва над Сылвой, выстрелил в воздух и отпустил. Маме пришлось прятаться – до тех пор, пока колчаковцев не погнажи. Отца тоже посадили в то время. Его после революции выбрали представителем Сергинского общества. За это 16 февраля 1919 года его белые арестовали, и до конца июня отец сидел в тюрьме. А потом пришли красные и освободили его. Тогда мама с папой и познакомились.

В период НЭПа родители поженились. Обменяли свои дома на один двухэтажный. Внизу была лавка, где мама торговала вином, а папа организовал сельскохозяйственную артель – ремонтировал оборудование. Отец построил мастерскую. Они вчетвером сложились, открыли эту мастерскую, купили токарный и сверлильный станки на Мотовилихинском заводе – и заработали.

А потом пошла волна раскулачивания. И у отца отобрали сначала мастерскую, потом – дом. Мой брат Сашка тогда сильно болел, лежал с высокой температурой, так у него даже подушку из-под головы выхватили. Семью выгнали на улицу, а в нашем доме разместился поссовет.

Отец был способный механик, и его отправили на строительство 19-го завода. Мы жили в бараке, в них были нары, разгороженные простынями. Отец смысленный, придумал какой-то токарный станок по нарезке труб, за это получил премию. А потом нам дали квартиру в Кунгуре, в самом первом доме на улице Чкалова. А в 1935 году отец попал под арест. И больше мы его не видели.

Отца, когда забрали, увезли в первую тюрьму (ныне СИЗО – ред.). При обыске ничего не обнаружили. Мама отправила отцу посылку с теплыми вещами, но она пришла обратно, а на ней написано: «Скончался в этапе». Помню, как мама плакала. Это было в 1939-м или в 1940 году.

Мама ходила на прием к Молотову, когда он был в Перми. Но ей так ничего и не сказали. Не знаю, где отец похоронен. Чтобы найти отца, старший брат Саша убежал из дома. Но его вернули.

Началась война, Сашу забрали в армию. 4 августа 1944 года он погиб в Кракове. Чуть раньше написал, что ходил на «операцию», сдал «фрица» командованию. Его представили к награде...

Когда убили Александра, младший брат, которому было тогда 16 лет, добровольцем ушел на фронт. И семь лет прослужил в морфлоте. Во время службы встретил свою судьбу, и сейчас живет в Архангельском крае. Старшая сестра Люба умерла в 1942 году.

Я работала на Пермском домостроительном комбинате, была комсоргом. Потом стала кандидатом в члены партии. Осталась буквально неделя до приема в партию, уже объявление висело на клубе. Вдруг меня парторг вызывает и говорит: «Валя, что же ты скрыла, что ты дочь врага народа?!». Я на собрание не пошла. С первым мужем из-за этого разошлась. Когда его послали на повышение, он пришел от лейтенанта и заявил: «Что же ты не сказала, что кулацкая дочка, кулацкое отродье?! Ты мне всю жизнь искалечишь». У него отец был преподавателем в военно-авиационном училище. Вся семья – члены партии. И вдруг я – дочь врага народа. У меня от него дочка. Уже внучка заканчивает пединститут...

Когда мы были маленькими, нам никогда не давали путевки в пионерский лагерь. Даже в детском саду не давали места. Раньше я не понимала, когда нас обзывали «вражатами».

Мама приучила нас к работе с детства. Мы собирали ягоды, грибы, щавель. Продавали все это у поезда, покупали сахар. Так и жили. В свидетельстве о разводе записано, что мать обязуется воспитать детей сама. Виновным отца она никогда не считала. А если бы уехали с ним, мы бы все там перемерзли...

Во время войны моего сводного брата Василия забрали в Москву. Оттуда его отправили восстанавливать Липецкий тракторный завод, где он работал главным инженером. Там есть маленький музей в честь него. Сноха отдала свою квартиру. А брат все свои книги оставил заводу. Василий писал какую-то бумагу, в которой отказался от отца, заявил, что не признает его. И во время войны, когда приезжал к нам, давал нам подзатыльники и обзывал «вражатами».

На Камской ГЭС мама проработала совсем недолго. Одна женщина оступилась, и маму очень сильно ударило рельсой. Ей оборвало все внутренности. Мама пролежала в больнице полгода, нас на это время забрали соседи. Меня с Любой, как самую младшую, взяла к себе сестра. Мама стала инвалидом второй группы на всю жизнь.

В 1949-м году нас послали копать картошку в деревню Нагайва, недалеко от Серги. Едет человек на лошади, и нас подвез. Спрашивает, откуда я такая буду. Говорю, что сама из города, а родители – из Серги, назвала их по имени-отчеству. Он как погнал лошадь, довез до своего дома и закричал: «Анна, ты посмотри, я тебе внуков привез! Ты знаешь, чьи это дети?». Я у них прожила два дня, меня кормили шаньгами. Про отца рассказывали, какой он был работающий, на баяне играл. Много хорошего о нем сказали. Вот страховка нашего дома, коровы. Все, что изъяли, в том числе и посевы. Отца забрали в августе, а в сентябре мать уже уволили с работы как жену врага народа. С этим клеймом нам предстояло жить долгие годы...

ЕСЛИ ТЫ ССЫЛЬНЫЙ

Из воспоминаний Дмитрия Николаевича Стрелецкого

Родился в 1917 году в семье крестьянина в деревне Бараба Кетовского района Курганской области. В 1933 году вместе с семьей выслан на Урал.

Село Бараба большое. Дом деда стоял на берегу речки Юргамыш, притоке Тобола, на хорошем месте. С правой стороны – церковь, впереди через дорогу – сельская приходская школа. И большая площадь, где собиралась молодежь: в выходные дни там игры устраивали. Дом у деда тоже большой, и семья большая – четырнадцать человек.

Мой отец, Николай Яковлевич, в 1912 году женился, а через несколько месяцев ушел в царскую армию на действительную службу артиллеристом. Участвовал в Первой мировой войне с самого ее начала, отличился в знаменитом Брусиловском прорыве.

В 1917 году, после февральской революции, когда армия распалась, отец вернулся домой. А в конце 1918 года село заняли белые, и он, как многие односельчане, скрывался от мобилизации на пашне, за пятнадцать верст от села.

Когда пришли красные, отца мобилизовали, и с конца 1918 по 1922 год он участвовал в боях против Колчака. И отец, и дед приняли революцию. Ведь лозунги-то хорошие, красивые: землю – крестьянам, фабрики – рабочим. Поверили, пошли за ними.

Мама моя – обычная крестьянка, безграмотная. В семье четверо детей: я старший, потом за мной брат Алексей, Степан и Лидия. Росли, радовались жизни.

Семья жила у деда, но не в одном доме, а в другой избе, которую построили в 1923 году прямо в дедовом дворе. Хозяйство вели совместно. В семье все было как-то мирно и разумно устроено. Никто не скандалил, никто не курил, не пил. Никто никогда не бранился, не высказывал резких суждений. Дед всегда совет держал со старшими в семье. И ощущался в доме всегда какой-то спокойный настрой. В семье все верующие были. Соблюдали церковные праздники. В церковь ходили и меня с собой брали. Я умел тогда даже на старославянском читать.

Дом открытый, гостеприимный, и всегда много народу. Особенно в праздничные и в воскресные дни. За праздничный стол садились, только вернувшись из церкви. Стол богатый по тем временам. Птицы у нас много было: и гусей, и индюков, и кур, и уток. На обед обязательно щи или суп. А на второе на стол ставили огромную жаровню с индюком или гусем. И все ели вместе из одной миски.

Посты тоже всегда соблюдали. Все это было, пока церковь не закрыли в 1930 или в 1929 году. Помню, когда закрывали церковь и архивы церковные разграбляли, мы, дети, бегали туда и приносили какие-то книги и какие-то записи. Помню, как колокола сбрасывали. Мне было тогда лет двенадцать, и я ходил в начальную школу. А после ее окончания отец отдал меня в ШКМ – школу колхозной молодежи, за десять километров от дома. Жил у родственников, у бабушки одной.

Отец в 1931 году вступил в колхоз. Желания его не спрашивали. Собрали собрание бедноты: «Организуем колхоз?» – «Организуем!» Если не пошел, значит, ты или кулак, или подкулачник. Пришлось вступать.

Мы не были кулаками, но и к бедноте не относились. Хозяйство хорошее, крепкое. И скот, и птица, и все необходимое. Да и работали ведь все. Еще и «помочи» устраивали. Договаривались крестьяне: сегодня ты мне поможешь, завтра я тебе. На сенокос выйдут человек десять с «литовками», да как пройдут они – сразу гектара нет! Сильные, молодые ребята косили. С песнями, с шумом, с шутками косили! Любо смотреть. А потом все в озеро купаться.

Через день ли, два уже собирают сено. Тут и дети, и женщины – все выходили на работу, вся семья. Мужики копнят, мы с граблями бегаем, кто-то нагружает сено на волокуши, а кто-то стог мечет. Я на лошади верхом возил копны уже с пяти-шести лет.

Когда я учился в шестом классе, нас выслали. Это случилось 25 марта 1933 года. Утром посадили в сани и повезли. Только в 1948 году я узнал от бывшего председателя сельсовета, который организовывал высылку, что ему «сверху» была спущена директива на отправку 17 кулацких семей. А поскольку в селе единоличников было мало, то вместе с ними отправили и колхозников.

Приехали две подводы. Дали на сборы около двух часов. Сказали: «Ничего не брать, одеваться в то, что обычно носите». Разрешили матери взять сундук с бельем, больше ничего. Все осталось. Из еды взяли хлеб и около пуда пшеницы.

А за три дня до этого пришли комсомольцы с берданками и объявили бойкот. Что значит бойкот? Заколотили калитку крест на крест досками, заколотили ворота во двор, где скот был. Корова мычит, овцы блеют. И нельзя выйти накормить, напоить. Страшно было и дико. У скота-то вина какая?

В том, что происходило с нами, отец, сколько я помню, никого не обвинял. Позднее, уже в ссылке, он говорил: «Ребята, учитесь. Единственное, что хорошего есть в Советской власти, – она дает вам образование. Учитесь!»

Привезли нас в Курган. Поместили в огромное складское помещение с земляным полом. Там уже было много людей. Поест нечего. Кроме кипятка ничего не давали. Питание привозили родственники и

соседи деревенские. Кто молока, кто булку хлеба. Хотя и время уже голодное было – 1933 год. Урожаи в колхозе плохие, да и то, что родилось, все сдавалось государству. Сами колхозники на трудодень ничего не получали. Кормились только с огорода своего. Сложное было время. Но все равно люди приносили еду. В то время связи в деревне были прочные. Кумовья, соседи, родственники.

С неделю, наверное, нас держали в Кургане. А потом отправили. Тяжелая дорога была, холодная и голодная. Ехали в «телячьих» вагонах суток двое. Вагоны набиты людьми. С трудом можно найти место где поспать. Мы, четверо ребят, спали на сундуке, родители – сидя на мешках. Даже сходить по естественной надобности некуда. Поезд останавливался где-то в промежутке между станциями, и все выходили, вываливались из вагонов и оправлялись. И девушки, и юноши, все вместе, и не до стеснения было. Потом всех опять загоняли в вагон. Закрывали, заматывали двери проволокой и везли дальше под охраной.

На станциях кипятки приносили. Мать заваривала взятую с собой пшеницу, и мы ели.

Наконец привезли на станцию Усолье: «Доехали, выгружайтесь». От Усоля под охраной НКВД шли пешком. Для детей и под вещи дали подводу. Обоз огромный, несколько сот семей, наверно. Некоторых отправили на север, а нас на юг повезли, в Чермозский район. На дворе стоял апрель, дорога подтаивала. Поэтому спешили, чтобы Каму перейти до ледохода. Потом шли правым берегом Камы. Помню, дошли до городка Орел, здесь нам дали возможность погреться и просушить обувь. Я не знаю, сколько суток мы шли. Прошли километров сто пятьдесят, наверное. Дошли до поселка Пожва еле живые. В дороге нас, конечно, не кормили.

В Пожве, на плотине пруда, стояло каменное здание: то ли цех был какой-то, то ли складское помещение. Там печки топилась, тепло, можно было обсушиться. И нам впервые выдали пайку – по двести граммов черного хлеба. А на второй день взрослых уже повели на работу.

Отец сказал, что он плотник, и через несколько дней его отправили в Чермоз на строительство спецпоселка. К осени всех нас перевезли из Пожвы в этот спецпоселок Новочермозский, построенный спецпереселенцами в трех километрах от Чермоза. Отец продолжал плотничать. А другие работали на лесозаготовках, на лесоповале.

Жили в длинных бараках, перегороденных капитальной стеной. И с той и с другой стороны по три комнаты было, в каждой комнате семья. Независимо от того, два человека или десять человек в семье, все равно все в одной комнатке. Кухня общая.

И горе общее было. Поэтому, конечно, помогали друг другу. Ведь человеческое общежитие. Ничего не было: ни кола ни двора, ни лопаты, ни топора. Как не помогать-то друг другу? Помню, там старушка

жила с сыном, моим ровесником. Я не знаю, как они туда попали. Ну какие они кулаки? Сын чем-то заболел у нее, простыл, а она и сама не может. Как воды не принесешь? А за водой надо было идти километра полтора. Помогай, и я ходил за водой.

Отец, плотничая в соседней деревеньке Каракозка, помогал местным жителям. Так они ему дали лопату и топор. Мы с младшим братом с этим топором ходили за дровами в лес.

Получали ссильные по двести граммов черного хлеба. Булки были огромные, по три килограмма. Я сделал самодельные весы: взял палочку, ниточку привязал и развешивал. А потом кричали: «Кому это кусочек? Кому, кому?».

Меня приняли в седьмой класс Чермозской районной средней школы. Ходил туда за три километра. Учителя относились ко мне хорошо. Помню, учительница физики Анфия Тимофеевна спрашивает: «Почему не идешь завтракать?». В школе давали горячие завтраки, которые стоили десять копеек. А десять-то копеек у меня не было. И она достает три рубля, вкладывает мне в руку: «Иди скорей». Я побежал. Поел. Там давали кусочек хлеба, граммов сто, и кашу. Три рубля – богатство-то какое.

Все по-доброму к нам, ссильным, относились, и мы учителей любили, уважали. В этой школе я закончил десять классов. Там меня приняли в комсомол. Я был очень рад этому, активно участвовал в комсомольской работе и все поручения выполнял.

Мама болела и не работала на общих работах. Потом ей дали инвалидность. Она вышивала скатерти, вязала. Мы ходили с ней по деревням, меняли на картошку. Дадут за такую скатерть ведро картошки, мы и рады.

Очень тяжелый был 1933 год. Много умирало людей, каждый день похороны. Мы выжили благодаря отцу. Он, когда строили поселок, познакомился с одним из местных крестьян, который работал в Чермозе на скотобойне. Отец его спросил: «Вы куда кровь-то деваете?» А тот говорит: «Так спускаем». – «Ты можешь набрать сколько-нибудь?» – «Конечно, могу, у меня бочка есть небольшая». – «Так набери бочку крови, я приду за ней». Мы с отцом пошли и принесли бочку замерзшей крови. Мама ее жарила. Как это она делала, не знаю. Ведь никакого масла не было. Может быть, в воде варила, но мы с удовольствием ели. Благодаря этому выжили, семья сохранилась. Так жили и зиму до 1935 года. В 1935 году с января отменили карточную систему. Но хлеб нелегко было купить. Целые ночи стояли в очереди за хлебом. Где-то в середине дня покупали. В одни руки давали по одной буханке. Но все-таки уже не голодали, жить стало легче.

В поселке был клуб. И я всегда ходил в него. Участвовал в художественной самодеятельности. Можно было даже позаниматься. Я приходил с учебниками, выбирал место в уголке, где никто не мешал.



Учитель физики Д.Н. Стрелецкий (сидит крайний справа), директор школы в спецпоселке Чермозский Виктор Васильевич Безгодос (стоит крайний справа) и учащиеся 7-го класса.

Там горели лампы, а дома только фитилек горел в каком-то жире. Не знаю, где этот жир отец брал?

Еще в клубе газеты были, много газет: «Правда», «Известия», «Комсомольская правда», «Пионерская правда», журналы. Я все читал и следил за политическими событиями, в том числе и за судебными процессами над «врагами народа». И мы всему верили. Ну, если тебе об этом в школе говорят, по радио говорят, в газетах пишут, – как не верить? Не было никаких сомнений. И мы думали, что ведь и нас «враги народа» выслали. В 1930-е годы Сталин уже на устах всех был. Как не верить в Сталина? Верили ему, как Ленину.

В 1937 году я, первый из спецпереселенцев, закончил среднюю школу. Большинство моих сверстников работали. Трудно жили, кусок хлеба надо было зарабатывать. Но отец хотел, чтобы я продолжал учиться. Он сказал мне: «Обратись к коменданту». Дело в том, что без разрешения коменданта нельзя покинуть поселок. Обратился сначала к поселковому коменданту НКВД, а потом к районному. Жена районного коменданта Неволина вела у нас в школе математику и хорошо меня знала. Может быть, она с ним поговорила. Не знаю, но комендант принял меня и выслушал. Я ему рассказал о том, что хочу учиться, о своей цели, о жизни... И он говорит: «Помогу... Поможем тебе. Садись,



Дмитрий Николаевич Стрелецкий (крайний справа) и его товарищи по ссылке, все спецпоселенцы. Стрелецкий работал учителем физики в неполной средней школе спецпоселка Чермозский, товарищи – на лесоповале. Снимок сделан в спецпоселке Чермозский. 1939 год.

пиши заявление». Продиктовал, я написал. И мне по мощью материальную выделили – сто рублей. Тогда это огромные деньги были. Отец семьдесят-восемьдесят рублей зарабатывал. А мне сто рублей дадут! «Вот тебе на дорогу, вот тебе трехмесячный паспорт. Поедешь сдавать вступительные экзамены».

Какая радость была! Я тут же пошел в «Уралторг», купил себе ботинки ленинградского «Скорохода» за 25 рублей: подошва резиновая, низ кожаный, а верх – парусина черная. И костюм купил за 14 рублей. В этом новом костюме и в новых ботинках поехал с приятелем в Пермь. Переноче-

вали у его родных и – дальше, в Свердловск, в горный институт поступать. Сдал экзамены. Хотел стать геологоразведчиком, а меня зачислили на маркшейдерский факультет. Студенты-старшекурсники мне: «Зачем ты идешь сюда? всю жизнь под землей будешь». В это время приехал из Сибирской сельскохозяйственной академии вербовщик, к себе зовет. Оплачивает дорогу, обещает стипендию, и без экзаменов: «Будешь агрономом или зоотехником. Не под землей, а наверху будешь, на природе...».

Согласился. Он мне тут же выдал тринадцать рублей на дорогу, взял у меня документы. Я поехал. Меня определили на агрономический факультет. Дали общежитие. Весь сентябрь работали в поле,



Май 1954 г. Слева направо: Николай Иванович Каменских – муж старшей сестры Нины Семеновны Стрелецкой; сама Нина Семеновна Стрелецкая; Д.Н.Стрелецкий; С.П.Сухова. Снимок сделан в Ботаническом саду Молотовского государственного университета.

убирали урожай. Я даже заработал рублей тридцать. Начались занятия. А после ноябрьских праздников вызывают в деканат и говорят: «Молодой человек, вы отчисляетесь». – «Почему? Еще и экзамены не сдавали». – «Ну, если так хочешь, то без стипендии?» А как я без стипендии. – «Нет». – «Значит, получи документы». Вместе со мной пришли за документами тогда дети священников, дети кулаков, дети репрессированных. Всех уволили. Это был 1937 год.

В Омске я, вчерашний школьник, работы не нашел и поехал в Курган, на родину. В Кургане, на рынке, случайно встретил своего дядю – родного брата мамы. Он меня узнал: «Я сейчас тебя не отпускаю. Поедем со мной». Я недельку у него пожил. Надо было искать работу. В колхоз идти не хотелось. Посоветовали обратиться в районо. А там предложили работать учителем начальных классов: «Там опытные преподаватели, опытный директор, научат». Так я оказался учителем третьего класса сельской начальной школы. Директор мне все рассказал, все показал, учебники дал. И у меня пошло дело-то, не хуже, чем у других.

А в апреле меня вызвали в районо и назначили заведующим начальной школой в деревню Пролетарка. Говорю: «Какой я заведующий? Вы что? Не сумею». – «Приказы не обсуждают».

Подошел отпуск, и я решил навестить родителей. Они писали: «Приезжай. У нас сейчас более-менее свободно». Я приехал и тут же попал в комендатуру. Отняли у меня паспорт и сказали: «Ты был в ссылке и смежал. Будешь теперь здесь безвыездным».

Районного коменданта Неволлина, который давал мне когда-то паспорт, уже не было, и защитить меня было некому. Я снова очутился в ссылке. Но мне повезло. Это было лето 1938 года. К этому времени вышел «Краткий курс истории партии». Его должны были изучать все: большие начальники и рядовые милиционеры, работники НКВД и инженерно-технические работники. Преподавателем к работникам НКВД назначили директора школы нашего спецпоселка, Виктора Васильевича Безгодова. Он мне очень помог: поговорил с начальством, и меня не отправили на лесоповал, а оставили работать в местной школе завхозом. Позднее поставили учителем физики.

В 1941 году мне опять разрешили поехать в Пермь сдать вступительные экзамены в госуниверситет на заочное отделение физико-математического факультета. Сдал удачно, приняли. А 22 июня началась война.

В январе 1942 года призвали в армию первую волну спецпереселенцев. Несколько сот – из Чермоза. Шли мы до Перми пешком сто пятьдесят километров полторы суток. А в Перми объявили, что нас направляют не в армию, а в трудармию. Часть поедет в Свердловскую область, а часть останется в Пермской. Мой брат Алексей попал на лесоповал в Свердловскую область. Меня отправили в Лысьву в трест «Севуралтяжстрой». Сначала я попал на Лысьвенский металлургический комбинат слесарем в инструментальный цех. Вскоре оттуда послали на рытье фундамента под новый турбогенераторный завод. Все зимние месяцы рыли траншеи под фундаменты. Разжигали костры, немножко оттаивали землю и долбили ее. Основная масса трудармейцев – немцы из Поволжья. Еще было много украинцев, белорусов и евреев из западных областей Украины и Белоруссии.

Скоро я стал электросварщиком, обучился электросварке ручной, дуговой и работал на строительстве мартеновской печи. Иногда нас отрывали от работы и посылали на строительство новых цехов на территории Лысьвенского металлургического завода. Из заводов западных областей России привезли станки. Мы их устанавливали, и еще крыши не было, а станки уже вертелись, работали, и люди точили стаканы для бомб.

Мы получали восемьсот граммов хлеба и горячее трехразовое питание. Казарма наша была за колючей проволокой. И везде мы строим ходили. Строим в столовую, строим из столовой, на работу и с работы тоже строим. Жили в двухэтажной казарме. Все спали на нарах впопалку. Матрасы, набитые соломой, подушки тоже из соломы. Подъем



*Слева направо: Д.Н. Стрелецкий, дочь, внучка,
Нина Семеновна Стрелецкая. Зима 2003 года.*

быстро, по-военному. Чтобы трудармейцы не болели цингой, в обед давали кружку хвойного напитка: прокипяченные сосновые, еловые и пихтовые лапки. В 1943 году тем, кто выполняет норму, стали давать «стахановский обед» – дополнительную порцию каши. Но... всегда хотелось есть.

Денег на руки очень мало давали. Из зарплаты вычитали за питание и значительную сумму – в фонд обороны. На оставшиеся деньги можно было купить только несколько закруток табака на рынке. Как-то скопил денег и купил котелок картошки, сто рублей он стоил. Пришел из столовой с ужина, сварил эту картошку и сразу всю съел.

Трудились по двенадцать часов, с восьми до восьми, с перерывом на обед. Если кто-то не справлялся с нормой, оставался на рабочем месте до тех пор, пока не выполнит. А утром опять на работу.

Отец тоже был в трудармии. Работал на лесоповале и потом – грузчиком в районе города Котласа Архангельской области.

В ноябре 1945 года меня отпустили из трудармии как школьного учителя. Но так как еще до войны у меня были сданы экзамены на заочное отделение Пермского университета, я решил воспользоваться этим. Меня восстановили, но уже на очном отделении. Отец вернулся из трудармии в 1946 году.

Жизнь, кажется, стала налаживаться. Но еще долго на мне висел груз высланного «врага народа». На всю жизнь это осталось. До тех пор, пока я в 1993 году не получил полной реабилитации.

ДВАЖДЫ ПЛЕНЕННЫЙ

Из воспоминаний Ивана Ивановича Углицких

Я родился в 1920 году в деревне Федорцово Чердынского района Пермской области. После немецкого плена прошел фильтрационный лагерь, где по доносу был осужден на 6 лет лагерей и 3 года ссылки на Колыме.

Моя семья: отец, Углицких Иван Александрович, мать, Углицких Елизавета Ивановна, я и два моих младших брата жили в деревне Федорцово. Когда началась коллективизация, мы в колхоз не вступили и переехали на хутор Шеино, в пяти километрах от деревни. Скот у нас забрали, оставили только одну корову. Когда жили на хуторе, отец и мать работали бакенщиками на реке Вишере. Держали свое хозяйство неплохое: две коровы, овец штук до двадцати, четыре свиньи, куры... В общем, полностью все свое было.

Тогда, в начале 30-х, моего дядю, брата отца, и дедушкиного брата раскулачили. Дом забрали, все имущество и скот. И выселили их в Красновишерск, где строился целлюлозно-бумажный комбинат (ЦБК).

В деревне люди, которые честно трудились и старались, чтобы как-то жить более-менее подходяще, работали с утра до вечера. Тот, кто работал, и дом хороший имел, двух коров и двух лошадей держал. И в колхоз такие люди идти не собирались. Потому что знали, что это рабство. В колхоз шли бедняки, те, кто привык дурака валять, а не работать. И большинство из них вступало в партию, занимали в колхозе разные должности.

Родители жили на хуторе, а в 1938 году хутор ликвидировали. Вышел закон о ликвидации хуторов, и отец переехал в город Чердынь. Мы не хотели переезжать. Но милиция приехала, залезли на крышу, трубы разломали... Пришлось переезжать.

Отношения в семье были хорошие. Мы еще жили на хуторе, а я учился в Чердыни уже, до семи классов. Там жил на квартире. Учился хорошо, одевался хорошо. Была возможность: материально неплохо жили. Отец работал старшиной бакенщиков, а перед войной его назначили начальником ОРСа – отдела рабочего снабжения.

В 1937 году я окончил 7 классов в городе Чердыни и поехал в Красновишерск, где строили бумкомбинат и где было фабрично-заводское училище (ФЗУ). Там учили специальностям бумажников, слесарей, электриков. Я попал в класс электриков. Год мы учились. Завод уже построили, строили его заключенные. В этом ФЗУ учителя были из заключенных, но хорошие специалисты. Окончил ФЗУ, нас распределили по цехам, и я на этом комбинате и работал. Год я поработал и

взял отпуск. Когда окончился отпуск, я опоздал на два часа на работу, и меня уволили. Я поехал домой, устроился на работу в Камское речное пароходство на катер. Сначала рулевым, а потом мотористом работал.

А в 1940 году меня взяли в армию. Попал в пограничные войска на западную границу. Поскольку я был немножко грамотный, меня из заставы в штаб отряда перевели, на курсы телеграфистов-связистов. Здесь я и встретил войну, в Карпатах, в городе Сколе.

И вот оттуда (немцы прорвались уже далеко) мы стали отступать. «Всю Украину прошагал под звук смертельной канонады и, наконец, я в ад попал, когда окончились патроны и снаряды». В окружение попали мы на Украине.

Когда мы выходили из окружения, я был ранен в голову и в руку. Меня оставили, бросили. Кто мог выходить, уходили, а кто раненные были, те остались. И меня подобрал – это было в Полтавской области – фельдшер, который меня нелегально лечил у себя дома. А когда он меня подлечил, собралось нас четыре человека вот таких. И мы решили перейти фронт. А фронт уже был в Кировоградской области, ушел на Сталинград. И мы, четыре человека, ночами пробирались к своим. Когда через Дон переплыли и к своим попали, нас сразу в штаб дивизии на допрос. А потом нас отправили в часть.

Я был молодой, здоровый еще тогда. Правда, раненый уже был, руки-то плохо работали. Но меня снова взяли в армию. У Сталинграда, под Калачом, когда мы наступали, какая-то часть немцев прорвалась из окружения, и меня взяли в плен. Тогда немцев уже разбили под Сталинградом.

Сначала я попал в Ворошиловградский лагерь, а потом часть пленных стали вывозить в Германию. И меня увезли. Мы попали на ферму к Бауэру. Из лагеря возили к нему. За скотиной ходили, на сенокос, картошку копали. А потом нас американцы освободили, союзники. Когда нас освободили, всех собрали в отдельный лагерь, где предлагали уехать в Англию, в Америку. А я зачем туда поеду, когда у меня родина на Урале? Нас через Эльбу переправили, русским сдали, привезли в Берлин, в особые отделы. Там полностью сделали проверку и меня снова взяли в какую-то часть, которая выезжала оттуда. А потом уже из этой части всех, кто был в плену, стали собирать отдельно. Целый полк почти насобирались таких людей. И нас повезли на Украину, а потом на Урал.

А потом эшелон стали как-то распределять: там оставят вагона два, потом тут. Нас, человек двести, привезли в город Карпинск Свердловской области. Там добывали уголь. Нас распределили по обще-

житиям, по баракам. Раньше там работали пленные румыны. Никакого суда над нами не было. Но и никаких документов не было. А без паспорта-то куда уедешь?

В комнате жило нас шесть человек, и был среди нас один, завербованный органами НКВД. Стукач, по-нашему. И он обо всем сообщал, кто чем дышит. Он часто ко мне приставал: что да как. И вот как-то под Новый год, 1947-й, нам за хорошую работу дали спирту, как поощрение. Выпили, разговорились, стали вспоминать, кто где был, где что... А мы ж не знали, что он «стукач». У меня альбом был, я писал стихи. А он знал, что все это у меня находится под подушкой. Время прошло, месяца два, что ли. Мне надо было в ночь на работу идти. Я отдыхал перед сменой. Вдруг приходят ко мне: офицер в погонах, один в штатском и комендант общежития. «Углицких, встаньте с койки». – «Да мне еще рано». – «Вам говорят, встаньте с койки!» Ну, что же, я встал. «Отойдите от койки». Я отошел, говорю: «В чем дело?». – «Там разберемся, в чем дело». Они сразу под подушку, уже знали, где что лежит. «Спецовку сдайте комендантше. Собирайтесь с нами». – «Куда?» – «Меньше разговаривай, собирайся с нами. Вздумаешь бежать, будем стрелять». Повели меня на железнодорожный вокзал, на станцию, в кабинет затолкнули. А там капитан был. «Ага, вот враг народа пришел ко мне. Рассказывай», – говорит. «А что рассказывать я буду? Я ничего не делал». – «Ну, ладно. Мне не хочешь рассказывать, поедешь в Свердловск, там все расскажешь».

Посадили меня в вагон, и этого человека, который писал на меня донос, посадили рядом со мной. Он всю дорогу хотел со мной разговаривать. Я уже догадался, что это он настучал на меня. В Свердловске меня посадили в «черный ворон», а его не посадили. Поместили меня в тюрьму, в одиночную камеру. Потом стали вызывать на допросы. Допрос, я хорошо запомнил, вел лейтенант Диев. Спрашивает: «Признавайся, какую вел агитацию? Ты писал стихи антисоветского содержания». – «Никакой агитацией, – говорю, – не занимался. А в альбоме моем только любовные стихи. Молодой был, не женатый». – «Нет, – говорит, – ты вел агитацию среди людей, в общежитии, на работе». И вот они меня два месяца так обрабатывали: днем спать не дают – такая привычка была – а ночью на допрос. Ну и подзатыльники, само собой, разумеется. Я никакие протоколы не подписывал. «Распишись», – говорят. Я сказал, что подпишу протокол, если мне дадут очную ставку с теми, с кем я жил.

Через неделю мне дали очную ставку со всеми, кто жил со мной в комнате. И никто из них не дал на меня показаний. «Мы ничего не

слышали, он никогда нам ничего не говорил. А что он писал, мы тоже ничего не знаем». А вот этот «стукач», Зубков его фамилия, столько наговорил на меня, что следователь был вынужден его остановить: «Все ясно, все, хватит». А потом, когда все закончилось, следователь мне говорит: «Распишись». – «Нет, я расписываться не буду. Потому что все свидетели вам сказали, что никакую антисоветскую агитацию я не вел».

Потом дело вел другой следователь, капитан какой-то. Но этот, правда, был вежливый, культурный. Бить он меня не бил. Он только мне сказал: «Кто сюда попадает, отсюда просто так не выходит. Пятiletку отработать придется». Дело передали в прокуратуру. Суд был выездной, меня судили в городе Серове Свердловской области. И тоже ни один свидетель не подтвердил на суде, что я занимался антисоветской деятельностью. А адвокат только сказал: «Он был молодой, был на фронте, это надо учесть». Прокурор потребовал дать мне 10 лет. А зачитали приговор: 6 лет лагерей и 3 года ссылки.

В лагере я был в городе Невьянске Свердловской области. Там проработал четыре года, освободили меня раньше срока, так как были два года «зачетов» за хорошую работу. А осенью 1950 года погрузили в товарный вагон с нарами и привезли меня на Дальний Восток, в бухту Ванино. Там нас всех поместили в бараки, где заключенные раньше жили. А через два дня стали грузить на пароход «Ногин». Мы уже знали, что он пойдет на Магадан. Всех нас посадили в трюм (пароход был не пассажирский, а грузовой), дали сухой паек: буханку хлеба, две селедки соленые, сахару немного. Наверху стояли часовые, так что на палубу выйти нельзя было. Если кончалась вода, сверху спускали воду. Надо бачок вынести с отходами, – его поднимают и все высыпает в море. В Магадан привезли, выгрузили и поместили в зону, где заключенные когда-то были. А через два дня повезли нас на прииски. От Магадана это примерно около тысячи километров, поселок Артык, где раньше был лагерь для заключенных. В лагерных бараках мы и жили.

Работа у меня была очень тяжелая: копал шурфы. Копаете шурфы глубиной в зависимости от того, на какой глубине находится золото, песок золотonosный. Копали два метра шурф от шурфа, которые потом заряжали аммоналом. И когда все уже там будет готово, подается команда: «Раз!» Выскакиваешь из этого шурфа и в укрытие. Нас уводили за три километра в поселок, а потом производили массовый взрыв. А весной бульдозером этот грунт убирают и до песков доходят. И этот песок везут на скрубер – промывочный аппарат. Там охрана, конечно, стоит. После

промывки золотой песок собирают и увозят на обогатительную фабрику.

Особенно было тяжело на Колыме первый год. Погибали многие, особенно пожилые люди. Морозы – 60 градусов зимой, холод, цинга. Один фельдшер на участке да четыре койки. Люди помирали. И вот я там работал до 1953 года, в октябре окончился срок, выдали нам паспорта, деньги на дорогу. И я вернулся домой.

Во Совет ассоциаций жертв Сталинских репрессий.

Наши отец Бурганетдинов Камилдин 1879-
рождения арестован органами НКВД в Париже
3/8 1937г.

13/IV 1963г получили справку из областного суда

г. Париж в том, что по решению Президента
областного суда от 20/IX 1957г дело по обвинению
нашего отца Бурганетдинова прекращено из-
отсутствия состава преступления.

После ареста у нас родилось 5 лет детей и
награжденная наша Бурганетдинова Засира
(которой в настоящее время 6 летна лет).

Во время ареста мы дети жили с мамой в
спросу. Наш отцом от матери, матери
устроилим посылкам, книжкам, обкоробилим
через 3 дня после ареста отца меня отпустили
медикетитута Бурганетдинову Рахиму, позже
через день выжили следователя на допросы
(в управлении Безопасности) и 10 час вечера
туда меня сопровождала мать с неволевыми
улицами милиции для передачи в судья ареста
меня. С каждым разом являясь на допрос
думала, что и меня арестуют, и так отпусти
ли меня домой в 12 час ночи, а мать
сходила меня на улицу, и мы с матерью
с визитами возвращались домой пешком.
Где транспорт к нашему месту жительства
не было / жили где семье Ибрагимов по ул
Шоки Косманов /.

Через 10 дней после ареста отца разрешили
передать передачу в тюрьму.

ЧТО НАМ ДЕЛАТЬ С ЭТОЙ ПАМЯТЬЮ, С НАШИМ ПРОШЛЫМ?

Публикуемые в этом разделе воспоминания жертв политических репрессий связаны с трагической страницей нашей истории – «Большим террором», развернувшимся на территории СССР в 1937–1938 годы. Название «Большой террор» возникло после появления в советском «самиздате» книги известного историка Р. Конквеста «Большой террор». В бытовом языке этот период уже имел всем известное определение – «ежовщина».

1937–1938 – это годы самого масштабного и жестокого уничтожения людей по политическим мотивам. Главное отличие «Большого террора» от предшествовавших репрессий заключалось в том, что это была крупнейшая, четко спланированная войсковая операция, развернутая против собственного народа. В течение полутора лет по политическим обвинениям было арестовано более 1,7 миллиона человек. А вместе с жертвами депортаций и осужденными «социально вредными элементами» число репрессированных переваливает за два миллиона.

В печально знаменитом приказе № 00447 (публикуется ниже) нарком внутренних дел Ежов заранее определил приговоры для людей, еще свободных, еще не арестованных. К примеру, по Свердловской области (в которую до 1938 года входила Пермская область) было приказано репрессировать 10 тысяч человек, из них по первой категории (расстрелять) 4 тысячи, а 6 тысяч приговорить к заключению в лагеря на срок 8–10 лет. Всего по стране планировалось репрессировать 260 тысяч человек, в том числе 82 тысячи расстрелять.

Следует, однако, заметить, что на этих «лимитах» карательная система не остановилась. С первых же месяцев операции между начальниками управлений НКВД, секретарями обкомов и горкомов партии развернулось настоящее соперничество за наибольшее количество разоблаченных и уничтоженных «врагов». Сотни писем с новыми повышенными обязательствами по расширению числа арестов и расстрелов получил от них «кремлевский горец». Получил и дал «добро». В результате число жертв террора увеличилось в разы. По некоторым данным, Свердловская область превысила сталинский «лимит» почти в 2,5 раза.

О том, как исполнялся приказ № 00447 на территории Пермской области, рассказывает доктор исторических наук, профессор О.Л. Лейбович в публикуемой нами статье «Кулацкая операция на территории Прикамья в 1937 – 1938 гг.» Местные организаторы террора

выслужились на всю катушку: с августа 1937 г. по ноябрь 1938 г. были репрессированы около 8 тысяч человек, 5060 из них расстреляны, остальные приговорены к заключению в лагеря на срок до 10 лет.

Что нам делать с этой памятью, с нашим прошлым? В этом разделе мы публикуем программные Тезисы международного общества «Мемориал» «1937 год и современность». В документе дана исчерпывающая оценка репрессивного прошлого страны, показано, что до сих пор общество не преодолело тоталитарные шаблоны мышления, двоемыслие, привычку к «управляемому правосудию», вновь в ходу мифы о «враждебном окружении», поощряются национализм и ксенофобия. «Мемориал» предлагает целую систему мер, с помощью которых можно преодолеть тоталитарный вирус. «Мемориал» не только предлагает, но и действует. Эта книга, рассказывающая правду о страшном прошлом, – одно из многих его дел.

1937 ГОД И СОВРЕМЕННОСТЬ

Тезисы «Мемориала»

Семьдесят лет назад, по решению высших партийных органов, в СССР развернулась очередная кровавая «чистка», длившаяся почти два года. В исторической публицистике эта репрессивная кампания нередко именуется «Большим Террором»; в народе же ее называют просто – «Тридцать Седьмой».

Коммунистическая диктатура всегда – и до, и после 1937 года – сопровождалась политическими репрессиями. Однако именно Тридцать Седьмой стал в памяти людей символом системы массовых убийств, организуемых и проводимых государственной властью. По-видимому, это случилось из-за того, что Большому Террору были присущи некоторые из ряда вон выходящие черты, предопределившие его особое место в истории и то огромное влияние, которое он оказал – и продолжает оказывать – на судьбы нашей страны.

Тридцать Седьмой – это **гигантский масштаб репрессий**, охвативших все регионы и все без исключения слои общества, от высшего руководства страны до бесконечно далеких от политики крестьян и рабочих. В течение 1937–1938 по политическим обвинениям было арестовано более 1,7 миллиона человек. А вместе с жертвами депортаций и осужденными «социально вредными элементами» число репрессированных переваливает за два миллиона.

Это невероятная **жестокость приговоров**: более 700 тысяч арестованных были казнены.

Это **беспрецедентная плановость** террористических «специальных операций». Вся кампания была тщательно продумана заранее высшим политическим руководством СССР и проходила под его постоянным контролем. В секретных приказах НКВД определялись сроки проведения отдельных операций, группы и категории населения, подлежащие «чистке», а также «лимиты» – плановые цифры арестов и расстрелов по каждому региону. Любые изменения, любые «инициативы снизу» должны были согласовываться с Москвой и получать ее одобрение.

Но для основной массы населения, незнакомой с содержанием приказов, логика арестов казалась загадочной и необъяснимой, не вяжущейся со здравым смыслом. В глазах современников Большой Террор выглядел **гигантской потерей**. Почти мистическая непостижимость происходящего наводила особенный ужас и порождала у миллионов людей неуверенность в собственной судьбе.

Репрессии основательно затронули, в частности, представителей новых советских элит: политической, военной, хозяйственной. Расправа с людьми, имена которых были известны всей стране (именно о них в первую очередь сообщали газеты) и в лояльности которых не



было никаких причин сомневаться, увеличивала панику и усугубляла массовый психоз. Впоследствии родился даже миф о том, что Большой Террор будто бы был направлен исключительно против старых большевиков и партийно-государственной верхушки. На самом деле подавляющее большинство арестованных и расстрелянных были простыми советскими гражданами, беспартийными и ни к каким элитам не принадлежащими.

Тридцать Седьмой – это **неизвестные мировой истории масштабы фальсификации обвинений**. В 1937–1938 вероятность ареста определялась, главным образом, принадлежностью к какой-либо **категории** населения, указанной в одном из «оперативных приказов» НКВД, или **связями** – служебными, родственными, дружескими – с людьми, арестованными ранее. Формулирование индивидуальной «вины» было заботой следователей. Поэтому сотням и сотням тысяч арестованных предъявлялись фантастические обвинения в «контрреволюционных заговорах», «шпионаже», «подготовке к террористическим актам», «диверсиях» и т.п.

Тридцать Седьмой – это **возрождение в XX веке норм средневекового инквизиционного процесса**, со всей его традиционной атрибутикой: заочностью (в подавляющем большинстве случаев) квазисудебной процедуры, отсутствием защиты, фактическим объединением в рамках одного ведомства ролей следователя, обвинителя, судьи и палача. Вновь, как во времена инквизиции, главным доказательством стало ритуальное **«признание своей вины»** самим подследствен-

ным. Стремление добиться такого признания, в сочетании с произвольностью и фантастичностью обвинений, привели к **массовому применению пыток**; летом 1937-го пытки были **официально санкционированы** и рекомендованы как метод ведения следствия.

Тридцать Седьмой – это **чрезвычайный и закрытый характер судопроизводства**. Это **тайна**, окутавшая отправление «правосудия», это непроницаемая секретность вокруг расстрельных полигонов и мест захоронений казненных. Это систематическая многолетняя **официальная ложь** о судьбах расстрелянных: сначала – о мифических «лагерях без права переписки», затем – о кончине, наступившей будто бы от болезни, с указанием фальшивых даты и места смерти.

Тридцать Седьмой – это **круговая порука**, которой сталинское руководство старалось повязать весь народ. По всей стране проходили собрания, на которых людей заставляли бурно аплодировать публичной лжи о разоблаченных и обезвреженных «врагах народа». Детей вынуждали отрекаться от арестованных родителей, жен – от мужей.

Это миллионы разбитых семей. Это зловещая аббревиатура **«ЧСИР»** – «член семьи изменника Родины», которая сама по себе явилась приговором к заключению в специальные лагеря для двадцати тысяч вдов, чьи мужья были казнены по решению Военной Коллегии Верховного Суда. Это сотни тысяч «сирот Тридцать Седьмого» – людей с украденным детством и изломанной юностью.

Это окончательная **девальвация ценности человеческой жизни и свободы**. Это культ чекизма, романтизация насилия, обожествление идола государства. Это эпоха полного смещения в народном сознании всех правовых понятий.

Наконец, Тридцать Седьмой – это фантастическое **сочетание вакханалии террора с безудержной пропагандистской кампанией**, восхваляющей самую совершенную в мире советскую демократию, самую демократическую в мире советскую Конституцию, великие свершения и трудовые подвиги советского народа. Именно в 1937 году окончательно сформировалась характерная черта советского общества – **двоемыслие**, следствие раздвоения реальности, навязанного пропагандой общественному и индивидуальному сознанию.

И сейчас, семьдесят лет спустя, в стереотипах общественной жизни и государственной политики России и других стран, возникших на развалинах СССР, явственно различимо пагубное влияние как самой катастрофы 1937–1938 гг., так и всей той системы государственного насилия, символом и квинтэссенцией которого стали эти годы. Эта катастрофа вошла в массовое и индивидуальное подсознание, покалечила психологию людей, обострила застарелые болезни нашего менталитета, унаследованные еще от Российской империи, породила новые опасные комплексы.

Ощущение ничтожности человеческой жизни и свободы перед истуканом Власти – это непреодоленный опыт Большого Террора.

Привычка к «управляемому правосудию», правоохранительные органы, подчиняющие свою деятельность не норме закона, а велениям начальства, – это очевидное наследие Большого Террора.

Имитация демократического процесса при одновременном выхолащивании основных демократических институций и открытом пренебрежении правами и свободами человека, нарушения Конституции, совершаемые под аккомпанемент клятв в незыблемой верности конституционному порядку, – это общественная модель, которая впервые была успешно опробована именно в период Большого Террора.

Рефлекторная неприязнь сегодняшнего бюрократического аппарата к независимой общественной активности, непрекращающиеся попытки поставить ее под жесткий государственный контроль, – это тоже итог Большого Террора, когда большевистский режим поставил последнюю точку в многолетней истории своей борьбы с гражданским обществом. К 1937 все коллективные формы общественной жизни в СССР – культурной, научной, религиозной, социальной и т.п., не говоря уже о политической, – были уже ликвидированы или подменены имитациями, муляжами; после этого людей можно было уничтожать поодиночке, заодно искореняя из общественного сознания представления о независимости, гражданской ответственности и человеческой солидарности.

Воскрешение в современной российской политике старой концепции «враждебного окружения» – идеологической базы и пропагандистского обеспечения Большого Террора, подозрительность и враждебность ко всему зарубежному, истерический поиск «врагов» за рубежом и «пятой колонны» внутри страны и другие сталинские идеологические шаблоны, обретающие второе рождение в новом политическом контексте – все это свидетельства непреодоленного наследия Тридцать Седьмого в нашей политической и общественной жизни.

Легкость, с которой в нашем обществе возникают и расцветают **национализм и ксенофобия**, несомненно унаследована нами в том числе и от «национальных спецопераций» 1937–1938, и от депортаций в годы войны целых народов, обвиненных в предательстве, и от «борьбы с космополитизмом», «дела врачей» и сопутствующих всему этому пропагандистских кампаний.

Интеллектуальный конформизм, боязнь всякой «инакости», отсутствие привычки к свободному и независимому мышлению, податливость ко лжи, – это во многом результат Большого Террора.

Безудержный **цинизм** – оборотная сторона двоемыслия, волчья лагерная мораль («умри ты сегодня, а я завтра»), утрата традицион-



ных семейных ценностей – и этими нашими бедами мы в большой мере обязаны школе Большого Трора, школе ГУЛАГа.

Катастрофическая **разобщенность** людей, стадность, подменившая коллективизм, острый дефицит человеческой солидарности, – все это результат репрессий, депортаций, насильственных переселений, результат Большого Трора, целью которого ведь и было раздробление общества на атомы, превращение народа в «население», в толпу, которой легко и просто управлять.

Разумеется, сегодня наследие Большого Трора не воплощается и вряд ли может воплотиться в массовые аресты – мы живем в совершенно другую эпоху. Но это наследие, не осмысленное обществом, и, стало быть, не преодоленное им, легко может стать «скелетом в шкафу», проклятием нынешнего и будущих поколений, прорывающимся наружу то государственной манией величия, то вспышками шпиономании, то рецидивами репрессивной политики.

Что требуется сделать для осмысления и преодоления разрушительного опыта Тридцать Седьмого?

Последние полтора десятилетия показали, что **необходимо публичное рассмотрение политического террора советского периода с правовых позиций**. Террористической политике тогдашних руководителей страны, и, прежде всего, генерального идеолога и верховного организатора террора – Иосифа Сталина, конкретным преступлениям, ими совершенным, необходимо дать ясную юридическую оценку.

Только такая оценка может стать точкой отсчета, краеугольным камнем правового и исторического сознания, фундаментом для дальнейшей работы с прошлым. В противном случае отношение общества к событиям эпохи террора неизбежно будет колебаться в зависимости от изменений политической конъюнктуры, а призрак сталинизма – периодически воскресать и оборачиваться то бюстами диктатора на улицах наших городов, то рецидивами сталинской политической практики в нашей жизни.

Вероятно, для проведения полноценного разбирательства следовало бы создать специальный судебный орган – указывать на прецеденты в мировой юридической практике излишне.

К сожалению, пока что налицо противоположная тенденция: в 2005 Государственная Дума Российской Федерации исключила из преамбулы Закона о реабилитации 1991 года единственное в российском законодательстве упоминание о «моральном ущербе», причиненном жертвам террора. Нет нужды вдаваться в нравственную и политическую оценку этого шага – она очевидна. Необходимо просто **вернуть слова о моральном ущербе в текст Закона**. Это надо сделать не только во имя памяти погибших, но и ради самоуважения. Это надо сделать и для того, чтобы загладить оскорбление, нанесенное несколькими десяткам тысяч глубоких стариков – выжившим узникам Гулага, и сотням тысяч родственников жертв террора.

Однако правовая оценка террора – это важный, но недостаточный шаг.

Необходимо обеспечить благоприятные условия для продолжения и расширения исследовательской работы по истории государственного террора в СССР. Для этого нужно, прежде всего, **снять** все ныне действующие искусственные и необоснованные **ограничения доступа к архивным материалам, связанным с политическими репрессиями**.

Необходимо сделать современное историческое знание об эпохе террора общим достоянием: создать, наконец, **школьные и вузовские учебники истории**, в которых теме политических репрессий и, в частности, Большому Террору, было бы уделено место, соответствующее их историческому значению. История советского террора должна стать не только обязательной и значительной частью школьного образования, но и объектом серьезных усилий в области народного просвещения в самом широком смысле слова. Необходимы просветительские и культурные программы, посвященные этой теме, на **государственных каналах телевидения**, необходима **государственная поддержка издательским проектам** по выпуску научной, просветительской, мемуарной литературы, посвященной эпохе террора.

Необходимо создать **общенациональный Музей истории государственного террора**, соответствующий по своему статусу и уровню масштабам трагедии, и сделать его методическим и научным центром

музейной работы по этой теме. История террора и Гулага должна быть представлена во всех **исторических и краеведческих музеях** страны, так, как это делается, например, в отношении другой грандиозной исторической трагедии – Великой Отечественной войны.

Необходимо, наконец, воздвигнуть в Москве **общенациональный памятник погибшим**, который был бы поставлен государством и от имени государства. Такой памятник нам обещают вот уже 45 лет; пора бы и выполнить обещание. Но этого мало: надо, чтобы памятники жертвам террора встали по всей стране. К сожалению, во многих городах дело увековечения памяти жертв до сих пор не двинулось дальше закладных камней, установленных 15–18 лет назад.

В стране должны появиться **памятные знаки и мемориальные доски**, которые отмечали бы места, связанные с инфраструктурой террора: сохранившиеся здания следственных и пересыльных тюрем, политизоляторов, управлений НКВД и Гулага и т.п. Памятные знаки, указатели и информационные щиты следует установить также в местах дислокации больших лагерных комплексов, на предприятиях, созданных трудом узников, на дорогах, ведущих к сохранившимся руинам лагерных зон.

Необходимо убрать из названий улиц и площадей, да и из названий населенных пунктов, имена государственных деятелей – организаторов и активных участников террора. **Топонимика не может больше оставаться зоной увековечения памяти преступников.**

Необходима государственная программа подготовки и издания во всех субъектах Российской Федерации **Книг памяти жертв политических репрессий**. Сейчас такие Книги памяти выпущены только в части регионов России. По приблизительным подсчетам, совокупный список имен, перечисленных в этих книгах, охватывает на сегодняшний день не более 20% от общего числа людей, подвергшихся политическим репрессиям.

Срочно необходимо разработать и осуществить общероссийскую или даже межгосударственную **программу поиска и мемориализации мест захоронений жертв террора**. Это проблема не столько образовательная и просветительская, сколько нравственная. На территории бывшего СССР – многие сотни расстрельных рвов и братских могил, где тайно закапывали казненных, тысячи лагерных и спецпоселенческих кладбищ, разрушенных, полуразрушенных и таких, от которых остались лишь следы; от тысяч кладбищ уже и следов не осталось.

Все это способствовало бы восстановлению памяти об одной из крупнейших гуманитарных катастроф XX века и помогло бы выработать устойчивый иммунитет к тоталитарным стереотипам.

Сказанное выше относится, в первую очередь, к России – правопреемнику СССР, самой большой из бывших советских республик,



стране, в столице которой располагался центр разработки и запуска террористических кампаний, управления механизмами террора, на территории которой находилась основная часть империи ГУЛАГа.

Однако очень многое из того, что должно быть сделано, должно делаться на всем пространстве бывшего СССР, лучше всего – совместными усилиями наших стран. История террора понимается и трактуется в сегодняшних постсоветских государствах по-разному. Это естественно. Но принципиально важно, чтобы из этой разности возник диалог. Диалог национальных памятей – важная и необходимая часть осмысления исторической правды; плохо лишь, когда он превращается в перебранку, в попытки снять историческую (и, стало быть, гражданскую) ответственность с себя и переложить ее на «другого». К сожалению, очень часто именно история советского террора становится инструментом сиюминутных межгосударственных политических разборок, а честная совместная работа с общим прошлым подменяется выставлением перочней взаимных обид, счетов и претензий.

Поэтому развернутая **комплексная программа**, посвященная трагическому опыту прошлого, должна быть, скорее всего, **международной и межгосударственной**. Это касается и исторических исследований, и выпуска Книг памяти, и мемориализации мест захоронений, и многого другого – может быть, даже и подготовки школьных учебников. Память о терроре – это общая память наших народов. Эта память не разъединяет, а объединяет нас – еще и потому, что это ведь не только память о преступлениях, но и память о совместном противостоянии машине убийств, память об интернациональной солидарности и человеческой взаимопомощи.

Конечно, память о прошлом формируется не Указами и постановлениями правительств. Судьбы исторической памяти могут определиться лишь в широкой общественной дискуссии. Чем дальше, тем более очевидной становится острая необходимость в такой дискуссии.

В осмыслении Большого Террора и, шире, всего опыта советской истории, нуждаются не только Россия и не только страны, входившие в СССР или в состав «социалистического лагеря». В таком обсуждении нуждаются все страны и народы, все человечество, ибо события Большого Террора наложили отпечаток не только на советскую, но и на всемирную историю. **Гулаг, Колыма, Тридцать Седьмой – такие же символы XX века, как Освенцим и Хиросима.** Они выходят за пределы исторической судьбы СССР или России и становятся свидетельством хрупкости и неустойчивости человеческой цивилизации, относительности завоеваний прогресса, предупреждением о возможности будущих катастрофических рецидивов варварства. Поэтому дискуссия о Большом Терроре должна также выйти за рамки национальной проблематики; подобно некоторым из названных выше гуманитарных катастроф, она должна стать предметом общечеловеческой рефлексии. Но инициатором и средоточием этой дискуссии обязана стать, разумеется, общественная мысль в странах, которые входили в состав СССР, в первую очередь – в России.

К сожалению, именно в России готовность общества узнать и принять правду о своей истории, казавшаяся в конце 1980-х достаточно высокой, сменилась в 1990-е безразличием, апатией и нежеланием «копаться в прошлом». Есть и силы, прямо заинтересованные в том, чтобы никаких дискуссий на эти темы больше не было. И в общественном сознании, и в государственной политике усиливаются тенденции, отнюдь не способствующие свободному и прямому разговору о нашей недавней истории. Эти тенденции нашли свое выражение в официальной, хотя и не всегда четко формулируемой концепции отечественной истории исключительно как «нашего славного прошлого».

Нам говорят, что актуализация памяти о преступлениях, совершенных государством в прошлом, препятствует национальной консолидации (или, выражаясь языком тоталитарной эпохи, «подрывает морально-политическое единство советского народа»).

Нам говорят, что эта память наносит ущерб процессу национального возрождения.

Нам говорят, что мы должны помнить, в первую очередь, о героических достижениях и подвигах народа во имя великой и вечной Державы.

Нам говорят, что народ не хочет иной памяти, отвергает ее.

И в самом деле, значительной части наших сограждан легче принять удобные успокоительные мифы, чем трезво взглянуть на свою трагическую историю и осмыслить ее во имя будущего. Мы понима-

ем, почему это так: честное осмысление прошлого возлагает на плечи ныне живущих поколений огромную и непривычную тяжесть исторической и гражданской ответственности. Но мы уверены: **без принятия на себя этого, в самом деле – тяжелейшего, груза ответственности за прошлое у нас не будет никакой национальной консолидации и никакого возрождения.**

В канун одной из самых страшных годовщин нашей общей истории «Мемориал» призывает всех, кому дорого будущее наших стран и народов, пристально взглянуть в прошлое и постараться понять его уроки.

Международное общество «Мемориал»

СТАТИСТИКА БОЛЬШОГО ТЕРРОРА

Цитируется (с сокращениями) по книге «Государство против своего народа». Глава 10. Первая часть справочного издания «Черная книга коммунизма».

...Три показательных процесса... состоялись в Москве в августе 1936 года, в январе 1937 года и марте 1938 года. В их ходе наиболее выдающиеся соратники Ленина (Зиновьев, Каменев, Крестинский, Рыков, Пятаков, Радек, Бухарин и др.) признались в своих злодеяниях: в организации террористических центров, повинующихся троцкистам-зиновьевцам или правотроцкистам, имеющим целью свержение советской власти, убийство руководителей, реставрацию капитализма, разрушение военной мощи СССР.

х х х

2 июля 1937 года Политбюро направило местным властям телеграмму с приказом «немедленно арестовать всех бывших кулаков и уголовников <...>, расстрелять наиболее враждебно настроенных из них после рассмотрения их дела тройкой [комиссией, состоящей из трех членов: первого секретаря районного комитета партии, прокурора и регионального руководителя НКВД] и выслать менее активные, но от этого не менее враждебные элементы. <...> Центральный комитет предлагает представить ему в пятидневный срок состав троек, а также число тех, кто подлежит расстрелу и выселению».

В последующие недели Центр получил собранные местными властями данные, на базе которых Ежов подготовил приказ № 00447 от 30 июля 1937 года и представил его в тот же день на Политбюро. В рамках предполагаемой операции 259 450 человек должны были быть арестованы, из них 72 950 человек расстреляны. Эти цифры были не окончательными, так как ряд регионов еще не прислал свои «соображения». Как и при раскулачивании, во всех районах были получены из Центра квоты для каждой из двух категорий (1-я категория – расстрел; 2-я категория – заключение на срок от 8 до 10 лет).

х х х

С конца августа Политбюро было буквально завалено просьбами о повышении квот. С 28 августа по 15 декабря 1937 года оно утвердило различные предложения по дополнительному увеличению квот в общем до 22 500 человек на расстрел, 16 800 – на заключение в лагерь. 31 января 1938 года оно приняло по предложению НКВД квоту на 57 200 человек, из которых следовало казнить 48 000. Все операции должны были быть закончены к 15 марта 1938 года. Но и на этот

раз местные власти, которые были с предыдущего года несколько раз подвергнуты чистке и обновлены, сочли уместным продемонстрировать свое рвение. С 1 февраля по 29 августа 1938 года Политбюро утвердило дополнительные цифры на 90 000 человек.

Таким образом, операция, которая должна была длиться четыре месяца, растянулась более чем на год и коснулась 200 000 человек сверх тех квот, которые были оговорены вначале.

х х х

С 6 августа по 21 декабря 1937 года по крайней мере 10 операций того же типа, что проводились по приказу НКВД № 00447, были запущены Политбюро и исполнителем его воли НКВД с целью «ликвидировать» национальность за национальностью как «шпионские и диверсионные группы»: немцев, поляков, японцев, румын, финнов, литовцев, эстонцев, латышей, греков, турок. За 15 месяцев, с августа 1937 по ноябрь 1938 года, в ходе операций, направленных против «шпионов», многие сотни тысяч были арестованы.

Среди прочих операций, о которых мы располагаем далеко не полной информацией (архивы бывшего КГБ и Архив президента РФ, где хранятся самые конфиденциальные документы, были недоступны для исследователей), перечислим:

- «польскую операцию» (приказ НКВД № 00485, одобренный Политбюро 9 августа 1937 года); в результате этой операции в период с 25 августа 1937 по 15 ноября 1938 года было осуждено 139 085 человек, из них приговорен к смерти 111 091;
- операцию по «ликвидации немецких контингентов, работающих на оборонных предприятиях», 20 июля 1937 года;
- операцию по «ликвидации террористической деятельности, диверсий и шпионажа японской сети репатриированных из Харбина», начатую 19 сентября 1937 года;
- операцию по «ликвидации правой военно-японской организации казаков», начатую с 4 августа 1937 года (с сентября по декабрь 1937 года более 19 000 человек были репрессированы в ходе этой операции);
- операцию по репрессиям в отношении семей арестованных врагов народа (№ 00486 от 15 августа 1937 года).

х х х

Другая серия документов подтверждает централизованный характер утвержденных Сталиным и Политбюро массовых убийств. Речь идет о списках тех, кто приговорен комиссией по судебным делам при Политбюро. Казни обсуждались Военной Коллегией Верховного Суда СССР, военным судом или Особым совещанием. Эта комиссия, в состав которой входил Ежов, представила на подпись Сталину и членам

Политбюро, по крайней мере, 383 списка, включающих 44 000 имен руководителей, партийных работников, армейских чинов и экономистов. Более 39 000 из них были приговорены к смертной казни. Подпись Сталина стоит на 362 списках, Молотова – на 373, Ворошилова – на 195, Кагановича – на 191 списке, Жданова – на 177 списках, Микояна – на 62.

х х х

Еще одна категория, затронутая репрессиями в 1937–1938 годах, о которых мы располагаем точными данными, – военные. 11 июня 1937 года пресса объявила, что специальный военный суд, заседавший при закрытых дверях, приговорил к смерти за предательство и шпионаж маршала Тухачевского, бывшего заместителя наркома обороны и главного организатора реформ в армии, которого часто со времен Польской военной кампании 20-х годов противопоставляли Сталину и Ворошилову; к смерти приговорили еще семерых военачальников: Якира (командующего войсками Киевского военного округа), Уборевича (командующего Белорусским военным округом), Эйдемана, Корка, Пугну, Фельдмана, Примакова.

За десять последующих дней было арестовано 980 человек, из них 21 комкор и 37 комдивов. Дело о «военном заговоре», приписываемом Тухачевскому и его «сообщникам», было подготовлено за несколько месяцев. В мае 1937 года главные участники заговора были арестованы. На «энергичных» допросах (во время реабилитации, двадцать лет спустя, когда изучалось дело Тухачевского, было отмечено, что страницы показаний маршала запачканы кровью, а это значит, что он был подвергнут пыткам), в которых принимал участие сам Ежов, обвиняемые признались в своих «преступлениях» незадолго до приговора суда. Сталин лично следил за всем ходом следствия. 15 мая через посла в Праге он получил фальсифицированное досье, изготовленное нацистскими секретными службами, в котором были многочисленные письма, которыми Тухачевский якобы обменивался с немецким командованием. НКВД умело манипулировал даже немецкими спецслужбами. За два года Красная Армия лишилась:

3 маршалов из 5 (Тухачевский, Егоров, Блюхер, два последних были устранены один за другим в феврале и октябре 1938 года);

13 командармов из 15;

8 флагманов флота из 9 (флагман – воинское звание лиц высшего начальствующего состава в ВМФ СССР в 1935–1940 годах);

50 комкоров из 57;

154 комдивов из 186;

16 армейских комиссаров из 16;

25 корпусных комиссаров из 28.

Решение Политбюро ЦК ВКП(б)
№ П51/94 от 2 июля 1937 г.
94. – Об антисоветских элементах

Послать секретарям обкомов, крайкомов, ЦК нацкомпартий следующую телеграмму:

«Замечено, что большая часть бывших кулаков и уголовников, высланных одно время из разных областей в северные и сибирские районы, а потом по истечении срока высылки, вернувшихся в свои области, – являются главными зачинщиками всякого рода антисоветских и диверсионных преступлений, как в колхозах и совхозах, так и на транспорте и в некоторых отраслях промышленности.

ЦК ВКП(б) предлагает всем секретарям областных и краевых организаций и всем областным, краевым и республиканским представителям НКВД взять на учет всех возвратившихся на родину кулаков и уголовников с тем, чтобы наиболее враждебные из них были немедленно арестованы и были расстреляны в порядке административного проведения их дел через тройки, а остальные менее активные, но все же враждебные элементы были бы переписаны и высланы в районы по указанию НКВД.

ЦК ВКП(б) предлагает в пятидневный срок представить в ЦК состав троек, а также количество подлежащих расстрелу, равно как и количество подлежащих высылке».

СЕКРЕТАРЬ ЦК И. СТАЛИН.

ОПЕРАТИВНЫЙ ПРИКАЗ
НАРОДНОГО КОМИССАРА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
С.С.С.Р. № 00447

об операции по репрессированию бывших кулаков,
уголовников и др. антисоветских элементов.

30 июля 1937 года.
Гор. Москва.

Материалами следствия по делам антисоветских формирований устанавливается, что в деревне осело значительное количество бывших кулаков, ранее репрессированных, скрывшихся от репрессий, бежавших из лагерей, ссылки и трудпоселков. Осело много, в прошлом репрессированных церковников и сектантов, бывших активных участников антисоветских вооруженных выступлений. Остались почти нетронутыми в деревне значительные кадры антисоветских полити-

ческих партий (эсеров, грузмеков, дашнаков, муссаватистов, иттихадистов и др.), а также кадры бывших активных участников бандитских восстаний, белых, карателей, репатриантов и т.п.

Часть перечисленных выше элементов, уйдя из деревни в города, проникла на предприятия промышленности, транспорт и на строительство.

Кроме того, в деревне и городе до сих пор еще гнездятся значительные кадры уголовных преступников – скотоконокрадов, воров-рецидивистов, грабителей и др. отбывавших наказание, бежавших из мест заключения и скрывающихся от репрессий. Недостаточность борьбы с этими уголовными контингентами создала для них условия безнаказанности, способствующие их преступной деятельности.

Как установлено, все эти антисоветские элементы являются главными зачинщиками всякого рода антисоветских и диверсионных преступлений, как в колхозах и совхозах, так и на транспорте и в некоторых областях промышленности.

Перед органами государственной безопасности стоит задача – самым беспощадным образом разгромить всю эту банду антисоветских элементов, защитить трудящийся советский народ от их контрреволюционных происков и, наконец, раз и навсегда покончить с их подлой подрывной работой против основ советского государства.

В соответствии с этим ПРИКАЗЫВАЮ – С 5 АВГУСТА 1937 ГОДА ВО ВСЕХ РЕСПУБЛИКАХ, КРАЯХ и ОБЛАСТЯХ НАЧАТЬ ОПЕРАЦИЮ ПО РЕПРЕССИРОВАНИЮ БЫВШИХ КУЛАКОВ, АКТИВНЫХ АНТИСОВЕТСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ и УГОЛОВНИКОВ.

В УЗБЕКСКОЙ, ТУРКМЕНСКОЙ, ТАДЖИКСКОЙ и КИРГИЗСКОЙ ССР ОПЕРАЦИЮ НАЧАТЬ С 10 АВГУСТА с. г., А В ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМ и КРАСНОЯРСКОМ КРАЯХ и ВОСТОЧНО-СИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ – С 15-го АВГУСТА с. г.

При организации и проведении операций руководствоваться следующим:

I. КОНТИНГЕНТЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ РЕПРЕССИИ.

1. Бывшие кулаки, вернувшиеся после отбытия наказания и продолжающие вести активную антисоветскую подрывную деятельность.

2. Бывшие кулаки, бежавшие из лагерей или трудпоселков, а также кулаки, скрывшиеся от раскулачивания, которые ведут антисоветскую деятельность.

3. Бывшие кулаки и социально опасные элементы, состоявшие в повстанческих, фашистских, террористических и бандитских формированиях, отбывшие наказание, скрывшиеся от репрессий или бежавшие из мест заключения и возобновившие свою антисоветскую преступную деятельность.

4. Члены антисоветских партий (эсеры, грузмеки, муссаватисты, иттихадисты и дашнаки), бывшие белые, жандармы, чиновники, ка-

ратели, бандиты, бандпособники, переправщики, реэмигранты, скрывшиеся от репрессий, бежавшие из мест заключения и продолжающие вести активную антисоветскую деятельность.

5. Изобличенные следственными и проверенными агентурными материалами наиболее враждебные и активные участники ликвидированных сейчас казачье-белогвардейских повстанческих организаций, фашистских, террористических и шпионско-диверсионных контрреволюционных формирований.

Репрессированию подлежат также элементы этой категории, содержащиеся в данное время под стражей, следствие по делам которых закончено, но дела еще судебными органами не рассмотрены.

6. Наиболее активные антисоветские элементы из бывших кулаков, карателей, бандитов, белых, сектантских активистов, церковников и прочих, которые содержатся сейчас в тюрьмах, лагерях, трудовых поселках и колониях и продолжают вести там активную антисоветскую подрывную работу.

7. Уголовники (бандиты, грабители, воры-рецидивисты, контрабандисты-профессионалы, аферисты-рецидивисты, скотоконокрады), ведущие преступную деятельность и связанные с преступной средой.

Репрессированию подлежат также элементы этой категории, которые содержатся в данное время под стражей, следствие по делам которых закончено, но дела еще судебными органами не рассмотрены.

8. Уголовные элементы, находящиеся в лагерях и трудпоселках и ведущие в них преступную деятельность.

9. Репрессии подлежат все перечисленные выше контингенты, находящиеся в данный момент в деревне – в колхозах, совхозах, сельско-хозяйственных предприятиях и в городе – на промышленных и торговых предприятиях, транспорте, в советских учреждениях и на строительстве.

II. О МЕРАХ НАКАЗАНИЯ РЕПРЕССИРУЕМЫМ И КОЛИЧЕСТВЕ ПОДЛЕЖАЩИХ РЕПРЕССИИ.

1. Все репресслируемые кулаки, уголовники и др. антисоветские элементы разбиваются на две категории:

а) к первой категории относятся все наиболее враждебные из перечисленных выше элементов. Они подлежат немедленному аресту и, по рассмотрении их дел на тройках – РАССТРЕЛУ.

б) ко второй категории относятся все остальные менее активные, но все же враждебные элементы. Они подлежат аресту и заключению в лагеря на срок от 8 до 10 лет, а наиболее злостные и социально опасные из них, заключению на те же сроки в тюрьмы по определению тройки.

2. Согласно представленным учетным данным Наркомаами республиканских НКВД и начальниками краевых и областных управлений НКВД утверждается следующее количество подлежащих репрессии:

	Первая категория	Вторая категория	Всего
Азербайджанская ССР	1500	3750	5250
Армянская ССР	500	1000	1500
Белорусская ССР	2000	10000	12000
Грузинская ССР	2000	3000	5000
Киргизская ССР	250	500	750
Таджикская ССР	500	1300	1800
Туркменская ССР	500	1500	2000
Узбекская ССР	750	4000	4750
Башкирская АССР	500	1500	2000
Бурято-Монгольская АССР	350	1500	1850
Дагестанская АССР	500	2500	3000
Карельская АССР	300	700	1000
Кабардино-Балкарская АССР	300	700	1000
Крымская АССР	300	1200	1500
Коми АССР	100	300	400
Калмыцкая АССР	100	300	400
Марийская АССР	300	1500	1800
Мордовская АССР	300	1500	1800
Немцев Поволжья АССР	200	700	900
Северо-Осетинская АССР	200	500	700
Татарская АССР	500	1500	2000
Удмуртская АССР	200	500	700
Чечено-Ингушская АССР	500	1500	2000
Чувашская АССР	300	1500	1800
Азово-Черноморский край	5000	8000	13000
Дальне-Восточный край	2000	4000	6000
Западно-Сибирский край	5000	12000	17000
Красноярский край	750	2500	3250
Орджоникидзевский край	1000	4000	5000
Восточно-Сибирский край	1000	4000	5000
Воронежская область	1000	3500	4500
Горьковская область	1000	3500	4500

Западная область	1000	5000	6000
Ивановская область	750	2000	2750
Калининская область	1000	3000	4000
Курская область	1000	3000	4000
Куйбышевская область	1000	4000	5000
Кировская область	500	1500	2000
Ленинградская область	4000	10000	14000
Московская область	5000	30000	35000
Омская область	1000	2500	3500
Оренбургская область	1500	3000	4500
Саратовская область	1000	2000	3000
Сталинградская область	1000	3000	4000
Свердловская область	4000	6000	10000
Северная область	750	2000	2750
Челябинская область	1500	4500	6000
Ярославская область	750	1250	2000

УКРАИНСКАЯ ССР

	Первая категория	Вторая категория	Всего
Харьковская область	750	2000	2750
Киевская область	2000	3500	5500
Винницкая область	1000	3000	4000
Донецкая область	1000	3000	4000
Одесская область	1000	3500	4500
Днепропетровская область	1000	2000	3000
Черниговская область	300	1300	1600
Молдавская АССР	200	500	700

КАЗАХСКАЯ ССР

	Первая категория	Вторая категория	Всего
Северо-Казакхст. область	650	300	950
Южно-Казакхст. область	350	600	950
Западно-Казакхст. область	100	200	300

Кустанайская область	150	450	600
Восточно-Казахст. область	300	1050	1350
Актюбинская область	350	1000	1350
Карагандинская область	400	600	1000
Алма-Атинская область	200	800	1000

3. Утвержденные цифры являются ориентировочными. Однако, наркомы республиканских НКВД и начальники краевых и областных управлений НКВД не имеют права самостоятельно их превышать. Какие бы то ни было самочинные увеличения цифр не допускаются.

В случаях, когда обстановка будет требовать увеличения утвержденных цифр, наркомы республиканских НКВД и начальники краевых и областных управлений НКВД обязаны представлять мне соответствующие мотивированные ходатайства.

Уменьшение цифр, а равно и перевод лиц, намеченных к репрессированию по первой категории – во вторую категорию и, наоборот – разрешается.

4. Семьи приговоренных по первой и второй категории как правило не репрессировались.

Исключение составляют:

а) Семьи, члены которых способны к активным антисоветским действиям. Члены такой семьи, с особого решения тройки, подлежат водворению в лагеря или трудпоселки.

б) Семьи лиц, репрессированных по первой категории, проживающие в пограничной полосе, подлежат переселению за пределы пограничной полосы внутри республик, краев и областей.

в) Семьи репрессированных по первой категории, проживающие в Москве, Ленинграде, Киеве, Тбилиси, Баку, Ростове на Дону, Таганроге и в районах Сочи, Гагры и Сухуми, подлежат выселению из этих пунктов в другие области по их выбору, за исключением пограничных районов.

5. Все семьи лиц, репрессированных по первой и второй категориям, взять на учет и установить за ними систематическое наблюдение.

III. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАЦИИ.

1. Операцию начать 5 августа 1937 года и закончить в четырехмесячный срок.

В Туркменской, Таджикской, Узбекской и Киргизской ССР операцию начать 10 августа с. г., а в Восточно-Сибирской области, Красноярском и Дальневосточном краях – с 15-го августа с. г.

2. В первую очередь подвергаются репрессиям контингенты, отнесенные к первой категории.

Контингенты, отнесенные ко второй категории, до особого на то распоряжения репрессии не подвергаются.

В том случае, если нарком республиканского НКВД, начальник управления или областного отдела НКВД, закончив операцию по контингентам первой категории, сочтет возможным приступить к операции по контингентам, отнесенным ко второй категории, он обязан, прежде чем к этой операции фактически приступить – запросить мою санкцию и только после получения ее, начать операцию.

В отношении всех тех арестованных, которые будут осуждены к заключению в лагеря или тюрьмы на разные сроки, по мере вынесения приговоров доносить мне сколько человек, на какие сроки тюрьмы или лагеря осуждено. По получении этих сведений я дам указания о том, каким порядком и в какие лагеря осужденных направить.

3. В соответствии с обстановкой и местными условиями территории республики, края и области делится на оперативные сектора.

Для организации и проведения операции по каждому сектору формируется оперативная группа, возглавляемая ответственным работником НКВД республики, краевого или областного Управления НКВД, могущим успешно справиться с возлагаемыми на него серьезными оперативными задачами.

В некоторых случаях начальниками оперативных групп могут быть назначены наиболее опытные и способные начальники районных и городских отделений.

4. Оперативные группы укомплектовать необходимым количеством оперативных работников и придать им средства транспорта и связи.

В соответствии с требованиями оперативной обстановки группам придать войсковые или милицейские подразделения.

5. На начальников оперативных групп возложить руководство учетом и выявлением подлежащих репрессированию, руководство следствием, утверждение обвинительных заключений и приведение приговоров в исполнение.

Начальник оперативной группы несет ответственность за организацию и проведение операции на территории своего сектора.

6. На каждого репрессированного собираются подробные установочные данные и компрометирующие материалы. На основании последних составляются списки на арест, которые подписываются начальником оперативной группы и в 2-х экземплярах отсылаются на рассмотрение и утверждение Наркому внутренних дел, начальнику управления или областного отдела НКВД.

Нарком внутренних дел, начальник управления или областного отдела НКВД рассматривает список и дает санкцию на арест перечисленных в нем лиц.

7. На основании утвержденного списка начальник оперативной группы производит арест. Каждый арест оформляется ордером. При аресте производится тщательный обыск. Обязательно изымаются: оружие, боеприпасы, военное снаряжение, взрывчатые вещества, от-

равляющие и ядовитые вещества, контрреволюционная литература, драгоценные металлы в монете, слитках и изделиях, иностранная валюта, множительные приборы и переписка.

Все изъятое заносится в протокол обыска.

8. Арестованные сосредотачиваются в пунктах по указаниям Наркомов внутренних дел, начальников управлений или областных отделов НКВД. В пунктах сосредоточения арестованных должны иметься помещения, пригодные для размещения арестованных.

9. Арестованные строго окарауливаются. Организуются все мероприятия, гарантирующие от побегов или каких-либо эксцессов.

IV. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ СЛЕДСТВИЯ.

1. На каждого арестованного или группу арестованных заводится следственное дело. Следствие проводится ускоренно и в упрощенном порядке.

В процессе следствия должны быть выявлены все преступные связи арестованного.

2. По окончании следствия дело направляется на рассмотрение тройки.

К делу приобщаются: ордер на арест, протокол обыска, материалы, изъятые при обыске, личные документы, анкета арестованного, агентурно-учетный материал, протокол допроса и краткое обвинительное заключение.

V. ОРГАНИЗАЦИЯ и РАБОТА ТРОЕК.

1. Утверждаю следующий персональный состав республиканских, краевых и областных троек:

Азербайджанская ССР председатель – Сумбатов, члены Теймуркулиев, Джангир Ахунд Заде

Армянская ССР председатель – Мугдуси, члены Миквелян, Тернакалов

Белорусская ССР председатель – Берман, члены Селиверстов, Потапенко

Грузинская ССР председатель – Рапава, члены Талахадзе, Церетели

Киргизская ССР председатель – Четвертаков, члены Джиенбаев, Гуцуев

Таджикская ССР председатель – Тарасюк, члены Ашуров, Байков

Туркменская ССР председатель – Нодев, члены Анна Мухамедов, Ташли Анна Мурадов

Узбекская ССР председатель – Загвоздин, Икрамов, Балтабаев

Башкирская АССР председатель – Бак, члены Исанчурин, Цыпнятов

Бурято-Монгольская АССР председатель – Бабкевич, члены Доржиев, Гросс

Дагестанская АССР председатель – Ломоносов, члены Самурский, Шиперов

Карельская АССР председатель – Тенисон, члены Михайлович, Никольский

Кабардино-Балкарская АССР председатель – Антонов, члены Калмыков, Хагуров

Крымская АССР председатель – Павлов, члены Трупчу, Монаков

Коми АССР председатель – Ковалев, члены Семичев, Литин

Калмыцкая АССР председатель – Озеркин, члены Хонхошев, Килганов

Марийская АССР председатель – Карачаров, члены Врублевский, Быстряков

Мордовская АССР председатель – Вейзагер, члены Михайлов, Поляков

Немцев Поволжья АССР председатель – Далингер, члены Люфт, Анисимов

Северо-Осетинская АССР председатель – Иванов, члены Тогоев, Коков

Татарская АССР председатель – Алимасов, члены Лепа, Мухамедзянов

Удмуртская АССР председатель – Шленов, члены Барышников, Шевельков

Чечено-Ингушская АССР председатель – Дементьев, члены Егоров, Вахаев

Чувашская АССР председатель – Розанов, члены Петров, Елифанов

Азово-Черноморский край председатель – Каган, члены Евдокимов, Иванов

Дальне-Восточн. край председатель – Люшков, члены Птуха, Федин

Западно-Сибирск. край председатель – Миронов, члены Эйхе, Барков

Красноярский край председатель – Леонюк, члены Горчаев, Рабинович

Орджоникидзевский край председатель – Булах, члены Сергеев, Розит

Восточно-Сибирская область председатель – Лупекин, члены Юсуп Хасимов, Грязнов

Воронежская область председатель – Коркин, члены Анфимов, Ярыгин

Горьковская область председатель – Лаврушин, члены Огурцов, Устюжанинов

Западная область председатель – Каруцкий, члены Билинский, Коротченко

Ивановская область председатель – Радзивиловский, члены Носов, Карасик

Калининская область председатель – Домбровский, члены Рабов, Бобков

Курская область председатель – Симановский, члены Пискарев, Никитин

Куйбышевская область председатель – Попашенко, члены Нельке, Ключев

Кировская область председатель – Газов, члены Мухин, Наумов

Ленинградская область председатель – Заковский, члены Смородин, Позерн

Московская область председатель – Реденс, члены Маслов, Волков

Омская область председатель – Горбач, члены Булатов, Евстигнеев

Оренбургская область председатель – Успенский, члены Нарбут, Митрофанов

Саратовская область председатель – Стромин, члены Андреев, Калачев

Сталинградская область председатель – Раев, члены Семенов, Румянцев

Свердловская область председатель – Дмитриев, члены Абаляев, Грачев

Северная область председатель – Бак, члены Коржин, Рябов

Челябинская область председатель – Чистов, члены Рындин, Малышев

Ярославская область председатель – Ершов, члены Полумордвинов, Юрчук

У. С. С. Р.

Харьковская область председатель – Шумский, члены Гикало, Леонов

Киевская область председатель – Шаров, члены Кудрявцев, Гинзбург

Винницкая область председатель – Гришин, члены Чернявский, Ярошевский

Донецкая область председатель – Соколинский, члены Прамнэк, Руденко

Одесская область председатель – Федоров, члены Евтушенко,

Днепропетровская область председатель – Кривец, члены Марголин, Цвик

Черниговская область председатель – Корнев, члены Маркитан, Склярский

Молдавская АССР председатель – Рогаль, члены Тодрес, Колодий

КАЗАХСКАЯ ССР

Северо-Казахст. обл. председатель – Панов, члены Степанов, Сегизбаев

Южно-Казахст. обл. председатель – Пинтель, члены Досов, Слу-
чак

Западно-Казахст. обл. председатель – Ромейко, члены Сатарбе-
ков, Спиоров

Кустанайская область председатель – Павлов, члены Кузнецов,
Байдаков

Восточно-Казахст. обл. председатель – Чирков, члены Свердлов,
Юсупов

Актюбинская обл. председатель – Демидов, члены Мусин, Сте-
цура

Карагандинская область председатель – Адамович, члены Духо-
вич, Пинхасик

Алма-Атинская область председатель – Шабанбеков, члены Садва-
касов, Кужанов

2. На заседаниях троек может присутствовать (там где он не входит
в состав тройки) республиканский краевой или областной прокурор.

3. Тройка ведет свою работу или, находясь в пункте расположения
соответствующих НКВД, УНКВД или областных отделов НКВД или вы-
езжая к местам расположения оперативных секторов.

4. Тройки рассматривают представленные им материалы на каж-
дого арестованного или группу арестованных, а также на каждую под-
лежащую выселению семью в отдельности.

Тройки, в зависимости от характера материалов и степени соци-
альной опасности арестованного, могут относить лиц, намеченных к
репрессированию по 2 категории – к первой категории и лиц, намечен-
ных к репрессированию по первой категории – ко второй.

5. Тройки ведут протоколы своих заседаний, в которые и записыва-
ют вынесенные ими приговора в отношении каждого осужденного.

Протокол заседания тройки направляется начальнику оперативной
группы для приведения приговоров в исполнение. К следственным де-
лам приобщаются выписки из протоколов в отношении каждого осуж-
денного.

VI. ПОРЯДОК ПРИВЕДЕНИЯ ПРИГОВОРОВ В ИСПОЛНЕНИЕ.

1. Приговора приводятся в исполнение лицами по указаниям пред-
седателей троек, т.е. наркомов республиканских НКВД, начальников
управлений или областных отделов НКВД.

Основанием для приведения приговора в исполнение являются – за-
веренная выписка из протокола заседания тройки с изложением при-
говора в отношении каждого осужденного и специальное предписание
за подписью председателя тройки, вручаемые лицу, приводящему
приговор в исполнение.

2. Приговора по первой категории приводятся в исполнение в местах и порядком по указанию наркомов внутренних дел, начальников управления и областных отделов НКВД с обязательным полным сохранением в тайне времени и места приведения приговора в исполнение.

Документы об исполнении приговора приобщаются в отдельном конверте к следственному делу каждого осужденного.

3. Направление в лагеря лиц, осужденных по 2 категории, производится на основании нарядов, сообщаемых ГУЛАГ'ом НКВД СССР.

VII. ОРГАНИЗАЦИЯ РУКОВОДСТВА ОПЕРАЦИЙ И ОТЧЕТНОСТЬ.

1. Общее руководство проведением операций возлагаю на моего заместителя – Начальника главного управления государственной безопасности – Комкора тов. ФРИНОВСКОГО.

Для проведения работы, связанной с руководством операций, сформировать при нем специальную группу.

2. Протоколы троек по исполнению приговоров немедленно направлять начальнику 8-го Отдела ГУГБ НКВД СССР с приложением учетных карточек по форме № 1.

На осужденных по 1 категории одновременно с протоколом и учетными карточками направлять также и следственные дела.

3. О ходе и результатах операции доносить пятидневными сводками к 1, 5, 10, 15, 20 и 25 числу каждого месяца телеграфом и подробно почтой.

4. О всех вновь вскрытых в процессе проведения операции контрреволюционных формированиях, возникновении эксцессов, побегах за кордон, образовании бандитских и грабительских групп и других чрезвычайных происшествиях доносить по телеграфу – немедленно.

* * *

При организации и проведении операции принять исчерпывающие меры к тому, чтобы не допустить: перехода репресслируемых на нелегальное положение; бегства с мест жительства и особенно за кордон; образования бандитских и грабительских групп, возникновения каких-либо эксцессов.

Своевременно выявлять и быстро пресекать попытки к совершению каких-либо активных контрреволюционных действий.

НАРОДНЫЙ КОМИССАР ВНУТРЕННИХ ДЕЛ СОЮЗА ССР
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ КОМИССАР ГОСУДАРСТВЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ (Н. ЕЖОВ)
ВЕРНО: М. ФРИНОВСКИЙ

**ОПЕРАТИВНЫЙ ПРИКАЗ НАРОДНОГО
КОМИССАРА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ СОЮЗА ССР
№ 00486**

15 августа 1937 г.
г. Москва

С получением настоящего приказа приступите к репрессированию жен изменников родины, членов право-троцкистских шпионско-диверсионных организаций, осужденных военной коллегией и военными трибуналами по первой и второй категории, начиная с 1 августа 1936 г. При проведении этой операции, руководствуйтесь следующим:

ПОДГОТОВКА ОПЕРАЦИИ:

1) В отношении каждой, намеченной к репрессированию семьи проводится тщательная ее проверка, собираются дополнительные установочные данные и компрометирующие материалы.

На основании собранных материалов составляются:

а) подробная общая справка на семью с указанием: фамилии, имени, отчества осужденного главы семьи, за какие преступления, когда, кем и какому наказанию подвергнут; именной список состава семьи (включая и всех лиц, состоявших на иждивении осужденного и вместе с ним проживавших), подробных установочных данных на каждого члена семьи; компрометирующих материалов на жену осужденного; характеристики, в отношении степени социальной опасности детей старше 15-летнего возраста; данных о наличии в семье престарелых и нуждающихся в уходе родителей, наличии тяжело или заразно больных, наличии детей, по своему физическому состоянию требующих ухода.

б) отдельная краткая справка на социально-опасных и способных к антисоветским действиям детей старше 15-летнего возраста.

в) именные списки детей до 15 лет отдельно дошкольного и школьного возраста.

2) Справки рассматриваются соответственно наркомками внутренних дел республик и начальниками управлений НКВД краев и областей.

Последние:

а) дают санкции на арест и обыск жен изменников родины;
б) определяют мероприятия относительно детей арестуемой;
в) указывают мероприятия в отношении родителей и других родственников, состоявших на иждивении осужденного и совместно с ним проживающих.

ПРОИЗВОДСТВО АРЕСТОВ И ОБЫСКОВ

3) Намеченные к репрессированию арестовываются. Арест оформляется ордером.

4) Аресту подлежат жены, состоявшие в юридическом или фактическом браке с осужденным в момент его ареста.

Аресту подлежат также и жены, хотя и состоявшие с осужденным, к моменту его ареста, в разводе, но:

а) причастные к контр-революционной деятельности осужденного;

б) укрывавшие осужденного;

в) знавшие о контр-революционной деятельности осужденного, но не сообщившие об этом соответствующим органам власти.

5) Аресту не подлежат:

а) беременные; жены осужденных, имеющие грудных детей, тяжело или заразно больные; имеющие больных детей, нуждающихся в уходе; имеющие преклонный возраст.

В отношении таких лиц временно ограничиваться отображением подписки о невыезде с установлением тщательного наблюдения за семьей.

б) жены осужденных, разоблачившие своих мужей и сообщившие о них органам власти сведения, послужившие основанием к разработке и аресту мужей.

6) Одновременно с арестом производится тщательный обыск. При обыске изымаются: оружие, патроны, взрывчатые и химические вещества, военное снаряжение, множительные приборы (шапирографы, стеклографы, пишущие машинки и т.п.), контр-революционная литература, переписка, иностранная валюта, драгоценные металлы в слитках, монетах и изделиях, личные документы и денежные документы.

7) Все имущество, лично принадлежащее арестованным (за исключением необходимых белья, верхнего и нижнего платья, обуви и постельных принадлежностей, которые арестованные берут с собой) – конфискуется. Квартиры арестованных опечатываются.

В случаях, когда совместно с арестованными проживают их совершеннолетние дети, родители и другие родственники, то им, помимо их личных вещей, оставляется в пользование необходимые: жилая площадь, мебель и домашняя утварь арестуемых.

8) После производства ареста и обыска арестованные жены осужденных конвоируются в тюрьму. Одновременно, порядком, указанным ниже, вывозятся и дети.

ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ДЕЛ

9) На каждую арестованную и на каждого социально-опасного ребенка старше 15-летнего возраста заводится следственное дело, в которое помимо установленных документов, помещаются справки (см. п.п. “а” и “б” ст. 1) и краткое обвинительное заключение.

10) Следственное дело направляется на рассмотрение Особого Совещания НКВД СССР.

Начальникам управлений НКВД по Дальне-Восточному и Красноярскому краям и Восточно-Сибирской области, следственных дел на

арестованных Особому Совещанию – не высылать. Вместо этого сообщать по телеграфу общие справки на семьи осужденных (пункт “а”, ст. 1), которые и будут рассматриваться Особым Совещанием. Последнее свои решения по каждой семье с одновременным указанием места заключения (лагеря) сообщает начальникам перечисленных УНКВД, также по телеграфу.

РАССМОТРЕНИЕ ДЕЛ И МЕРЫ НАКАЗАНИЯ

11) Особое совещание рассматривает дела на жен осужденных изменников родины и тех их детей старше 15-летнего возраста, которые являются социально-опасными и способными к совершению антисоветских действий.

12) Жены осужденных изменников родины подлежат заключению в лагеря на сроки, в зависимости от степени социальной опасности, не менее как 5–8 лет.

13) Социально опасные дети осужденных, в зависимости от их возраста, степени опасности и возможностей исправления, подлежат заключению в лагеря или исправительно-трудовые колонии НКВД, или водворению в детские дома особого режима Наркомпросов республик.

14) Приговора Особого Совещания сообщаются для приведения их в исполнение Наркомам республиканских НКВД и начальникам Управлений НКВД краев и областей по телеграфу.

15) Следственные дела сдаются в архив НКВД СССР.

ПОРЯДОК ПРИВЕДЕНИЯ ПРИГОВОРОВ В ИСПОЛНЕНИЕ

16) Осужденных Особым Совещанием жен изменников родины направлять для отбытия наказания в специальное отделение Темниковского исправительно-трудового лагеря, по персональным нарядам ГУЛАГ”а НКВД СССР.

Направление в лагеря производить существующим порядком.

17) Осужденные жены изменников родины, не подвергнутые аресту, в силу болезни и наличия на руках больных детей, по выздоровлении арестовываются и направляются в лагерь.

Жены изменников родины, имеющие грудных детей, после вынесения приговора, немедленно подвергаются аресту и без завоза в тюрьму направляются непосредственно в лагерь.

Также поступать и с осужденными женами, имеющими преклонный возраст.

18) Осужденные социально-опасные дети направляются в лагеря, исправительно-трудовые колонии НКВД или в дома особого режима Наркомпросов республик по персональным нарядам ГУЛАГ”а НКВД для первой и второй группы и АХУ НКВД СССР – для третьей группы.

РАЗМЕЩЕНИЕ ДЕТЕЙ ОСУЖДЕННЫХ

19) Всех оставшихся после осуждения детей-сирот размещать:

а) детей в возрасте от 1–1 1/2 лет до 3-х полных лет – в детских домах и яслях Наркомздравов республик в пунктах жительства осужденных;

б) детей в возрасте от 3-х полных лет и до 15 лет – в детских домах Наркомпросов других республик, краев и областей (согласно установленной дислокации) и вне Москвы, Ленинграда, Киева, Тбилиси, Минска, приморских и пограничных городов.

20) В отношении детей старше 15 лет, вопрос решать индивидуально. В зависимости от возраста, возможностей самостоятельного существования собственным трудом, или возможностей проживания на иждивении родственников, такие дети могут быть:

а) направлены в детские дома Наркомпросов республик в соответствии с п. "б" ст. 19;

б) направлены в другие республики, края и области (в пункты, за исключением перечисленных выше городов) для трудового устройства или определения на учебу.

21) Грудные дети направляются вместе с их осужденными матерями в лагеря, откуда по достижению возраста 1–1 1/2 лет передаются в детские дома и ясли Наркомздравов республик.

22) Дети в возрасте от 3 до 15 лет принимаются на государственное обеспечение.

23) В том случае, если оставшихся сирот пожелают взять другие родственники (не репресслируемые) на свое полное иждивение – этому не препятствовать.

ПОДГОТОВКА К ПРИЕМУ И РАСПРЕДЕЛЕНИЮ ДЕТЕЙ

24) В каждом городе, в котором будет проводиться операция, специально оборудуются:

а) приемно-распределительные пункты, в которые будут доставляться дети тотчас же после ареста их матерей и откуда дети будут направляться затем по детским домам.

б) специально организуются и оборудуются помещения, в которых будут содержаться до решения Особого Совещания социально-опасные дети.

Для указанных выше детей, используются, там, где они имеются, детские приемники отделов трудовых колоний НКВД.

25) Начальники органов НКВД пунктов, где расположены детские дома Наркомпросов, предназначенные для приема осужденных, совместно с заведывающими или представителями ОБЛОНО производят проверку персонала домов и лиц, политически неустойчивых, антисоветски настроенных и разложившихся – увольняют. Взамен уволенного персонала домов доукомплектовывается проверенным, политически надежным составом, могущим вести учебно-воспитательную работу с прибывающими к ним детьми.

26) Начальники органов НКВД определяют в каких детских домах и яслях Наркомздравов можно разместить детей до 3-летнего возраста и обеспечивают немедленный и безотказный прием этих детей.

27) Наркомы внутренних дел республик и начальники управлений НКВД сообщают по телеграфу лично заместителю начальника АХУ НКВД СССР тов. ШНЕЕРСОНУ именные списки детей, матери которых подвергаются аресту. В списках должны быть указаны: фамилия, имя, отчество, год рождения ребенка, в каком классе учится. В списках дети перечисляются по группам, комплектуемым с таким расчетом, чтобы в один и тот же дом не попали дети, связанные между собой родством или знакомством.

28) Распределение детей по детским домам производит заместитель начальника АХУ НКВД СССР. Он телеграфом сообщает наркомам республиканских НКВД и начальникам управлений НКВД краев и областей, каких детей и в какой дом направить. Копию телеграммы посылает начальнику соответствующего детского дома. Для последнего эта телеграмма должна явиться основанием к приему детей.

29) При производстве ареста жен осужденных, дети у них изымаются и вместе с их личными документами (свидетельства о рождении, ученические документы), в сопровождении специально наряженных в состав группы производящей арест, сотрудника или сотрудницы НКВД, отвозятся:

а) дети до 3-летнего возраста – в детские дома и ясли Наркомздравов;

б) дети от 3 и до 15-летнего возраста – в приемно-распределительные пункты;

в) социально-опасные дети старше 15-летнего возраста в специально предназначенные для них помещения.

Порядок отправки детей в детские дома:

30) Детей на приемно-распределительном пункте принимает заведывающий пунктом или начальник детского приемника ОТК НКВД и специально выделенный оперработник (работница) УГБ.

Каждый принятый ребенок записывается в специальную книгу, а документы его запечатываются в специальный конверт.

Затем дети группируются по местам назначения и в сопровождении специально подобранных работников отправляются группами по детским домам Наркомпросов, где и сдаются вместе с их документами заведывающему домом под личную его расписку.

31) Дети до 3-летнего возраста сдаются лично заведывающим детскими домами или яслями Наркомздравов под их личную расписку. Вместе с ребенком сдается и его свидетельство о рождении.

УЧЕТ ДЕТЕЙ ОСУЖДЕННЫХ

32) Дети осужденных, размещенные в детских домах и яслях Наркомпросов и Наркомздравов республик, учитываются АХУ НКВД СССР.

Дети старше 15-летнего возраста и осужденные социально-опасные дети учитываются 8 отделом ГУГБ НКВД СССР.

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ДЕТЬМИ ОСУЖДЕННЫХ

33) Наблюдение за политическими настроениями детей осужденных, за их учебной и воспитательной жизнью возлагаю на Наркомов Внутренних Дел Республик, начальников Управлений НКВД краев и областей.

ОТЧЕТНОСТЬ

34) О ходе операции доносить мне трехдневными сводками по телеграфу. О всех эксцессах и чрезвычайных происшествиях немедленно.

35) Операцию по репрессированию жен уже осужденных изменников родины закончить к 25/X с/г.

36) Впредь всех жен изблеченных изменников родины, правотроцкистских шпионов, арестовывать одновременно с мужьями, руководствуясь порядком, устанавливаемым настоящим приказом.

Центральный архив МБ РФ

Лейбович О.Л.,
заведующий кафедрой культурологии ПГТУ,
доктор исторических наук, профессор

КУЛАЦКАЯ ОПЕРАЦИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ПРИКАМЬЯ В 1937 – 1938 ГГ.

6 января 1938 г. сотрудники Кизеловского горотдела НКВД арестовали Георгия Семеновича Пьянкова, рабочего шахты № 6 – Капитальная. Привезли в недостроенный производственный корпус и заперли там вместе с другими товарищами по несчастью. Спустя какое-то время вызвали на допрос, где следователь предложил ему признаться в совершенных преступлениях и подписать заранее составленный протокол. В нем, среди прочих злодеяний, указывались конкретные факты вредительства: «сталкивал под откос железнодорожные вагоны, а, работая проходчиком, умышленно выбивал крепежные стойки». Георгий Пьянков был человеком молодым, упрямым и грамотным (окончил начальную школу), потому, удивившись «до глупости неправдоподобному обвинению», ничего подписывать не стал, за что был жестоко наказан. «Следователь угрожал... оружием, избивал, затем целые сутки держал в коридоре на табурете...», в конце концов, на две недели отправил в карцер. «Помещение карцера по своим размерам было очень маленьким, а людей в нем содержалось много. Кроме того, к помещению карцера был подведен паропровод, так что находиться в карцере в таких условиях было невыносимо». Однако Пьянков все-таки вынес, ничего не подписал и был отправлен в лагерь, где «...узнал, что осужден тройкой на 10 лет». Отсидел до звонка, вернулся в Кизел, вновь устроился на шахту, на этот раз имени Ленина, десятиком погрузки¹.

Событие, исковеркавшее жизнь 24-летнему рабочему парню, было рядовым эпизодом в череде массовых операций, проводимых территориальными органами НКВД в течение четырнадцати месяцев. Согласно директивному документу высшей степени важности – совместному постановлению Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б), массовые операции были нацелены на «разгром и выкорчевывание вражеских элементов» с применением особых средств, поименованных «упрощенным ведением следствия»². В указанном постановлении высшие государственные инстанции в ноябре 1938 г. объявляли о прекраще-

¹ См.: Протокол допроса свидетеля Пьянкова Георгия Семеновича. г. Кизел. 28 05 1956 // ГОПАПО. ф. 641/1. Оп. 1. Д. 14189. С. 204–205.

² См.: Об арестах, прокурорском надзоре и ведении следствия. Постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б). 17 11 1938 // ГОПАПО. ф. 85. Оп. 20. Д. 6. С. 11.

нии массовых операций, начатых в соответствии с постановлением политбюро ЦК ВКП(б) в августе предшествующего – 1937 года. В силу оперативного приказа наркома внутренних дел СССР № 00447 в кратчайший срок подлежали беспощадной репрессии «бывшие кулаки, активные антисоветские элементы и уголовники»¹. По мере поступления новых приказов наркомвнудела, указывавших на дополнительные цели: поляков, немцев, харбинцев, латышей, их исполнители в служебной переписке и деловых разговорах стали называть первую операцию – «кулацкой». Под этим именем она и вошла в историю.

Если начальная дата операции известна (в приказе указано число – 5 августа 1937 г.), то вопрос о ее завершении остается открытым. Первоначально на всю операцию отводилось 4 месяца. В действительности, органы НКВД продолжали изъятие «антисоветских элементов», перечисленных в приказе, вплоть до осени 1938 г.

Операции не просто следовали одна за другой, они накладывались друг на друга. Новые задачи вовсе не отменяли старые, они только другому расставляли акценты. И если в первые месяцы бывших кулаков брали просто как кулаков, то зимой 1937–1938 гг. в порядке уничтожения «инобазы», то есть как подручных (потенциальных и реальных) зарубежных разведок, или в качестве эсеров и меньшевиков.

В отечественной историографии тема кулацкой операции в исследовании большого террора остается периферийной. Причины такому состоянию дел можно было бы объяснить состоянием источниковой базы. Ведомственные документы НКВД рассекречены в минимальной мере. Представляется, однако, что немаловажную роль играют также и теоретические, вернее, идеологические предрасположенности историков. Массовые операции не укладываются в концептуальные схемы, объясняющие генезис и содержание большого террора или перипетиями классовой борьбы, или технологиями отправления власти в пореволюционном обществе. В первом случае речь идет о расправе с политической оппозицией². Во втором – о радикальном способе вер-

¹ См.: Оперативный приказ народного комиссара внутренних дел Союза ССР № 00447. г. Москва. 30 07 1937 // Книга памяти жертв политических репрессий. Т. 1. Ульяновск, 1996. С. 766–767. О перипетиях, связанных с появлением этого приказа, см.: Юнге М. Биннер Р. Как террор стал «большим». Секретный приказ № 00447 и технология его исполнения. М., 2003.

² Наиболее определенно и четко эта точка зрения выражена в работах В.З. Роговина, который интерпретирует большой террор как превентивную гражданскую войну, развязанную правящей бюрократией «...против большевиков-ленинцев, боровшихся за сохранение и укрепление завоеваний октябрьской революции». Последние являлись хранителями традиций, «сохранивших жизнь не только в среде народных масс, но и в среде партийных аппаратчиков, хозяйственников, военачальников и т.д. Чтобы опрокинуть эту силу, не имевшую прецедента в истории, понадобился столь же беспрецедентный по своим масштабам и жестокости террор». Роговин В.З. 1937. М., 1996. С. 18, 146.

нуть к жизни окостеневшие управленческие структуры, попутно открыв социальный клапан для выражения справедливого недовольства городских и сельских низов по адресу некомпетентных, вороватых, жестких и надменных чиновников¹. Тем более, за предшествующие десятилетия сложилась литературная традиция, отождествляющая жертв большого террора с номенклатурными лицами – выходцами из революционной эпохи: с членами ЦК, наркомаами, командармами, красными директорами, полпредами. Впускать в этот избранный круг плотников, кочегаров, конюхов, грузчиков, казалось, да и по сей день кажется не совсем приличным. Тем не менее, в литературе последнего десятилетия о большом терроре в 1937–1938 г. присутствуют сюжеты, касающиеся проведения массовых операций².

Изучение кулацкой операции на территории, ныне входящей в Пермский край, а в 1937–1938 г. бывшей западной окраиной Свердловской области, фактически только начинается. Документальной основой исследования являются материалы, хранящиеся в фондах Государственного общественно-политического архива Пермской области (ГОПАПО). Речь идет в первую очередь об архивно-следственных делах, собранных в двух фондах (641/1 и 643/2). В них содержатся допросные протоколы, заявления, свидетельские показания, постановления особой тройки. Специфика указанных документов заключается в том, что они все – или почти все – фальсифицированные. В 1937 г. в стенах Свердловского Управления НКВД состоялся примечательный разговор между прежними товарищами по оружию. Один из них – Боярский – исполнял роль следователя; второй – Плахов – нераскаявшегося врага. Следователь убеждал собеседника сознаться в участии в антисоветском заговоре. Арестант отказывался и, в конце концов, задал вопрос: «Зачем вам нужна ложь? «Боярский ответил, что это нужно партии, органам НКВД, нужно истории...»³.

¹ Технологическая точка зрения была некогда высказана А. Гетти: «Ежовщина была... радикальной истерической реакцией на бюрократию». См.: Getty J. *Origins of the great Purges*. – Cambridge, 1987. P. 206. «Репрессии громыхали где-то поверху. В деревне садить было некого», – утверждает исследователь большого террора на Урале. См.: Базаров А. Дурелом, или господ колхозники. Кн. 2. Курган, 1997. С. 451.

² Наиболее полный обзор публикаций по теме «массовые операции в советской провинции» см.: Юнге М. Биннер Р. Как террор стал «большим». Секретный приказ № 00447 и технология его исполнения. М., 2003. С. 335–348.

³ Из обзорной справки по архивно-следственному делу № 9096 по обвинению бывших сотрудников УНКВД Свердловской области // ГОПАПО. Ф. 641/1. Оп. 1. Д. 16213. С. 153. И надо сказать, что в отношении истории он не ошибся. В недавно изданной книге на правах подлинных документов опубликованы протоколы допросов Г.Г. Ягоды, показания М.Н. Тухачевского и пр. материалы, сфабрикованные в НКВД. См.: Сойма В. *Запрещенный Сталин*. М., 2005. С. 102–293.

В позднейших показаниях высокопоставленного сотрудника Свердловского УНКВД А.Г. Гайды, как о чем-то само собой разумеющемся, рассказывается о том, как «...в 3 отделе на всех «сознавшихся» арестованных писал протокол один человек Вайнштейн, не видевший в глаза этих арестованных и не беседовавший с ними, т.е. протоколы писались только лишь с заявления, исключительно фантастического характера на 60–70 листах»¹. Точно так же поступали сотрудники городских и районных отделений НКВД. Более точные сведения можно было бы почерпнуть из следственных дел бывших исполнителей приказа № 00447. Однако этот массив документов остается закрытым. Лица, осужденные за злоупотребление служебным положением и фальсификации дел в ходе массовых операций, не реабилитированы – и по этой причине их дела недоступны. Исследователь массовых операций может располагать только обзорными справками, выписками из протоколов допросов, копиями рапортов по начальству, помещенными в реабилитационные дела жертв репрессий.

Служебная документация органов НКВД (материалы оперативных совещаний, доклады, директивы, сводки) также остается засекреченной. Впрочем, есть указания на то, что по приказу местных руководителей часть материалов была уничтожена еще в 1938 г.² Сохранилась переписка между НКВД СССР и политбюро ЦК ВКП(б), частично опубликованная в сборнике «Лубянка. Сталин и главное управление госбезопасности НКВД. 1937–1938»³.

В распоряжении исследователя находятся также разрозненные протоколы партийных собраний сотрудников НКВД, не регулярно собираемых в указанный период. В этих материалах очень фрагментарно, односторонне и поверхностно отображается внутренняя жизнь учреждений, проводящих массовую операцию, выявляются сдвиги в коллективной психологии исполнителей большого террора.

Материалы, содержащиеся в архивно-следственных делах, могут быть дополнены документами из фондов территориальных партийных организаций – Перми, Молотово (так в 1932–1938 гг. назывался современный Мотовилихинский район), Березников, Соликамска, Чусового, Кизела, Кунгура, Щучьего Озера, Лысьвы и др. И если в ходе

¹ Из обзорной справки по архивно-следственному делу № 9096 по обвинению бывших сотрудников УНКВД Свердловской области // ГОПАПО. Ф. 641/1. Оп. 1. Д. 16213. С. 157.

² «При окончании операции все документы были изорваны техническим персоналом», – показал на допросе оперуполномоченный Кизеловского ГО НКВД. Протокол допроса свидетеля Герчикова С.Б. 10 12 1939 // ГОПАПО. Ф. 641/1. Оп. 1. Д. 12558. Т. 3. С. 113.

³ Лубянка. Сталин и главное управление госбезопасности НКВД. Архив Сталина. Документы высших органов партийной и государственной власти. 1937–1938. М.: МФД, 2004.

самой операции переписка между райотделами НКВД и районными партийными комитетами была сведена до минимума (из отдела в райком поступали списки арестованных членов партии; из райкома в отдел – списки исключенных из ВКП(б) по политическим мотивам, или партийцев, подозрительных по своему происхождению), то в стенограммах конференций, в протоколах заседаний районного бюро, в партийных характеристиках можно обнаружить не только сведения о реакции населения на происходящие события, но и образ мысли их участников и свидетелей. После ноября 1938 г. в фондах районных и городских комитетов вновь отложились документы, составленные в территориальных органах НКВД: справки, информационные письма, доклады, в том числе и затрагивающие недавнюю историю.

Неоценимым подспорьем для исследователя является составленная сотрудниками архива база данных на лиц, подвергшихся репрессиям по политическим мотивам на территории Пермской области. В ней учтены 7959 человек, осужденных особой тройкой Свердловского УНКВД в 1937–1938 гг.

Историю кулацкой операции, таким образом, приходится реконструировать, в основном, по косвенным источникам, к тому же рассредоточенным в самых разных делах. Без неоценимой помощи Галины Федоровны Станковской – великого знатока архивного фонда – с этой работой я бы не справился. Сердечное ей спасибо.

ПОДГОТОВКА КУЛАЦКОЙ ОПЕРАЦИИ

Подготовка к массовой акции по истреблению антисоветского элемента началась в начале лета. В июне начальник Свердловского УНКВД Д.М. Дмитриев создал для этой цели оперативный штаб, которому поручил непосредственное руководство и планирование предстоящей операции¹.

За несколько недель до ее начала штаб организовал кустовые совещания с руководством районных и городских отделов НКВД.

Г.Ф. Черняков, в то время возглавлявший Кочевский РО НКВД, «...был вызван на совещание начальников райотделений, которое проходило под руководством начальника областного управления милиции Вейнберга, специально приехавшего для этой цели в Кудымкар». Там они получили приказ «...в кратчайший срок подготовить списки лиц из числа кулаков и предоставить эти списки в Окротдел НКВД в гор. Кудымкар. Списки должны были быть подготовлены по специальной форме с указанием установочных данных и компрометирующих

¹ См.: Из обзорной справки по архивно-следственному делу № 975188. г. Свердловск. 14 02 1955 // ГОПАПО. Ф. 641/1. Оп. 1. Д. 15357. Т. 2. С. 117–

материалов на этих лиц»¹. Дело происходило «в июне-июле месяце». Более точной даты свидетель не помнил. На более раннем допросе Черняков уточнил, что совещаний было несколько. На первом «...об арестах еще ничего сказано не было»².

Затем Вейнберг приехал в с. Кочеево, лично проверил списки, остался доволен и приказал их отослать в окружной отдел – в г. Кудымкар. И уже после того, как все списки были составлены и отосланы, «...в начале августа 1937 года в гор. Кудымкар приехал начальник СПО УНКВД Ревин, который также провел совещание с начальниками райотделений, на котором заявил, что ЦК ВКП(б) и Советским правительством поставлена задача ликвидации базы «правых» в деревне. <...> Здесь же на совещании нам были возвращены ранее высланные в окротдел списки, причем в этих списках против каждой фамилии стояли римские цифры – I или II, означавшие, кого нужно арестовать в первую и кого во вторую очередь. Кроме того, предложили занять какое-либо помещение под КПЗ, мобилизовать для проведения операции партийно-советский актив, подготовить транспорт. На прошедших совещаниях нам указывали, что следствие по делам арестованных необходимо вести упрощенным образом, то есть постановление на арест об избрании меры пресечения не выносить, санкции на арест у прокуроров не испрашивать, прокуроров в КПЗ не допускать, обвиняемых с материалами дела не знакомить, очных ставок не проводить. Каждому начальнику райоргана, в том числе и мне, была заранее определена цифра подлежащих аресту, причем было сказано, что если в ходе следствия дела будут разворачиваться, то никаких ограничений в проведении последующих арестов не будет»³.

Из показаний Г.Ф. Чернякова (самых подробных из тех, что удалось обнаружить) следует, что на непосредственную подготовку операции исполнителям отводилось несколько недель. За это время районные отделы должны были составить «черные списки» трудпоселенцев и

¹ Протокол допроса свидетеля Чернякова Григория Федоровича. г. Молотов. 18 01 1956 // ГОПАПО. Ф. 641/1. Оп. 1. Д. 11912. С. 245–246.

² Протокол допроса. г. Молотов. 27 04 1955 // ГОПАПО. Ф. 641/1. Оп. 1. Д. 14189. С. 65. Об этом же говорил курсант Свердловской межкраевой школы НКВД И.Г. Сердюк, в июле 1937 г. практиковавший в Кизеловском горотделе: «В то время нам не было известно, что лица, в отношении которых мы будем собирать компрометирующий материал, впоследствии будут арестованы». Протокол допроса свидетеля Сердюка И.Г. г. Кизел. 09 06 1956 // ГОПАПО. Ф. 641/1. Оп. 1. Д. 11908. Т. 1. С. 194–195. То же самое повторял на допросе и Л.М. Новоселов, тогда начальник ОДТО станции Пермь II: «Составляя эти списки /на антисоветский элемент – О.Л./, мы не знали, для чего это делаем. Потом списки к нам поступали из ДТО с резолюцией «арестовать», и мы приводили это в исполнение». Обзорная справка по архивно-следственному делу № 983113 // ГОПАПО. Ф. 641/1. Оп. 1. Д. 15225. С. 164.

³ Протокол допроса свидетеля Чернякова... С. 246.

местных бывших кулаков, «...на которых были какие-то компрометирующие материалы», отослать их для проверки по начальству, а затем получить обратно с отметкой «...красным карандашом» против фамилий людей, подлежащих немедленному аресту. Никаких новых виз и подписей на этих списках не появилось¹.

В процессе подготовительных мероприятий органы НКВД определили круг жертв, прежде всего, из числа трудпоселенцев. Им снова была присвоена номинация «кулаки». Следует заметить, что правовое положение этих людей проблематизировалось Конституцией 1936 г. Наравне с другими гражданами они получили избирательные права, тем самым, их политическая ущербность, казалось, была сведена на нет. В среде трудпоселенцев циркулировали слухи о предстоящем полном восстановлении гражданских прав. «Находясь в ожидании конкретного преломления статьи 135 новой Конституции в отношении трудссылки, имеются различного рода настроения и высказывания всевозможных предположений в отношении дальнейшей судьбы трудпоселенцев», – сообщается в одном из документов, составленных в Кизеловском горотделе НКВД в начале 1937 года. Смысл этих высказываний сводится к тому, что мы теперь свободные люди, захотим – останемся на старом месте работы, захотим – нет. «Губаха – это место ссылки и наказания, в случае, если дадут паспорта, то здесь останутся одни кадровые рабочие. <...> Я тоже поеду домой и буду работать в колхозе слесарем. Там проживу лучше, чем здесь».

Следует заметить, что такие настроения разделяли и некоторые хозяйственные руководители. В документе упоминается начальник отдела кадров и одновременно парторг лесозавода Дымолазов, который «...в присутствии трудпоселенцев» сказал коменданту поселка: «...сейчас трудпоселенцев нет; они свободные граждане, как и мы с тобой, <...> они свободны и могут ехать, куда угодно». Авторы «Справки» также не были уверены в перспективе сохранения status quo – и потому предлагали до получения распоряжений поддерживать сложившийся режим, «...обеспечить выполнение существующих условий со стороны хозяйственных организаций» и «проводить массовую воспитательную работу», чтобы закрепить этих нужных работников на предприятиях². Спустя некоторое время настроения поменялись:

¹ «Кто производил эти отметки в списках, я не знаю». Протокол допроса. г. Молотов. 27 04 1955... С. 65. В отличие от Чернякова, заместитель начальника Пермского горотдела НКВД В.И. Былкин знал, что отметки на списках делал руководитель совещания в Перми капитан госбезопасности С.А. Кричман. См.: Из протокола судебного заседания Военного трибунала Московского округа войск НКВД в г. Москве. 1939 // ГОПАПО. Ф. 641/1. Оп. 1. Д. 6857. Т. 6. С. 176.

² Справка 4-го отд. УГБ Кизеловского ГО НКВД о политнастроениях трудпоселенцев в связи с новой Конституцией СССР по состоянию на 23 01 1937 // ГОПАПО. Ф. 61. Оп. 16. Д. 53. С. 137–142.

«Вожди между собой ссорятся, а из-за этого нас, трудпоселенцев, не восстанавливают в избирательных правах»¹. Никому, однако, не приходило в голову, что спустя несколько месяцев власти изымут их из советского общества, превратят в «...особое политическое тело, в котором не было законов и не было граждан»².

Трудпоселенцы будут отождествлены с врагами, подлежащими искоренению по спискам.

Техника составления последних была простой. Следователи просматривали ранее составленные дела-формуляры и агентурные дела на лиц, подлежащих оперативному учету: в первую очередь на тех же трудпоселенцев, но также и на бывших военнослужащих белых армий, членов социалистических партий, людей, отбывших заключение по 58-й статье³.

Другие оперативные работники, по свидетельству сотрудника Кизеловского ГО НКВД С.В. Трясцина, получили приказ «...учесть по обслуживаемым им объектам контрреволюционный элемент: полуофициальным сбором данных и через агентуру составить списки с установочными данными и краткой характеристикой его деятельности...»⁴. С агентами поручили работать курсантам. Так, Иван Григорьевич Сердюк, проходивший практику в г. Кизеле, получил список свидетелей, которых ему надо было допросить «...об антисоветской деятельности подлежащих аресту лиц»⁵. Таких лиц по го-

¹ Спецзаписка о политнастроениях в связи со смертью тов. Орджоникидзе Г.К. на 21 02 1937. г. Кизел // ГОПАПО. Ф. 61. Оп. 16. Д. 53. С. 146 (об).

² Эткинд А. «Одно время я колебался, не антихрист ли я»: субъективность, автобиография и горячая память революции // НЛО. № 73 (2005). С. 55.

³ См.: Протокол допроса свидетеля Тягунова Н.П. 06 04 1955 // ГОПАПО. Ф. 641/1. Оп. 1. Д. 7485. С. 121-122.

⁴ Справка по архивно-следственному делу № 980732 по обвинению Шахова Д.А. // ГОПАПО. Ф. 641/1. Оп. 1. Д. 11908. Т. 1. С. 167. Что такое «полуофициальный сбор данных», разъяснил другой оперативник З.С. Джиловян: «Списки на лиц, подлежащих аресту, составлялись путем выяснения биографических данных этих лиц через паспортные столы, отделы кадров предприятий, учетные данные спецкомандатур и др.». Из протокола допроса свидетеля Джиловяна Завена Сумбатовича. г. Молотов. 20 05 1955 // ГОПАПО. Ф. 641/1. Оп. 1. Д. 10231. С. 121-122.

⁵ Протокол допроса свидетеля Сердюка И.Г. г. Кизел. 09 06 1956 // ГОПАПО. Ф. 641/1. Оп. 1. Д. 11908. Т. 1. С. 194. Тема свидетелей несостоявшихся преступлений сама по себе интересна. На самом деле, речь шла об агентах, сообщавших о реальных или мнимых антисоветских высказываниях заранее обреченных людей. Кроме них использовались штатные доносчики. Один из них – агент по снабжению «Шахтстроя» И.Н. Мулов «...по просьбе сотрудников Кизеловского горотдела НКВД» подписал, «...не читая, около 150 свидетельских показаний на разных лиц». Заключение по материалам расследования о нарушении социалистической законности быв. сотрудником УНКВД Свердловской области, а впоследствии б. нач. Кизеловского ГО НКВД и б. нач. УНКВД Пермской обл., мл. лейтенантом гос. безопасности Шаховым Дмитрием Александровичем 05 02 1955 // ГОПАПО. Ф. 641/1. Оп. 1. Д. 12837. С. 516 (об). Об услугах органам знали или догадывались соседи и сослуживцы. «Среди спецпоселенцев были разговоры, что Мулов посадил многих поселенцев, давая на каждого показания». Рвение доносчика подогревали водкой. «Он все время пил и все время был пьяным». Протокол допроса свидетеля Винокурова К.Н. г. Молотов. 28 05 1956 // ГОПАПО. Ф. 641/1. Оп. 1. Д. 11908. С. 210.

роду учли 800 человек. Свердловское начальство одобрило арест 500 из них¹.

Агентурные материалы добывались непосредственно перед самой операцией. Все делалось наспех. «Основным материалом для их ареста служили агентурные материалы и формуляры, что я считал вполне достаточным», — показывал на суде В.И. Былкин, руководивший операцией в Перми². О том, как составлялись формуляры, можно прочесть в показаниях И.Н. Муллова: «Еще до составления протокола меня вызвал к себе комендант трудпоселка и сказал мне, что нужно подобрать людей и компрометирующие материалы на них, после этого мы составляли характеристики, причем некоторые факты брались по памяти; на других лиц мы просматривали по карточке и книгам дисциплинарные взыскания за побег, за самовольные отлучки с трудпоселка в город, за невыход на работу и т.д., и уже после этого следователь составил протокол на всех намеченных лиц и предложил мне для подписания»³.

Руководителям райотделов разъяснили на словах технологию проведения операции, а также ее политический смысл и предложили самостоятельно изыскать дополнительные средства: арестные помещения, транспорт и пр.

К началу операции областное управление НКВД увеличило штаты оперативных отделов за счет мобилизации вахтеров, фельдъегерей, охранников и курсантов⁴.

Можно предположить, что на основании полученных списков Свердловское УНКВД разметило территорию области, выделив те районы, по которым планировалось нанесение основного удара, в том числе: Коми-Пермяцкий округ, Ворошиловский район (Березники, Соликамск, Губаха), Пермь и прилегающие к ней города и поселки. Под прицельный огонь попали те районы, где были расквартированы трудовые поселенцы, занятые в промышленности, в строительстве, на транспорте, в лесном и сельском хозяйстве. Именно туда позднее отправятся оперативные группы и следственные бригады из Свердловска.

Организационная подготовка операции этими мерами фактически исчерпывалась.

¹ Справка по архивно-следственному делу № 980732 по обвинению Шахова Д.А. // ГОПАПО. Ф. 641/1. Оп. 1. Д. 11908. Т. 1. С. 168.

² Из протокола судебного заседания Военного трибунала Московского округа войск НКВД в г. Москве. 1939. // ГОПАПО. Ф. 641/1. Оп. 1. Д. 6857. Т. 6. С. 176.

³ Выписка из протокола допроса свидетеля Муллова И.Н. 15 02 1939 // ГОПАПО. Ф. 641/1. Оп. 1. Д. 11908. С. 203.

⁴ Многие оперативные работники пермского горотдела НКВД вплоть до июля 1937 г. занимали именно эти должности. См.: Из протокола судебного заседания Военного трибунала Московского округа войск НКВД в г. Москве. 1939. // ГОПАПО. Ф. 641/1. Оп. 1. Д. 6857. Т. 6. С. 152, 157.

Была в процессе подготовки и политическая составляющая. На совещании в Кудымкаре капитан ГБ Ревинов разъяснил своим слушателям, что бывших кулаков следует ликвидировать не за старые грехи или конкретные преступления, а потому, что они представляют собой политическую опасность, являясь социальной базой «правых»¹.

Правые, на языке июля 1937 года, это синоним врагов народа, оккупировавших руководящие должности в партийных, советских и хозяйственных учреждениях Урала². Прежде, чем начать операцию, органы НКВД произвели политическую зачистку территорий, нанеся удары по штабам. В показаниях Михаила Алексеевича Дьяконова – помощника оперуполномоченного Ворошиловского РО НКВД – содержится примечательное наблюдение: «...До проведения этих /массовых – О.Л./ операций <...> были произведены массовые аресты руководящих партийных и советских работников района и расположенных на его территории промышленных предприятий. В то время были арестованы члены партии с большим стажем, секретари райкома и Березниковского горкома, директора заводов, крупные инженеры и другие советские и партийные работники. Мне, как оперативному работнику РО НКВД, было известно, что на указанных лиц никаких компрометирующих материалов в РО не имелось, однако они были арестованы»³. Весной того же года подобной операции был подвергнут г. Пермь, летом – Коми-Пермяцкий округ, города Лысьва, Чусовой, Кизел, Кунгур. Были арестованы руководители отделов НКВД в Кудымкаре и в Березниках. Об одном из них – начальнике Ворошиловского ГО капитане ГБ А.П. Морякове – говорили, что «...он был противником массовых операций и необоснованного ареста граждан»⁴. Начальник Пермского горотдела Л.Г. Лосос, непосредственно руководивший подготовкой операции, за неделю до ее начала застрелился.

Аресты номенклатурных работников являлись необходимым политическим основанием для массовых акций против рабочих, колхозников, мелких служащих. И дело здесь не в том, что прежнее руководство могло как-то помешать проведению операции или вмешаться в ее процесс. После падения И.Д. Кабакова такой дерзости от секретарей горкома ожидать уже не следовало. Разоблачение страшного заговора во властных инстанциях развязывало чекистам руки для крупномасштабной карательной акции, оправдывало в их собственных

¹ Черняков, представляется, лукавил, когда расшифровывал римские цифры I или II только очередностью арестов.

² См.: Базаров А. Дурелом, или господа колхозники. Кн. 2. Курган, 1997. С. 358–366.

³ Протокол допроса свидетеля Дьяконова М.А. г. Молотов. 13 09 1957 // ГОПАПО. Ф. 641/1. Оп. 1. Д. 16092. С. 73.

⁴ Из протокола допроса свидетеля Джиловяна Завена Сумбатовича г. Молотов. 20 05 1955 // ГОПАПО. Ф. 641/1. Оп. 1. Д. 10231. С. 121.

глазах применение террористических мер по отношению к беззащитным людям, обеспечивало – если не поддержку, то хотя бы одобрение населения и, наконец, создавало общественную атмосферу страха и неуверенности. Как верно заметил на допросе начальник Ворошиловского РО НКВД Шейнкман: «Безусловно, в нормальной обстановке <...> такие аресты не имели бы место»¹.

К осени 1937 г. усилиями партийной пропаганды, при помощи массовых акций – митингов и собраний, публичных чтот газетных статей и совместного прослушивания радиопередач городское население переживало состояние коллективного психоза. Враг приобрел черты мифологического чудовища, способного своими сетями опутать близкого человека, дотянуться до соседней лавки, вывернуть лампочку в подъезде. «Горе в том, – писал Н.И. Ежову в Кремль житель Перми, благоразумно скрывшийся под псевдонимом «Зорька», – что регулярно, ежедневно, утром в тот момент, когда в долгую уральскую зиму рабочий и служащий, хозяйка и дети-ученики встанут с постели, тухнет огонь, тухнет тогда, когда в городе вечно нет керосина, тысячные толпы озлобленных, страдающих людей стоят у лавки, ожидая привоза керосина. Тухнет вечером в тот момент, когда он больше всего нужен, и загорается ночью, когда не нужен. Что это, случайность? Издевательство? Остатки работы паразитов человечества? А их на Урале было немало. <...> Гады делали огромные очереди с хлебом, люди мучались, росло недовольство. <...> Не электроэнергии не хватает, а еще врагов народа много осталось у руководства на Урале, в Перми»². Таких писем много сохранилось в фондах партийных организаций. Слово «троцкист» стало ругательством, заменившим все прежние обидные клички. Так, ветеран жалуется агитатору на соседей, не желающих в сотый раз слушать его нетрезвые речи: «В этом доме все троцкисты. Если бы вернулся 18-й год, то я бы разделался с ними»³.

Имело значение и то обстоятельство, что по сценарию проведения массовой операции ее руководители нуждались в особом материале: в людях с общественным положением, образованных и полностью деморализованных, способных сыграть назначенные им роли главарей повстанческих и диверсионных организаций. В показаниях С.В. Трясына о том, как фабриковали дела в Кизеловском горотделе, содержится любопытный эпизод на эту тему: «В момент отъезда бригады УНКВД, это относится примерно к декабрю 1937 или январю 1938 года, Годенко меня лично и других некоторых работников про-

¹ Из протокола допроса обвиняемого Шейнкмана Соломона Исааковича. 02 02 1939 // ГОПАПО. Ф. 641/1. Оп. 1. Д. 15357. Т. 2. С. 153.

² Зорька – Ежову. 08 03 1938 // ГОПАПО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 1959. С. 221–222.

³ Заявление агитатора Мельниковой А.Ф. в партийную организацию при участке № 18. 02 12 1937 // ГОПАПО. Ф. 78. Оп. 1. Д. 112. С. 192.

инструктировал, как именно нужно вести следствие. Этот инструктаж сводился к тому, что арестованные с одного объекта должны быть в единой организации. Из их среды нужно подобрать фигуру солидную по своей прошлой деятельности, в крайнем случае, из социальной чуждой среды, но чтобы был недалекovidный, и с ним уговориться, чтобы он стал руководителем контрреволюционной организации, и в его протоколе написать то, что нужно нам, т.е. он вербовал, по его указаниям делались диверсии, готовились к восстанию, и что он завербован тем-то, и что всю свою деятельность он вел в интересах германской и иной иностранной разведки, смотря кого мне назовут, кто завербовал этого человека...»¹.

Массовым операциям предшествовали оперативные удары по так называемому контрреволюционному подполью, проводимые ответственными сотрудниками Свердловского УНКВД вместе с районными работниками в апреле-июне 1937 г. в гг. Березники, Кизел, Пермь и др.

«В феврале-марте 1937 г. Дмитриев... дал указание произвести массовое изъятие руководящих работников с основных заводов. Было арестовано несколько сот человек, работавших в Уральской промышленности»².

В ходе этих акций отработывался механизм арестов, техники упрощенного следствия, но, что самое главное, метод фабрикации контрреволюционных групп из людей, объединенных разве что общим местом работы или службы, или земляческими, или просто добрососедскими отношениями. На этом поприще преуспел начальник особого отдела 82-й стрелковой дивизии, расквартированной под Пермью, Федор Павлович Мозжерин. В 1936 г. сотрудниками особого отдела было арестовано несколько красноармейцев, проходивших службу в 61-м батальоне тылового ополчения. Все они – или почти все – были людьми верующими, некоторые происходили из семей священнослужителей. По всей видимости, в увольнительные они посещали церковные службы, разговаривали с прихожанами и священниками. В течение полугода Мозжерин сотоварищи составляли из них боевую террористическую организацию: избивали на допросах, ставили на конвейер, уговаривали, подкармливали («брали 1–2 пачки папирос, какое-нибудь мясное блюдо из буфета»³), отдавали на расправу уголовникам и, в конце концов, добились своего⁴.

¹ Справка по архивно-следственному делу № 980732 по обвинению Шахова Д.А. // ГОПАПО. Ф. 641/1. Оп. 1. Д. 11908. Т. 1. С. 168.

² Обзорная справка по архивно-следственному делу № 960365 // ГОПАПО. Ф. 641/1. Оп. 1. Д. 10114. С. 260.

³ Выписка из протокола допроса Ветошкина И.П. 04 05 1939 // ГОПАПО. Ф. 641/1. Оп. 1. Д. 12396. С. 121.

⁴ См.: Из протокола допроса обвиняемого Аликина Аркадия Михайловича. 17 02 1939 // ГОПАПО. Ф. 641/1. Оп. 1. Д. 11925. С. 113–114.

Подследственные (а к красноармейцам позднее добавили несколько священнослужителей и рабочих) подписали сочиненные следователями протоколы, в которых содержались признания об их участии в «Обществе трудового духовенства», намерении взорвать завод имени Кирова и железнодорожный мост через Каму. К составлению протоколов приложил руку и начальник Свердловского УНКВД Д.М. Дмитриев, который, ознакомившись с материалами, «...сказал, что над этим делом надо работать, дело хорошее»¹.

Взял его к себе, переписал заново признания, что-то убрал, что-то добавил, усилил тему подготовки террористического акта, в общем, отредактировал в нужном виде. Арестованные были приговорены к расстрелу. Следователи получили награды².

Таким образом, к началу операции областное управление НКВД приняло все необходимые предварительные меры: в пределах установленных лимитов расписало количество жертв по городам и районам, проверило списки обреченных, отработало технику получения признаний от них. Городские и районные отделы подготовили учетные материалы для проведения следственных действий и изготовления альбомных справок, сформировали оперативные группы для производства арестов, оборудовали временные помещения для содержания заключенных. Одновременно был разработан сценарий, позволяющий вписать кулацкую операцию в большой процесс выкорчевывания вражеских гнезд, в разгром контрреволюционного правотроцкистского подполья.

СЦЕНАРИЙ КУЛАЦКОЙ ОПЕРАЦИИ

Для исполнения приказа № 00447 сотрудникам Свердловского УНКВД не требовалось составлять каких-либо особых сценариев. Им вменялось в обязанность выявить и подвергнуть аресту антисоветские элементы – общей численностью десять тысяч человек: из них четыре тысячи расстрелять; шесть тысяч – отправить в лагеря на длительные сроки³. Никаких иных процедур не требовалось. Руководство областного управления, однако, усложнило себе задачу, попытавшись объединить всех (или почти всех арестованных) в большую контрреволюционную повстанческую организацию. Иначе говоря, наркомат предписывал уничтожать заклятых классовых вра-

¹ Из протокола судебного заседания Военного трибунала Московского округа войск НКВД в г. Москве. 1939. //ГОПАПО. Ф. 641/1. Оп. 1. Д. 6857. Т. 6. С. 166.

² См.: Выписка из протокола допроса обвиняемого Поносова П.Л. 17 02 1939 // ГОПАПО. Ф. 641/1. Оп. 1. Д. 12396. С. 119.

³ См.: Юнге М. Биннер Р. Указ. соч. С. 130.

гов поодиночке, местные чекисты предпочитали делать это группами. Более того, Москва приказывала подвергнуть репрессии за прошлые грехи, Свердловск наказывал за нынешние преступления.

Сценарий был прост. Летом 1937 г. начальник Свердловского управления НКВД Д.М. Дмитриев «...дал директиву начальникам городских и районных отделений НКВД», согласно которой «...аппаратом УНКВД вскрыта в Свердловской области руководимая право-троцкистами контрреволюционная повстанческая организация, которая... создана по принципу формирования воинских частей, делится на корпуса, роты, взводы со штабом контрреволюционных повстанческих организаций в гор. Свердловске»¹. Организация располагает вооружением, которое до поры до времени хранится на складах Осоавиахима. «Дмитриев предложил следствие по делам арестованных кулаков вести в направлении выяснения их принадлежности к повстанческой организации, – пересказывал содержание летней директивы Н.Я. Боярский – в 1937 г. помощник начальника Свердловского УНКВД, – ...особо подчеркнул, что именно кулаки являются основными кадрами повстанческих формирований на Урале»².

По следственным документам можно проследить, как формировался уральский сценарий. Все началось с ареста в апреле 1937 г. начальника Камского речного пароходства Григория Ивановича Кандалинцева. Кадровый рабочий, до революции машинист портовой электростанции в гор. Махачкала, депутат городского Совета в 1917 г., не был твердокаменным ленинцем. Всю революцию он оставался беспартийным. «В первое время при временном правительстве, как я сейчас представляю, стоял на платформе учредительного собрания, и должен сказать, что я в то время недопонимал важности и необходимости социалистической революции и диктатуры пролетариата», – так он отвечал на вопрос о своих политических взглядах в 1937 г.³

В партию вступил в 1921 году и с тех пор работал на речном флоте. Мягкостью и податливостью характера Кандалинцев не отличался, в аппаратные кланы не входил, так что на одном месте долго не задерживался, кроме Астрахани, где был и начальником рейдового флота, и ответственным работником конторы судостроительного ремонта. Там он, на свою беду, встретился с бывшим секретарем Московского комитета ВКП(б) Н.А. Углановым, даже довелось вместе посидеть в президиуме профсоюзного съезда. Знакомство было деловым и шапочным. Однако после февральско-мартовского пленума ЦК ВКП(б) контакт с

¹ Обзорная справка по архивно-следственному делу № 967154 // ГОПАПО. Ф. 641/1. Оп. 1. Д. 14416. С. 135.

² Обзорная справка по архивно-следственному делу № 980732 по обвинению Шахова Д.А. // ГОПАПО. Ф. 641/1. Оп. 1. Д. 11912. С. 251.

³ Кандалинцев. В бюро горкома ВКП(б). 05 03 1937 // ГОПАПО. Ф. 78. Оп. 1. Д. 18. С. 102.

лидером правых стал событием криминальным. Сначала последовал донос в партийные органы, затем долгие объяснения в горкоме:

«Вопрос: Был ли такой случай, когда Угланов, не будучи выбранным в президиум профсоюзного съезда, сидел, а вы были председателем, внесли предложение избрать Угланова в президиум и дать ему слово?

Ответ: Нет, такого случая не было.

Вопрос: Но вы в президиуме съезда были?

Ответ: Да, был, но никаких разговоров не было»¹.

Всех этих разговоров, слухов, доносов хватило, чтобы сотрудники городского отдела НКВД приняли Григория Ивановича за вожака подпольной организации правых в Перми. «Кандалинцев был реальный контрреволюционер», – повторял на суде высокопоставленный сотрудник УНКВД Н.А. Шариков, ведший дело бывшего начальника КРП². Он же это дело и сфальсифицировал.

Через месяц изнурительных допросов Кандалинцев согласился дать показания, точнее говоря, подписать протокол, продиктованный следователю – тому же Шарикову – Д.М. Дмитриевым и Н.Я. Боярским. В протокол внесли признание подследственного о существовании областного повстанческого центра. Были перечислены пять округов: в Перми, Надеждинске, Березниках, Краснокамске и Свердловске. Кроме того, в протоколе «...указывалось, что Кандалинцеву известно о существовании крупной контрреволюционной повстанческой организации в Коми-Пермяцком округе. В протоколе также говорилось, что эта повстанческая организация разбита на взводы и роты»³.

Во главе организации стоит штаб, состоящий из правых и троцкистов, занимавших ключевые должности в партийном, военном и советском аппаратах. Во взводы и роты сведены белокулаки (так, напомним, называли трудпоселенцев). Каждый поселок выставлял воинское подразделение. В Кизеловском бассейне, по свидетельству следователя НКВД Г.В. Марфина, аппарат горотдела искал и, разумеется, нашел «...несколько взводов: кавалерийский в Александровском заводе, взвод динамитчиков в пос. Яйва, участники которого якобы вели обучение взрывному делу под видом ловли /глушения/ рыбы. Существовал химический взвод в пос. Половинка на одной из шахт, и один или два стрелковых взвода»⁴. В Перми насчитали дюжину взводов, не

¹ Беседа с тов. Кандалинцевым. 03 03 1937 // ГОПАПО. Ф. 78. Оп. 1. Д. 18. С. 105.

² Выписка из протокола судебного заседания военного трибунала войск НКВД Уральского округа от 8–9 августа 1940 г. по делу бывшего начальника XI отдела УНКВД Свердловской области Шарикова Н.А. // ГОПАПО. Ф. 641/1. Оп. 1. Д. 11898. С. 14.

³ Обзорная справка по архивно-следственному делу за арх. № 24316, по обвинению Шарикова Н.А., бывш. нач. XI отдела УГБ УНКВД Свердловской обл. // ГОПАПО. Ф. 641/1. Оп. 1. Д. 11898. Т. 2. С. 200.

⁴ Выписка из протокола допроса свидетеля Марфина Георгия Васильевича. 14 12 1939 // ГОПАПО. Ф. 641/1. Оп. 1. Д. 12899. С. 213.

считая отдельных железнодорожных батальонов. Три взвода, сведенные в особую роту, «...состояли из троцкистов и правых» под командованием заведующего горно, «...четвертый пермский взвод из 28 человек церковников», пятый – из тылополченцев 9-го строительного батальона; шестой – из «кулаков татар-националистов», седьмой – офицерский; восьмой – кулацкий, девятый – карательный¹.

Организация готовила вооруженное выступление, приуроченное к началу интервенции «...одной иностранной державы». В меморандуме, отправленном на имя наркома внутренних дел в сентябре 1937 г., Д.М. Дмитриев выразался ясно и определенно: оперативный план действий повстанцев был составлен в соответствии с указаниями «...германского генштаба»². В час «X» по приказу, отданному повстанческим штабом, боевики должны были устроить диверсии на железных дорогах, поднять на воздух оборонные заводы, перестрелять партийных активистов и стахановцев и приступить к захвату крупных городов. Повстанческие отряды из Коми округа должны были погрузиться на плоты и суда на реке Иньва, по ней спуститься в Каму и приступить к штурму Перми и г. Молотово.

Все это было до крайности неправдоподобно. Даже Шариков понимал, что «...Иньва – это такая река, на которой нет судоходства, и сплав плотами там не производится из-за отсутствия глубин и достаточных плесов, и является речкой мелового сплава... а на бревне орудия не установишь, и людям плыть на нем невозможно»³.

Впрочем, на эти мелочи в сентябре 1937 г. начальство не обратило внимания.

Для того чтобы убедить Москву в разоблачении разветвленного военного заговора, одних показаний было мало. Руководство Свердловского УНКВД нуждалось в вещественных доказательствах, а именно: в списках повстанцев и складах оружия. Дмитриев требовал от руководителей следственных бригад любой ценой найти списки участников повстанческих формирований, нужные для организации показательного судебного процесса. Приходилось их сочинять задним числом или использовать бумаги, составленные совсем по иному поводу.

В Кудымкаре в кабинете арестованного секретаря райкома ВКП(б) Я.А. Ветошева «...нашли список стахановцев, принудили этого секретаря дать показания, что это список участников организации, потом

¹ См.: Обзорная справка по архивно-следственному делу № 958172 по обвинению Балтгалв К.А. // ГОПАПО. Ф. 641/1. Оп. 1. Д. 10618. С. 55–56.

² Дмитриев – Ежову. 08 09 1937 // Лубянка...С. 350.

³ Обзорная справка по архивно-следственному делу за арх. № 24316, по обвинению Шарикова Н.А., бывш. нач. XI отдела УГБ УНКВД Свердловской обл. // ГОПАПО. Ф. 641/1. Оп. 1. Д. 11898. Т. 2. С. 204.

всех этих стахановцев посадили, а затем как повстанцев расстреляли»¹. Так, во всяком случае, рассказывал с чужих слов сотрудник Тагильского горотдела НКВД Зайцев. Боярский, а именно он проделал эту аферу со списком, о стахановцах не упоминал вообще, но утверждал, что сочинил этот список сам, включив в него «...всех арестованных и подлежащих аресту кулаков и прочих арестованных, хотя ничего и не имевших с Кривошековым (по легенде – начальником коми-пермяцкого окружного повстанческого штаба, а на деле – председателем местного Осоавиахима – О.Л.) и Ветошевым. <...> Я вызвал к себе Алексева, который вел следствие по делу Ветошева, и рассказал ему установку Дмитриева. Короче говоря, я предложил Алексеву совершить подлог. <...> Алексеев составил список арестованных и подлежащих аресту кулаков – общим числом около 2000 человек /точно не помню/ и дал этот список засвидетельствовать как список известных ему – Ветошеву – участников повстанческой организации»².

С оружием поступали проще. Шашки и винтовки изымали со складов Осоавиахима, грузили в автомобили и отправляли в Свердловск, в хозяйственный отдел УНКВД. Из того же Кудымкара так было переправлено около 3 тонн оружия. «Фактов обнаружения и изъятия оружия в складах-тайниках я не помню», – рассказывал спустя 18 лет Г.Ф. Коньшин, перевозивший со склада на склад казенные ружья³.

В августе 1937 г. Д.М. Дмитриев рапортовал Н.И. Ежову: «По показаниям арестованного бывшего полковника генштаба Эйтнера, бывшего члена бюро обкома ВКП(б) Яна, бывшего начальника Камского пароходства Кандалинцева и допросам арестованных кулаков устанавливается существование Уральского повстанческого штаба – рабочего органа подготовки вооруженного восстания. Штаб был создан блоком уральских троцкистов, правых, эсеров, белоофицерской организацией и представителем крупной повстанческой организации митрополитом Петром Холмогорцевым. <...> По решению штаба область была разделена на 6 повстанческих округов, во главе которых стояли повстанцы-руководители. <...> По другим показаниям, было создано семь повстанческих округов. Превычными повстанческими соединениями являлись взводы, организация которых сосредотачивалась в колхозах. На каждые четыре взвода имелся уполномочен-

¹ Показания свидетеля Зайцева М.Г. 14 12 1939 / Обзорная справка по архивному следственному делу № 980732 по обвинению Шахова Д.А. // ГОПАПО. Ф. 641/1. Оп. 1. Д. 11912. С. 134.

² Показания арестованного Боярского Н.Я. 25 04 1939 / Обзорная справка по архивному следственному делу № 980732 по обвинению Шахова Д.А. // ГОПАПО. Ф. 641/1. Оп. 1. Д. 11912. С. 135–136.

³ Протокол допроса Коньшина Г.Ф. г. Кудымкар. 28 04 1955 // ГОПАПО. Ф. 641/1. Оп. 1. Д. 7485. С. 120.

ный от начальника повстанческого округа. Для приобретения оружия Головиным был завербован председатель областного Осоавиахима Васильев. Далее с этой целью был привлечен к деятельности штаба комбриг Блюм, начальник артиллерии УРВО, с целью добычи оружия на складах округа. Полковник Эйтнер называет состав белоофицерской организации. Организация имеет в своем распоряжении яды... которыми в момент выступления повстанческих отрядов, заражают питьевые источники, вагоны эшелонов»¹.

Возникает вопрос, зачем Д.М. Дмитриеву было нужно затевать такую грандиозную и небезопасную игру: фабриковать заговор, фальсифицировать документы, вскрывать воинские склады, вводить в заблуждение большое московское начальство, известное непредсказуемостью реакций. Сталин, например, ознакомившись с этой телеграммой, любезно предоставленной ему простодушным наркомом, нашел, что «Дмитриев действует, кажется, вяловато. Надо немедленно арестовать всех (и малых, и больших) участников повстанческих групп на Урале»².

Не будет обосновательным предположить, что начальник свердловского УНКВД руководствовался в первую очередь карьеристскими соображениями. Из реплик, запомнившихся его собеседникам, следует, что Дмитриев готовил большой показательный процесс против уральских правых, на котором намеревался превзойти своих столичных учителей³. «Вы рассуждаете, как провинциал, – поучал он своего помощника, который никогда не вел больших следственных дел. Этот список нам крайне нужен для судебного процесса»⁴. На нем можно было представить публике не только запутавшихся в шпионских сетях жалких вредителей и мелких политиканов, но и боевых организаторов контрреволюционного восстания, главарей повстанческих корпусов, сформированных из белобандитов, кулаков, троцкистов и церковников. «Было, например, распоряжение Дмитриева передопросить всех арестованных правых и троцкистов, признавших в своей к/р деятельности об их причастности к повстанческой деятельности», – сообщал

¹ Дмитриев – Ежову. 13 08 1937 // Лубянка. Сталин и главное управление госбезопасности НКВД. 1937–1938... С. 323–324.

² Лубянка... С. 324.

³ Опыт участия в постановке показательных процессов у Дмитриева, также как и у Дашевского, был. Они работали в следственной группе Л.Г. Миронова, готовившей процесс 16 в Москве. Дмитриев допрашивал супругу Л.Б. Каменева – Татьяну Глебову. Позднее – в процессе подготовки к следующему процессу – допрашивал Г.Я. Сокольников и др. См.: Показания Дмитриева Д.М. 16. 10 1938 // Лубянка... С. 586.

⁴ Показания арестованного Боярского Н.Я. 25 04 1939 /Обзорная справка по архивному следственному делу № 980732 по обвинению Шахова Д.А. // ГОПАПО. Ф. 641/1. Оп. 1. Д. 11912. С. 136.

в письме секретарю Свердловского обкома ВКП(б) в январе 1939 г. капитан ГБ Кричман¹. Комиссар (так за глаза называли Дмитриева его подчиненные) конструировал большую амальгаму. В ней труд-поселенцам отводилась роль солдат и унтер-офицеров большой контрреволюционной армии, возглавляемой партийными секретарями, комдивами и директорами крупнейших предприятий. Его подчиненные на местах составляли такие же амальгамы², но меньшего масштаба. Сменивший Л.Г. Лосося на посту начальника Пермского горотдела В.Я. Ливоцкий на оперативных совещаниях демонстрировал схему городской контрреволюционной организации: квадраты и прямоугольники, аккуратно соединенные стрелками. В центре в кружке, обозначавшем штаб, были перечислены главари: секретари горкома, мастер по металлу, учитель средней школы; на периферии – пронумерованные повстанческие роты и взводы. Чтобы схема выглядела красиво Ливоцкий «...специально приглашал чертежника с завода № 10, или № 19»³.

На партийном языке групповой портрет контрреволюции изображался следующим образом: «Это банда правых правых (чуть ранее поименованная троцкистско-бухаринской бандой немецко-японских наймитов, агентами фашизма и пр. – О.Л.) – буржуазных националистов, эсеров, кулаков, белогвардейцев, попов, сектантов и разной другой сволочи в 1935 году блокировалась и ставила своей целью восстановление капитализма в нашей цветущей стране, уничтожение колхозного строя и восстановления власти кулаков, помещиков и капиталистов путем террора, диверсий и т.д.»⁴.

Ситуация изменилась таким образом, что замысел большого процесса пришлось оставить. Вместо этого командный состав повстанческой армии выдали на суд и расправу выездным сессиям военной коллегии верховного суда СССР, а рядовых – пропустили через особую тройку НКВД.

У сценария, сочиненного в стенах Свердловского УНКВД, была, как кажется, и иная – технологическая сторона.

¹ Выписка из показаний, имеющихся в архивно-следственном деле № 967156 в отношении ведения следствия по делам на повстанцев // ГОПАПО. Ф. 641/1. Оп. 1. Д. 12945. С. 236.

² Термин «амальгама» появился во времена большого якобинского террора. Историки французской революции понимали под амальгамой объединение в «одном и том же процессе обвиняемых, ничем не связанных между собой, но которых считали действующими заодно в их кознях против нации». Собуль А. Первая республика. М., 1974. С.132.

³ Справка по архивно-следственному делу № 796219 по обвинению Былкина В.И., Королева М.П. и других. 07 03 1956 // ГОПАПО. Ф. 641/1. Оп. 1. Д. 10033. С. 142.

⁴ Кудрин (инструктор ОРПО ОК ВКП(б)) – начальнику политотдела войсковой части 501. 03 12 1937 // ГОПАПО. Ф. 200. Оп. 1. Д. 822. С. 275.

Члены оперативного штаба были профессионалами следственной работы и поэтому представляли, каких усилий будет стоить хотя бы оформление альбомных справок и индивидуальных дел на 10 000 человек. Были вполне резонные опасения не уложиться в установленные сроки. И вот чтобы облегчить задачу, они и предложили своим подчиненным готовить групповые дела на десятки лиц сразу, то есть не только арестовывать списками, но таким же способом отправлять на расстрел.

Сейчас не установить, была ли идея массовой повстанческой организации местным изобретением или продуктом коллективной мысли новой коллегии НКВД СССР, апробированным на Урале и в других регионах. Заговоры искали и находили в других местах. В Западной Сибири одновременно с Уралом. На Украине – позже. В 1938 г. на Полтавщине начальник областного управления Волков сообщал о ликвидации пяти повстанческих полков, а кроме них 14 рот и 15 отрядов¹. Признаем, что сценарий Дмитриева оптимизировал процесс проведения кулацкой операции, так как интегрировал ее в «...большую работу по разгрому врагов народа и очистке СССР от многочисленных террористических, диверсионных и вредительских кадров из троцкистов, бухаринцев, эсеров, меньшевиков, буржуазных националистов, белогвардейцев, беглых кулаков и уголовников, представлявших из себя серьезную опору иностранных разведок в СССР...»².

Так, во всяком случае, объяснялся большой террор в официальном партийном документе.

ИДЕОЛОГИЯ КУЛАЦКОЙ ОПЕРАЦИИ

Для того чтобы сотрудники органов НКВД с достаточным рвением, не задавая ненужных вопросов, приступили к массовой операции, отменявшей все и всяческие ранее установленные нормы, только приказов и устных директив их командиров было явно недостаточно. Следовало дать им, кроме нагана, также идею. Она была достаточно простой. Оперативникам на разные голоса внушали, что они находятся на переднем крае борьбы со злобным, коварным и заклятым врагом, который может притвориться кем угодно: рабочим, инженером, колхозником, партийным работником, командиром Красной Армии. И задача органов – разоблачить их, т.е. сорвать маски и заставить раскрыть свое подлое контрреволюционное нутро.

¹ См.: Волков – Успенскому. 03.04.1938 // З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ. 2000. № 2/4 (13/15). С. 149.

² Об арестах, прокурорском надзоре и ведении следствия. Постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б). 17 11 1938 // ГОПАПО. Ф. 85. Оп. 20. Д. 6. С. 11.

«Я никак не мог смириться с тем, что тот или иной обвиняемый так легко мог подписать протокол допроса, избличающий его в к-р диверсионно-террористической деятельности, – передавал свои сомнения с годовалым опозданием молодой оперативник Кизеловского горотдела НКВД. – По этим вопросам я неоднократно обращался к т. Годенко, но Годенко меня убеждал, что перед нами сидят враги, и имеются на них показания других обвиняемых, при этом добавляя, что в большинстве на обвиняемых уже имеется решение и сомневаться в том, что он не враг, не стоит»¹.

Высказывание это замечательно тем, что в нем содержатся все составные части чекистской идеи: все подследственные – враги, иначе бы они не были арестованными; их контрреволюционную сущность вскрыло руководство, более осведомленное, более бдительное, более мудрое, нежели рядовые следователи; судьба арестованных предрешена их собственными преступлениями; следователь исполняет роль вершителя правосудия.

Мы занимались людьми, которые были «...активом базы иноразведок и вели активную к/р деятельность», – рапортовал новому областному шефу из Соликамска парторг Ворошиловского горотдела НКВД².

Процесс превращения советского гражданина во врага производился методом его принудительной дезидентификации. Вот типичный случай, происшедший в Краснокамске. К следователю Аликину привели на допрос двух человек, в которых он опознал *рабочих-нацменов*, вчерашних колхозников, к тому же совсем неграмотных. Следователь пошел к начальнику: не тех взяли. «Придя к Королеву, я выругался и сказал, какие же это контрреволюционеры?», – «Самые настоящие», – ответил начальник. И через какое-то время следователю выдали справку, из которой следовало, что он ведет дело *татарских кулаков и белогвардейцев*. А руководитель следственной группы еще добавил, что это «...мусульманские протектораты Японии»³. Так в течение дня рабочий парень из уральской деревни был превращен в какую-то жуткую тварь, обозначаемую непонятным иностранным словом.

«Одиночек в борьбе с Советской властью нет», – разъяснял специфику будущей операции начальник СПО УНКВД Ревин. Слушатели тогда восприняли эти слова вполне конкретно: приказано раскрывать контрреволюционные группы⁴. Может быть, докладчик ничего другого

¹ Протокол допроса свидетеля Кужмана В.О. 16 06 1939 // ГОПАПО. Ф. 641/1. Оп. 1. Д. 11908. Т. 1. С. 181.

² Мочалов А.Д. – Викторову. г. Соликамск. 01 08 1938 // ГОПАПО. Ф. 641/1. Оп. 1. Д. 15357. Т. 2. С. 129.

³ Из протокола судебного заседания Военного трибунала Московского округа войск НКВД в г. Москве. 1939. // ГОПАПО. Ф. 641/1. Оп. 1. Д. 6857. Т. 6. С. 160.

⁴ Протокол допроса свидетеля Чернякова Г.Ф. г. Молотов. 18 01 1956 // ГОПАПО. Ф. 641/1. Оп. 1. Д. 11912. С. 246.

и не имел в виду, однако по мере расширения репрессивных практик явственно обозначилось второе дно таких высказываний. Враги представлялись не только коварными и вездесущими. Каждый из них был частью большого вселенского зла, агентом или функцией всемирного заговора против страны Советов, проще говоря, щупальцем зловещего чудовища, расположившегося в потустороннем буржуазном мире, где-то между Берлином и Токио, вредителем и шпионом по совместительству.

Шпион стал обыденным персонажем городского мифа. «Возьмите бдительность. В 1935 г. один рабочий ездил на курорт, через Москву с ним ехал один шпион. Приехали в Пермь. Этот шпион остановился в номерах, – повествовала с трибуны конференции в мае 1937 г. рабочая-партийка. – Один раз в трамвае мы ехали в кино, как раз ехал и этот шпион. Этот рабочий мне говорит: вот шпион, который ехал вместе со мной. Он сошел с трамвая и пошел в церковь. Скоро эту церковь закрыли. Я неграмотная и не могла об этом написать, пришла к Сычевой и спрашиваю, что делать. Она на меня накричала, как будто я к ней пришла просить деньги»¹.

Шпион – это сначала синоним иностранца. («Левецкий в апреле на совещании заявил, что если на объектах останется хоть один немец, поляк, то буду оформлять на тройку. Если кто-то хотел высказаться о своих сомнениях, то Левецкий говорил: Не сомневайтесь в политике партии и правительства. <...> Был такой случай, когда муж привел свою жену польку, польскую перебежчицу. Этот случай нам Левецкий и Былкин всегда ставили в пример, говоря, что мы коммунисты, а не можем понять того, что уже понимают граждане»².) Затем подозрительным по шпионской части объявили любого инационала. Василий Яковлевич Левецкий говорил своим подчиненным: «Пермь надо сделать русской, а тут есть много татар, евреев»³. В конце концов, все термины: «враг народа», «белокулак», «правый», «троцкист», «анти-советский актив» были покрыты общим именем – «шпионы».

С врагом (шпионом, диверсантом, вредителем, повстанцем) нельзя церемониться. С ним следует также поступать по-вражески: обманывать, запутывать, обкручивать. «Мне Левецкий и Былкин говорили, что если не обманешь обвиняемого, то не добьешься признания», – объяснялся на суде следователь Поносов⁴. Инструктируя

¹ Стенограмма V городской партийной конференции. г. Молотово. 5–6 мая 1937 // ГОПАПО. Ф. 620. Оп. 17. Д. 49. С. 98.

² Из протокола судебного заседания Военного трибунала Московского округа войск НКВД в г. Москве. 1939. // ГОПАПО. Ф. 641/1. Оп. 1. Д. 6857. Т. 6. С. 161.

³ Выписка из протокола № 8/103 §1 заседания бюро Ленинского районного комитета ВКП(б) от 25 02 1939 // ГОПАПО. Ф. 105. Оп. 186. Д. 1457. С. 5.

⁴ Из протокола судебного заседания Военного трибунала Московского округа войск НКВД в г. Москве. 1939. // ГОПАПО. Ф. 641/1. Оп. 1. Д. 6857. Т. 6. С. 167.

курсантов Свердловской школы НКВД, прикомандированных в Кочевский райотдел, помощник начальника Свердловского управления Н.Я. Боярский наставлял своих слушателей, «...что в борьбе с врагами любые методы хороши»¹.

Если враг обладает чертами мифологического чудовища, подручного «князя тьмы», то чекист, вступивший с ним в поединок от имени всего советского народа, приобретает исполинские черты. Он богатырь, сражающийся со злом – и за это вознаграждаемый по заслугам своим руководством и Советским правительством, а также и любовью населения.

Освоению этой общей идеи способствовала атмосфера, сложившаяся в замкнутых чекистских коллективах. В них постоянно циркулировали слухи о новых заговорах. Стекалась специально препарированная информация об авариях и несчастных случаях на производстве. Все жизненные ритмы были нарушены выездами на аресты, бесконечными ночными допросами. «Требовали по 10 дел в день, – жаловался оперуполномоченный Кизеловского горотдела, – жили на обогатительной /фабрике – О.Л./и работали по 20–22 часа в сутки»². В следственных кабинетах постоянно звучала непристойная брань. Начальство грозило беспощадной расправой. Следователи кричали на заключенных, избивая их. После допросов тут же пили³. В такой ситуации резко снижается порог критичности по отношению к доводам начальства, нуждающимся в идеологическом обеспечении реализуемого оперативного сценария. Для того чтобы и дальше исполнять свои палаческие и провокационные обязанности, нужно верить, что все это делается правильно – в соответствии с большими государственными интересами. После операции многие из них так и не могли понять, за что их наказывают. «В чем же мои антипартийные методы в работе по Соликамску? – жаловался на своих критиков в октябре 1939 г. не желающий примириться с нелепостью обвинений начальник следственной части Пермского УНКВД Пурышев, – по заявлению Кузьменко, они состояли в том, что я в каждом арестованном видел врага»⁴.

¹ Протокол допроса свидетеля Чернякова Г.Ф. 18 01 1956 // ГОПАПО. Ф. 641/1. Оп. 1. Д. 11912. С. 247.

² Протокол допроса свидетеля Герчикова С.Б. 10 12 1939 // ГОПАПО. Ф. 641/1. Оп. 1. Д. 12558. Т. 3. С. 113.

³ Подсудимый Тюрин: «Я специально стал выпивать, чтобы меня уволили, т.к. я сам не мог терпеть того, что творилось». Из протокола судебного заседания Военного трибунала Московского округа войск НКВД в г. Москве. 1939. // ГОПАПО. Ф. 641/1. Оп. 1. Д. 6857. Т. 6. С. 174.

⁴ Пурышев А.П. – Упоровой. г. Пермь. Октябрь 1939 // ГОПАПО. Ф. 105. Оп. 6. Д. 143. С. 76.

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КУЛАЦКОЙ ОПЕРАЦИИ

Массовые аресты начались 5 августа. За первые двое суток на территории Прикамья органы изъяли более тысячи человек. Всего же в течение августа было взято вдвое больше.

Таблица 1
**Общее количество арестов на территории Прикамья
в ходе кулацкой операции в августе 1937 – июне 1938 г.**

Месяц и год	Количество арестов	Доля от всех арестов, в %
август 1937	2062	25,9
сентябрь 1937	694	8,7
октябрь 1937	1969	24,7
ноябрь 1937	372	4,7
декабрь 1937	1355	17,0
январь 1938	855	10,7
февраль 1938	511	6,4
март 1938	114	1,4
апрель 1938	16	0,2
май 1938	10	0,1
июнь 1938	1	0,0
всего	7959	100,0

Аресты производились, как правило, ночью. В бараки, рабочие общежития входили вооруженные люди: сотрудники оперативных отделов НКВД, милиционеры, пожарники, кое-где мобилизованные партийные активисты. По спискам выхватывали полусонных людей, отбирали паспорта и справки, ничего не объясняя, заставляли их одеться и на грузовиках, а кое-где и пешком доставляли в пустующие складские помещения, амбары, недостроенные заводские здания. В обнаруженных документах не удалось найти рапортов о первом оперативном ударе. Можно только предполагать, что действия оперативных групп мало отличались от тех, что несколько позднее практиковались в Краснокамске: «Ни ордеров, ни постановлений на арест Мозжерин, Демченко и Бурылов не выносили, а просто врываются в бараки, арестовывали людей, группировали их на грузовых

автомашинах <...> Женщины и дети плакали, а некоторые мужчины высказывали явное недовольство»¹.

В Чусовом, правда, уже позже – зимой, в суматохе схватили несколько десятков подростков. «Арест 100 человек несовершеннолетних в Чусовском районе получился потому, что при массовом аресте в 500 чел. мы не могли при операции выявить, – оправдывался на суде руководитель этой операции В.И. Былкин. – Об этом я звонил в Управление НКВД на предмет их освобождения, но и там они не могли решить и рекомендовали переговорить по этому поводу с Дмитриевым. Встретив Дмитриева в вагоне, в момент, когда он ехал на сессию Верховного Совета, мною было ему доложено, и он дал указание не идти на массовые освобождения. Все же этот приказ я не выполнил и освободил всех»². В августе ночи были светлее, поэтому таких ошибок органы не допускали.

Далее события разворачивались совсем не по сценарию. Местные начальники не очень поняли, что от них, в действительности, хотят. Некоторые вообще не обратили внимания на директиву Свердловского УНКВД об уральском штабе и действовали в соответствии с оперативным приказом наркома. «В настоящее время бывших кулаков, повстанцев, членов следственных комиссий при белых, служителей культа и других оперировало 24 человека, – докладывал в Свердловск сотрудник Ординского райотдела НКВД Накоряков, – как показывает анализ дел – формуляров и агентурных, заведенных на этих людей, видно, что по большинству контрреволюционная деятельность в настоящее время не установлена, т.е. агентуре на вскрытие к-р деятельности были не направлены»³.

Другие начали формальное следствие, добываясь от каждого арестованного признания в антисоветской деятельности. Те, естественно, запирались, не желая подтверждать агентурные донесения об их антисоветских высказываниях и террористических намерениях в адрес больших начальников, а уж тем более, соглашаться с нелепыми обвинениями, что они-де являются членами какой-то боевой организации. Следствие растянулось на недели. 85% людей, арестованных 5 или 6 августа, были выставлены на тройку к последней декаде сентября. Причем, в альбомные справки приходилось вписывать АСА – антисоветскую агитацию. В общем, концепция заговора терпела крах. В тайне операцию также сохранить не удалось. В очередях открыто говорили и даже агитаторам повторяли, «что в Перми идут массовые

¹ Выписка из протокола допроса Аликина А.М. 09 05 1939 // ГОПАПО. Ф. 641/1. Оп. 1. Д. 13864. С. 46–47.

² Из протокола судебного заседания Военного трибунала Московского округа войск НКВД в г. Москве. 1939. // ГОПАПО. Ф. 641/1. Оп. 1. Д. 6857. Т. 6. С. 178.

³ Накоряков Л. – Новак. 21 08 1937 // ГОПАПО. Ф. 946. Оп. 5. Д. 1260. С. 2 (об).

аресты, чтобы люди не голосовали»¹. И тогда Свердловское УНКВД приняло чрезвычайные меры. В помощь городским отделам были направлены оперативные следственные группы с самыми широкими полномочиями. В Коми-Пермяцкий округ выехала группа Н.Я. Боярзого; в Пермь, а затем в Березники – группа Я.Ш. Дашевского; в Кизел – группа М.Б. Ермана; в Соликамск – А.Г. Гайды².

Дашевский объявил, что пермский горотдел работает плохо, «...продолжает отставать», отказывается от борьбы с повстанческими организациями. В г. Молотово заместитель начальника Свердловского УНКВД высказался жестче: «Надо посадить всех сотрудников, в том числе и н-ка Молотовского РО Полуянчикова за отсутствие борьбы с контрреволюцией». Отругав подчиненных за леность и нерасторопность, Дашевский научил их, как впредь нужно действовать. Он предложил разделить арестованных на две группы – руководителей и рядовых членов. От первых следует брать обширные показания о контрреволюционной повстанческой деятельности. Дмитриев к тому времени уже дал установку «...исключить из справок антисоветские разговоры и... предложил писать шпионаж, диверсию и террор»³. Данные, содержащиеся в этом протоколе (он назывался ведущим), затем следует включать в протоколы рядовых участников организации. Сами протоколы следует писать заранее – без участия допрашиваемых. И только потом – другой следователь должен убедить арестанта подписать этот протокол.

В октябре Дашевский прибыл в Березники и там повторил урок. Начальник Ворошиловского горотдела НКВД Шейнкман потом рассказывал, как это было: «На оперативном совещании райотдела Дашевский стал упрекать меня и остальных работников в том, что мы затягиваем следствие и у нас мало признавшихся, предложил следствие ускорить и следствие вести упрощенным методом. После совещания Дашевский составил типовой протокол допроса в двух вариантах, т.е. на рядового повстанца и организатора. Кроме протокола Дашевский составил типовое заявление, которое было размножено и роздано следователям для руководства»⁴.

Ведущий протокол был обширным, не менее 20–24 машинописных страниц. Рядовой, напротив, коротким. В нем было всего четы-

¹ Кочкарев (и.о. секретаря Ленинского РК ВКП(б) г. Перми) – в Горотдел НКВД // ГОПАПО. Ф. 78. Оп. 1. Д. 112. С. 242.

² См: ГОПАПО. Ф. 641/1. Оп. 1. Д. 12206. С. 20; ГОПАПО. Ф. 641/1. Оп. 1. Д. 11898. С. 61–62; ГОПАПО. Ф. 641/1. Оп. 1. Д. 12558. Т. 3. С. 105–106.

³ Из протокола судебного заседания Военного трибунала Московского округа войск НКВД в г. Москве. 1939. // ГОПАПО. Ф. 641/1. Оп. 1. Д. 6857. Т. 6. С. 172, 175–176.

⁴ Из протокола допроса обвиняемого Шейнкмана Соломона Исааковича 02 02 1939 // ГОПАПО. Ф. 641/1. Оп. 1. Д. 15357. Т. 2. С. 155.

ре основных пункта: признание в виновности в контрреволюционной повстанческой деятельности, в причастности к какой-либо организации, проводящей враждебную в отношении советского государства деятельность, указание на определенное лицо, завербовавшее его в эту организацию, дату вербовки, лиц, причастных к этой организации, и конкретную вражескую деятельность себя и других лиц¹. «Мы когда приехали из Чердыни, привезли с собой бланки, необходимые для следствия, – отчитывался перед членами партийного бюро в сентябре 1955 г. бывший член следственной бригады в Соликамске Павел Иванович Власов, – а там оказалось ничего не надо; давался вопросник для допроса арестованного, и потому все допросы одинаковые»².

Заявления, подписанные арестованными, также составлялись по трафарету. Начинались они так: «Обдумав все обстоятельства, я такой-то...». Дальше следовали признания в повстанческой, вредительской и шпионской деятельности³. Они были краткими, без какой бы то ни было детализации.

К октябрю 1937 года были не только выполнены выданные НКВД СССР лимиты, но и исчерпаны составленные ранее агентурные дела. Д.М. Дмитриев без особого труда добился в Москве новых квот на аресты, на этот раз под предлогом ликвидации базы иностранных разведок на Урале, т.н. «инобазы», и нанесения удара по эсеровским и меньшевистским подпольным организациям. «Начиная с октября месяца 1937 года стали поступать распоряжения на аресты лиц следующих категорий, – сообщил на допросе начальник Ворошиловского ГО НКВД Шейнкман, – всех перебежчиков из-за кордона, без исключения; всех лиц, ранее проживавших в Китае, или работавших на КВЖД, т.е. на лиц т.н. харбинцев, трудпоселенцев инациональностей и всех трудпоселенцев, проживающих в погранполосе, в независимости от национальности; лиц, имевших и имеющих связи с границей, даже всех лиц, бывших как военнопленные за границей и возвратившиеся в СССР после 1919 г. Впоследствии было дано указание производить аресты всех лиц инациональностей, за исключением женщин, имеющих малолетних детей. К арестам подлежали также бывшие офицеры, духовенство, полицейские чины, эсеры, меньшевики и все лица, ранее отбывающие наказания по политическим преступлениям»⁴.

¹ См.: Из протокола допроса свидетеля Джиловяна Завена Сумбатовича. г. Молотов. 20 05 1955 // ГОПАПО. Ф. 641/1. Оп. 1. Д. 10231. С. 122.

² Протокол заседания партийного бюро партийной организации Областного управления милиции УМВД. 29 09 1955 // ГОПАПО. Ф. 1624. Оп. 1. Д. 50. С. 164.

³ См.: Протокол допроса свидетеля Мокина Степана Петровича. г. Свердловск. 24 08 1954 // ГОПАПО. Ф. 643/2. Оп. 1. Д. 14095. С. 263.

⁴ Из протокола допроса обвиняемого Шейнкмана Соломона Исааковича. 02 02 1939 // ГОПАПО. Ф. 641/1. Оп. 1. Д. 15357. Т. 2. С. 152.

Территориальные органы НКВД должны были действовать быстро и энергично, брать под арест и оформлять на тройку сотни и тысячи людей «...без наличия каких-либо компрометирующих материалов, отличающих их в антисоветской деятельности»¹. Брали пачками. По оценке Н.Я. Боярского, всего по области взяли 24 000 человек². «Вместо индивидуального ареста коменданты трудпоселков объявили списки трудпоселенцам и сказали, что зачитанные едут в Тагил на прорыв. Те вооружались необходимым инвентарем и продуктами на два-три месяца. Вместе с пилами, топорами, лопатами, бритвами и балалайками их погрузили в вагоны и отправили в тагильскую тюрьму»³. Вместе с трудпоселенцами брали инженеров, техников и вольнонаемных рабочих, в том числе и членов ВКП(б)⁴.

Людей свозили из разных мест Свердловской области, зачастую, без каких бы то ни было сопроводительных документов. Там на них составляли анкеты, на основании которых следователи сочиняли заявление. В Соликамске это практиковалось «...при поступлении в тюрьму»⁵. В иных тюрьмах – позднее – уже в камерах. А потом следователи составляли протоколы допросов. «...Заявления носили настолько лаконичский характер, – жаловался на трудности работы один из высокопоставленных сотрудников УНКВД, – что даже не указывалось, кем завербован, и уже следователи при писании протокола использовали вереницу других протоколов...»⁶.

Техника «взятия заявлений» – так называлась эта процедура – была простой, но эффективной. Условия содержания заключенных в камерах или в специально оборудованных временных помещениях были таковы, что сами следователи называли их бесчеловечны-

¹ Из протокола допроса обвиняемого Попцова Н.Д. 20 04 1941 / Справка по архивно-следственному делу № 15096. г. Молотов. 20 12 1957 // ГОПАПО. Ф. 641/1. Оп. 1. Д. 13343. С. 65.

² См.: Обзорная справка архивно-следственного дела № 975186. г. Свердловск. 14 02 1955 // ГОПАПО. Ф. 641/1. Оп. 1. Д. 1014. С. 257.

³ Заявление А.Г. Гайды в Свердловский обком ВКП(б). 10 02 1939 / Обзорная справка по архивно-следственному делу № 9096 // ГОПАПО. Ф. 641/1. Оп. 1. Д. 16213. С. 160.

⁴ «В период массовых операций в Кизеле наряду с разрабатывавшимся а/с контингентом были необоснованно арестованы лица из социально-близкой прослойки: рабочие, служащие и инженерно-технический состав, среди которых оказалось много членов ВКП(б)». Заключение по материалам расследования о нарушении социалистической законности... Шаховым Д.А. // ГОПАПО. Ф. 641/1. Оп. 1. Д. 12837. С. 185.

⁵ См.: Протокол заседания партийного бюро партийной организации Областного управления милиции УМВД. 29 09 1955 // ГОПАПО. Ф. 1624. Оп. 1. Д. 50. С. 165.

⁶ Выписка из протокола допроса обвиняемого Воскресенского В.П. 29 05 1941 // ГОПАПО. Ф. 643/2. Оп. 1. Д. 14095. Т. 3. С. 257.

ми¹. «Все арестованные были свезены в Кизел и посажены в механическом цеху законсервированной обогатительной фабрики. Условий для содержания арестованных никаких не было, люди лежали на полу, даже не было проходов, теснота жуткая, прогулок не было», – рассказывал на допросе член следственной бригады Г.В. Марфин².

Пребывание в переполненных камерах само по себе было пыткой для людей, уже травмированных внезапным арестом, более похожим на похищение. Им не предъявляли ни ордеров, ни постановлений. Просто выхватывали из барака или коммунальной квартиры, куда-то тащили, запирали в какой-нибудь амбар, потом загоняли в вагоны и доставляли в тюрьму. Под воздействием шока их способность к сопротивлению ослабевала, и вот здесь начиналась камерная обработка.

Специально отобранные следователями арестанты – их называли по-разному: колунами, агитаторами, колольщиками – начинали свою работу³. Суть ее сводилась к тому, чтобы убедить своих товарищей по заключению написать заявления и дать нужные показания. Техника менялась. Важных подследственных помещали в камеру, где уже находились, по циничному выражению В.И. Былкина, «отработанные арестованные», которые сговаривали их «на признание» и помогали написать «соответствующее заявление»⁴. В переполненных помещениях Соликамской тюрьмы пропорции, естественно, менялись. Несколько «колунов», подкармливаемых за счет следователей, агитировали сокамерников подписать заявления, убеждали, что это нужно для органов или для Советской

¹ «Организованные временные тюрьмы, а также постоянные, были переполнены, люди содержались в чрезвычайной тесноте», – сообщал в своих показаниях Д.М. Варшавский / Из обзорной справки по архивно-следственному делу № 975188 г. Свердловск. 14 02 1955 // ГОПАПО. Ф. 641/1. Оп. 1. Д. 15357. Т. 2. С. 119.

² Протокол допроса свидетеля Марфина Г.В. 14 12 1939 // ГОПАПО. Ф. 641/1. Оп. 1. Д. 12558. Т. 3. С. 117. То же самое практиковалось и в Кудымкаре. Там в амбары, где с трудом могли поместиться по 15 человек, заталкивали по 80 арестантов. См.: Алексеев – Вышинскому. 13 02 1939 // ГОПАПО. Ф. 641/1. Оп. 1. Д. 6933. Т. 2. С. 75.

³ Видимо, для того чтобы увеличить штат «колунов», следователи НКВД именно в это время приступают к арестам собственной агентуры. По мере изъятия лиц, за которыми они наблюдали, осведомители исчерпывали свои возможности на воле, но еще могли послужить в тюрьме. В показания А.Г. Гайды попал выразительный диалог между заместителем начальника Свердловского УНКВД и секретным сотрудником. Тот все доказывал, что он нужнее на воле. Варшавский парировал: «Вы нам дайте показания, а мы их взвесим, что нам дороже: Вы или Ваши показания, мы люди коммерческие». Из обзорной справки по архивно-следственному делу № 9096 по обвинению бывших сотрудников УНКВД Свердловской области // ГОПАПО. Ф. 641/1. Оп. 1. Д. 16213. С. 158.

⁴ Выписка из протокола допроса Былкина В.И. 05 04 1939 // ГОПАПО. Ф. 641/1. Оп. 1. Д. 11957. С. 99.

власти; что подписавших вскоре освободят, разве что переведут в другое поселение¹.

Затем на клочке бумаги через надзирателя передавали список арестантов, согласившихся подписать заявление – и снова принимались за работу. Им многие верили, во-первых, потому что другого выбора не было, во-вторых, из-за ослабления воли к сопротивлению, вызванного психологической травмой, а, в-третьих, под воздействием прежнего опыта. Многие из них пережили кулацкую ссылку, сумели заново обустроить свой быт, получить профессию, завести семью, иначе говоря, вырваться из западни, в которую их уже загоняла власть. Тем более, что никакой вины за собой эти люди не знали. Парфен Федорович Порсев после освобождения из сибирских лагерей вспоминал, как однажды «Андрей Никифорович Зубов, учитель и коми-писатель... вернувшись с одного из допросов, был в очень хорошем настроении и рассказывал арестованным, что он подписал все, что ему велели, и что за это его обещали через полгода освободить, так как он ни в чем не виновен»².

Под воздействием всех этих обстоятельств камерная обработка приносила свои плоды.

«До чудес дело доходило с этими упрощенными методами следствия, – писал со знанием дела А.Г. Гайда. – В Соликамской тюрьме группой следователей в 4–5 человек (руководили Годенко, Клевцов и Белов) в работе с инобазой они делали 96 признаний в день. Арестованные буквально стояли в очередь, чтобы скорее написать заявление о своей контрреволюционной деятельности, и все они потом были осуждены по первой категории»³.

Затем наступал следующий этап. Следователи сочиняли протоколы допросов, в которые вносили показания о диверсионных актах, шпионаже и вредительстве. Во вредительство включали сведения об авариях, нарушениях технологической дисциплины и неполадках в работе. «Перед допросом арестованных, – рассказывал В.О. Кужман, –

¹ Варшавский на допросе 23 марта 1939 г. показал: «...Признания арестованных в принадлежности к иноразведкам добывались путем камерной обработки и уговариванием арестованных, что их показания нужны советскому государству для того, чтобы показать иностранным разведкам о проводящейся работе против советского правительства иностранными государствами». // ГОПАПО. Ф. 641/2. Оп. 1. Д. 29041. Т. 10. С. 292. В показаниях Г.В. Марфина содержится характерная обмолвка: «...под влиянием кем-то пущенных слухов о том, что их ожидает новая ссылка... признавали себя виновными в этом». Справка по архивно-следственному делу № 980732 по обвинению Шахова Д.А. // ГОПАПО. Ф. 641/1. Оп. 1. Д. 11908. Т. 1. С. 171.

² Выписка из протокола допроса свидетеля Порсева П.Ф. 31 08 1955 // ГОПАПО. Ф. 641/1. Оп. 1. Д. 10397. С. 378.

³ Обзорная справка по архивно-следственному делу № 9096 // ГОПАПО. Ф. 641/1. Оп. 1. Д. 16213. С. 160.

мне обычно давались... различные справки об авариях, имевших место на предприятиях, где работали обвиняемые до их ареста. <...> Вся эта документация впоследствии была уничтожена. <...> Имели место и такие случаи, что у арестованного спрашивали, где и кем он работал, а потом через него же выяснялось, имели ли место на этом участке и в его смену какие-либо аварии. И если арестованный говорил, что аварии были, то ему эти аварии вписывались как диверсионные акты»¹. В Коми округе сотрудники НКВД собирали данные о лесных пожарах, падеже скота, «...и справки по этим фактам приобщались к делам обвиняемых – без всяких доказательств причастности их к этим делам»².

Если фактов не хватало, их приходилось сочинять. «Левецкий говорил, что надо прекратить писать в протоколах разбор железных дорог и пожары, что надо придумать другие формы обвинения. «Неужели чекисты не могут придумать?» – вспоминал на суде один их пермских оперативников»³.

Следователь, писавший протокол, должен был удерживать в голове множество имен и фактов, связно излагать на бумаге им же сочиненные преступные деяния конкретных лиц, распределять арестованных по группам, добиваться совпадения имен и обстоятельств в разных протоколах, говоря языком современной науки, владеть методом триангуляции. Если обвиняемый отказывался подписать признание, его все равно «...пропускали /на тройку – О.Л./ по показаниям других арестованных, а в обвинительных заключениях писали, что виновным себя не признал, но изобличается другими обвиняемыми»⁴. Следователю приходилось очень много писать. Для перепечатки составленных протоколов не хватало ведомственных машинописок. В Кизеле, например, их собирали по всему городу, «...даже подписок с них не брали»⁵. Кроме того, сочинитель протоколов должен был составлять и альбомные справки, в которых в сжатом виде формулировать состав преступления. Его работа проверялась и редактировалась начальством. Такое дело поручали людям грамотным, проверенным и опытным, при чинах и должностях. Начальство, если была такая возможность, оберегало их от черной работы – арестов и участия в допросах. В оперативных группах эти люди считались «белой костью».

¹ Протокол допроса свидетеля Кужмана В.О. 13 06 1956 // ГОПАПО. Ф. 641/1. Оп. 1. Д. 11908. Т. 1. С. 186.

² Протокол допроса свидетеля Тягунова Н.П. 06 04 1955 // ГОПАПО. Ф. 641/1. Оп. 1. Д. 7485. С. 123.

³ Из протокола судебного заседания Военного трибунала Московского округа войск НКВД в г. Москве. 1939. // ГОПАПО. Ф. 641/1. Оп. 1. Д. 6857. Т. 6. С. 161.

⁴ Из протокола допроса Гаврилова Григория Николаевича 26 05 1955 // ГОПАПО. Ф. 641/1. Оп. 1. Д. 15357. Т. 2. С. 136.

⁵ Протокол допроса свидетеля Герчикова С.Б. 10 12 1939 // ГОПАПО. Ф. 641/1. Оп. 1. Д. 12558. Т. 3. С. 113.

К ним даже кличек не прилепили, в отличие от их младших братьев, вынуждающих подследственных подписать признательный протокол, грозящий или смертью, или многолетним сроком заключения. Таких следователей называли «колунами», как и внутрикамерных агентов, или «диктовальщиками». Работа у них была адская. «Каждому следователю давалось на допрос арестованного с получением признания – 15 минут»¹.

Вели они себя по-разному. Некоторые (тот же Пурышев) орали на подследственных, раздавали оплеухи и зуботычины, били резиновой палкой². Другие вели себя иначе. Следователь из города Чусового «Тепышев угроз и избиений не практиковал и действовал на психику обвиняемого. Он говорил им, что, сознаешься, легче будут судить, а не сознаешься, расстреляют как врага – и семья не будет иметь доверия, а то будет арестована»³.

Впрочем, все «диктовальщики» вели себя одинаково в том случае, если арестант не поддавался на их уговоры: они отправляли его в карцер в холодный или горячий⁴.

Умельцы из Ворошиловского горотдела НКВД изобрели прогрессивный метод допросов. Они собирали в чистой и светлой комнате 20–30 подследственных, сажали их за столы, включали радио или заводили патефон и долго и проникновенно убеждали собравшихся покончить с затянувшимся делом, пойти навстречу органам и Советской власти, подписать протоколы и вернуться спустя какое-то время к своим семьям. Отказывались очень немногие; таких отправляли в карцер⁵.

Людей, взятых во время операции по инобазе (октябрь 1937 – март 1938), разделили на два потока. Большую часть направили на тройку в центр, как и предписывалось соответствующей директивой наркома. «Несмотря на сплошную липу по делам инобазы, – писал А.Г. Гаيدا

¹ Заключение по материалам расследования о нарушении социалистической законности... Шаховым Д.А. // ГОПАПО. Ф. 641/1. Оп. 1. Д. 12837. С. 516.

² Об избиениях на допросах как о чем-то само собой разумеющемся, упоминает Шейнкман, пересказывая указания нового начальника Свердловского УНКВД Викторова: «Если были случаи, когда арестованных били, то их нужно передопросить таким образом, чтобы они не заявляли об ихнем избиении». Из протокола допроса обвиняемого Шейнкмана Соломона Исааковича. 02 02 1939 // ГОПАПО. Ф. 641/1. Оп. 1. Д. 15357. Т. 2. С. 156.

³ Обзорная справка по архивно-следственному делу № 983113 Дистанова Гарафа Мисбаховича. // ГОПАПО. Ф. 641/1. Оп. 1. Д. 15225. С. 162.

⁴ См.: Справка по архивно-следственному делу № 15096 по обвинению Соловьева И.А., Попцова Н.Д. г. Молотов. 20 12 1957 // ГОПАПО. Ф. 641/1. Оп. 1. Д. 13343. С. 65.

⁵ Из протокола допроса Гаврилова Григория Николаевича 26 05 1955 // ГОПАПО. Ф. 641/1. Оп. 1. Д. 15357. Т. 2. С. 136.

в обком ВКП(б), – сотни альбомов с тысячами справок направлялись в Москву, а там безапелляционно утверждались, и люди пускались в расход»¹. Иностранцев не хватало. Их замещали белорусами, украинцами, теми же кулаками. М.И. Фриновский, командующий операцией по инобазе во всеоюзном масштабе, выговаривал своим уральским подчиненным: «Вами представлены альбомы на 10 024 арестованных по польской, немецкой, латышской и другим операциям. По данным этих альбомов: 1. По немецкой операции Вами арестовано 4142 человека. Из них немцев только 390. В числе арестованных до 20-летнего возраста 215 человек. Почти все арестованные (3968 человек) значатся бывшими кулаками и их детьми и в то же время рабочими (3647 человек). Перебежчиков немцев арестовано только 8. <...> 6. По финской операции ни одного финна вообще не арестовано, но зато значатся 5 русских, 8 евреев и 2 прочих»².

Другой поток по тем же обвинениям отправили на областную тройку. В ней заправлял Д.М. Дмитриев, а в его отсутствие – Я.Ш. Дашевский. Секретарь обкома Б.З. Берман и военный прокурор Покровский никак-либо активности не проявляли. Дела не смотрели, выписки зачитывать не просили. Решали по повесткам, в которых обозначались фамилия обвиняемого, социальное происхождение, формулировка преступления и предлагаемый приговор³.

Для районов, позднее вошедших в Пермскую область, самым скорострельным месяцем стал декабрь. В самом конце 1937 года следственным бригадам удалось сократить сроки от ареста до приговора до двух-четырех недель. Из общего числа людей, арестованных 17 декабря, до нового года были осуждены 82%. Из тех, кого взяли позже на день, к 30 декабря пропустили по Свердловской тройке 92%⁴.

Удар по инобазе на деле явился вторым этапом кулацкой операции. Так требовала Москва, так его понял и Дмитриев. «На арест кулаков сверх этого я имел отдельное распоряжение заместителя наркома – комкора Фриновского», – оправдывался он на следствии⁵.

Второй этап был наиболее массовым и наименее целенаправленным. Технологические усовершенствования, упрощающие и фальсифицирующие следственные действия, привели к тому, что под удар

¹ Обзорная справка по архивно-следственному делу № 9096 по обвинению бывших сотрудников УНКВД Свердловской области Гайда А.Г., Харина Н.И., Халькова И.М. 10 02 1956 // ГОПАПО. Ф. 641/1. Оп. 1. Д. 16213. С. 159.

² Фриновский – Дмитриеву. 21 03 1938 // Лубянка... С. 659.

³ Протокол допроса свидетеля Марфина Г.В. 14 12 1939 // ГОПАПО. Ф. 641/1. Оп. 1. Д. 12558. Т. 3. С. 117.

⁴ Рассчитано по базе данных репрессированных лиц, составленной Государственным общественно-политическим архивом Пермской области. Не учтены лица, осужденные тройкой НКВД СССР.

⁵ Лубянка... С. 599.

органов попадали люди, бывшие опорой власти: кадровые рабочие, колхозники, члены партии и комсомольцы. Их брали в суеде и суматохе массовых арестов по предприятиям и колхозам, по наводке начальников цехов и парторгов. Перед началом операции следователи разъехались по конторам и заводоуправлениям и опросили местных командиров производства, есть ли у них прогульщики и аварийщики, а затем внесли названные фамилии в списки на арест. В ходе фабрикации групповых дел по диверсиям и вредительству эти люди пригодились, так же как инженеры и техники, машинисты врубовых машин и электромеханики, вне зависимости от их социального происхождения. Когда пришел приказ изъять всех бывших эсеров и меньшевиков, местные органы НКВД выполнили его буквально, нисколько не смущаясь ни рабоче-крестьянским происхождением, ни нынешней партийной принадлежностью новых жертв. Иногда оперативники просто сводили личные счета. Примечателен инцидент, происшедший все в том же Ворошиловском горотделе НКВД. Следователь Терехин «...сознательно составлял протоколы на коммунистов, которых он знал лично, а также знал, что на них нет никакого компрометирующего материала. Как факт, 25 марта 1938 г. Терехиным был составлен протокол на арестованного Сабурова Павла как б/меньшевика и организатора повстанческого подразделения на ст. Усольская, ж.д. им. Кагановича. Сабуров, кадровый поездной машинист, более 20 лет работал на транспорте, член ВКП(б) с 1924 года, имеет 7 человек детей. В протокол Сабурова как участники повстанческой организации были вписаны: мастер восстановительного ремонта Зуев Капитон, член ВКП(б) с 1918 года, Константинов Степан, член ВКП(б) с 1930 года, машинисты Федоров, Черепанов, Журавлев и ряд других, всего 15 человек. Федоров и Журавлев тройкой УНКВД приговорены к ВМН, и приговор приведен в исполнение. Подпись на протоколе допроса Терехин получил путем уговора последнего, что это нужно для партии, правительства и органов НКВД. Сабуров содержится в тюрьме 15 месяцев»¹.

В беспорядочности арестов, в откровенной, поставленной на поток фальсификации следственных дел можно обнаружить кризисные явления в проведении массовой операции. Вал репрессий порождал неуверенность, страх, озлобление и даже попытки сопротивления. 28 февраля 1938 г. оперативная группа Кизеловского горотдела НКВД выехала в санях в поселок Луньевку, но была остановлена начальником лесоучастка леспромхоза Д.К. Субботиным. Он «...взял лошадь под уздцы со словами «Стой» и ругался нецензурными словами. <...> По прибытию на место, в конторе лесоучастка, Субботин неожиданно

¹ Мешков – Шахову. Докладная записка о наличии искажения методов следствия, допускаемых сотрудниками Ворошиловского РО НКВД за 1937–1938 гг. 25 05 1939 // ГОПАПО. Ф. 641/1. Оп. 1. Д. 13580. С. 124–125.

ворвался в комнату, где вел следствие участковый инспектор Шифанов, сбросил с себя пальто, схватил одной рукой Шифанова за челюсть, а второй рукой пытался нанести ему удар в лицо. При этом в злобной и нецензурной форме клеветал на органы НКВД, заявляя, «Вы нас считаете врагами народа, вы нас приехали арестовывать, вы арестовываете людей, которые завоевывали советскую власть», – жаловался секретарю горкома начальник горотдела Шахов. – <...> После этого т. Шифанов и т. Федянин ушли производить обыск и арест эсера Березина, Субботин пошел туда и 3 раза срывал дверь с крючков и, врываясь в квартиру Березина, кричал: «Просите у них ордер на обыск и арест», при этом снова в к/р форме клеветал на органы НКВД»¹. Случаев таких было, конечно же, совсем немного, однако они были весьма симптоматичны. Террор по мере набирания оборотов терял свою эффективность. Люди уставали бояться.

И предложенный сценарий, хоть и оптимизировал процесс репрессий, своей политической цели не достиг. Амбициозным планам Д.М. Дмитриева не суждено было сбыться. Центр так и не разрешил местному УНКВД проводить процесс против уральских правых в Свердловске. Москва санкционировала в сентябре 1937 г. процесс вредителей в Кудымкаре, на который вывели прежнего секретаря окружкома ВКП(б) А.И. Благонравова в окружении низовых руководителей сельского хозяйства. Процесс освещался в областной печати². На февраль следующего года запланировали процесс в Кизеле над немецкими шпионами. По нему политбюро ВКП(б) 25 января 1938 г. вынесло специальное постановление, предписывающее расстрелять всех обвиняемых³. Подготовка к открытому процессу проходила с большим трудом. Несколько арестованных отказались подписать признательные показания и «...были осуждены в одиночном порядке». Следователи долго уговаривали главных фигурантов процесса сознаться в шпионаже и диверсиях, давали «...честное слово, что вышеуказанное обвинение ничего общего не имеет с судом, а только является декларацией, предназначенной для нанесения ущерба германскому фашизму». Другим подследственным обещали, что те «...никакой ответственности не понесут и после суда поедут работать, но только в другие районы». Свердловские следователи были ничем не лучше столичных, только работали топорней, не смогли изолировать подследственных перед судом, приобщили к

¹ Шахов – Першину. г. Кизел. 11 03 1938 // ГОПАПО. Ф. 61. Оп. 16. Д. 114. С. 37. И Субботин, и Березин были членами партии.

² См.: Звезда. 04.10.1937.

³ См.: Постановление политбюро ЦК ВКП(б) о мерах наказания для обвиняемых в г. Кизеле 25 011938 // Лубянка... С. 467.

делу заявления осужденных о своей невиновности, в общем, не смогли упрятать концы в воду¹.

Поставить большой процесс Д.М. Дмитриеву не разрешили. Сталин явно сомневался в его компетентности². По всей видимости, именно по этой причине в январе-феврале 1938 г. были расстреляны несостоявшиеся фигуранты показательного процесса: назначенные члены окружных повстанческих штабов. Тогда же ЦК ВКП(б) снова обновил руководство Свердловской области. Секретари обкома были сняты с работы, а затем осуждены.

Дмитриев, только что избранный депутатом Верховного Совета СССР, лишился политической поддержки в области. Тщетно пытался он себе приписать заслугу разоблачения очередного вражеского руководства: «Я главный виновник ареста Столяра, Бермана (второй секретарь свердловского обкома, правая рука Столяра), Грачева (председателя свердловского облисполкома – человек Столяра)»³. В апреле 1938 г. тройка Свердловского УНКВД фактически прекращает работу. Операция, как это явствует из данных, помещенных в таблице 2, затухает. И уже в мае Дмитриева, а с ним и Дашевского, настигла ударная волна перманентной чистки в центральном аппарате НКВД. Он был смещен с должности, назначен на короткое время начальником ГУШОСДОР НКВД СССР (Дашевский стал в нем начальником эксплуатационного отдела); в июне 1938 г. арестован, в 1939 – расстрелян⁴.

На смену ему пришел Викторов, не отличавшийся ни честолюбием, ни энергичностью своего предшественника, что, впрочем, ему не помешало летом того же года продолжить практику массовых расстрелов ранее арестованных людей⁵.

¹ См.: Выписка из обзора по следственному делу № 114 по обвинению группы специалистов-угольщиков Кизеловского угольного бассейна, арестованных в 1940–1941 гг. (так в документе! – О.Л.) // ГОПАПО. Ф. 641/1. Оп. 1. Д. 12567. С. 151–153.

² На полях пространной записки Д.М. Дмитриева о ликвидации на Урале офицерско-фашистской организации «Российского общевоинского союза» Сталин сделал характерную пометку: «Странное письмо. А кто из поименованных лиц арестован? Арестованы ли, скажем, Епифанов, Стихно, Булгаков и др.? Записка Дмитриева производит впечатление газетной статьи». Лубянка... С. 414.

³ Показания Дмитриева Д.М. // Лубянка... С. 598.

⁴ Служба Д.М. Дмитриева в НКВД не закончилась арестом. Его последняя должность – в октябре-ноябре 1938 г. – внутрикамерный агент или, по-другому, «каменный колун». Дмитриев пытался склонить маршала В.К. Блюхера к самоговору. См.: Черушев Н. 1937: элита Красной Армии на голгофе. М., 2003. С. 72.

⁵ См.: Из обзорной справки по архивно-следственному делу № 975188 г. Свердловск. 14 02 1955 // ГОПАПО. Ф. 641/1. Оп. 1. Д. 15357. Т. 2. С. 116.

В июле были взяты организаторы кулацкой операции Я.Ш. Дашевский, Н.Я. Боярский и самый рьяный исполнитель – В.Я. Легоцкий. Осенью пришел черед Шейхмана, а в следующем году – Шахова, Былкина, Беланова, Варшавского и др. Перед арестом Варшавский сделал доброе дело: «...без необходимой перепроверки материалов огульно освобождал арестованных из-под стражи»¹.

ИТОГИ ОПЕРАЦИИ

Кулацкая операция, по замыслу ее организаторов, напомним, была призвана «...беспощадным образом разгромить банду... антисоветских элементов, защитить трудящийся советский народ от их контрреволюционных происков и навсегда покончить с их подлой подрывной работой против основ советского государства»². На территории Прикамья исполнители приказа подвергли репрессии около 8 000 человек.

Таблица 2

**Количество приговоров по кулацкой операции по месяцам
(в процентах к каждому виду репрессии)***

Месяц и год	Приговоры				Всего в месяц
	ВМН с конфискацией	ВМН без конфискации	10 лет	прочие	
Август 1937	91 / 2,4%	79 / 6,6%	1 / 0,0%	0 / 0,0%	171 / 2,1%
Сентябрь 1937	1317 / 34,0%	250 / 21,0%	99 / 4,3%	1 / 0,0%	1667 / 20,9%
Октябрь 1937	229 / 5,9%	155 / 13,0%	808 / 35,2%	0 / 0,0%	1192 / 15,0%
Ноябрь 1937	516 / 13,3%	63 / 5,3%	996 / 43,4%	6 / 1,03%	1581 / 19,9%
Декабрь 1937	824 / 21,3%	58 / 4,9%	171 / 7,5%	1 / 0,0%	1054 / 13,2%
Январь 1938	87 / 2,2%	343 / 28,8%	1 / 0,0%	2 / 0,0%	433 / 5,4%
Февраль 1938	257 / 6,6%	143 / 12,0%	7 / 0,3%	0 / 0,0%	407 / 5,1%
Март 1938	313 / 8,1%	22 / 1,8%	35 / 1,5%	0 / 0,0%	370 / 4,6%
Апрель 1938	0 / 0,0%	1 / 0,1%	1 / 0,0%	1 / 0,0%	3 / 0,0%
Май 1938	19 / 0,5%	36 / 3,0%	4 / 0,2%	0 / 0,0%	59 / 0,7%
Июнь 1938	3 / 0,1%	3 / 0,3%	3 / 0,1%	0 / 0,0%	9 / 0,1%

¹ Из обзорной справки по архивно-следственному делу № 975188. г. Свердловск. 14 02 1955 // ГОПАПО. Ф. 641/1. Оп. 1. Д. 15357. Т. 2. С. 116.

² Оперативный приказ наркома внутренних дел СССР № 00447. г. Москва. 30 07 1937 // Книга памяти... С. 767.

Июль 1938	87 / 2,2%	5 / 0,4%	2 / 0,1%	0 / 0,0%	94 / 1,2%
Август 1938	85 / 2,2%	23 / 1,9%	2 / 0,1%	0 / 0,0%	110 / 1,4%
Сентябрь 1938	11 / 0,3%	4 / 0,3%	4 / 0,2%	3 / 0,5%	22 / 0,3%
Октябрь 1938	30 / 0,8%	4 / 0,3%	95 / 4,1%	174 / 30,1%	303 / 3,8%
Ноябрь 1938	1 / 0,0%	1 / 0,1%	56 / 2,4%	391 / 67,5%	449 / 5,6%
Всего (по виду репрессии)	3870	1190	2285	579	7924
	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

*Примечание: В таблице не учтены 29 приговоров, как вынесенных позднее ноября 1938 г. (5 чел.), так и не определенных по виду репрессии (24 чел.).

Из них (см. таблицу 2) 5060 человек (63,8%) было расстреляно в течение года. Здесь не учтены люди, арестованные зимой 1938 г., просидевшие более полугода в ожидании смертного приговора и выпущенные на волю решением областного начальства. И хотя во всех отчетах, посылаемых Свердловским УНКВД в Москву, речь шла о «заклятых врагах Советской власти» – кулаках, белоповстанцах, карателях, на самом деле, под оперативный удар попали обыкновенные рабочие, крестьяне, служащие. По сценарию, сочиненному «в аппаратах Дмитриева» (в 1937 г. в уральской партийной среде бытовало такое выражение), им было суждено заплатить своей жизнью за участие в кровавой драме под названием выкорчевывание врагов народа. По всей вероятности, инициаторы операции надеялись, что после чистки в деревнях и рабочих поселках стихнет ропот по адресу Советской власти: ее учреждений и символов, политики и пропаганды. Люди перестанут петь непристойные частушки о вожде народов и рассказывать злые анекдоты о вождях ВКП(б)¹. Станут более дисциплинированными и лояльными.

¹ Из Кизела в Свердловск в феврале 1937 г. была отправлена «Спецзаписка о политнастроениях в связи со смертью Орджоникидзе». В отличие от множества подобных документов, в ней помещены переведенные на канцелярский стиль анекдоты, ходившие в рабочей среде. Вот один из них: «Дело было в полумраке. Шли два бедно одетых колхозника около большой реки и услышали голос утопающего, который просил о помощи. Колхозники вытащили утопающего на берег. Тогда спасенный им сообщил, что он великий человек и за свое спасение сделает все, что они захотят. На вопрос, кто он такой, он ответил, что Сталин. После этого колхозники ему заявили: «Мы тебя спасли, но ты об этом никому не говори, а то нас колхозники убьют». // ГОПАПО. Ф. 61. Оп. 16. Д. 53. С. 147.

Эти надежды не оправдались. Во время подписной кампании на государственный заем в июле 1938 г. в том же Кизеле шахтеры-трудпоселенцы с большой неохотой покупали облигации на сумму, не превышающую 10–20% от месячной заработной платы. По разнарядке полагалось подписывать рабочих и служащих, как минимум, на месячный вклад. Не получилось. С трудом дотянули до 50%. Люди не только не хотели расставаться с деньгами, но и публично высказывались по поводу нового налога: «Зачем нам этот заем? Советская власть и так хочет заморить нас голодом, а мы ей хотим (!) помогать», или «Подписываться я не буду, в СССР, говорят, нет принудительного труда, а на деле он существует, нас заставляют насильно работать, а также подписываться на заем», или «На черта мне нужен Ваш заем? У меня Советская власть арестовала мужа, да ей же и помогай»¹.

Очистить деревню от кулаков также не получилось. В ноябре 1939 г. в ходе избирательной кампании начальник Кунгурского РО НКВД сообщал секретарю райкома: «В отношении рекомендуемых в кандидаты депутатов в сельские советы мы располагаем следующими данными». Далее следовало перечисление: «Комаров Николай Васильевич имел крепкое хозяйство, <...> сам эксплуатировал чужой труд, <...> писал заявления гражданам о выходе из колхоза, был замешан в хищении семян. <...> Кужлев Василий Егорович намечался к выселению в 1931 году как кулак, применявший наемный труд, активно принимавший участие в терроризировании бедноты при колчаковщине, судим за неспадчу хлеба по ст. 61 УК. <...> Лупенских Михаил Федотович, занимавшийся перепродажей хлеба и мяса... собственник деревообделочной мастерской» и т.д. и т.п. Один из кандидатов вообще отличился тем, что некогда «...исколочил вилкой портрет вождя Правительства»². В делах партийных комитетов содержится множество документов, свидетельствующих о том, что массовая операция целей своих не достигла. И в рабочей, и в колхозной среде сохранились очаги недовольства властями; время от времени проявлялись оппозиционные настроения; не затих ропот. Сильной и однозначной была реакция работников промышленных предприятий на указ Президиума Верховного Совета СССР от 26 июня 1940 г.: «Теперь совершенно не чувствуется Советской власти, и теперь можно забыть слова песни – я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек»; «Это является мероприятием неправильным, зажим в тиски рабочих явля-

¹ Шахов – Погудину. г. Кизел. 12 07 1938 // ГОПАПО. Ф. 61. Оп. 16. Д. 114. С. 133–136.

² См.: Поваляев – Кокшарову. г. Кунгур. 21 11 1939 // ГОПАПО. Ф. 970. Оп. 3. Д. 183. С. 7–7 (об).

ется возвратом к прошлому»; «В таких мероприятиях, ухудшающих положение рабочих, виновны коммунисты»¹.

Уровень аварийности на производстве, приписки, дурная организация труда – все это сохранилось и в будущем в том же первобытном виде.

Есть одна область, в которой проявилось непосредственное влияние кулацкой операции, – область гражданских прав населения. Сотрудники рабоче-крестьянской милиции, действовавшие под прикрытием всемогущих органов НКВД, также не стеснялись в средствах: без ордера прокурора производили аресты и мобилизации, изымали малокалиберные винтовки из школ и пр.². Не оглядываясь на закон, они стали регулировать хлебную торговлю, отбирая «лишние» буханки у прохожих и разгоня ночные очереди³. Подобные практики не прекращались и впредь, вплоть до середины пятидесятых годов.

Подводя итоги кулацкой операции в Прикамье, можно сформулировать некоторые выводы. Жертвами операции стали случайные люди, виновные в том, что в прежнюю эпоху принадлежали к кругу крепких крестьян или были выходцами из их семей, что скученно проживали в трудовых поселениях или были заняты на предприятиях промышленности, транспорта и лесного хозяйства, подвергнутым чистке.

Несмотря на кажущуюся целесообразность в обосновании операции, на рационализацию примененных в ней технологий, она остается бессмысленной бойней, завершившейся казнью ее собственных организаторов и особо рьяных исполнителей. Было бы некорректным возложить вину за провал операции на местный (или даже центральный) аппарат НКВД. Кулацкая операция была обречена на такой исход, поскольку в ее основание были заложены сугубо идеологические, не верифицируемые принципы. Приказ № 00447 имплицитно содержал в себе несколько положений: в советском обществе обостряется классовая борьба в новой – вредительской – форме. Против советской власти выступают прежние эксплуататорские классы под водительством партийных заговорщиков. Страна стоит на пороге открытого политического противостояния. Для того чтобы предотвратить контрреволюционный переворот, следует нанести опережающий, превентивный удар одновременно и по социальной базе контрреволюции, и по ее организованному авангарду. Такой задачей и объясняются громадные квоты внесудебной репрессии.

¹ Справка об отдельных антисоветских проявлениях в связи с опубликованием указа президиума Верховного Совета СССР от 26 июня 1946 года // ГОПАПО. Ф. 59. Оп. 1. Д. 383. С. 63–65.

² См.: Крайнов – Чернышеву. г. Лысьва. 02 02 1939 // ГОПАПО. Ф. 85. Оп. 20. Д. 11. С. 4–4 (об).

³ «Как начался 37-й год, все время милиция бесчинствует», – писал в редакцию «Крестьянской газеты» из Кизела Иван Носков. См.: ГОПАПО. Ф. 61. Оп. 16. Д. 53. С. 134.

А НАМ НИЧЕГО И НЕ СООБЩИЛИ

Из воспоминаний Лидии Васильевны Бабушкиной

Родилась 26 марта 1938 года в селе Романово Усольского района Свердловской области. Отец, Бабушкин Василий Алексеевич, 1914 года рождения, расстрелян 10 марта 1938-го года.

Отец работал бухгалтером на лесозаготовке Змеевка, мама работала там же счетоводом. В феврале 1938-го года, примерно в двадцатых числах, к ним на квартиру ночью приехали люди на машине, три человека. Постучали. Сказали, что нужно разобраться в чем-то с отцом. Был мороз, мама рассказывает. Отца взяли, завернули в тулуп в одном нижнем белье и увезли. А перед этим они патефон разорубили и перину с подушками. Что-то искали. Наутро, когда мама пошла выяснять судьбу отца, ей сказали: «Разберемся, разберемся». И мама успокоилась. А она была в положении. Отца забрали 25 или 26 февраля, а 26 марта родилась я.

Отца арестовали, видимо, потому, что его родители считались кулаками. Мои бабушка и дедушка по отцовской линии единолично еще жили. Очень работящие были. Семья большая. Имели два дома, лошадь, корову, овец, кур... Землю пахали, кожу сами выделывали, сапоги шили. И братья, и сестры – все были работящие. Руки золотые. Все умели делать. Вот их всех причислили к сословию кулаков – злейшим врагам народа (по Ленину и Сталину).

Я жила с бабушкой, много с ней общалась, выспрашивала ее о своем отце – куда его дели? И думала, что Сталин – враг народа. Была у меня такая мысль. Но я никому никогда об этом не говорила! Я боялась, что если я скажу кому-нибудь, что Сталин – враг народа, меня сразу же арестуют и что-нибудь со мной сделают.

Я говорила родственникам: «Давайте напишем письмо в Москву! Как это: был человек и вдруг – не стало? Он ведь не один пропал. У многих родные исчезли без следа». Но они боялись.

В 1956-м или 1957-м году я работала на фабрике «Пермодежда», жила в общежитии. И нас с девчонками отправили в колхоз. Помню, что мы гречиху убирали, сено. Жили у хозяйки на квартире. И вот однажды, когда был дождь и мы не работали, девочки ушли куда-то, а я осталась спать на полатах. Меня разбудил разговор. К хозяйке пришла соседка. Из него я запомнила, как хозяйка говорила: «Попомните меня: Сталин – враг народа». А соседка: «Тише, тише, тише, у тебя же девки пермские живут. Услышат – донесут на тебя». – «Да пусть доносят, да пусть хоть сейчас меня в тюрьму! Да я вслух всем скажу, пусть и они услышат. Куда парня дели моего? Единственный сын был! Куда я только ни писала – никакого ответа, и ничего мне за него не платят».

Я, конечно, никому об этом не говорила очень долго. Боялась, что меня, как и отца, упекут куда-нибудь. Помню, когда мама работала телефонисткой в поселке Орел, у нее на работе со стены упал портрет Сталина под стеклом и разбился. Она вся передрожала. Боялась, что накажут.

Уже во времена Горбачева сестра отца написала письмо: «Мой брат оказался «врагом народа» в 23 года, даже не успел познать отцовства. Что случилось? Мы хотели бы узнать».

Нам ответили. И тогда мы узнали, что отец был расстрелян 10 марта 1937 года, а реабилитировали его 20 июня 1958 года. Почему бы нам раньше об этом не сообщить?! А мы все боялись, все боялись. И вот за что? За что такая ненависть к народу? Моя бабушка до 90 лет с лишним дожила, и все плакала о сыне: ведь неизвестность хуже всего.

НЕ КРИЧИ, НЕ ПЛАЧЬ...

Воспоминания Ангелины Владимировны Бушуевой

Мой отец – Владимир Георгиевич Бушуев – родился в 1906 году в городе Очер Пермской области. Мне рассказывали, что его отец держал пароходы на Каме. Сдавал их внаем, и на эти деньги жила вся семья. Помимо большого дома имелся еще один дом в Очере на берегу озера. Поскольку жили на два дома, то и хозяйство было большое.

Я очень мало знаю о родственниках отца. Только по рассказам матери и бабушки. Да и те много не говорили, только вскользь – боялись... Уже будучи взрослой, я пыталась восстановить свою родословную. Но не знала с чего начать, где и как. В старину все сведения заносили в церковные метрические книги, но в советские годы местную церковь разрушили. Так ничего и не нашла. Бабушка, когда мы с ней за самоваром сидели, кое-что в отрывках рассказывала, потом у меня это уже в голове собралось воедино.

В возрасте четырнадцати лет отец убежал из дома. Революция, Гражданская война... Полный романтических иллюзий, он хотел участвовать в российском переустройстве. Устроился матросом на пароход. К тому времени дед сдал свой дом в собственность властям, и они с бабушкой стали жить в маленьком доме у озера. В их прежнем двухэтажном доме впоследствии устроили детский сад, потом – детский дом. До последнего времени там располагалась администрация города Очера.

Дед мой, Максим Каменщиков, учился в духовной семинарии в Перми. Бабушка, Мария Федоровна Каменщикова (урожденная Ры-

чина), жила рядом. Каждый из них ходил на все службы в Спасо-Преображенском соборе (в здании которого сейчас находится Пермская художественная галерея) – там и познакомились. Бежали вместе на танцы, гуляли по набережной. Поженились они в 1895 году, Марии Федоровне тогда только-только исполнилось 20 лет. Бабушка деда очень уважала. Поэтому когда он принял решение уехать на службу в Усолье, она, не задумываясь, поехала вслед за ним. Нашла там работу, съемную квартиру. Бабушка всю жизнь проработала в школе учителем начальных классов, иногда ее ставили преподавать математику в 5–6-х классах. В свое время бабушка закончила Пермскую Мариинскую гимназию – по тем временам это было очень престижное учебное заведение.



*Зинаида Максимовна Каменщикова.
Снимок 1930-х гг.*

В Усолье у них родилась первая дочь Саня, которая, к сожалению, умерла в 1921 году. Умерли в младенчестве и двое родившихся после нее сыновей. А потом родилась Нина (моя тетя), затем Зина (мама) и еще два сына – Анатолий и Виталий.

Мама, как и мой отец, рано ушла из дома. Она родилась в 1906 году. Когда свершилась революция, ей было 11 лет. В таком возрасте дети должны жить хорошо и вольно. Но... Церкви повсеместно закрывали, деда не репрессировали, но отправили в другой район. Они скитались из деревни в деревню, из Усожья в Соликамск. Затем бабушка переехала в Пермь, куда уже перебрались все дети (моя мама с братьями). А деда такие же, как и он, священники переводили с места на место – видимо, берегли, уважали. Так он до Чердыни дошел и в конце 1934 года умер своей смертью.

Мама мало рассказывала о своем прошлом. Единственное, о чем вспоминала, так это о своем детстве. Говорила, как хорошо они жили. Как ее отец любил, какая дружная была семья. Отец ее, маленькую, всегда брал с собой на реку ловить рыбу. Все звали ее «Зинка-корзинка», и была она, как мальчишка: лазала по деревьям, ходила на рыбалку. Говорит, бросит отец сеть: «Зинка, иди на другой берег и



Зинаида Максимовна Каменщикова (справа) со своими подругами во время заключения в АЛЖИРе. На обороте надпись: «Мама в 1942 году. АЛЖИР. 50 км от Акмолинска, 26-я точка. С подружками по лагерю».

держки». Она плавала очень хорошо, вмиг реку переплывала. Нырнет – и уже на другом берегу, держит сеть с той стороны.

Мама с братьями уехали в Пермь в 1923 году. Мальчишки еще маленькими были: дядя Виктор с 1911 года рождения, а дядя Толя – с 1914. Мама рассказывала, что они ходили по городу, и много было брошенных домов. В одном из них – на улице Пушкина, 77 – пустовали комнаты. Они просто пришли и заняли одну из комнат. Жили втроем. Плохо жили, тяжело. Затем, как я уже говорила, к ним в Пермь приехала бабушка, в ту же комнату.

В Перми мальчишки ходили в школу, а мама посещала курсы бухгалтеров. Она сразу по приезде из деревни встала на биржу труда, где ее послали на эти курсы. По их окончанию она стала работать в Камском речном пароходстве (в здании со львами) и в «Водоканалтресте».

С моим отцом мама познакомилась в 1928 году на пароходе, на котором совершал прогулку мамин коллектив. Он там работал механиком. Впоследствии отец окончил вечернюю школу, потом – речное училище. Затем сам преподавал в этом училище, работал в Камском речном пароходстве. Сначала его назначили чиновником в контору, а потом перевели на должность начальника теплотехнической партии на судоремонтном заводе, иными словами – на должность главного технолога по топливу. У него было шесть или семь человек в подчинении. В 1937-м, кстати, их всей этой группой и арестовали...

Мама и папа очень быстро поженились. Пока отец работал в пароходстве и учился, они снимали квартиру на улице Ленина. В 1934 году родилась моя сестра Неля, и отец получил комнату. Квартиру в Нижней Курье в двухэтажном бараке нашей семье дали уже, когда отец начал работать на Судозаводе.

Хорошо мы жили в то время. У нас, видимо, даже был фотоаппарат, потому что сохранились две наших детских фотографии с сестрой. А еще бабушка Мария Федоровна сберегла единственную мамину грамоту. Большая грамота 1934 года с портретами Ленина и Сталина: за выполнение пятилетки в течение четырех лет. И фотография сохранилась, на которой вся их женская бригада из «Водоканалтреста».

Девочки все такие красивые! У кого прическа, у кого – беретик. Я все это храню, берегу.

Мама рассказывала, что в курьинской квартире у отца был кабинет, библиотека. Нянька жила с нами, детьми. Ее взяли в семью, когда 19 апреля 1936 года родилась я. К слову, эта нянька, которую все звали не по имени, а просто «бабушка», меня и окрестила. Дело было так. Когда ее принимали на работу, она заявила, что «с нехристями водиться не буду». Отец воскликнул: «Чтоб я об этом не слышал!». А мама потихоньку бабушке шепнула: «Молчи, втихаря окрестишь. Я тебе разрешаю». И эта няня схватила нас с сестрой в охапку и окрестила.

По рассказам, отец был очень общительным, веселым и энергичным человеком, хотя в последние годы страдал от ревматизма, ходил с палочкой. Но всегда вокруг него было много народу. Каждый выходной куда-нибудь выезжал вместе с друзьями. Например, они устраивали семейные пикники на Каме. И нас, ребятишек, частенько брали с собой.

Родители ходили в театр, в кино. Мама хорошо пела, участвовала в заводской самодеятельности. У них в здании, где сейчас синагога, был театр рабочей молодежи – ТРАМ назывался. Сами ставили спектакли, сами играли.

А в 1934 году грянул гром: отца арестовали. Дело было вот в чем. Раньше пароходы отапливались деревянными болванками. Помню, ходил пароход «Кефаль» – вроде катера, с широким дном. И на нем перевозили народ. А теплотехническая партия, в которой работал отец, придумала использовать жидкое топливо. Но их предложению не дали хода (чурками пароходы отапливали до 1951 года), а потом и вовсе использовали в качестве обвинения всему коллективу. Отца арестовали, но затем выпустили за недоказанностью обвинения. Правда, из партии его исключили в том же 1934 году.

До 1937 года теплотехническая станция работала на строительстве пароходов для канала Волга–Москва, и им надо было выпустить 6 пароходов. Последний закончили как раз перед отцовским днем рождения, 6 июля.

В этот день все собрались у нас, на первом этаже в большой комнате. Отец сидел у окна. Вдруг ребята его спросили: «Ты чего так побледнел?». А он говорит: «Когда милиция под окнами ходит, мне становится не по себе». Безусловно, это было связано с его первым арестом.

И вот у них на заводе начались повальные аресты. Мама позже рассказывала: как-то они пришли на работу, и им сообщили, что начальник арестован. Все, конечно, притихли. Глядят – и стол заместителя начальника тоже пустует. Значит – арестован. Такая же судьба

постигла директора судозавода, главного инженера, одного, другого... Неудобных как арестовывали? Спускали план – нужно арестовать столько-то врагов народа в месяц. Лучших уничтожали! Дошла очередь и до отца.

В день ареста папа как обычно ушел утром на работу. Обычный будний день, середина июля. Мама уехала в город сдавать бухгалтерский баланс. В ближайшие выходные в драматическом театре должна была состояться премьера спектакля «Как закалялась сталь», и отец попросил маму купить билеты. Обедать сотрудники теплотехнической партии всегда ходили по домам – жили рядом.

Мама около полудня вернулась домой, заглянула по пути в окно и ахнула: такой там был ералаш. Все перевернуто вверх дном. Зашла в дом, спросила няню: «Что у нас, бабушка, произошло? Владимир что-то искал?» А няня сразу же заплакала и выдавить из себя ничего кроме слез не могла. Тут подошла соседка и сказала: «Владимира арестовали». Няня подтвердила и рассказала, что был обыск. Все ребята пошли на обед, а около заводской проходной их уже ждал «черный ворон». Из машины вышли милиционеры и «пригласили пройти с ними». С другой стороны проходной тоже собрались милиционеры, которые развели их всех по домам для обыска и дальнейшего ареста.

На следующий день, когда мама пришла на работу, ей объявили, что она как жена врага народа также является врагом народа. Организовали профсоюзное собрание, на котором ее исключили из профсоюза и уволили с работы. Мало того – ее обязали в 24 часа освободить квартиру.

Мама была беременна. Вещи, какие смогла, упаковала в сундуки и поставила их в дровяник (сарай, в котором держали дрова). Закрыла сарай и попросила соседку проследить, чтобы никто не украл. Взяла нас, дочек, и увезла к бабушке на улицу Пушкина. По воспоминаниям мамы, она той ночью то и дело прислушивалась ко всем звукам. Тогда улица Пушкина не была автомобильной, по ней ходили только лошади. Как только машина проезжала (понятно, что это мог быть только «черный ворон») – сразу настораживалась, не раздастся ли стук в дверь. Проехали – слава богу, пронесло...

Через день мама вернулась на прежнюю квартиру – а из пожитков ничего не осталось. На месте дровяника – обгорелое место. Сгорело все: фотографии, посуда, одежда. Может, и растаскали все: раз мы враги, значит, можно и вещи забрать. Особо горько, что у нас не осталось ни одной фотографии отца. Возможно, были у родственников, но они, испугавшись, уничтожили их. В деле фотографий нет. И у меня нет. Даже не представляю, как он выглядел. Неле, сестре, во время ареста отца было три года, и она тоже не помнит его.

Стали жить у бабушки в ЖАКТовском доме на Пушкина. В соседней комнате жила мамина сестра тетя Нина и ее муж Михаил.

Как только перебрались на Пушкина, мама пошла искать отца. Кто-то сказал, что он, наверное, в здании железнодорожного техникума возле станции Пермь I. Мама и другие жены сотрудников теплотехнической станции побежали туда. Арестованные, действительно, были там. Все, и отец тоже, сидели поодиночке. Мама рассказывала: она идет по улице, а отец стоит у окна и ее высматривает. Она как только в окне силуэт увидела – сразу поняла, что это он.

Один раз в месяц им разрешали посещения. И каждый месяц с июля по январь она к нему приходила. На свиданиях всегда рядом сидел следователь. За руки братья не разрешалось, ни о чем, кроме семьи, разговаривать не разрешалось. Поэтому мама даже не узнала, за что его арестовали. Спрашивала только о здоровье (у него ведь ревматизм был), приносила еду, рассказывала, как мы, дети, растем, как проходит беременность, что в городе нового, как мы у бабушки живем. Как-то мама сфотографировала нас с Нелей специально для отца. Видимо, сделала два экземпляра – один отдала папе, а другой сохранился у нас. Мы на этой фотокарточке стоим в летних платьях и в валенках! Я, помню, еще хохотала: в летних платьях и в валенках! Только потом узнала, что сгорело все, ничего не было.

Последний раз мама видела отца 14 января 1938 года. На этом свидании он ей потихонечку шепнул: «Если в следующий раз придешь, а меня здесь не будет – не кричи, не плачь. Забирай детей, уезжай в Очер к моим родителям». Мама покивала-покивала, сказала: «Ладно, рожу – уеду», – но не послушалась. И даже не готовилась к этой поездке. Во-первых, она ему не поверила, думала, что его отпустят. И так ответила папе, чтобы он не переживал. А во-вторых, в Очере ее не очень-то ждали. Все родственники думали, что отца преследовали за то, что он женат на дочери попа.

Эта встреча оказалась последней – 17 января отца расстреляли. «Тройка» вынесла приговор, его вывезли и расстреляли. Я в архивном деле видела небольшую справку: «приговорен к высшей мере наказания». И его подпись в том, что ознакомлен. То, что дело было сфабриковано, видно даже на примере этой самой подписи. На справке она была сделана чернилами, а на других листах дела – карандашная, через копирку. Получается, он даже и не знал, за что его приговорили, в глаза не видел материалов дела.

Формально отца обвинили в связи с троцкистско-зиновьевским блоком, в заговоре против Сталина. Тогда ведь все дела были одинаковы, все заполнены по единой форме: «Признавайся, что ты был врагом, что действовал против Сталина». Отца и его товарищей по работе как диверсионную группу обвинили в умышленном уничтожении кораблей на Каме. Якобы, они выпускали неправильные сводки по балансировке пароходов, поэтому они тонули. Все – чушь несусветная!



*Сестры Ангелина и Неля Бушуевы.
Снимок выполнен в ноябре-декабре 1937 года
в г. Перми. Этот снимок их мама – Зинаида
Максимовна – передала арестованному мужу
во время свидания в тюрьме. Фотография
опубликована на обложке книги английского
историка Орландо Фиджеса «The whisperers.
Private life in Stalin's Russia». Лондон, 2007.*

В феврале мама пришла на следующее свидание, а ее не пускают. Сказали, что Бушуева здесь нет. Она бросилась к следователю Новоселову, который до этого всегда с ней здоровался и разговаривал. А в этот раз прошел мимо и сделал вид, что не знаком. Так и вернулась мама ни с чем. Решила, что его перевели в другую тюрьму. Тогда ведь никто не знал, что расстреливают. Об этом стало известно только в 90-е годы, когда доступ к документам был открыт.

14 февраля 1938 года мама родила моего младшего брата – Станислава. А уже в июле ее арестовали. Было лето, и бабушка уехала к кому-то в село за малиной. Ночью за нами при-

шла машина. Дверь открыл дядя Миша. Он наверняка понял, в чем дело, но вместо того, чтобы спасти маму, сказал, что она здесь. У нас были тяжелые, двойные дубовые двери – можно было открыть только первую дверь и ответить, что Зинаида Бушуева уехала за малиной.

В нашей семье до сих пор считают, что дядя Миша выдал маму. Хотя это, по большей части, предположения, откровенных разговоров на эту тему у нас с мамой не было никогда.

В общем, бабушки дома не было, мы с Нелей спали на полу – было очень жарко. В комнату зашли и сказали: «Собирайтесь». – «Так

ведь ночь на дворе...» – «Ничего, одевайтесь, и детей возьмите с собой. Это ненадолго, вас скоро отпустят, и вы вернетесь домой». Мама поверила. Она была кормящей мамой – Славке было всего полгода. Надела на себя красное шерстяное платье, нас одела в летние платьица, а Славку завернула в одну пеленку. Даже кофты с собой не взяла. Мама рассказывала, что мы с Нелей обе держались за ее подол и плакали.

Нас всех посадили в машину и привезли к следователю. Тот сразу поднял трубку телефона, набрал номер и сказал: «Надо срочно устроить двух девочек. Их мамаша уезжает в длительную командировку». Нас тут же отодрали от мамы. А что ей было делать? У нее на руках был ребенок... Нас увезли: сестру в еврейский детский сад, а меня – в детский дом № 1 на улице Борчанинова (там сейчас детская инфекционная больница). После этого маму стали обыскивать, нет ли каких булавок, иголок. А она им: «Какие булавки? У меня детей отобрали, а я буду об иголках думать?» Хотели и Славку отобрать. А мама грудью встала: «Этого не отдам! Он воспаление легких недавно перенес – не отдам!» Не отдала.

Допроса никакого не было. Сразу предъявили обвинение: жена «врага народа». Заполнили анкету. Спросили: «Ваш муж арестован?» Она ответила: «Да. А меня за что?» «Вы знали, что он «враг народа», а не донесли». «Интересно, какой он «враг народа»? Я и не знала, что он «враг народа», о чем же должна была доносить?» Ее не мучили, не пытали. Мама до последнего надеялась, что ее выпустят. Все сожгли, отобрали, с работы выгнали – и хватит. Все-таки трое детей – не решатся посадить. Надеюсь...

Привезли в тюрьму, посадили в общую камеру на втором этаже. Народу очень много, в основном мужчины, и ребенок постоянно плакал. Так маме разрешали ходить по коридору и укачивать Славку. В конце коридора было окно, которое выходило на кладбище. Звяканье лопат, скрип колес (покойников привозили на лошадях)... Видимо, рыли братские могилы. Мама говорила, что у нее сложилось впечатление, будто там хоронили тех, кто умер в камерах.

Мне еще один человек потом подтвердил, что там были братские могилы. Он в детстве жил неподалеку с семьей и однажды видел, что привезли много покойников и закапали их в одну яму. Сейчас на том месте дачи построены.

Маме запомнился еще один тюремный эпизод: перед выборами в 1938 году арестовали какого-то начальника; он бился и кричал: «Выпустите меня! Завтра выборы, за меня голосовать будут!»

Продержали ее в камере до конца августа. Потом всех сразу вывели из тюрьмы. Много было таких же, как мама, жен «врагов народа». Сначала вывели всех в скверик и поставили на колени. Узлы погрузили на телегу. У мамы никаких вещей не было, но ее с ребенком

посадили на телегу поверх узлов. Бабушке кто-то сообщил, что Зину повели на этап, и она прибежала к тюрьме. Конвой, собаки и заключенные посередине. Бабушка пыталась через охранника передать узелок с детской одеждой. Пеленки не взяли: «Отойди, старуха». Она умоляла: «Ну, хоть кофточку передайте!» Ничего не взяли, так мама и поехала безо всего.

Маму отправляли вместе с женщинами-уголовницами. Они ее очень мучили, все время говорили: «Отдай нам ребенка. Нас тогда выпустят, а тебе это не поможет. Ты, как ЧСИР надолго сядешь, у нас же и так срок небольшой, а с ребенком и вовсе быстро выпустят». А маму предупредили в тюрьме: «Вас поведут с урками, так ты с ними не связывайся. Если будешь с ними спорить, ругаться, – неприятности будут. Ты молчи и все. Послушная будь, и они тебя не обидят». И она молчала. Сказала только, что ребенка не отдаст. И к ней стали уважительно относиться. Потом кто-то даже снял с себя кофту и дал ей: «Заверни ребенка-то».

Они на этапе где-то пешком шли, где-то ехали. В какой-то момент их привели в камеру, закрыли там, а ребенок плачет и плачет. Им ни еды, ни воды не дают. И они давай бунтовать, шуметь, кричать: «Накормите мамашу и дайте молока ребенку». Ну, принесли каши, хлеба, молока. В дороге ребенку тоже пить надо, а грудного молока не было. Сразу же после ареста сторело. Ей и посоветовали: «Так попои ребенка-то мочой». А я, говорила мама, и не перечу: беру баночку, подношу Славке, и он пьет мочу. Пить-то хочется.

Ей дали 7 лет лагерей. Но четыре из них она отработала за зоной. Она отбывала срок в АЛЖИРе (Акмолинский лагерь жен изменников родины), на 26-й точке в пятидесяти километрах от Акмолинска.

Больше никто из наших родственников репрессирован не был. Дядю Витю не трогали, скорее всего, потому что он принимал участие в финской войне. На дяде Толе эти времена отразились больше – в 30-х годах он как сын священника не поступил в речное училище. Уехал учиться в железнодорожный техникум в Свердловск. Там он, уже наученный горьким опытом, скрыл свое происхождение.

Когда бабушка увидела маму в Перми на перегоне, поняла, что нас с Нелей куда-то определили, раз у мамы на руках был только Славка. И они стали искать нас.

Братья мамыны еще молодые – 23-х и 27-ми лет. Старший Витя был очень общительным, на гитаре играл, на балалайке. И он придумал знакомиться с девочками, которые работали в детских учреждениях. Найдет какой-нибудь садик, подкарауливает девок, знакомится и расспрашивает, есть ли сироты. Вот так и нашли Нелю в еврейском садике. Года еще не прошло. Садик этот находился напротив зоопарка, это здание недавно снесли.

Бабушка пришла за ней, сказала, что девочка потерялась и поблагодарила. Ей ее просто так, без всяких документов отдали. А меня долго искали. Неля постарше была, уже говорила, а я только кричала что-то несвязное. Помню, когда меня несли в детский дом, все вокруг было темное, а я орала, царапалась, пиналась. Меня принесли, на стол положили, а я все ору. Потом мне рассказали, что я все время просила «баку». Мне и собаку давали, и кошку, а я продолжаю кричать. Потому что на самом деле я звала бабушку.

Именно в этом детском доме я испытала первое чувство страха. Дети собирались на прогулку. В коридоре стоял большой шифоньер с одеждой. Все ребята быстренько оделись и ушли, распевая песню: «Дан приказ тебе – на запад, едь в другую сторону». А я сижу: этот шкаф передо мной, внизу выдвигной ящик с ботинками. Натягиваю на себя белое вязаное трико, а оно никак не лезет. И я давай реветь! Настолько боялась остаться одной. Я ведь до сих пор боюсь тишины и темноты. Когда никого нет дома, зажигаю везде свет и музыку включаю.

В том детском доме много было ребятшек. Уже будучи взрослой, я решила собрать сведения о нем. Пошла в это здание, но там уже располагалась инфекционная больница. Я поинтересовалась, сохранились ли у них довоенные архивы. Мне ответили отрицательно. Правда, заметили, что в интернате для умственно отсталых детей есть директор, который интересуется историей. «Он молодой, может, чего и знает». Я поехала к нему, познакомилась. Оказалось, что он до этого работал в детском доме № 1 и обнаружил там старые журналы. Его они очень заинтересовали, и он их не выбросил, никому не передал. Он взял один журнал – такая амбарная книга со списком детей периода 1938–1948 гг. – и нашел, что Бушуева Ангелина Владимировна в 1940 году была взята бабушкой. Копию с этой записи сделал.

Еще когда я училась в педучилище, то ходила в архив детских учреждений, что за Центральным рынком. Никаких данных о 1938 годе там нет – все уничтожено. Дети тогда терялись, их отбирали у родителей, давали другие фамилии. Это чудо, что нас нашли.

Я помню, как меня нашли. Весна, мне пятый год, и бабушка меня ведет за руку. На мне надеты красные туфли с перемычкой и пуговичкой. Пуговичка такая блестящая, что мне ее все время лизнуть хотелось. Я поднимаю подошву, смотрю на нее, а она такая гладенькая-гладенькая, красная. Стряхиваю с подошвы грязь, мне даже хочется снять туфлю и тоже ее полизать, такой яркий цвет был. А бабушка мне говорит: «Хватит тебе с туфлями возиться, вон уж твоя сестра». Что такое «сестра» я не знаю. До сих пор помню, это состояние – ничего не понимаю: что такое сестра? Потом я говорю: «Вижу девочку». Она мне говорит: «Так вот это и есть твоя сестра. Неля ее зовут». Я говорю: «Ну и что?» Не сразу поняла, что Неля – это имя. И подходит

ко мне девочка: коротко стриженная, с черными волосами, синенькое пальтишко на ней. Привычка у нее была – кончик воротника жевать. И я спрашиваю: «А зачем она воротник ест?» Бабушка ее одернула: «Опять воротник жуешь?!» Вот все, что я запомнила.

Потом рассказали, как искали меня. Двоюродный брат Гера, сын тети Нины, пошел гулять в выходной день на Каму. Нас, детдомовских, тоже вывели на прогулку. Шли парами, а я самая последняя. Говорят, я маленькая была очень толстой. Хоть так поставь, хоть этак – со всех сторон одинаковая. В общем, я была таким увальнем, что Герка меня сразу узнал. Он как закричит: «Вон наша Ака идет!» Но подойти ему не разрешили. Дядя Витя взял это на заметку и познакомился с нашей воспитательницей. Ее звали тетя Гая. Он через нее все разузнал, а дальше уже бабушка стала хлопотать.

...А до войны мы хорошо жили. Нам и пальто купили, и ботинки. Помню, бабушка сшила нам наряды к Новому году. Жили очень дружно. У бабушки была сестра Саня, у нее – дочь Юля и внучки Люка и Аза. И мы все время ходили в гости друг к другу, отмечали праздники. На Новый год своими руками делали маски. В разгар праздника выбегали из маленькой комнаты и пели: «Мы едем, едем, едем в далекие края! Веселые соседи, хорошие друзья!». Каждый из нас изображал какого-нибудь зверя, перечисленного в этой песенке. Я была обезьянкой. Меня нарядили в коричневое платьице, я надела очки, взяла игрушку-обезьянку. А потом вместе с взрослыми водили хороводы.

Летом бабушка на выходные снимала дачу в Курье, вывозила детей. Верхняя Курья очень красива: песок, сосны... Собиралась вся родня – бабушка, тетя Нина с Геркой, дядя Витя, дядя Толя, тетя Саня и ее муж дядя Ганя, тетя Юля со своими девочками – и шли на речной трамвайчик. На меня обязательно надевали шляпу с бантиками, которая мне всегда мешала, и я ее выкидывала за борт. Хулиганка!

Переезжали на другую сторону Камы – и на дачку. Развешивали гамаки, ставили самовар и поили детей чаем. Там, помню, была большая веранда с большущим столом. Нам, ребятам, ягоды с сахаром в блюдечке намнут и дадут в придачу вкусного ржаного хлеба. Мы набалуемся, песен напоемся и уснем в гамаках.

Помню мороженое того времени: бумажные чашечки, блюдечко и ложка. Продавали его на остановке «Динамо» и стоило оно 5 копеек. Вот, дадут нам по пятаку, и мы сразу летим за мороженым. Потом появилось это лакомство в вафле. Помню, дали мне эту вафлю, и я вся мороженым облилась. Дядя Миша вытирает мне лицо и приговаривает: «Ну, Алька, вся ты сладкая!»

Бабушка приучала к порядку в доме. В сундуке, среди игрушек всегда порядок. Сами спать ложимся и игрушки спать укладываем. Бабушка говорила: «А что это у нас куклы не спят? А что это у вас все валяется? Убежит ведь!» Вот и кладешь все аккуратненько.

Она у нас хорошая бабушка была. Сама очень много читала и нас научила. Благодаря ей я очень хорошо и выразительно читала. Считать нас учила, все время говорила: «Учись».

Однажды мы с соседкой Алькой Петуховской играли в дровянике. Я нашла старый сломанный подсвечник. И тут Алька начала меня дразнить: мол, у тебя мама враг народа, сидит в тюрьме. Я в ответ на нее плюнула, она тоже плюнула. Плевали мы друг на друга, мне надоело и я свистнула ей подсвечником в лоб. Чуть не убила девку. Бабушка вылетела, схватила меня. Конечно, наказала.

Н а к а з ы в а л и меня своеобразно: раздевали наголо, укладывали в кровать под одеяло и давали в руки книжку – сиди и читай. Ширмой загородят кровать, горшок поставят. Даже кормили, но пока не осознаешь свою вину – не выпустят. А бить бабушка нас никогда не била.

Она была очень религиозная, несмотря на то, что учительница. В церковь она тайно, но ходила. И меня, пятилетнюю, водила во Всесвятскую церковь. Мы там в церкви даже ночевали. Где-то в уголке расстелили пальто, и все дети там спали, пока бабушки молились.

А потом наступила война. Нас с Нелей как врагов народа в садик уже не взяли. Раньше, до войны, я помню, бабушка возила нас туда



Виталий Каменщиков (дядя Ангелины Владимировны) в период службы в Красной Армии. Начало 1930-х гг.

на санках. А с 1941 года мы дома сидели. Даже гулять бабушка разрешала только изредка.

С началом войны в Перми начался голод. К нам на квартиру поселили ленинградцев – три семьи. Им давали картошку, а у нас ничего не было. Бабушка работала в школе и получала карточки. А мы безалаберные были: идем хлеб покупать, а карточки теряем. Один раз кто-то взял их у нас в очереди передать, и мы не увидели ни хлеба, ни карточек. А второй раз нас какая-то девочка обманула: «Пойдемте, там хлеб без очереди дают», – завела нас на второй этаж, взяла наши карточки и исчезла за дверью. Пришлось целый месяц без карточек жить. Бабушке пришлось распродать много вещей, чтобы выжить. У меня игрушек было много хороших, все продали.

А был один случай. Мы сидели за столом и пили чай. Чай в стаканах с подстаканниками. А сахара нет. Я, как обычно, мешаю чай и говорю: «Бабушка, чай-то не сладкий!» А бабушка в ответ: «Ну-ка, покажи, как мешала? Так ты ведь не в ту сторону мешала! Сахар-то от тебя ушел». Я и поверила бабушке. Она шутница у нас была: все время выдавала какие-то шутки, прибаутки, пословицы, поговорки, стихи. Она получила такое образование в гимназии: знала много опер, арий, песен.

Первый военный год мы прожили еще ничего, а вот второй был очень голодным. Комсомольский проспект, улица Карла Маркса (ныне – Сибирская) полностью были засажены картошкой. Дети весной и летом залезали на липу, рвали листочки и ели. И еще в конце двора у нас росла трава: на ней росли лепешечки с пуговичку, мы их вычищали и ели – вкуснятина! Еще была помойная яма, куда выливали все отходы. Но очистки люди всегда клали рядом (те, у кого была картошка) – знали, что кто-нибудь возьмет. Мы их брали, промывали и варили. Один из наших соседей-ленинградцев специально для нас, детей, варил полный котелок картошки и ставил на стол. Тоже вкуснятина была.

Во время войны нас брили наголо. Бабушка усадит меня с Нелей на подоконник, стрижет и говорит: «Сидите, девки, песни пойте и стихи читайте». Мыла не было во время войны. Стирка у нас была такая: Люка или Аза от тети Сани прибегут, скажут, что у них стирка – мы берем ведра и идем к ним. Они постирают, а оставшуюся мыльную воду отдадут нам. Мы ее несли домой и стирали свои вещи.

В 1943 г. маму из зоны освободили (но покидать спецпоселение было нельзя) и разрешили писать письма. Она написала бабушке, и та ответила ей, что нашла нас, детей. И тогда мама стала хлопотать, чтобы ей разрешили нас туда привезти. С матерью в любом случае лучше, к тому же бабушка уже старенькая была, болела часто.

Воссоединение возможно было только через детский дом, т.е. это разрешалось в том случае, если дети спецпоселенцев содержались

в детдоме. Поэтому бабушка опять нас отдала в детский дом, чтобы везти в Казахстан уже как сопровождающая.

Перед тем, как сдать нас опять в детский дом, бабушка сказала, что это ненадолго, и скоро мы поедем к маме. Мы были очень голодные, и бабушка уговорила нас тем, что в детдоме будут кормить. И в школу ходить не надо – жить будем при самой школе. Я маленькая еще была, не понимала ничего, но Неля, как старшая, не отходила от меня ни на шаг.

Во втором детдоме я сразу стала принимать участие в концертах, читала со сцены басни. Там было очень холодно – это было двухэтажное здание на улице Орджоникидзе. Мы грелись у печки, подставляли к ней ноги. Однажды мне, маленькой, дали какую-то булочку. Так мы ее на всех разломали по крошечке и съели. Потом у кого-то морковка нашлась – давай и ее делить. Голодно было.

Перед самым Новым годом отправились в путь. У нас три пересадки, и на каждом вокзале стояли новогодние елки.

Приехали в Казахстан. Зима. Мы в избе на вокзале сидим – поели, чаю попили, греемся. И вдруг заходит мужик в ватной телогрейке и в ватных штанах. Нелка сразу закричала: «Мама!» А я бабушке говорю: «Какая это мама? Это же дяденька». Долго я ее не признавала, не слушалась, а потом ничего.

Мама сильно изменилась. Бабушка рассказывала, что мама была очень песенная. А когда мы в лагере ее увидели, я только два раза слышала, чтобы мама пела. Она перестала петь. И бабушка спрашивала: «Что, Зинка, песен не поешь? Совсем тебе нынче худо?» Не знаю, что мама ответила.

Когда мы приехали в Казахстан, мне уже 8 лет исполнилось. В Перми меня в школу не взяли, и в первый класс я пошла уже здесь. Бабушке не разрешили жить с нами на 26-й точке. Она привезла нас, пожила до лета и вернулась обратно в Пермь.

На 26-й точке простиралась сплошная степь. Зона огорожена колючей проволокой в несколько рядов. Нам, детям, не разрешали подходить близко, но когда открывали ворота, видели вышки, охрану и низкие бараки. Жара, от которой раскальвалась земля. Бывает, брошишь в такую щель палочку и не видишь, куда она падает.

На поселении мы жили в бараке. Воспитывали нас с сестрой всем бараком – детей было мало. Кроме нас поначалу приехала только одна почти уже взрослая девочка Света. Она у нас в школе вожакой была, жила с мамой. Барак был длинный-длинный, в нем стояли двухэтажные нары. Внизу с перегородками шли две постели, и вот эти четыре места занимала наша семья. Двухместную кровать в уголке занимали как раз эта девочка с мамой. В большом проходе в конце стол стоял. Кто читал, кто шил – все собирались за этим столом.



*Группа детей – воспитанников детского дома при женской зоне.
Копия снимка, выполненного в 1942 году в АЛЖИРе. Крайний справа –
Слава Бушув, брат Ангелины Владимировны.*

Барак печуркой отапливался, помню, на ней картошку ломтиками жарили. Кровать отгораживали простыней. Больше из мебели ничего не было. Полочки какие-то стояли, где лежали хлеб и патока. Маме, поскольку она с детьми, начальство давало побольше хлеба и патоку в придачу.

Голодно было, есть нечего было. Днем в столовой кормили: ба-ланда, кусочек масла, кусочек хлеба. А утром и вечером – что при-дется.

Помню, еще бабушка у нас была, так я ее обидела даже. Утром, с детского взгляда мне показалось, что хлеба много, а к вечеру его уже не было. Есть сели, мама говорит: «Будем ужинать без хлеба – хлеба нет». А я на бабушку накинулась: «Хлеба ведь много было?!» – «Хо-чешь сказать, что я съела весь хлеб?» Обидела, в общем, бабушку ни за что.

В 1943 году в лагере появился фотограф и снял детскую группу, в которой был Славка. Он ведь тоже все это время был в лагере. Мама находилась в женском бараке, работала, а всех детей, которые при-были этапом с родителями, сразу же определили в два барака, тут же, при зоне. Один из них служил детским садиком. Тоже колючей про-волокой его огородили, воспитателями работали лагерные женщины. Мама рассказывала, что когда они шли с работы, всегда старались

в какую-нибудь щелочку заглянуть. «Найдем взглядом своего и все глядим – как он там, бегаёт ли, веселый ли?»

Славку нам отдали уже после победы. Надо сказать, на нем пребывание в лагере очень сильно отразилось. Он ведь первые восемь лет своей жизни там прожил.

Есть еще старая, истрепавшаяся, очень мелкая фотография мамы того же времени. Там они втроем с подружками. Мама на ней широко худая, даже страшно. Мы там ходили в вязаных туфлях: из тряпочек плели косички, сшивали их – получалась толстая подошва.

Все поселенцы работали на прядильной фабрике: трепали шерсть, женщины пряли, отдавали нам, а мы вязали для фронта варежки из толстой пряжи. Смешные такие варежки – двупалые. Шел 1945 год, еще шла война с японцами. Мы летом с братом вязали, сидели и думали, что и зимой еще война будет. За варежки нам давали дополнительный обед с кусочком масла. Суп из пшена, масло плавает, кусок хлеба – это был обед-шик. Мы все вчетвером ходили обедать, потому что вязали много варежек.

Помню, когда вязали, всегда горела свечка или лампа, и я читала вслух. Сказки читала, Лермонтова, Некрасова. Все время меня просили почитать – голос хороший был.

Мама была очень хорошей хозяйкой. Когда ее привезли в лагерь и узнали, что она бухгалтер, то сразу сказали: «Пойдете работать в контору». А она отказалась: «Нет, я на умственной работе сойду с ума. У меня отобрали всех детей, отправьте меня на самую тяжелую работу». Она пошла жать камыш (лагерь полностью отапливался камышом) – мокрая, холодная, голодная. Или работала в овощехранилище, носила на себе мешки с овощами. А их только подгоняли: быстрее, быстрее...

Самую тяжелую работу выполняла, чтобы наработать и уснуть. Она ведь с 1938 года пять лет не знала, что с нами. На работе думать-то некогда – нужно скорее выполнить норму. Две-три нормы выполняешь – тебе идет зачет. И она вместо пяти лет только четыре была в зоне, потом уже за зоной. И когда поняли, что она такая старательная, ее пригласили работать поваром в столовую воензированной охраны. И она рассказывала: «Я всегда думала про себя: это же врага народа поставили кормить военных! Да я же их всех отравлю! И даже была такая мысль. Но я не могла такого сделать и не сделала бы никогда, потому что в чем люди виноваты? Это кто-то предал отца».

Мама рассказывала, что все, кто там сидит, невиновны.

Я вот что хочу сказать: это были очень сильные люди. Они столько пережили, оставаясь при этом людьми. Многие дожили до преклонных лет – моя мама погибла в 85 лет, а так бы и больше прожила. Они были очень крепкие и сильные. Ходили голые, босые. Обувки не было – завязы-

вали внизу ватные штаны и так ходили. С работы придут, расстелют сырую одежду на постели и спят на мокром. А как им хотелось видеть детей!

О сталинизме с нами разговора никогда не было. О политике вообще молчали и нам всегда говорили: держите язык за зубами. Даже бабушка мне говорила: «Язык твой – враг твой. Не рассуждай много».

Все поселенцы поддерживали друг друга, взаимовыручали. Например, летом очень много было клопов. Выводить их нечем, и чтобы клопы нас не ели, выходили спать на улицу далеко-далеко от бараков. А там как: днем жарко, а ночью, может, и мороз. И все спать выходили в меховых шапках. А мы когда приехали, у нас шапок не было. И кто-то сразу дал и Неле, и мне меховые шапки. Такие кудрявые, белые папахи. «Зачем мне шапка, мне жарко!» «Надевай! Ночью замерзнешь!» И действительно – ночью мороз, холодно. Под одеяло лезешь поближе к маме – все рядышком спали.

День 9 Мая меня поразил. Я очень хорошо запомнила этот день. Мы встали, начали собираться в школу, и вдруг под окнами закричали: победа, победа! Что тут было! Все забегали, запрыгали, и давай наряжаться, – у кого что было. Подушками кидались, радовались и обнимались. Вечером все собрались под деревцами. Откуда-то появилось пиво и вобла.

А больше праздников я там не помню.

Перед 1 сентября девочкам шили платья из темной марли. Мальчишкам – костюмчики. Носили эту форму, пока было тепло. А зимой все ходили в халатах. Старшие дети носили зеленые халаты, а младшие – синие. У Нели был зеленый халат, у меня синий.

Игрушек у детей мало. Помню, я сшила себе там куколку. А мальчишки все время строгали себе что-нибудь. Мастерили кинжалы какие-то, пистолеты деревянные. Зимой у нас такая забава: проезжает грузовая машина, а мы цепляемся и катимся по дороге.

Рядом с зоной стояли бараки-мазанки, сделанные из соломы и камыша. В них жило начальство. Отдельно стоял домик для учителей. Права выезда, конечно, не было. Когда надо было, нас возили в Кокчетав на машинах.

У нас там жила учительница Татьяна Ивановна с дочкой. Очень всем нравилась эта моя первая учительница. Помню, к нам в третьем классе пришел мальчик Вася. Василек мы его звали. Он приехал с отцом-военным. А мать у них повесилась – уж не знаю, где и почему. И мы стали над ним издеваться. Бегали по сугробам, кидались снежками и кричали: «Не попал, не попал, свою мать закопал!» Татьяна Ивановна когда услышала, задала всему классу: «Как вам не стыдно?! У Василька горе, а вы издеваетесь над ним!» И так нам тогда стало стыдно!

В школе писали на фанерках, тетрадей не было. Во втором классе мне и Алешке Бабицкому, сыну библиотekarши, дали списанный из библиотеки журнал. У меня и у него было по большому журналу, чтобы писать между строчек. Так, Татьяна Ивановна – учительница, сказала: «Давайте поделимся со всеми», – и мы этот журнал разделили на всех. Все писали карандашами, которых тоже было мало. У дочери коменданта Ляльки Беспаловой было много карандашей, так мы ее карандаши разрезали, чтобы все писали. А потом уже появилась бумага.

Поначалу вокруг зоны была только голая степь. А потом появилась бахча, стали выращивать дыни, арбузы. Народ начал выходить из зоны, стал обживать земли вокруг поселка. Помню, мы на огородах через заборы лазили с ребятами: рвали мягкие черные тутовые ягоды.

В 1944 году я окончила первый класс.

Меня там приняли в пионеры. Я училась во втором классе, когда Нелю стали принимать в пионеры. И я сказала, что тоже хочу быть пионеркой. Ну, и меня приняли. Помню, тогда еще не читали клятву пионеров. Что-то сказали и приняли, повязали галстуки. Тогда еще их не завязывали, были специальные зажимы. В клубе прошел концерт, выступал хор. Гордость была, ведь мы читали книжки, стихи, пели песни про пионеров и октябрят.

Но потом приняли – и забыли. Никаких сборов, линеек – ничего. Галстуки были крашенные. Брала белый материал и таблетки от малярии. В Казахстане когда идет вода в арыках для орошения полей, то появляется очень много малярийных комаров. Малярию лечили хинином и акрихином – таблетками красного цвета. Раздавишь такую таблетку, разведешь в воде – и ткань окрашивается.

Галстуки не стирали – чем их было стирать? Намочишь концы галстука, намотаешь их на карандаш. Высохнут – разматываешь, и он уже глаженный. Утюгов-то не было.

С одеждой мама нас учила поступать следующим образом: намочишь кофточку или платье и мокрыми кладешь под матрас. Пока спишь, все высохнет и выгладится. А зимой, когда бараки отапливались «буржуйками», гладили галстуки на горячей печной трубе. Или вымочишь и о край стола тянешь, чтобы разгладить.

У мамы на мое вступление в пионеры никакой реакции не было.

Так случилось, что в лагере к маме даже сватались. Какое-то время мы жили в отдельной землянке. Стояла осень: днем все таяло, идешь в туфлях, а к вечеру уже буран – и надеваешь галоши. Я училась уже во втором классе. Сижу на занятиях, и вдруг пошел дождь и стало темно. Татьяна Ивановна мне и говорит: «Ты собирайся и иди домой, чтобы успеть до бурана дойти до дома». Я пошла тихонько, а землянка у нас была за военизированной охраной. Пришла – а у

нас какой-то вохровец сидит. Видимо, он был каким-то начальником и добился для нас этой землянки, чтобы жить там. Звали его дядя Вася. И вот он к нам пришел, посидел с нами, сделал нам чернильницы из патронов, подарил всем троим. Рассказывал какие-то интересные байки, но не про войну. И мы с Нелей спрашиваем маму: «Что это за дядя?» Мама задала нам потом вопрос: «Вы бы не хотели, чтобы дядя Вася стал нашим папой?» Мы говорим: «Не-е-ет, зачем нам такой папа!»

И не состоялось у мамы. Она тогда говорила: «Что это я, детей на мужиков буду менять? Не буду». Уже позже, в Никулино, мама как-то вернулась домой под вечер с какого-то праздника. Думала, что мы уже легли, а мне не спалось. Она подошла к окошку и заплакала...

Плакала о том, что не смогла устроить свою судьбу: трое детей, мужа нет, жилья нет, денег нет.

Она же красивая была, моя мама. Всегда тоненькая, очень фигуристая, с красивой прической, большеглазая. Красивая. Даже печально вспоминать... Мама как-то в сердцах сказала: «Я из-за вас свою судьбу не устроила, а вы хулиганите». Она ведь действительно из-за нас не вышла замуж. Мы ей дороже.

Мы прожили на 26-й точке с 1944 до конца 1945. Встретили Новый год и в 1946 году приехали в Пермь, к бабушке. Мне было 10 лет.

Когда приехали, в Перми тоже голод был, но уже стало полегче. Уже продавали ржаную муку, и бабушка заваривала ее: самовар кипятили и делали кашу-заваруху. Вкуснятина! Я уже взрослая, училась, а все бабушке говорила: хочу такой каши. И когда она заваривала эту кашу – ой, как мы ее ели!

В Перми жили у бабушки на Пушкина в маленькой комнатке. На одиннадцати квадратных метрах – восемь человек, на четверых одна кровать. Кое-как вмещался старинный гардероб, стол и два стула. Больше свободного пространства не было. Плохо жили.

Кроме нас четверых в комнате жили бабушка и мамин брат – дядя Толя – с женой тетей Валей и новорожденной дочкой Галей. Как мы жили? Как выжили, не знаю!

Помню, мама наказала нам с братом истопить печь и сварить на ней уху. Я у бабушки поинтересовалась, как ее варить. «Пока глаза не побелеют, – говорит, – пусть она варится». Я и стала бегать в зеркало смотреться, – когда у меня побелеют глаза. Такая глупая была! А ведь уже в третьем классе училась. В итоге рыба разварилась до желеобразного состояния. Весь дом надо мной хохотал. Рыбу мы, конечно, не выбросили – есть-то ведь нечего.

В другой раз мы с братом купили дров – пять поленьев, честь по чести. Полено положим в печку, подождем, пока оно прогорит, и

другое кладем. Разумеется, тепла никакого. А я еще и полено одно сэкономила. Мама пришла, увидела, как мы истопили печку, этим сэкономленным поленом мне и досталось... Образно, конечно. Я ноги поджала, а мама этим поленом по табуретке постучала.

Вязанка дров стоила три и пять рублей. Я это помню, как сейчас, потому что меня постоянно заставляли бегать за дровами. Я училась во вторую смену и с утра ходила на рынок, который стоял на месте нынешнего политехнического университета. За пять рублей – сухие и хорошие дрова. За три – тоже пять-шесть поленьев, но посырее. Какие есть деньги – такие дрова и покупаешь.

Из цен я помню, что мороженое стоило 5 копеек. Самодельные конфетки – 15 копеек. На рынке ездила женщина в инвалидной коляске и продавала эти конфетки – маленькая подушечка из сахара, без начинки, вроде лукума. Вкусная такая конфетка...

Маме очень трудно жилось, и она всегда молчала, никогда с нами не делилась. Надо было ей больше рассказывать о себе, о своей жизни, не держать в себе, а то ведь и сердце страдало, и давление, и инсульт. Так мама нас берегла.

Она вообще была очень молчаливой. Общалась только с теми женщинами, с кем сидела в лагере и которые вернулись в Пермь. Например, с Александрой Ивановной Батаковой. Она работала врачом, жила в Перми, на Малой Ямской. Мама и нас с собой таскала к ней в гости, но нам неинтересны были их разговоры. Нас интересовало только одно: напиться чаю и наесться шанег. Позднее мама время от времени посылала меня к Александре Ивановне – узнать, как живут, да с днем рождения поздравить.

Общалась с мамой и еще одна бывшая сиделица – мама Юлии Павловны Петровой. Жили они в частном домике в Мотовилихе. У них был огородик, с которого нас даже подкармливали.

Маму Юлии Павловны выпустили из лагеря раньше нашей – в 1944 году. У нее трое сыновей ушли добровольцами на фронт и погибли. Оставшиеся дети и родственники стали хлопотать о ее судьбе, и ей, как матери героев, разрешили вернуться в Пермь.

Маме вообще-то не разрешали жить в областном городе, но кто-то по знакомству устроил ее работать в «Горкоопинстрахкассу». Видимо, она была хорошим специалистом, ее ценили. Мама после приезда из Казахстана поваром больше не работала, только бухгалтером-расчетчиком. Туда же, в «Горкоопинстрахкассу», устроила Нелю, мою сестренку. Ей было 12 лет, и она числилась рассыльной. Разносила почту, бегала с поручениями. Это для того, чтобы получать карточки на продукты – мама ведь работала неофициально. Такую же карточку получала и бабушка – она все еще работала в школе. Еще две карточки – детские – давали на меня и Славу.



Группа детей – воспитанников детского дома при женской зоне лагеря АЛЖИР. 1942 г.

На все эти карточки мы получали буханку ржаного хлеба и небольшой довесочек. Это была наша, детская, обязанность. Отоваривали на два килограмма сто грамм. Хлеб сырой, как глина, тяжелый. Пока дорогой шли, привесочек мы съедали. Есть охота, а хлебом пахнет...

Принесем буханку домой и садимся делить ее: кусок этому, кусок тому, корочку другому... И всегда ждали, кому останутся последние крошки. Не хватало хлеба.

Еще по карточкам давали крупу, сахар, соль и спички. Спички, помню, экономили, всегда заглядывали в печку – нет ли там огонька?

Картошку покупали на рынке. И мука у нас в доме ржаная была, хотя по карточкам ее не давали. Видимо, бабушка выменивала ее на рынке.

Также в мои обязанности входило ходить на рынок за молоком. Привозили из колхозов и разливали литровыми железными мерками. Всегда выстраивалась большая очередь, все стояли с бидончиками. Однажды я, стоя в очереди, упала без сознания. Может, от голода, а может, просто болезненная была. Мы же все в Казахстане переболели малярией. Особенно сильно болела Неля, но у нее все обошлось. А у меня заподозрили осложнение – туберкулез легких. Поставили на

учет в туберкулезный диспансер на улице Большевистской. И там в качестве дополнительного питания выдавали обеды. Я приходила с банками, кастрюльками, куда мне наливали суп, выдавали второе и бутылку рыбьего жира на месяц. Вот мы и ели. А на рыбьем жиру жарили пироги и картошку.

Когда отменили карточную систему, буханка хлеба стала стоить 150 рублей. Цены сразу, как тогда говорили, стали коммерческими. На рынке появился белый хлеб, пряники. Помню, каждый пряник мы делили на три части и называли его «торт» – чтоб вкуснее было.

Не могу сказать, что с отменой карточной системы нам стало жить легче. Сами посчитайте: у мамы оклад 600 рублей, а буханка стоила 150!

По праздникам, конечно, стряпали шаньги и пироги. Не застолье, но пирог на один лист у нас был. Рыбный или капустный пирог. Делали пельмени с начинкой из редьки, капусты, картошки. Очень вкусные пельмени получались. Мясные пироги стряпались только по особенным датам: на Первое мая, Седьмое ноября и Новый год. На эти праздники мама готовила торт «Наполеон» – дешево и вкусно. И обязательно готовился суп – покупался кусочек мяса и варился суп. Но бабушка каждые выходные старалась что-нибудь испечь из ржаной муки, чтобы нас, детей, подкормить.

Мама редко ночевала дома, потому что в любой момент могла прийти милиция и выселить ее. Даже справка сохранилась, в которой указано, что мы находимся у бабушки на иждивении и она просит прописать нас к ней на квартиру. Бабушка прописала только нас, детей, а маму нельзя было прописывать. Несколько раз милиция приходила. А мама ночевала на работе. Иногда брала с собой Нелю или Славу, меня не брала ни разу. Наверное, потому что я болтушка была. Утром мама забегала, кормила нас, переодевалась – и снова на работу.

Пермь за годы войны нисколько не изменилась. Те же деревянные тротуары, те же колонки. Так же покупали дрова. Комсомольский проспект загородили зелеными палисадничками. До того места, где сейчас Пермэнерго. А дальше шли сплошные лужи и грязь. За горьковским садом был частный сектор – стояли деревенские дома с палисадниками и геранями. В эту Слободку переехал дядя Витя – купил там дом. Он нас иногда подкармливал – подкидывал картошки со своего огорода.

Машин в городе было мало. Только трех- и пятитонки грузовые ходили. Кстати, до 50-х годов люди так и говорили о времени – «до войны», «после войны». А потом уже стали называть год – в 46-м, в 47-м...

После окончания войны у людей появилась надежда. Все надеялись, что раз выиграли войну, то и жизнь станет лучше. Начнется строительство, появятся деньги, зарплаты. Ждали, что люди, наконец-то, наедятся вдоволь.

Мужчины в город возвращались – защитники появились. Тут и там раздавались детские голоса: «А у меня папа, у меня папа! Вот я папе скажу!» Люди начали заводить огороды.

Славка у нас был очень подвижным, пронырливым мальчишкой. Ему летом 1947 года поручили пасти коз. Ведь тогда даже городские люди держали коз. И получал за это козьё молоко. Мы его обязательно по вечерам встречали – вдруг кто банку с молоком отберет?

В округе было много детей, и мы дружили дворами. У нас были общие игры, очень много игр, поэтому нам, детям, было весело, хорошо жить. Пусть голод, но мы этого не замечали. Мальчишки бегали на конный завод и воровали через забор жмых. Принесут целую плитку, и мы на всех разделим. Сидим на поленицах до ночи, сказки рассказываем.

А семья жила бедно. Всегда голодные и полураздетые. 1947 год был самым голодным. Мы ходили в школу по очереди. Мама через кого-то достала вату и сшила нам бурки – тряпочные сапоги на вате. Но на бурки надо было надевать галоши, а галоши были только одна пара. Галоши нигде не продавали да и купить не на что. И мы ходили в школу по очереди: сегодня Слава идет, завтра Неля, а послезавтра – я. Что за учеба? Конечно, в пятом классе мы остались на второй год.

В школе нас старались подкармливать. На большой перемене бесплатно давали кусок ржаного хлеба с сахарным песком. Иногда вместо сахара давали по конфетке вроде помадки. Или кусочек рафинада. Учились мы во второй женской школе. Однажды учительница попросила нас навестить одну одноклассницу. Мы пришли, несколько человек в гости. И нас вот что поразило: нас напоили чаем из хороших чайных чашек с блюдечками (очень красивый сервиз) и угощали бутербродами со сливочным маслом. Намажут хлеб маслом, макнут в сахарный песок, он прилипнет – и получалось почти пирожное. Вкусно!

В нашем классе были девочки из небогатых семей. Некоторые ходили в пальто с меховыми воротниками. И формы у них были шерстяные, а не хлопчатобумажные, как у нас. И фартучки шелковые. Помню, одна девочка выделялась своей ухоженностью и аккуратностью. Так она однажды сказала: «У нас бабушка даже маленькие дырочки штопает...» Маленькие дырочки! Значит, у них нитки и иголки были. А у нас ничего не было.

Сразу же по приезде из Казахстана мама сделала запрос по поводу отца. Пришла похоронная, что отец погиб в 1943 году на фронте. Мама долго хранила этот листочек, пока ей кто-то не сказал, что это ошибка. Тогда в 1947 году она снова подала в розыск. Пришла похоронка, что скончался опять же в 1943 году в госпитале такого-то города такой-то области от полученных ран. Последнюю похоронку мы получили уже в 1957 году, когда маму реабилитировали. Там было сказано, что отец «умер в такой-то больнице от воспаления легких в 1945 или 1946 году».

Мама до конца жизни верила, что отец живой. Ведь все три похоронки были с разными датами и разного содержания. Помню, мама бросила как-то фразу: «Вот, бросил нас, поди жив где-то, ходит и не может нас найти». А если погиб – то надо жалеть. Объяснений не было. До тех пор, пока я не стала работать в «Мемориале». В 1992 году мы получили подлинные документы, я все узнала – расстрелян в 1937 году.

В 1948 году маме пришлось уехать в деревню Никулино Добрянского района. Взяла с собой Славу – младшего, оформилась, устроилась бухгалтером в ВОПС, сняла квартиру и осенью послала брата за мной и Нелей. Мы с ней тогда учились в 5 классе. И нас с ней записали не в «а» класс, а в «б». Класс «б» – это был класс, собранный из детей репрессированных. В Никулинском районе жили татары, молдаване депортированные, спецпереселенцы. Самым страшным ругательством там считалось слово «нацмен». Их дети жили неделю в общежитии при школе, а на выходные уходили по домам в свои поселки.

Особой разницы между этими классами не было. Только в «б» дети были неухоженные, ходили в лаптях. Мы же с сестрой приехали в формах: синие платья, белые воротнички и красные галстуки. В Перми ведь учились во второй женской школе (тогда еще раздельное обучение было). Меня сразу сделали вожатой начальных классов, и мы стали принимать детей в пионеры. Ходили отрядами по деревне: с песнями, флагами, плакатами, барабанами и горном. Все время что-то делали, куда-то ходили. В то время я так любила Ленина! Даже литературу о нем собирала. Все издания, повествующие о семье Ульяновых с детских лет.

Считала, что Ленин – всему голова. А Сталин – это его помощник, соратник. Мне Сталин представлялся очень красивым, всегда с трубкой. Я довольно долго распевала песенку про него, слов которой сейчас уже не помню. Что-то про дымок из трубки.

Никулино – далекая, глухая деревня, 200 километров до большого города. Люди жили грязно, культуры никакой. Помню, повсюду распе-

вали нецензурные частушки про Сталина, про жизнь (сейчас жалею, что не запомнила ни одной). Милиции рядом не было, не боялись. Особенно распевали на праздниках, когда пьяные напьются. А ребяташки все это слышат и спрашивают, почему так взрослые поют. Приходилось разьяснять. Я сводила к тому, что живется тяжело, вот и ругаются. Нужно людям помогать. В общем, пропагандировала тимуровское движение.

Я была такая организованная, что все в школе мне прочили будущее учителя. И я как-то привыкла к этому. Бабушка была учителем, ну и я за ней.

В Никулино отмечали все церковные праздники: Пасху, Рождество, Троицу. Мы, дети, в Святки бегали по домам – «славили». Пели такую песенку: «Славите, славите – вы меня не знаете! Я Савоськин паренчок, дайте мне-ка пятачок!» «Наславим» денег и идем покупать на них семечки и конфеты.

Взрослые тогда говорили: живем на трудодни и «палочки». То есть по количеству отработанных дней бригадиры ставили в ведомости «палочки» и по ним считали зарплату. Куда девались эти «палочки», почему не давали денег? У меня была подружка, ее семье надо было сдавать государству молоко. А коровы у них нет. Так они ходили и покупали молоко, а затем его сдавали. А еще ежемесячно нужно было сдавать 25 яиц. Семьи держали максимум по три курицы. Пшеница нет, чтобы их кормить. Несправедливо! Конечно, я не рассуждала тогда об этом, выводов никаких не делала.

И всегда я ощущала противоречие между идеологией и реальной жизнью. Вот мы Сталина и Ленина любим, а счастья не видим. Да и какое счастье, если голый и голодный. У нас иногда хлеба не на что купить. Мама нас посылает: «Сходите, займите у кого-нибудь хоть три рубля. Вам, детям, дадут». А молоко покупали только тогда, когда мама что-нибудь шила на заказ.

Я не чувствовала, что мы живем в счастливой стране. Хотя нам, детям, это каждый день говорили. Мы думали, что так и надо, правильно говорят. Да, мы живем плохо, потому что мама одна – работает бухгалтером, зарплата маленькая. Отца – нет. Был бы он – по-другому жили бы.

Конечно, в Никулино никто не знал, что мы из семьи «врагов народа». Когда спрашивали про отца в школе, я всегда отвечала, что папа погиб на войне. В классе верили. Может, учителя знали истинную причину, но нас никто этим не допекал. Бедные мы – и все. Всем детям, кто плохо жил, давали бирки, например, на приобретение обуви. Помню, мама купила на эту самую бирку наволочку и сшила мне платье. Есть даже фотография, где все ребята сидят на дровах и я – в платье, перешитом из наволочки.

Но мы старались не унывать. Я очень любила слушать радио и подражать различным голосам. А радиоприемников было мало – все-

го один или два в деревне. Мы снимали комнатку у тети Нюры, так у нее было радио. Утром я слушала «Пионерскую зорьку». В ней звучали разные шуточные истории и стихи. Вот их-то я и пересказывала по вечерам. Соберутся деревенские, и я перед ними выступаю. Многие к нам ходили: мы же из города приехали, всем любопытно. Заглянут: «Чего Алена опять там треплет? Ну-ка, расскажи вот это! А еще вот это!» Ну, и начинаю рассказывать. И все смеются.

В Никулино я впервые увидела патефон. Отмечали какой-то народный праздник, посвященный реке Косью. У одного из жителей был маленький импортный патефончик, и он с ним пришел на берег. Все плясали, танцевали, крутили патефон. У нас патефон под названием «Красный партизан» появился уже в середине 50-х годов, когда мы жили в Перми. И мы тоже без конца его накручивали, проигрывали пластинки...

С лагеря у нас в семье сохранилась традиция вечерних читок. Собирались все вчетвером, и каждый чем-то занимался. Неля любила вышивать, мама штопала, чинила одежду. Слава пока был маленький, просто так сидел. А я, как обычно, читаю. Устану – так мама меня сменяла. Она тоже очень выразительно читала. Мы вообще все читали очень много и любили это дело. Ставили на стол керосиновую лампу, но поскольку керосина не было, заправляли ее соляжкой. Она горит, а мы читаем сказки, Толстого, Чехова, Горького. И бабушка нам всегда говорила: чтобы быть грамотными – читайте классику.

Школу я окончила в 15 лет. И сразу задумалась, куда идти учиться. Я ведь все равно была не очень образованная и очень зажатая. Мне кажется, корни этой зажатости в том, что мама сидела в концлагере. И, конечно, материально всю жизнь было плохо. Я всю жизнь была голодная – до сих пор наесться не могу.

Понятное дело, решила поступать в педагогическое училище в Перми. Поначалу собиралась в авиационный техникум. Но там анкета «страшная» – обязательно опиши всю родословную, ответь: где родители, с какого года, где работали, какое происхождение, чем сейчас занимаются? А как я напишу? Что мама – дочь священника, а отец из зажиточной семьи и арестован в 1937 году? Был и страх, и одновременно обида.

Пошла в педучилище. Там не нужно было заполнять анкету. Сдала шесть экзаменов (они шли друг за другом, каждый день), среди которых был отдельный предмет по Конституции. И меня приняли.

Что запомнилось? Мы постоянно ходили на первомайские и ноябрьские демонстрации. Не придешь, тебе ставят «минус» за поведение. Выговор объявят, стипендии могут лишить. Не идешь, – значит, ты против, следовательно, враг. Поэтому на демонстрации, как и на выборы, все ходили в обязательном порядке. Делали флаги, искус-

ственные гвоздики и макеты из папье-маше, изображавшие урожай и богатую жизнь. Только декорации – а в жизни мы такого не видели.

Поселилась у бабушки. Посреди комнаты раздвинута ширма, за ней кровать с топчаном. Там Гера спал. По эту сторону ширмы бабушкина кровать и сундук – мое спальное место. Неля спала на полу.

Утром, помню, вставать неохота – мне на занятия, Неле с Геркой на работу. А бабушка начинает будить: «Вставай, проклятем заклеянный, весь мир голодных и рабов...» Как запоет! Мы все смеемся и просыпаемся. Или еще что-нибудь, вроде этого: «О, дайте, дайте мне свободу!» Голос у нее хороший был. Весело жили, хоть и голодно.

Мы бабушку очень любили. Хотя она была суровая, но в том смысле, что нельзя было ничего делать плохо. Она только строго взглянет – и сразу тишина. И в то же время всех привечала. Друзья, подруги придут, полная комната народу, а она всех кормит. А чем кормить? Лапшу приготавливает, две картофелины туда бросит и говорит: «Ищите-ищите, там где-то мясо должно быть. Ну, кто нашел?»

У мамы был очень маленький оклад, и она не могла присылать мне деньги. Гера к тому времени окончил ремесленное училище и работал на Свердловском заводе. Неля устроилась подсобной рабочей на конфетную фабрику. Зарплата маленькая, но на наряды ей хватало. Она у нас модница, ей всегда хотелось хорошо одеваться. И старались ей покупать хоть что-то новое: платье, туфли. А я носила за ней. На первом курсе носила телогрейку, которую мама сама шила. Первые туфли мне купили на третьем курсе в 1954 году. Хорошие такие туфли – чешские, красивые. И первое пальто приобрели в том же году. Такое черное, грубое суконное пальто. Причем мужское. Мама перешила мне из него демисезонное, в котором я ходила и зимой, и осенью.

В училище нам говорили, что страна процветает, что у людей все в достатке, а конкретно-то такого не было. Привилегированные люди жили в семизэтажных «домах чекистов», а простые – в бараках, где туалет и помойка на улице.

Умер Сталин. Этот день я помню хорошо. В училище состоялась общая линейка. Выступали учителя. Все вокруг плакали, а я почему-то нет. Когда пришла домой, застала в слезах бабушку. Мы с ней сидели за самоваром, и она мне тогда сказала: «Лучше бы я умерла, а он бы жил. Он ведь моложе меня на 4 года – я с 1875, а он с 1879». Теперь-то, конечно, я бы ей сказала: «Бабушка, о чем ты говоришь?! Что бы он еще натворил, если бы остался жив?..»

Бабушка Сталина боготворила. Она верила, что именно он в 1943 году способствовал восстановлению переписки между ней и мамой, когда та еще была в лагере. Бабушка писала Сталину письма, доказывала, что дочь невиновна. И когда получила от мамы первое письмо, подумала, что Сталин откликнулся, помог.

А в деревне, в которой мама жила, отреагировали просто. Кто-то бросил: «Умер палач – теперь легче жить будет». Вот и вся реакция.

Но, в основном, все переживали. Всех пугало, что будет с Советским Союзом без него, что будет с людьми. Привыкли, что нами руководит один человек, который обо всем знает, обо всех заботится. А тут вдруг его не стало.

Я сохранила некоторые газеты, которые вышли на следующий день после его смерти. Такое событие, траурный день – отложила. И вообще много старых газет храню. Есть экземпляр со статьей Берии, старые номера местной «Звезды», газеты 1961 года о полете Гагарина. Я ведь тогда и не подозревала, что в будущем буду работать в обществе «Мемориал». Просто интересно было.

Но вот что реально изменилось после смерти Сталина, так это то, что мама смогла вернуться к нам. Конечно, притеснения продолжались. Квартиру маме не давали, и нам приходилось жилье снимать. Огородика тоже никто не выделил. За все это приходилось платить. Жилось туго.

В те годы мы все еще боялись, что маму снова арестуют в связи с ее приездом в Пермь. У нее же, как, впрочем, у всех, кто прошел ГУЛАГ, в паспорте стояла особая отметка.

У нас с мамой были очень сдержанные отношения. Я всегда считала маму очень скрытной и даже спорила, ругалась с ней по этому поводу. Никогда она не приголубит, не приласкает, не прижмет к себе. Она так к нам после лагеря и не привыкла. И наказывать не наказывала, но и родительской ласки не выказывала. Вот когда болели, тогда видели маму около себя. Ну, и когда спать ложились, она одеялом прикрывала. Подоткнет его – и все. А чтобы поцеловать – такого нет.

Какая-то сухая, даже суровая была. Я ее деспотом по молодости называла и все воспитывала: «Мама, почему мы никогда не поговорим, ни о чем ты не расспрашиваешь?» А она в ответ: «Что надо, ты мне сама расскажешь».

Когда я стала комсомолкой, она никак не отреагировала. И вот как-то по дороге домой я ей это высказала: ну почему ты мне никогда не устраиваешь праздников? Даже на Первое сентября. Мы тогда часто ходили пешком, поскольку денег на транспорт не было. Она мне очень спокойно отвечает: «Ну-ну... Еще что-нибудь скажи». А на меня прямо псих нашел – иду и ругаюсь. Она послушала-послушала и говорит: «Ну все, хватит. Давай стихи читать». – «Ну, давай». – «Однажды в студеную, зимнюю пору...» В итоге развеселила меня. И все прошло.

Ходить до дома далеко, и мы часто по пути читали хором. То Некрасова, то Лермонтова – чтобы не скучно было. Мама часто повторяла: «Не болтай языком». Ничего не объясняла, просто говорила, что береженого бог бережет. «Кому какое дело, как ты живешь? Хорошо

живешь – и все». Я ведь всегда болтушкой была, и мама частенько отправляла меня погулять, когда взрослые собирались у нас дома. Осторожничала.

Мама, по-моему, была навсегда убита своим арестом и гибелью отца. Она никогда не была по-настоящему «советской». Вспоминала о той, старой жизни. О том, как они жили до революции.

В церковь она не ходила, икон дома не было. Изредка только говорила: «Хоть бы свечку зажгли...» Или, когда ссорились: «Лоб-то перекрести...» Да на пороге провожала напутствием: «Бог с тобой». Мне кажется, мама была истинно верующим человеком, но верила втайне. Незадолго до ее гибели я как-то зашла к ней – посмотреть, спит ли. Гляжу – а она молится. Крестится и молитву читает.

Все-таки ее отец был священником. Мама его очень любила и рассказывала много интересных историй: как он играл с детьми, как воспитывал, как приучал к культуре и учебе.

Училище я закончила в 1955 году. Отправили работать в Соликамский детский дом. Мне там нравилось. Сразу выделили отдельную комнату в общежитии барачного типа. Я поставила две кровати (ко мне потом попросилась жить еще одна учительница) и сшила себе два ситцевых коврика на стенку. Потом, когда уезжала из Соликамска, сшила себе из этих ковриков платье. Красивое платьишко получилось.

Работала я старшей вожатой с окладом в 600 рублей. Денег этих, конечно, мало на что хватало. Правда, нам от училища после окончания выдали «подъемные» – стипендию за все лето и еще один месяц. Получилась небольшая кучка денег, которую тут же потратили на одежду. Купили мне босоножки и чесучовый материал, из которого сшили макинтош (по-старому – пыльник). На остаток и первую зарплату я купила себе пальто. Впервые в жизни купила пальто. А мне уже было 19 лет.

В детдоме мы устроили небольшую площадку возле пруда. Многие ребята играли на баянах, аккордеонах. И вот на этой площадке танцевали. Потом создали духовой оркестр. Хорошо: и ребята учатся на инструментах играть, и молодежь занята, и старикам отрада.

Я часто посещала комсомольские собрания. Там часто говорили, что комсомольцы должны быть в первых рядах. Молодежь, например, добилась, чтобы у нас построили клуб. Мы сами помогали его строить. А когда построили, организовали самодеятельность, различные кружки – хоровой, танцевальный. Нам удалось увлечь молодежь. На всех выборах, праздниках устраивали концерты.

В комсомоле я была лет до тридцати. К тому времени я уже избавилась от многих иллюзий в отношении КПСС, которые питала в юности. Член партии, как мне казалось, должен быть честным во всех отношениях человеком. И справедливым. Везде должна быть спра-

ведливость! А на партийных собраниях справедливости не было: за просто оклеветать человека, испортить ему жизнь.

А теперь у меня вообще плохое отношение к партии. Теперь все открылось, стали известны репрессии, истории наших отцов и матерей. Раньше об этом вообще не говорили. На заводе, где работала в последнее время, я рассказала о репрессиях против моих родителей, только когда вышла на пенсию. Какие-то изменения начались после XX съезда партии в 1956 году. Но мама по-прежнему продолжала говорить: «Меньше трепли языком».

Вскоре мама получила справку о реабилитации на себя и на отца. Вышел указ о том, что все реабилитированные могут получить компенсацию – двухмесячную зарплату того года, когда были арестованы. Видимо, деньги начислялись с учетом инфляции, потому что мы получили приличную сумму. И сразу всем купили верхнюю одежду: мне, Неле и маме – пальто, а Славе костюм. И купили большой круглый стол и шесть стульев. Красота!

Мама записалась на прием к секретарю горкома партии и рассказала ему обо всем, что с ней и с отцом произошло. Через некоторое время ей позвонили на работу: «Придите за ордером». И мама получила комнату с подселением, в коммуналке, на улице Советской. После 20 лет мытарств...

Мама тут же написала мне в Соликамск, и я переехала в Пермь. Хорошая комната была, с печкой. Поначалу была только одна железная кровать, на которой спали мы с Нелей, а потом купили диван «оттоманку». У стенки стояла этажерка. Больше ничего не было.

А в 1958 году Неля собралась замуж. Она дружила с мальчиком, который заканчивал Бахаревское авиационное училище. Они замечательно относились друг к другу, всегда такие веселые, жизнерадостные. И вдруг он взял в жены другую – Нелину подружку. Только через многие годы я поняла, что этому мальчику просто-напросто не разрешили брак с «неблагонадежной» Нелей. Не захотел портить себе карьеру...

История, кстати, имела продолжение. Неля уехала работать в Севастополь и вскоре вышла замуж за другого. Причем тоже военного – подводника. Я потом долго ее пытала, как ей это удалось. Неля сказала, что они были мало знакомы, и она не успела рассказать о прошлом своей семьи. А после свадьбы начала было, что она из репрессированных, а он ей в ответ: «Да я все знал. Я же военный, требовали документы. Но не стали строго смотреть: ты ведь была репрессирована не в этих местах. Родственников у тебя в Севастополе нет. Разрешили».

В 1979 году мама получила новый паспорт. Она первым делом посмотрела, нет ли в нем специального шифра. Увидела, что он чистый и даже выдохнула: «Наконец-то я избавилась...»

До 90-х годов тема репрессий была полностью закрытой. Почему мама была в лагере, почему отца у нас нет? Все-таки я ничего не понимала, не могла найти объяснения. Пока не пришла в «Мемориал». Когда впервые попала на собрание репрессированных, я была поражена, какое количество людей пострадало. Там были и священники, и просто верующие, образованные и неграмотные, рабочие и крестьяне. На столах, на стеночках приколоты фотографии, документы погибших. И друг другу рассказывали свои истории, показывали документы.

Тут у меня глаза расширились, аж страшно стало. Почему же столько людей страдали, и все молчали?! Не сразу поняла: молчали из страха за свою жизнь, за детей, за родных.

А мама так и боялась всю жизнь. Когда я в «Мемориал» пошла работать, она меня все спрашивала: «Вы о том прошлом рассказываете? Смотри, поосторожней...» Когда я ей рассказывала про наши демонстрации, она не верила: «Надо же...»

Что скрывать, и сегодня иногда тревожусь. Смотрю на современную действительность, и страшно становится. Боюсь повторения...

ДОБРЫХ ЛЮДЕЙ БОЛЬШЕ

Воспоминания Ксении Тимофеевны Грохотовой

Страшно. И ведь не только со мной такое случилось. Первое время очень тяжело в тюрьме, а потом смотришь: люди лучше меня, с образованием, интеллигентные. Я еще думаю: Господи, я вот такая простая, я могу, привыкла физически работать, а они ведь не привыкли. Им во сто раз тяжелее.

Мне и то одно время не хотелось жить. В камере теснота, на нарах и под нарами битком, только на прогулку водили. Однажды пришло в голову: зачем мне жить? Не пойду я ни на прогулку, никуда, буду лежать. Но со мной ведь люди, хорошие люди, я не одна. Нельзя так, нельзя. Вылезла – все-таки. Как люди, так и я.

Хотя надо мной не издевались сильно, единственное – на допросах спать не давали. Посадят в коридоре, возле дверей кабинета, – и сиди там. Падаешь с этого стула, а через несколько минут опять в кабинет. А так, чтобы меня били, как некоторых, – этого не было. Они, наверное, видели, что я простой человек, можно склонить, куда хочешь. Ну вот, и отсидела...

Еще на этапе издевались, когда приказывали – ложись, садись. Ни за что, ни про что – на кукорки. Посидел – вставай, пошли. Конечно, если человек чувствует, что он в чем-то виноват, думаю, ему не так

обидно. А каково ни в чем не повинным, интеллигентным людям? Подойдет такой баланду получить, а его раз – и черпаком по голове. Мне кажется, женщинам легче было, мужчинам тяжелее.

Я 1913 года рождения. Когда арестовали, мне было 25 лет. Муж, двое детей. Мужа – Георгия Степановича Грохотова, 1907 года рождения, – тоже взяли. Осудили без права переписки. Так его и нет с тех пор. Пришло потом письмо, что умер в лагере от туберкулеза. Но неправда это, его, наверно, расстреляли. Точно расстреляли. Я когда освободилась, ходила везде про него узнавать, так мне сказал один начальник: «И не надейтесь его дождаться. Можете замуж выходить». Я, конечно, об этом никогда не думала.

Единственное хорошо: у мужа брат был, очень хороший человек – взял детей к себе, выхлопотал разрешение. Тогда ведь многих детей в детдома отправляли. Счастье, что наших не отправили. В семье деверя дочери и выросли. А это многого стоит – в такое трудное время вырастить чужих детей.

Много людей тогда арестовывали. Муж у меня был раскулаченный из Чусового – за это и зацепились. Я же сама из крестьянской семьи. Сирота уже, можно сказать, была – ни отца, ни матери в живых нет.

Арестовали нас с мужем в один день – 17 февраля 1938 года. Работали стрелочниками на разъезде Антыбары, что за Чусовым. Я собиралась на работу, чтобы подменить его. Пришла к дежурному по станции, а там уже милиционер сидит. Пришли, обыск сделали и увезли нас. И все. Детей оставили на произвол судьбы.

Привезли нас в Чусовой, в НКВД. Держали там, пока следствие шло. Там забито – вплоть до дверей теснился народ, параша уже у самого выхода. По обе стороны нары, под нарами и на нарах – все люди. Потом отправили в Свердловск, в тюрьму. Был суд, заседали тройка. Там таких, как я, много было, полный зал. Зачитали приговор – 58-я статья – и все. По делу я проходила одна, никаких группировок. Я даже не запомнила, что мне приписывали. Прочитала только тогда, когда реабилитировали. Поезда под откос отправляла, вредительством занималась... Во время допросов мне такое не приписывали. Помню, что подписывала только один листок, а здесь мне несколько листков показали.

После осуждения разрешили писать одно письмо в месяц. Мужа я больше не видела. Узнала только из письма свекра, что он был осужден по 58-й статье на 10 лет без права переписки.

В тюрьме нас повели в баню, в предбаннике зачитали приговор и отправили мыться. Времени дали немного: помылся, не помылся – выходи. Из Свердловска нас перевели сначала в колонию в Туре, а потом увезли на Дальний Восток. Там сначала поработали на рыбалке в бухте Светлой – рыбу доставали из сетей, – а потом, к зиме, отправили

на лесоповал, на Батуевский ключ. Отправили четырех женщин, в том числе и меня. Мы, четыре женщины, грузили бревна на машины. Работали весь световой день. Работа тяжелая: и холодно, и голодно.

Был один случай. Пошли мы как-то на лесоповал. Далеко, целый день шли пешком. А наши вещички на машине повезли. Нам там выдавали наволочки матрасные, которые мы травой или сеном набивали. Сказали: далеко идти, не берите с собой. И ничего не привезли. Спросить не с кого. Так и остались с теми узелочками, что с собой прихватили.

Еще на Дальнем Востоке мы дорогу строили, овощи убрали, весной на сплаве в бухте Соленой работали. По пояс в воде бродили. Сплав, затор станешь разбирать – непременно провалишься, за волосы вытаскивают тебя. Когда верхом на лошадях переходили на другую сторону речки, нам говорили: «Если почувствуете, что сапоги тонут – не держите, не храните, пусть они тонут, без вас...»

А потом война началась, нас с этого участка убрали. Во Владивосток привезли, где мы еще сколько-то на лесоповале поработали. Затем уж по этапу в 1943 году в Караганду отправили, до самого конца. Когда перевели в лагерь, «бытовики» спрашивали у всех: «Какая у вас статья?» А я ничего не могла ответить. Тогда они сами отвечали: «58-я». А я разве знала, что такое «статья»? Я в это дело никогда не вникала, ничего не знала. Которые с образованием, они, может, вникали в политику, знали, а я вообще ничего не знала. Мне до этого никогда дела не было. Я знала только свое дело.

В Караганде работала в овцеводстве. Поначалу в «родилке», где овцы ягнятся, а потом ночным сторожем. Работали с утра и до самого вечера. Без выходных – редко когда дадут выходной. На обед пригоняли, немножко отдохнем и опять до заката. Солнце садится – овец на участок пригоняем. Некоторые на покосе работали, что-то в огороде делали. Но в основном – в овцеводстве.

Лагерь назывался «Красная поляна», он был поделен на участки. Там степь, и в степи стоят бараки и сараи для овец. Летом, бывало, мы в шалашах жили. Угоним стада, сделаем для овец загородки, а себе шалаши строим. А зимой, конечно, на участке ночевали, в бараках.

Там такая пурга: выйдешь и можешь заблудиться, даже если недалеко идти до какого-нибудь помещения. Ветры сильные. Некоторые заключенные убежали, блуждали в степи, погибали даже. Начальники больше надеялись на людей, проходивших по 58-й, – такие не убежали никогда. Да и куда убежишь? Куда я убегу? Все равно пропаду где-нибудь.

В тех местах много гор и пещер. Пойдешь с овцами, зайдешь в такую пещеру – трава растет, а сверху потолок каменный. Даже страшно там.

Охранники и начальники были вольные, а остальные все заключенные. Даже фельдшера. Помню, был такой случай: уголовники угнали корову, начальник охраны отправил охранника за ними. Его убили, и за это начальника отправили на передовую, где он сразу погиб.

Разные люди везде по-разному живут, кто как пристроится. Там я чувствовала себя на равных со всеми. Бытовикам, конечно, лучше было, они ничего не боялись. А вот наш брат – нигде слово лишнее не скажи, работай, знай, и все.

В лагерях по этой статье сидели люди все невиновные. Одно слово – Люди. Если начальник попадался хороший, то никогда плохо о них не отзывался. Говорили: «Если бы не эти люди, то мы бы не сделали эту работу». Наш брат – честные люди, не воровали, работали на совесть. Последнюю пайку если украдешь, – другому-то ведь голодно будет.

Среди них много было интеллигентных людей, которые и физически-то, может, никогда не работали. Я всегда их жалела. Помню, мы дорогу делали, и среди нас еврейка была. Она против нас уже старенькая, а тоже ходила с нашей бригадой. Надо планировку делать, пни корчевать – так она, милая, встает на колени и рукой опирается. Это ей легко разве было? Не дай Бог... А работать надо – надо было хлеб зарабатывать.

На тяжелых работах, например, на погрузке, нам выдавали пайку 800–900 граммов хлеба. Но обычно – 600–700. А хлеб какой был? – тяжелый. Сейчас 700 граммов – это полбулки, а тогда кусочек небольшой. Съешь, и не поймешь, наелся или нет. На свободе тоже было голодно – карточная система, хлеб по нормам. Но свобода есть свобода: если у человека есть на что купить, он пойдет и купит, а там не пойдешь, ничего не купишь.

Кормили нас три раза в день, а если на лесоповал ходили, то два раза. В лес обед не возили. С собой возьмешь хлеба, в чем-нибудь воды на костре вскипятишь – вот и весь обед. В лагере на второе давали кашу, в основном овсянку и ячмень. В обед первое и второе, утром и вечером баланда. Возьмешь козьего молока немножко, баланду эту забелишь – и рад. Кому-то посылали посылки, но не всем и очень даже редко. Я, например, ни одной посылки не получила. Да и с кого буду просить? Двое детей остались на иждивении, а я еще буду посылки просить.

Мы там не видели ничего: никакого кино, никакого радио не было в бараках. Там у каждого место, топчанчик: нашьешь свой матрасик сеном или травой – вот и постелька своя. Никаких тебе книжек. Можно сказать, 10 лет в потемках.

Зимой изредка топили баню, а летом отправят в степь – и никакой бани. Только в речке где-то помоешься, и все. Вот такая жизнь была.

Никаких свиданий не разрешали, да и какие свидания? Мы были в Караганде, в тайге, на Дальнем Востоке, никто туда не приезжал. Я помню, две девушки-польки сидели, обе незамужние. Один раз приехали к ним родственники, но у них и передачу не взяли, и свидание не дали. Один только такой случай помню, к нашему брату боялись ездить.

В лагере мы жили вместе с уголовниками. В основном, сидели ворюжки. Мальчишка лет 12-ти, помню, был. Он колоски собирал, вот за это и попал. Совсем ребенок. Мне его так жалко было, ведь у него ум какой? Боже мой! Он тоже овец пас и потерял один раз ягненка. Я спала с ночной смены, он пришел ко мне и плачет. Я ему говорю: «Ничего, не плачь. Мы с тобой пойдем, может, найдем. Бывает, они лягут, уснут и спят себе». Пошли мы и правда нашли.

Так жалко этого ребенка. Идет со своими овцами и какие-то детские песенки поет. Всего там навидался.

Люди есть люди, но больше все-таки добрых людей, ничего не скажешь. И среди начальников неплохие были. У нас там волки овец трепали. Один раз меня послали баранов пасти. Был такой баран: увидит где овец и летит к ним, отрывается от остальных. Я взяла и передние ноги ему спутала, чтобы не бегал. Время уже к часу подошло, я баранов к баракам подгоняла. И тут на меня два волка напали. Бараны бросились на участок, а стреноженный не может бежать, и я не могу. Волки за курдюк барана трепать начали, но тут уже близко участок был. Собаки выскочили и зоотехник на лошади выехал. Спаслись, но барана волки порвали. И начальник не ругал меня. Говорит: «Лечить будешь». Вылечила.

А другой раз волк у меня ягненка унес. Страшно, нельзя ведь терять. Одного взял и побежал. Я – за ним. А отара осталась. А если бы тут другой волк? Хорошо, что ягненок уже большеенький был. Видно, волку тяжело было, и он его бросил, а я принесла. Ягненок через некоторое время умер. Но все-таки я его отобрала. За них потом ведь отвечать приходится.

Отбыла все положенные 10 лет, освободилась в 1948 году. Нашей статье поблажки никакой не было. Когда освободилась, еще хуже стало, чем в лагере. Жилья нет, в городе, где дети, не прописывают. Деверь у меня хороший был, – пожалуйста, живи, – а меня не прописывают, без прописки на работу не устраивают.

Потом деверь же мне и нашел квартиру. Договорился с женщиной, с которой вместе работал, и она прописала меня в свой домишко в Шабуничах. Работала я на железной дороге, а это знаете, как трудно! И каждые три месяца паспорт меняла.

Потом на железной дороге была какая-то пертурбация, и меня уволили. Я в Краснокамск устроилась на стройку, жила там в общежитии, дети в Перми остались. Одна дочь у меня училась в техникуме, другая

не стала учиться. А в Перми мне показаться опасно. Приходили с проверкой. В Краснокамске меня тоже уволили, по ясной причине – из-за моей статьи. А дочь как раз в это время техникум окончила. Ей направление дали в Александровск. Я с ней и уехала. В Александровске получила реабилитацию.

Хрущеву я благодарна. Некоторые его ругают, но я благодарна – при Хрущеве меня реабилитировали. Паспорт нормальный получила, а до этого каждые три месяца нужно было его менять. Немножко мне легче стало. Когда получила девятиметровую комнатку в коммуналке, вообще себя человеком почувствовала. А до тех пор – так себе, даром что с дочерью жила. Затем мы переехали в Пермь, в Закамск, и мне удалось здесь прописаться.

Люди по-разному ко мне относились. В Перми, когда на железной дороге работала, приняли хорошо. В Краснокамске мне начальник отдела кадров посоветовал: «Вы не говорите, что проходили по 58-й статье». Я и не говорила. А когда меня рассчитали, одна женщина-нормировщица спросила: «Как это вы стерпели такое? Вон, голова у вас вся белая...» Я тогда уже полностью поседела. А я ей говорю: «Это ничего, что белая. Хорошо, что еще цела, а могла бы без головы остаться».

Никому не рассказывала о своем прошлом. Тяжело вспоминать было. Однажды совершенно случайно выяснилось, что соседка у меня тоже репрессированная. Она меня тут же спросила: «А вы почему не пользуетесь льготами?». А я вовсе не хотела этого, потому и молчала. Расскажу, а как меня поймут? «Даром не посадят» – вот как люди рассуждают. И упрекать могут. Дочь говорит: «Мы еще неплохо жили, люди не обижали. А ведь над некоторыми издевались всяко».

Девочки мои жили на Шпальном поселке в Перми. Голодали и холодали во время войны, все было, но люди их окружали неплохие. Родственники не могли утаить, что мы, родители, сидим. Иначе как объяснить, что дети у них живут?

В школе к дочерям относились хорошо. У Маши подруги были, их родители ее жалели. Иногда сунут пирожок в руку – это ведь лакомство было в те времена. И Маша радовалась очень, очень их любила.

...Страшное время было. Вот сейчас люди говорят, что мы плохо живем. Да, есть плохие стороны, но есть и хорошие. Я никогда богато, роскошно не жила, может, поэтому и выжила, стерпела все. Надо только знать, что на свете добрых людей больше, чем плохих.

Сейчас я хорошо живу, хотя жить-то уже некогда – 94 года мне. Один вопрос покоя не дает: ну почему людей ни за что прятали в тюрьмы? «Даром не посадят» – а я знаю, что садят. Миллионы людей сидели. А многих так вообще расстреливали. Хороших людей уничтожали, вот ведь что!

НЕВИНОВЕН, НО ОСУЖДЕН И РАССТРЕЛЯН

Интервью с Борисом Романовичем Кашиным

- Представьтесь, пожалуйста.

- Борис Романович Кашин. Родился я в 1923 году в деревне Шадрина Пермского района. Мать у меня из деревни Загарная, отец – из деревни Шадрина. Дедушка с бабушкой тоже из этой деревни. Семья у нас большая была, с родителями – десять человек.

- Расскажите поподробнее о родителях.

- Мать, Фекла Михайловна Бурьлова, родилась в 1899 году. Отец, Кашин Роман Егорович, родился в 1885 году. Дедушка в 1860 году родился. В годы Гражданской войны он был расстрелян колчаковцами, похоронен в братской могиле на кладбище села Култаево. Там памятник установлен. В честь отца названа сейчас улица в селе Култаево – улица Романа Кашина. Он там был первый председатель волисполкома, создавал партийную ячейку.

- Расскажите о родителях? Учились они или нет?

- Дедушка окончил четырехклассное училище в Нижних Муллах. Отец, по-моему, тоже его окончил, а в 1913 году в Перми губернские курсы были по огнестойкому строительству, он учился там. И одновременно работал сторожем. Эти курсы проходили в здании, где сейчас школа № 11. Но в 1914 году началась война, и отца направили в Осу на строительство дорог. Еще в 1905 году и дедушка, и отец были участниками революционных волнений. А в 1917-м дедушку избрали председателем комбеда – комитета бедноты, а отца – председателем волисполкома. Когда колчаковцы заняли Пермь, отца эвакуировали в Вятку, он в губисполкоме там работал. А дедушка скрывался в Перми. Потом немного поутихло, и он решил вернуться в свою деревню. Но в деревне Кичаново его схватили, опознали, возили по всем деревням в нижнем белье, избивали. Ухо отрубили шашкой и в устрашение говорили: «Вот так с коммунистами со всеми будет». А потом деда расстреляли.

- А бабушка и мама чем занимались?

- Домохозяйки. Семья-то большая. Занимались хозяйством. У нас дом был, усадьба. Сейчас на этом месте только два дерева растут, их еще отец посадил – сосна и ель. А так пустырь. В деревне сейчас осталось всего шесть дворов, по-моему.

- Расскажите о том доме, который вы помните.

- В 1925 году отца выдвинули на руководящую должность в ОСО-АВИАХИМ. Выдвинули из редакции газеты «Страда». Он селькором был. Мы переехали из деревни в Пермь. Жили мы, по-моему, на Кронштадтской улице в Новой деревне. Маленький домик был там. А оттуда переехали на улицу 25-го Октября, дом № 29. Сейчас его снесли.

Нас десять человек было. Оттуда мы переехали на Оханскую улицу, сейчас улица Газеты «Звезда». Там был дом такой, на две половины разделен. В первой половине две семьи жило, а во второй половине наша семья жила. Там с 1931 года мы прожили, по-моему, до 1936 года. В 1936 году мать сказала: «Надо хоть маленький огородик». Трудно очень было жить, семья большая. И мы свою половину дома продали и купили дом в Слободке, на улице 2-й Красноармейской.

- Расскажите, когда родились Ваши братья и сестры.

- В 1908 году родился старший брат Михаил, в 1909 году – Василий, в 1911 году – Александр, но он пожил всего года три и умер. После него родились Нина, Зоя, потом я, потом Леонид, Юрий, Анатолий.

В 1938 году отца арестовали.

- Мы к этому еще вернемся, а сейчас можете поподробнее рассказать о семейном быте?

- Все было как у всех. Я помню стол, стулья, кровати. А мы, пацаны, все на полатах спали. А потом старшие братья, Михаил и Василий, окончили школу огнестойкого строительства – это раньше школа была, сейчас техникум строительный. В 1930 году Михаил, в 1931 году Василий ее окончили и ушли в армию. Михаил попал на Украину, в Харькове служил, а Василий – на восток. Михаил отслужил и обосновался в Москве, работал он в проектной организации до самой войны. А война началась – сразу ушел на фронт.

- А чем в 1920–1930-е годы занимался отец?

- Он работал в земельной управе, ну и на выборных должностях в основном, а потом – инструктором в школе огнестойкого строительства. Потом в райкомхозе. И в 1932 году по состоянию здоровья вышел на пенсию.

Когда я пацаном был, он часто ходил на собрания. Он стал селькором – сельским корреспондентом. Печатался в газетах «Страда», «Звезда» и «Красный Урал». И потом написал роман «Твердая власть», в двух частях. Уже последние правки прошли, вся корректура. И вот при аресте отца все забрали, и следов нет. Записные книжки тоже унесли, и рукопись, и все. Дома отец читал в свободное время газеты, книги, в библиотеку я с ним все время ходил.

- Вам нравилось?

- Да. Там библиотекари устраивали для нас, пацанов, как бы путешествие. Вот дают мне задание съездить в Америку. Я должен был подобрать литературу, а потом словно бы с дороги писать: приезжаю, допустим, в такой-то город, там должен то-то сделать, дальше то-то, очень интересные путешествия были. Помню, два раза я потом поощрение получал – книги давали.

- А кто занимался воспитанием детей в семье – отец, прежде всего, или мама? И в каких традициях вас воспитывали?

- Нас воспитывала, прежде всего, улица! Нас было много, мать не успевала стирать да готовить. Отец на работе, на собраниях. Я не помню, чтоб он кого-то там ударил или обругал, мать больше даже ворчала, чем он. Ну, а мы, четверо самых младших, корку хлеба в зубы – и на улицу. Нам говорят: «Садитесь за стол. Поешьте». Какое там! А уроки, пожалуй, сестры старшие помогали делать, если что. А так сами вроде бы справлялись.

- Скажите, школа какое влияние оказывала на ваше воспитание? Имена Ленина, Сталина что-то значили тогда для вас?

- О! Еще как! Вот в классе, наверное, 5–6-м мы часто после уроков у кого-нибудь на квартире собирались, стенды готовили – про героев труда или про перелет Чкалова. Нам нравилось, и мы с удовольствием это делали. А школа № 11 вообще хорошая была. У нас классный руководитель Дмитриевская была, французенка, очень хорошая.

- А в семье среди братьев, с родителями вы разговаривали на какие-то политические темы?

- Что-то не помню. Мы, пацаны, не вникали, не вмешивались. Мать неграмотная, а Василий и Михаил – старшие братья – они да. Библиотека у отца очень хорошая. Там у него труды разные – и Троцкого, и Бухарина, и Ленина много, и Горького книги были.

- Скажите, среди членов семьи был кто-то верующий?

- Мать верующая, но отец, конечно, нет. И у нее иконка на полке стояла, помню.

- А в церковь ходили, праздники церковные отмечали?

- Ни разу. Просто отец не разрешал маме икону держать на виду. Мама нас крестила втихаря. Мы потом уже узнали. Отец даже, наверно, не догадывался. Он в 1918 году вступил в партию, и ясно, поэтому икону не разрешал держать.

- Расскажите кратко, что произошло с каждым из вас.

- Я закончил семь классов в 1938 году. Сестра Зоя старше меня на два года, она в 1938 году закончила два курса Пермского авиационного техникума, тут ее вызвали, документы выдали и выгнали как дочь «врага народа». А я закончил семь классов, сдал тоже экзамены в этот техникум. Раз ее выгнали – мне бесполезно, забрал документы. Поступил в ФЗО, тогда Сталинского завода, Свердлова сейчас. Там я проучился, теорию закончил, как до практики дошло, меня вызвали, выдали документы, тоже выгнали.

- А что произошло с отцом? Вы сказали, что он вышел не пенсию.

- Да. В 1932 году вышел на пенсию. И занимался дома, писал роман «Твердая власть», хозяйством занимался, читал. А в 1935 году, по-моему, его исключили из партии за то, что прежде он был в партии эсеров и скрыл это. Он подавал апелляцию, но его не восстановили.

Он болел уже в последние годы, никуда, можно сказать, не ходил. Ему 53 года. В 1938 году его арестовали.

- Вы помните день ареста?

- Помню. Вечером приехали. Обыск был, все перерыли. Фотоаппарат забрали, рукопись. И увезли отца ночью. Все перепуганные были.

- Вам сказали, что Ваш отец «враг народа»?

- Да! Еще как! На другой день тут пацаны в квартале кричали: «О! Враги народа!» Отовсюду нас погнали. Досталось, конечно.

- Вы пытались как-то сопротивляться или смирились?

- А что там сопротивляться. Сестра уехала в Кунгур на машиностроительный завод, подала заявление в машиностроительный техникум. Я в 1939 году туда же подал заявление. Сестра умерла от скоротечной чахотки. А меня Михаил, старший брат, в Москву забрал. Я перевелся в КИПР – техникум контрольно-измерительных приборов. Но там проучился немного. Мать писала, что жить не на что, звала. Ну, я и вернулся в Пермь. Бросил учебу. Поступил в ПИК – проектно-исследовательскую контору при Облдоротделе. Семнадцати лет.

- После ареста отца вы поверили, что он «враг народа»?

- Нет! Никогда в это не верил. Но надо было жить и работать. Война меня в Красновишерском районе застала. В Перми нас вызвали в райком комсомола, дали повестки – явиться с вещами на другой день. Мать думала, что в армию забирают. А нас собрали в комсомольско-молодежный батальон – 750 человек. И мы строем пошли в деревню Фролы по Сибирскому тракту. Там сборный пункт был. А оттуда – к станции Ферма, где разбили лагерь. Строили железную дорогу от Фермы до ЛИСа – летно-испытательной станции сталинского завода.

- А вы тогда комсомольцем были?

- Комсомольцем! Я в комсомол еще в техникуме вступил. До ареста отца.

- И вас не исключили из комсомола?

- У них там никто не знал об отце. И мы работали. Режим такой: подъем в шесть, отбой в десять. Пятьдесят минут работаем, десять – отдыхаем. Выдали лапти, брезентовые рукавицы, носилки, тапки. И насыпи строили для дороги, железнодорожной ветки на ЛИС. Жара, помню, в одних трусах работали. Кормили хорошо. Засекречено была жутко. Дома думали, что мы уже на фронте. Гусаров тогда был первый секретарь обкома. Он каждый день приезжал. Я там проработал с месяц, наверное, от Фермы до Мулянки шли. А по эту сторону реки Мулянки заключенные работали.

- Вы с ними как-то общались?

- Перебрасывали им махорку, или что еще. Закончили эту железнодорожную ветку, и нас перебросили на Бахаревку, запасные пути строить. Там я работал тоже, наверное, с месяц. Вернулись. У меня друзей чуть не всех уже в армию взяли. А меня нет. Ну, мы с другом

пошли в военкомат, подали заявление добровольцами. Предложили идти в авиационное училище. Несколько комиссий проходили. Отбирали строго, но мы как-то прошли. Я попал в летное училище, а друг в воздушно-десантное угодил. И вот в 1941 году я попал в 73-ю учебную летную эскадрилью в Курган. Затем нас перебросили в омскую военную школу пилотов. Мы ее окончили, но повоевать не пришлось...

Война кончилась. И нас разбросали – в Прибалтику, в Псков, а из Пскова в Тарту. Там на штурмовиках летали воздушными стрелками. Так я до 1948-го летал на ИЛ-10. В 1948 году 1 марта демобилизовали.

- Скажите, пожалуйста, в течение этого времени вспоминали о своем отце? Задумывались, где он, что с ним?

- Так нам сообщили о его смерти. Еще в 1938 году. Меньше трех месяцев прошло после его ареста. А причину смерти не указали. Я, когда добывался реабилитации, ходил в КГБ, хотел узнать, отчего он умер: или расстреляли, или замучили, или сам. Мне говорят: «Бесполезно». Я говорю: «Если напишу?» – «Конечно, – говорят, – ответят. Только там напишут первую попавшуюся болезнь. Сейчас уже не узнать. Ни вам, никому».

- Вы сильно переживали?

- Ну как же, конечно. Поплакали, поплакали. Я вот сейчас даже не могу понять, на что мы жили: мать не работала, безграмотная... Помню, что Михаил каждый месяц высылал сто рублей, Василий высылал сколько-то тоже. Но этого на такую ораву не хватает – кормить, одевать... Хорошо вот, успели с огородиком дом тогда купить. Наверно, за счет огорода выживали понемногу. Босые, без штанов бегали мы чуть не до школы. Мать перешивала от старших младшим все. Конечно, семья большая. Я удивляюсь, как она выкручивалась.

- Она не пыталась кого-то обвинять в этом? Советскую власть или еще кого-то?

- Нет. В последние годы я ходил в архив, прочитал там протоколы двух допросов. Отца обвиняли в контрреволюционной деятельности, что он готовил перевороты и прочее. Ну, смех один, какая там контрреволюционная деятельность, когда он чуть жив был?

Никогда мы не предполагали, что он чего-то мог сделать против советской власти, потому что он все время и выступал, и писал – все в поддержку этой власти, он же делегатом губернских съездов несколько раз был.

В 1948 году я демобилизовался. Проехал через Краснодар домой в Пермь. В Краснодаре Михаил служил, я к нему заехал, там с Василием встретился, потом в Пермь вернулся. В Перми пошел на старую работу – в ПИК. Меня там узнали: «Давай, давай к нам». И через неделю я уже в «поле» выехал на изыскания. До 1958 года там проработал, потом перешел в другую проектную организацию.

Я нигде не заикался о том, что у меня родитель был «враг народа». И поэтому ни на работе, нигде никто об этом не знал. После того

как начали реабилитировать людей, я решил поинтересоваться, что с ним стало. Это было в середине 60-х годов. Зашел в партархив, затем побывал в КГБ. Я понял, что фабриковали просто дела, что отец был невиновен. Невиновен, но осужден и расстрелян...

БЕЗ ПРАВА ПЕРЕПИСКИ

Из воспоминаний Клары Максимовны Краевой

Я родилась в 1929 году, а в 1937-м, когда в семье появился пятый ребенок, отца арестовали. Папа, Максим Михайлович Смышляев, был родом из Кировской области. Работал в наробразе инспектором школ, и постоянно находился в командировках. У меня были два старших брата – Владимир 1926 года рождения и Августин 1928 года.

В детских воспоминаниях я сохранила образ отца. Он и мама, Вера Михайловна, были порядочными людьми, воспитывали в нас доброту, честность, отзывчивость. Помню, как мама ходила, пыталась выяснить судьбу кормильца. Спустя пару дней ей передали письмо, где отец писал о том, что искренне не понимает, за что ему выдвигают такие обвинения. Честно работал, выполнял поручения партии и помыслить не мог, что его обвинят в страшных грехах. Под давлением следователей он вынужден был подписать признание в несовершеннолетних преступлениях. «Но ты не падай духом, – обращался он к маме. – Я докажу свою невиновность ради моих дорогих, милых крошек».

Последний раз мама видела мужа на станции Пермь II, когда его вместе с другими осужденными погружали в эшелон на Свердловск. Писала запросы в разные инстанции и, наконец, получила ответ, что «ваш муж осужден на 10 лет без права переписки». Много лет прошло, прежде чем мы поняли: приговорен к расстрелу.

Мама с пятью детьми осталась одна. Имущество конфисковали, денег не было. Сначала она хотела отправить детей в детский дом, потом все же решила оставить. В 1938 году я пошла в школу. Авгу-



*Максим Михайлович Смышляев.
Снимок сделан в середине
1920-х годов.*



Слева направо сестры: Тамара Максимовна Соболева (Смышляева) (1931 г.р.), Галина Максимовна Петрова (Смышляева) (1937 г.р.) и Клара Максимовна Краева (Смышляева) (1929 г.р.).

стин зарабатывал на хлеб для семьи чисткой обуви на улицах. Мама устроилась дворником, потом в артель «Звезда», откуда ей удавалось приносить кое-какую еду для детей.

Многие тогда говорили нам в лицо «вы – дети врага народа». Брат отца отказался, бросил нас. Потом говорил – из-за страха. Однако мир не без добрых людей, многие помогали маме. Школьная учительница несколько раз отправляла меня в санаторий на лечение, знакомые и сослуживцы отца старались как-то помочь. Во время войны жили впроголодь, но старались изо всех сил. Иногда терпение было на пределе. Но мама говорила: «Что бы ни случилось в жизни, все можно пережить, но руки на себя никогда не накладывайте».

После войны я поехала в Ленинград, к старшему брату и сестре отца. Они приняли меня, поддержали и подкормили. Пожила какое-то время и вернулась в Пермь. Окончив школу, я пошла работать в торговлю, одновременно училась на заочном отделении торгового техникума.

В 1956 году отца реабилитировали, маме назначили пенсию. Однако клеймо дочери репрессированного еще многие годы осложняло мою жизнь. На ответственную должность нельзя, поехать в ГДР и поработать там тоже нельзя. В шестидесятые годы меня два раза вызывали в МВД, предлагали докладывать и «стучать». Но я отказалась, не хотела грязным делом заниматься. В партию тоже не вступила. Страх постепенно проходил, но пережитое не забудется никогда.



Слева направо: Вера Александровна Смышляева (Одинцова) (1900–1966) – мать, Августин Максимович Смышляев (1928–1984) – сын, Клара Максимовна Краева (Смышляева) во дворе дома, в котором жили в Молотове. Снимок сделан в конце 50-х годов.



Слева направо: Тверь, в гостях у сестры. Клара Максимовна и Тамара Максимовна Соболева (Смышляева). Снимок сделан в августе 1996 года.

МНЕ БЫЛО ТРИ ГОДА, КОГДА МАМУ И ПАПУ ЗАБРАЛИ

Интервью с Ириной Ильиничной Микуевой (Файвисович)



*Ирина Микуева (Файвисович) в возрасте
3–4 лет. Снимок сделан в г. Осе.*

- Представьтесь, пожалуйста.

- Я, Файвисович Ирина Ильинична, родилась 27 мая 1936 года в городе Осе Пермской области. Мать и отец были парикмахерами. Бабушка воспитала шестнадцать детей. Моя мама предпоследний ребенок в семье. Мне было три года, когда маму и папу забрали. Отца арестовали в мае, маму – в сентябре 1939 года.

- Расскажите поподробнее о родителях.

- Отец – Файвисович Илья Давыдович, родился 26 февраля 1911 года, еврей. Я его родителей не помню. К тому времени в живых у него оставались брат и две сестры. Больше из его родственников я никого не знаю. Хотя из разговоров знаю, что они

были. Многочисленная очень семья. Мать русская, из крестьянской семьи. А из маминых родителей бабушка жила с нами, Брюхова Марфа Трофимовна. К тому времени, когда родителей у меня забрали, ей исполнилось уже семьдесят лет. Так что я осталась с ней в три года.

Возможно, причиной ареста родителей стал наш дом. Они его строили, но достроить не успели. И вот семидесятилетняя старуха, моя бабушка, продав корову, взялась завершить дело. По ее словам, не было ни крыши, ни окон. Все это она делала сама. Строительство дома заканчивала моя семидесятилетняя бабушка.

Три комнаты в нем было, это я уже помню, одна большая, две поменьше. Русская большая печь, огород около пятнадцати соток, которыми мы и кормились потом с бабушкой, пока не вернулась мама.



Ирина Ильпинична Микуева (Файвисович) с родителями Александрой Прокопьевной и Ильей Давыдовичем Файвисович. Снимок сделан в г. Осе в 1939 году перед арестом родителей.

Оса тогда селом была. Я уехала оттуда, когда мне исполнилось восемнадцать лет, когда закончила десятый класс. А когда забрали родителей, в то время, конечно, я ничего не понимала. Помню, что родителей забрали ночью, а меня сразу увезли в деревню куда-то, потому что бабушку предупредили, что собираются меня забрать в детский дом. В то время, если родителей арестовывали, то детей забирали. Был детский дом у нас в Осе, проволокой полностью весь обнесенный. А на нем табличка: «Дети врагов народа».

- Как Вам жилось тогда?

- Я не помню, как жилось, меня сначала по деревням прятали. В деревнях тоже боялись в это время друг друга, ведь предателей было, видимо, полно. Меня в одну семью привозили, потом к другим родственникам, и в общей-то куче незаметно было. Года два, наверно, меня скрывали.

А потом в няньках начала жить – с шести лет. О раннем детстве остались отрывочные воспоминания: лошади, деревенские пейзажи, в ночное, помню, лошадей гоняли. Я очень рано верхом научилась ездить, потому что у маминой сестры, тети Вари, сын служил конюхом, а муж кузнецом. Помню, как мы лошадей водили на кузницу, помню, как я на жеребце сидела, как он меня понес, скинул на мосту. В общем, такие вот отрывочные воспоминания. И пруд там, и речки наши осинские... А потом уже я в няньках жила у родственников бабушки. Стирала пеленки.



*Вот так жили – в бане. Илья Давыдович и Нина Иосифовна Михельсон.
Снимок сделан в 1954 году.*

Шла война уже... В семье было двое детей, и маленького я качала в зыбке. Тогда ведь не кровати были, а зыбки. Пеленки стирала, посуду мыла. Шли голодные годы, кормить нечем. Вот бабушка меня и пристроила.

- Как они к Вам относились?

- Нормально. Жила как в своей семье. Была у них тележка на деревянных колесах, я пацана в этой тележке катала. А поселок малюсенький совсем был. Смолокурный завод там, поселок смолокурного завода – так и назывался. Рядом общежитие – деревянный барак, где жила молодежь с ближних деревень. Трудовую повинность, что ли, отбывали. Они заготавливали сосновую плашку в лесу для этого завода.

Это я помню, потому что глава семьи, в которой я жила, – Леонид Прокопьевич, был директором этого смолокурного завода. Заводик маленький, все время дымил на берегу реки. Были свои лошади, держали свиней тогда, я носила еду пороссятам. А потом меня бабушка забрала. Забрала в Осу, и мы с ней в огороде картошку садили, окучивали. Гусей я пасла, козу пасла.

Бабушка была очень добрая, чистокровная хозяйка, крестьянка. Жизнь прожила очень трудную.

- Она была верующая?

- Да.

- Вы ходили в церковь?

- В церковь она меня водила, у нас церковь за домом, недалеко совсем. Она и сейчас действует. И бабушку рядом с церковью мы потом похоронили, там до сих пор лежит.

- Какие-то религиозные праздники отмечали?

- Пасху помню всегда, и красили яйца, и кулич пекли, его бабушка сама делала. Потом мама.

- Вы крещеная были?

- Да, меня в девять лет крестили, когда вернулась мать из тюрьмы. Я тогда пошла в первый класс.

- Вы помните ее возвращение?

- Помню. Бабушка уже знала, кто-то заезжал из освободившихся и сказал, что мама скоро вернется. Ее увезли в Архангельскую область, на Белое море. Сейчас город Северодвинск, а тогда город Молотовск. Его строили только еще. Основание под город намывали с Белого моря. Вот мама как раз в этом и участвовала, туда сотни заключенных согнали. Она четыре года и четыре месяца отбыла и вернулась 27 января 1944 года.

Мама получила срок за сокрытие «врага народа», то есть отца. А отцу дали десять лет, его отправили на станцию Сухобезводная где-то под Горьким.

Жили мы с бабушкой очень трудно. Картошка и овощи были, конечно, свое молоко. Помню, мы стряпали с бабушкой пельмени капустные, а она говорит: «Давай, давай. Надо постряпать и заморозить, вдруг мать придет ночью». И ночью кто-то забарабанил в дверь. Помню, как бабушка с лампой шла, как они обнимались. Потом мать меня схватила. Угощала чем-то сладким, не помню чем.

Шел 1944 год. Осенью я пошла в школу, в первый класс. Отца увидела уже в 1947 году. Мы с мамой ездили к нему под этот Горький. Ему дали свидание. Он был уже «бесконвойником». Сестра у меня жила в Горьком. И мы с мамой были у нее в гостях, и к отцу ездили.

- Как происходило это свидание?

- Мы приехали на поезде. Встретила сестра, а от Горького ехали еще на каком-то поезде. Помню густой лес, небо едва проглядывает среди деревьев. Нас встречали на лошади, на телеге, отец договорился с кем-то. У них свинарник был в этой зоне, и вот свинарь приехал на лошади. Что-то очень далеко везли, не помню куда. Все лес и лес. Там свинарник в стороне, и избушка, где мы ночевали. Утром привезли отца. Я помню крыльцо, небольшой домишко деревянный, печка, комната обычная, кровати стоят. Мы три дня жили с отцом вместе.

Никуда не ходили. Отец уходил, возвращался, приносил хлеб, еду какую-то. Он все старался меня к себе притянуть. Очень такой приветливый, добрый.

- Он таким и остался?

- Да, таким и остался. В лагерях отбыл точно «от звонка до звонка», причем получил еще пять лет поражения в правах. В 1949 году освобожден, в мае месяце. К нам он не вернулся, уехал жить к брату, под Свердловск. Приехал к Михаилу, к своему брату, не один. Приехал с женщиной, ленинградкой, тоже еврейкой. Она ему жизнь спасла, судя по его рассказам. Он в лагере доходил уже до ручки. Ноги уже не носили, свалился и лежал в больничке тюремной. А Нина Иосифовна – она тоже сидела по какому-то делу – была санитаркой. Вот она его там выходила, иначе бы он помер.

Она освободилась раньше его. И ждала два года. Мама этого не знала. Они прожили с отцом тридцать три года. Сначала она умерла, потом он. А моя мама больше замуж не выходила. Так и жила одна.

- Скажите, пожалуйста, вы знали, почему отца арестовали? Вам кто-то об этом рассказывал?

- Вообще в семье об этом старались не говорить. Бабушка всегда наказывала: «Молчи, где твои родители. Нигде ничего не рассказывай». Я знала, что родители арестованы, что мама должна вернуться из тюрьмы. Но про отца вообще не говорили, потому что еще срок был большой. Я спрашивала бабушку: «За что?» Бабушка сказала: «Приедут, сами расскажут». Об этом даже в семье не говорилось, даже с родственниками. Вообще все старались молчать. Ни с соседями, ни с кем об этом тогда открыто не говорили. Когда в комсомол меня принимали в седьмом классе, мама объяснила, что она ни в чем не виновата и что отец ни в чем не виноват. Только: «Нигде этого не говори. Мы ни в чем не виноваты, все потом докажется».

А в школе, когда принимали в комсомол, мне сказали: «Расскажи свою автобиографию». Ну, начала рассказывать, что вот тогда-то родилась, жила с бабушкой. И обошла вот этот момент, что родителей со мной не было. И тут из зала донеслось: «У нее родители – «враги народа». Тут встал директор школы Геннадий Максимович Зверев, замечательный был человек. Вот он встал и сказал: «Дети не отвечают за поступки родителей, мы разбираем ее биографию, а не ее родителей». И очень быстро как-то меня приняли в комсомол.

Училась я нормально. Всегда общественницей была. Когда заканчивала десятый класс, меня хотели забрать в райком комсомола. Но я туда не прошла. Никто не объяснил почему. Много позже моя учительница тихонько сказала, в чем дело. Ну, обида какая-то была. А так в школе никто не трогал. Что заслуживала, то и получала.

- У вашей мамы как сложилась судьба после того, как она вернулась?

- Она пошла работать в ту же парикмахерскую. Ее в артель сразу взяли. Ту самую артель «Бытовик», где они работали вместе с отцом. Там были сапожные мастерские, ремонтировали гармоны, и так далее.

Потом она стала заведующей парикмахерской.

- А были случаи какой-либо дискриминации?

- Я помню только скандалы с Шеиным. Был такой Шеин Александр, отчество не помню. Он тоже парикмахер. Мама с ним воевала, я слышала, как они ругаются. А когда я подняла отцовское дело в архиве, оказалось, что этот Шеин родителей и сдал. Донос написал.

- Как мама относилась к Сталину?

- А она, если где-то что-то говорили, просто уходила. Я ее в то время не понимала. Потом уже, когда все от-

крылось, что-то поняла. Мама умерла в 1980 году. Она всегда считала меня маленькой, говорила: «Вырастешь, — поймешь, кто прав, кто виноват».

А потом мы разъехались, жили далеко друг от друга. Мать оставалась в Перми, а меня занесло в Архангельскую область. После школы я пыталась поступить в пединститут, но не получилось. Жила у сестры. Помогала ей с ребятами управляться. Она работала директором магазина спорттоваров. Сестра у меня по матери, у отца я вообще единственная была. Она закончила речное училище. Потом работала первым помощником капитана, по Каме ходила. На ней репрессии родителей не отразились, она была Мальцева по первому мамину мужу, и по отчеству она – Петровна, а я – Ильинична.

Все это имело значение. Экзамены в пединститут на отделение немецкого языка я хорошо сдала. Должна была пройти по конкурсу, по всем оценкам, но когда пришли узнавать, моей фамилии в спи-



Илья Давыдович Файвисович. Фото сделано в г. Северск Полевского района Свердловской области.



*Ирина Ильинична Микуева.
Пермь. 2003 год.*

нулась домой, посоветовалась с сестрой. Она: «Не упирайся, иди, учись». Год я отучилась. Декан сказал: «Зимой после сессии отсеется кто-то, место освободится, я вас зачислю». Зимняя сессия прошла, я наравне со всеми сдала экзамены. Но никто не отсеялся. Декан говорит: «Можешь экзамены не сдавать. На первый курс я тебя зачислю, потому что на втором мест нет». А в это время пришло какое-то письмо из министерства образования, и на факультетах иностранных языков добавили еще год обучения. До этого было пять лет, а стало шесть. Но снова на первый курс идти не хотелось. Да еще, получается, учиться на год дольше. А ведь надо на что-то жить.

Сестра и говорит: «Иди в торговлю, заканчивай курсы одиннадцатимесячные». Вот так я и попала на курсы, закончила их с отличием, приобрела специальность «товаровед продовольственных товаров широкого профиля». Меня отправили по распределению в торг Дзержинского района, работала в магазине № 128. К тому времени из Осы переехала ко мне мать. Бабушка уже умерла. А мама старая совсем стала, болела.

ске принятых не оказалось. Пошла документы забирать, а мне их не отдают. Отправили к декану. Как сейчас помню, пришла, говорю: «Меня зачем-то к вам направили». «Фамилия?» «Файвисович». Он говорит: «Я Вам предлагаю вольнослушательницей». «А что это такое?» «Если у преподавателя есть время, он вас вызывает, проверяет знания. Нет, – просто присутствуете на лекции. То есть студенткой мы вас не зачисляем, а место предоставляем». Я говорю: «Хорошо, а почему у меня вот такой-то балл набран, а у Березиной, она со мной вместе сдавала, – ниже, и она прошла, а я нет? Почему?» Он на меня смотрит и отвечает: «А вы забыли, где ваши родители?».

1955 год. Все ясно! Я говорю: «Отдайте документы». А он не отдает. Вер-

Стали мы жить с ней. Потом из Свердловска приехал отец и говорит: «Поживи, пока замуж не вышла, со мной». И увез к себе. Я уехала с ним в Северский завод в Полевском районе Свердловской области. Выучилась на дамского мастера и работала вместе с отцом парикмахером.

А с мамы еще в 1957 году сняли судимость. Ее вызывали, извинились, сменили паспорт и пенсию начислили. А до того пенсию она не получала. Она только и сказала: «Наконец-то признали». Как-то она мне рассказала, где была и что делала в зоне.

- И что она рассказала?

- Как намывала песок, как они работали по колено в воде, как гибли люди...

- А отца когда реабилитировали?

- А отец получил реабилитацию в 1989 году, видимо. Но он ничего мне не сказал. Может быть, страх оставался, может, что-то еще, не знаю, как это охарактеризовать... Когда уже реабилитация пошла, вот тогда только начал отец рассказывать, как он жил, как лес валил, как его в больницу положили... Оттуда он приехал совсем больной.

Да, вот вспомнила 1947 год. Уже мать дома, уже она работает в парикмахерской. Очень голодно было. И вот я в школу утром иду, а мама наказывает: «Зайдешь ко мне на работу за хлебом». Двести граммов тогда получала она на бабушку, двести на меня и еще чetyреста по рабочей карточке на себя. Восемьсот граммов всего. Хлеб черный, тяжелый такой. Мама говорила: «Не ешь дорóгой». Всегда наказывала. Ну, как же не есть, все равно немного покусая. Приду домой, а бабушка: «Ах, ты зачем? Мать ведь заругается». Потом отрежет кусок, в суп накрошит...

- И это было хуже, чем в военные годы?

- В военные годы я не помню голода, потому что жила в деревенских семьях, во-первых. Да, было тяжело, помню, копать, окучивать картошку. О-о-о! А и дрова, и все мы с бабушкой сами заготавливали. Но голода в военные годы не помню, а вот 1947 год очень запомнился.

- Скажите, сейчас, когда реабилитация уже почти закончилась, есть еще опасения, что все это может снова произойти?

- Кто ж тут предскажет? Но, если честно, иногда чувствую тревогу, до сих пор много неясного...

БЕЗ РОДИТЕЛЕЙ

Из воспоминаний Нонны Петровны Потаповой

Я родилась 24 апреля 1928 года в Перми. Отец, Петр Федорович Галанинский, расстрелян в январе 1938 года. Мать, Юлия Константиновна, провела в сталинских лагерях 8 лет.

Дед мой по маминой линии был священником. В 1918 году, когда после белых пришли красные, они его избили и он умер. Это было в Карагае. Я читала про деда в книгах, которые называются Клировые ведомости: дореволюционные записи о всех священниках, которые служили в той или иной церкви. У деда было пятеро детей, все они пели и играли на разных инструментах: дома была скрипка, виолончель.

Мама окончила епархиальное училище в Перми. Там, где современное хореографическое училище. Работала учителем младших классов. Сначала в Карагае, а потом в Перми и в Нижней Курье. Там был судоремонтный завод и при нем школа. Папа, Петр Федорович Галанинский, приехал туда работать техником после окончания речного училища. Его все называли инженером.

Они познакомились, и по поселку пошли слухи, что Петр Федорович ухаживает за Юлией Константиновной. Поженились в 1927 году. В 1931 году они уехали в Нижний Новгород. Мне кажется, что у папы в биографии все время что-то искали, хотели узнать его социальное происхождение, поэтому он ринулся в Нижний Новгород, туда, где родился. Что он там делал и почему сорвался потом обратно в Пермь со всей семьей, я не знаю.

Папа родился в Городце, это красивый городок около Нижнего Новгорода. Дед по отцовской линии был штурманом и капитаном парохода. А по семейным преданиям – и владельцем парохода. И будто бы папа выехал из Нижнего Новгорода в Пермь на семейном пароходе, который назывался «Приятель», а потом и работал на нем. Но когда он приехал, с ним случилось много событий. Сначала он оказался в зоне белых, заболел тифом. Потом туда пришли красные. Его хотели взять в армию, но не получилось почему-то, и он приехал в Пермь. Выдавал себя за человека, который родился в семье рабочего.

Когда папа приезжал в Нижний Новгород, мне кажется, он уничтожил все семейные документы. Мама социально чуждый элемент – дочь священника, он – то ли сын капитана, то ли пароходчика. Когда они снова вернулись в Пермь, то жили у маминого брата. Они вместе работали на заводе Красный Октябрь.

Но его влекла река, и он вернулся в Камское речное пароходство. Работал сначала техником, а потом поступил учиться заочно в Ленинградский институт водного транспорта, после чего его назначили начальником заготовительной конторы Камского речного пароходства. А это громадная территория, это все реки, которые впадают в Каму.

Отцу дали квартиру на улице Кирова, 113, где сейчас здание «Лукойла» с огромным шпилем. Я тогда поступила уже в школу. Меня очень любили. И я очень любила родителей.

Помню очень хорошо папу – высокого, стройного. Тогда все ходили в белых костюмах, папа тоже одевал белый костюм, белую сорочку.

В двухкомнатной квартире не бог весть что было. Дом какого-то купца: вверху квартира самого купца, а низ он, видимо, сдавал. Во дворе не было девочек, только ребята, я с ними играла. Двор огромный, весь усеянный ромашками и цветами.

Из того двора папу и увели. В Камском речном пароходстве, где он работал с 1933 года, отпуск ему дали только летом 1937-го. 20 августа у папы был день рождения. Вот, видимо, он и решил поехать в Нижний Новгород с мамой и со мной. Взяли билеты, заняли каюту на пароходе. Но вдруг накануне отъезда папа сказал, что его отпуск задерживается. Говорит, вы поезжайте, а я догоню поездом или пароходом.

Когда мы приехали в Нижний Новгород, там папы не оказалось. Мама волновалась. Но успокаивала и меня и себя: ничего, все будет хорошо, папа придет. Но папа так и не появился. И всю обратную дорогу мама плакала.

Приехали обратно. Была надежда, что уж в Перми папа нас встретит. А на пристань приехал маминой сестры муж. Я не слышала их разговор. Но когда приехала в свой двор, то мальчишки сказали мне, что отца увели под пистолетом.

Мама стала наводить справки. У младшей маминой сестры, Марии Вергрюн, муж был врачом и с 1936 года работал в тюрьме. Тетя Маша многое знала от него. После мамы и бабушки это был третий человек, которого я любила. Мама поехала на работу к папе. Почему-то папу арестовали и держали в отделе НКВД Камского речного и железнодорожного транспорта. А он помещался там, где сейчас железнодорожный техникум, на Перми I.

Мама добилась свидания с отцом. Мы пришли вместе. Очень хорошо помню комнату, в которой свидание происходило. Папа вышел, подхватил меня на руки. Он очень изменился. Всегда худощавый, он как будто пополнил. Я думаю, что его били, и он просто опух. Мама спрашивала о каких-то вещах и документах. Он говорил, что все лежит там-то, я ничего не брал. И говорил маме: «Все, что говорят обо мне, это все не так. Я ни в чем не виноват», «все обойдется, и поэтому не волнуйся». Мне тоже говорил, что «я скоро приду, и мы будем вместе».

Затем его увели. Свидание длилось около получаса. Что происходило? Я мало что понимала. Мне только исполнилось 9 лет.

Это было в начале сентября 1937 года, а где-то 27 сентября арестовали маму. Ее взяли прямо из квартиры. Меня спящую перенесли к соседям. По всем канонам, меня должны были забрать вместе с мамой, но этого не случилось.

В ту ночь у нас ночевала мамина сестра, тетя Зоя, и по ее рассказам я знаю, как все происходило. Они досконально описали все имущество, боялись что-то пропустить, говорили, что хозяйка придет, будет нас спрашивать, почему этого нет, почему другого. Тете Зое вы-

дали справку, что я передана ей на воспитание. Квартиру опечатали. На другой день тетя Зоя сказала, что маму арестовали, но она скоро выйдет.

Мама после ареста папы разговаривала с сестрами и братом по поводу моей судьбы и очень просила старшего брата, Накорякова Николая Константиновича, который служил врачом во второй клинической больнице, взять меня на воспитание. Тетя Зоя должна была ехать в Нижний Новгород, у нее там была семья, муж и ребенок. Она и отвела меня к дяде Коле.

Помню момент, когда я поняла, что осталась одна. Врагу не пожелаешь. Мне было плохо. Плохо еще потому, что отвели к тетке, которую я не любила. Я любила больше всех тетю Машу. Но она говорила, что «ты можешь приходить ко мне, но жить должна здесь, у дяди Коли, этого хотела мама».

Я понимаю сейчас, на что они шли, приняв меня в свою семью. Он – сын священника, его жена, Людмила Карловна Банэ, – дочь дворянки и обрусевшего немца, владельца аптеки. Они очень рисковали.

Когда я пришла, со мной была такая закрывающаяся бельевая корзина. Там лежали игрушки и котенок. Я училась во втором классе в школе 17, на углу улиц Ленина и Газеты «Звезда». У дяди Коли была собака. Может быть, именно из-за собаки – она как-то нехорошо отнеслась к моему котенку – я однажды зимой уложила свои вещи в корзинку и пешком отправилась к тете Марусе. Пришла и сказала ей, что буду жить у нее. Тетя Маша, видимо, не сумела сказать «нет».

Тетя Маша была потрясающей женщиной. Она постоянно писала заявления Берии, в Камское речное пароходство, в НКВД о том, что мама ни в чем не виновата. Что она честная женщина и ничего не знала, что происходит у папы. Самое любопытное, это возымело действие. Тетя Маша постоянно носила ей передачи. Мама находилась в тюрьме напротив Егошихинского кладбища. Однажды тетя сказала мне: «Пойдем вместе». Мы пошли рано утром и стояли в очереди весь день. Когда мы подошли, чтобы отдать передачу, уже наступили сумерки.

А потом тетя узнала, видимо через мужа, когда маму отправляют этапом. Эшелон жен увозили на восток. Она побежала на вокзал, пыталась увидеть маму. Но ей это не удалось.

На одном из свиданий мама сказала тете Маше: по тюрьме прошел слух, что папа подписал все, что от него требовали. В январе 1938 года его расстреляли. Увезли в Свердловск, где его судила «тройка», суд длился 15 минут. Папу обвиняли в том, что он шпионил в пользу Польши. Кроме того, вел подрывную деятельность в Камском речном пароходстве: не делал то-то и то-то, и все потому, что он был польский шпион. В итоге – 58-я статья.

А маму не расстреляли. Благодаря письмам, что писала тетя Маша, дело мамино пересмотрели. Приговор – «жена изменника родины», ЧСИР («член семьи изменника родины»). Дали восемь лет лагерей. Просидела десять.

Сначала она попала в АЛЖИР – «Акмолинский лагерь жен изменников родины». А потом ее перевезли в Долинку. Это лагерь в Казахстане. Там она и отбыла свой срок.

Мама говорила, что выжила только потому, что ее подруга по лагерю работала на ферме, и ей разрешали брать там сыворотку – то, что сливается после творога. А заключенных погибало очень много.

Мужа тети Маши отправили работать в Нытву, и я жила там с ними. Тетя Маша стала мне матерью. А потом снова я оказалась у Накоряковых. Я училась тогда уже в пятом классе, мне было 13 лет. Но нет, не хотела там жить и уехала к тете Зое в Горький. Когда я туда приехала, началась война. Город стали бомбить. И тогда мама в письмах из лагеря стала настойчиво просить, чтобы я уехала обратно в Пермь: «Пожалуйста, умоляю, вернись к дяде Коле».

Все годы войны я прожила у Накоряковых. Я по-настоящему благодарна им, потому что они очень много сделали для меня. До поступления в университет я жила у них, а потом ушла жить в общежитие.

Однажды Людмила Карловна спросила меня: «Ты не хочешь, чтобы мы тебя усыновили?» Был такой период в жизни нашей страны, когда люди старались спрятать фамилии осужденных. А я, естественно, носила фамилию своих родителей. Ответила тете Люсе, что подумую. Не помню, о чем я тогда думала. По-моему, возвышенных чувств не испытывала, не говорила себе, что должна сохранить фамилию папы, что не предаю родителей. Просто сказала тете Люсе: «Нет, не буду менять фамилию».

Я никогда ничего не скрывала. Когда принимали в пионеры, а потом в комсомол, открыто говорила, что у меня арестованы и отец, и мать. И когда я поступала в университет, в биографии черным по белому написала, что родители арестованы. Я не была одиночка. Еще у многих были арестованы родители: у одной подруги, у другой.

При всей моей любви к родителям, отношения с мамой, когда она вернулась, не сложились. Наверное, мы просто обе изменились. Мне уже 19 лет. Она стала чужой, я никак не могла ее назвать мамой. Наверное, мама сделала ошибку, решив, что она будет со мной в таких же отношениях, как и до лагеря. Когда я открыла дверь ипустила ее, то вдруг увидела: это не она, это совсем другой человек. Она меня хочет поцеловать, а я не могу. Тетя Люся говорила, что «надо сделать над собой усилие». А тетя Маша говорила, что со временем все обойдется. И со временем, действительно, все обошлось. Мама вернулась в 1947 году, но жила она первое время не в Перми, а на «105-м км». Не разрешалось вернувшимся из лагерей жить в больших городах.

У моего мужа, Виктора Петровича Потапова, была такая же история. Я когда с ним познакомилась, то сразу рассказала о своих родителях. И он признался, что его отец тоже «враг народа». Муж стал ученым. По окончании университета ему дали персональное направление из министерства во вновь организуемый институт Академии наук по выращиванию драгоценных камней. Сдал все экзамены, блестяще сдал профилирующий предмет – кристаллографию. Но потом к нему пришел какой-то человек и стал выспрашивать биографию. В анкете мужа было написано, что его отец умер в 1938 году.

И мужу сказали, что «вам нельзя работать в секретном институте. Вы не можете, не имеете права, у вас отец враг народа». И когда он вернулся в Пермь, то нигде не мог устроиться на работу.

После окончания университета в 1950 году мне предложили место лаборанта на кафедре. Я согласилась. А через год меня отправили в Москву на курсы подготовки преподавателей для высших учебных заведений. Но меня не приняли на эти московские курсы. Я обращалась в Министерство образования, разговаривала с организаторами курсов, но везде мне говорили, что я еще молода для работы со студентами. И пришлось вернуться в Пермь ни с чем. Я прекрасно понимала, почему так произошло.

Что касается советской действительности, я принимала ее такой, какая она есть. И мысли, что что-то надо менять, не было. Когда умер Сталин, я рыдала. Но когда пришел Хрущев, и наступила так называемая хрущевская оттепель, она внесла что-то в душу, и что-то стало во мне меняться. И хотя Хрущева часто сейчас ругают, та оттепель очень много дала людям. И поэтому я с очень большим воодушевлением и радостью приняла 1991 год. Я приняла нашего Ельцина. Он сделал то, что не сделал бы другой. Пусть сейчас это внешне ушло, но главное состоялось.

После возвращения из лагеря мама ходила в НКВД, в КГБ в поисках сведений об отце. Она получила извещение о смерти, где значилось, что отец умер от сердечного приступа в 1943 году. Как выяснилось позднее, это было традиционное вранье.

О судьбе своего отца я узнала благодаря пермскому «Мемориалу». Когда в 1988 году создавался «Мемориал», я не пропускала ни одного собрания. На одном из них выступил с лекцией молодой человек из Москвы, который знал все репрессивные документы, постановления и приказы с 1918 года наизусть. Информация, которую мы получили, потрясла меня. Я подошла к нему и спросила: «Как мне узнать правду о своем отце?» – «Когда он арестован и кем осужден?» – «Арестован в 1937 году, осужден «тройкой». – «Ну, значит, расстрелян. Вам надо подавать документы и требовать, чтобы вам показали его дело».

Отец был реабилитирован еще в 1956 году, а правду о нем я узнала только в начале 90-х.

ФАКТ АРЕСТА ОТЦА МАРАЕТ МОЮ БИОГРАФИЮ

Воспоминания Леонида Константиновича Салтыкова

Я родился 18 апреля 1927 года в Башкирии. Семья, конечно, как и у всех в те времена, большая. Жили мы то в городе, то в деревне. Отец Константин Михайлович, 1898 года рождения, окончил в Уфе духовную семинарию, мама там же окончила епархиальное училище. Встретились, где-то в 20-х годах, поженились. Отец получил духовное звание, и его назначили священником в деревню Михайловка Днекиевского района Башкирии. Это была русская деревня, жители – все сплошь русские. В трех километрах от нее находилось башкирское село Мелеуз. У мелеузцев были магазины, а в нашем селе все жили только собственным подворьем.



Леонид Константинович Салтыков. Снимок сделан весной 2004 года.

Детей в семье родилось много, в живых осталось пятеро: старшая Нина, 1925 года рождения, затем я, брат Николай (1932 г.р.), Зоя (1935 г.р.) и младшая Зина (1937 г.р.). Деревенские раньше были полуграмотными, особенно в те годы. Поэтому там специалистами и самыми учеными людьми почитались учитель и священник. Священником был мой отец, а учителя звали Шмелев. Очень хороший мужик, и библиотека у него была очень богатая – книги и русские, и иностранные. Даже не знаю, откуда он ее получил.

Учителя раньше как работали? В одиночку вели с первого по четвертый класс. Парты большие, на пять человек. Шмелев преподавал и грамматику, и математику, и чистописание, и все остальное. Иногда он разрешал мне пользоваться своей библиотекой: выбирай любую, читай что хочешь. А потом приглашал в класс и говорил: «А теперь расскажи содержание той книги, что прочитал, всем остальным. Им ведь не до чтения». И я часами пересказывал другим ребятам Виктора Гюго, Дюма... Они только рты разевали и слушали с большим вниманием. Начитанней меня, пожалуй, в деревне и не было никого. В семье нам никогда не запрещали читать. Чем интересовались – то и читали. И, конечно, учились очень хорошо.

Советские книги я не читал – как-то неинтересно было. Я в детстве, например, вообще ничего не знал о Павлике Морозове. Мы о нем даже не слышали. И о Стаханове у нас разговоров не вели – он же горняк, а моих земляков больше интересовало сельское хозяйство.

Информация до нашей деревни доходила долго. Даже свет электрический не видели.

Дом у нас был частный, небольшой. Из скотины держали только козу и кур. Огород соток семь-восемь. Он шел по склону к реке – большой, чистой реке. Отец был большим любителем сельского хозяйства. Садил овощи и обязательно подсолнухи. Отец привозил из Уфы семена дынь и арбузов и разводил их. Ни у кого в деревне их не было, только у нас.

Вставал отец часа в четыре утра. Таскал воду с реки, поливал огород. У матери тоже забот хватало – нас, армию ребятишек, одеть, накормить, обиходить. Жаль, что в детстве я не интересовался ранней судьбой родителей, сейчас было бы интересно узнать. Например, у отца не было пальцев на обеих ногах. Он даже носил специальные сапоги, чтобы удобно ходить. Я как-то поинтересовался, а он не стал вдаваться в подробности. Сказал, что в 1917–18 годах попал в ополчение и отморозил ноги. Кто его взял в ополчение – белые, красные? Не знаю. У нас сохранился его альбом, куда писали стихи и песни его друзья, девицы. Он датирован с 1915 по 1918 год. Правда, тетрадь эта сохранилась не в полном объеме: дети выдирали по листочку, рисовали что-то на них.

Про семью отца я знаю немного. Их было три брата, отец – средний. Старший брат Петр Михайлович – полковник царской армии. После расформирования армии поселился в Билибирии (район Башкирии), там женился. Как бывшего офицера его посадили на десять лет, но не расстреляли. После того, как отсидел, он несколько раз приезжал к нам – такой усатый, бритоголовый и громогласный.

По линии матери помню дедушку, который, кстати, служил проректором по экономическим вопросам той самой духовной семинарии, в которой учился отец. Он имел сан священника. Я его помню: пожилой мужчина с огромной седой бородой. И бабушка Анна Андреевна отличалась образованностью. До Гражданской войны работала учительницей. У нее было восемь детей, не считая тех, что рано умерли. Четыре сына и четыре дочери. Сыновья все прошли фронт, погиб только один – Константин. Остальные вернулись живыми и здоровыми и переехали в Челябинскую область.

Сейчас в живых остались только две сестры моей матери, им более восьмидесяти лет. Они, конечно, многое пережили. Жаль, что по молодости не расспросили бабушку о ее судьбе, о детях.

Поскольку семья была большая, мама с детства привыкла к труду и приучала нас. Каждому выделяла свои обязанности. Отец был занят в церкви – службы, панихиды, свадьбы... А в свободное время он занимался огородом. Держал нас, детей, не очень строго, никогда не порол. Жили дружно.

В доме устроены большие общие полаты, на которых спали все вповалку: нас семь человек да еще гости иногда приезжали. Родители рано утром уходили по своим делам, а мы, ребяташки, спали, сколько хотелось. Если будний день – в школу идешь, если выходной и хочется с ребятами поиграть, подружиться – идешь на улицу.

Одевали нас просто, но добротнo. У всех сапожки. А мне очень хотелось иметь лапти, такие, как у многих ребят в деревне. Попросили одного мастера, и он мне сплел – маленькие такие, как раз по ноге. Вышел – ну и красота! И бегать как легко! Портяночки подкрутил – да и крутись на здоровье!

Мать с коромыслом и ведрами за три километра ходила в Мелеуз к частникам и колхозникам за пахтой (отработанным молоком). На плечах собственных носила. Стоила пахта недорого, и, откровенно говоря, именно этим мы и питались. Ну и, конечно, на столе всегда были картошка, морковка, свекла, капуста со своего огорода.

С соседями никогда не ругались, дружили. Особенно мужики: выйдут, бывало, сядут на завалинку, закрутят самокрутки и – пошли разговоры! Новости-то от кого узнавали? От учителя да от священника – они только грамотными и были. Газеты читают, новости рассказывают, проблемы обсуждают. Потом, видимо, это им в вину и поставили...

Отец тоже выписывал газеты, в том числе и местную «Красную Башкирию». Возможно, с мамой обсуждал новости, но мы, дети, не слышали, да и не интересовало нас это совсем. Мы, пацаны, всегда возле мужиков бегали, крутились, но к разговорам не прислушивались. Ходили на речку рыбачить, что поймаеть – то общее.

Конечно, деревенские в те годы всегда были верующими. Обязательно ходили в церковь, особенно по большим праздникам. Причащались, исповедовались, строго соблюдали обряды. Староверы в Михайловке не жили. Семья у нас, само собой, тоже православная, в Бога верующая. Но не могу сказать, чтобы мы часто ходили в церковь. Нас, детей, водили причащаться, исповедоваться, а в дни крупных церковных праздников посещали церковь: на Пасху, на Рождество.

Не могу сказать, чтоб мы сами изъявляли желание пойти, к примеру, причаститься. На исповеди я вообще никогда не ходил. Слышал, что это такое, но не чувствовал необходимости. Каяться не в чем, прегрешений не совершил. Причаститься – это, конечно, праздник. Мама приводила, говорила: «Перекреститесь, поцелуйте руку батюшке, выпейте глоточек кагора». Чувствуешь, что подошел ближе к Богу, очистился до следующего большого праздника.

Помню еще, что мы на Рождество ходили колядовать: брали сумки через плечо, шли по дворам, пели песни, и каждый нам то лепешку, то пампушку какую в ладошки совал. Выносили куски пирогов, шанежки, конфетки простенькие (хороших-то конфет, собственно говоря, никто в то время еще не видел). Потом все собирались в одном месте и на-



*Леонид Константинович
во время учебы в школе, пионер.
Снимок сделан в конце
1930-х годов.*

чинали разговляться – кушать то, что наколядовали. При этом все переживали большой душевный подъем, потому что угощения мы заслужили собственным трудом, отметили праздник.

Я в детстве был верующим. Крестили меня, как это принято, до года. Крестил, скорее всего, не папа, потому что отцу крестить собственного сына было не совсем с руки. Но как только пошли в школу, от отца мы больше ни слова не слышали о религии. Единственное, нам не запрещалось читать религиозные книги – Новый Завет, Старый Завет. И я читал, потому что было интересно. С детских лет знал, что такое Бог, Иисус Христос. Мучения Христа воспринимались очень ярко. К тому же, Старый и Новый Заветы написаны на понятном русском языке.

Я научился читать еще до первого класса. Книг было мало, а с чего-то ведь надо начинать. Вот и читал заповеди Луки, Петра, Иоанна. Ну, а потом уже дорос до большой литературы.

В школе нам ни слова не говорили о религии. Уроков закона Божьего не было, темы этой никак не касались. В Михайловской деревне я проучился до четвертого класса. Кстати, ни о Ленине, ни о Сталине нам тоже много не рассказывали. Учителю нужно все предметы охватить: и чтение, и математику. Все нужно было успеть. Так что о политике не разговаривали, не учили нас этому делу.

Учитель нам рассказал только, что Ленин свершил революцию. Что он хотел отдать землю деревне, а заводы – рабочим. А Сталин – его ученик, продолжатель его дела. Ленин умер – значит, появился Сталин, преемник. У Ленина основная идея электрификация, а у Сталина – коллективизация. То есть развивали разные подходы в идее коммунизма.

Помню, что в книгах для чтения были фотографии Егорова, Берии, других вождей тех времен. И как только кто-то себя «замарал», мы должны были вымарывать лист с его фотографией. Или уже получали учебники, в которых вместо фотографии – темное пятно. Сильно не объясняли, просто говорили, что такой-то – враг народа, изгнан из власти, и вам не надо ничего про него знать. Только и всего.

А мы, русские, народ доверчивый, считали, что так и надо. Верили, что эти политики, действительно, изменники и за это наказаны. И учи-

телей ни о чем не спрашивали. Во-первых, эти решения принимало высокое начальство. А во-вторых, честно говоря, нас это не интересовало. Поймите, у каждого возраста свои интересы.

Село практически полностью было единоличным. Организовывать колхозы начали поздно, где-то в 1935 году. Построили здание, в котором организовали МТС (машинно-тракторную станцию). Трактора все государственные, следующих марок: ЧТЗ (Челябинский тракторный завод) и ХТЗ (Харьковский тракторный завод). Эти трактора с большими металлическими колесами, без кабин, с металлическими сиденьями.

Стали появляться специалисты – трактористы. Даже женщины среди них были. Они всегда ходили чумазые, в масляных фуфайках. Видели мы на полях всю эту технику: колесные трактора, сеялки. Но по-прежнему работали больше на лошадях. Хлеба убирали в основном косами. Существовали специально приспособленные для этого косы: со стерня падало только в одну сторону. Потом колосья вручную собирали, вязали снопы и составляли из них услоны. А потом, как только подсохнет, отвозили на общий ток – и пошли молотить!

Идею создания колхоза, по моему мнению, в деревне боялись обсуждать. У всех единоличников просто забрали скот и свели его в общее стадо. Ну, все и пошли в колхоз: кто дояркой, кто конюхом. Все, что производили, сдавали государству. А куда деваться? Работать-то где-то, жить на что-то надо!

Я ни от кого никаких недовольств не слышал. Русские люди привыкли мирно жить – своим умом, но дружелюбно. На этом, по моему разумению, вся эта государственная политика и строилась. Однако могу сказать, что с началом коллективизации мы почувствовали, что начались гонения. Единоличников обложили большим налогом, стали отнимать скот в пользу колхозов. Коллективизация была процессом насильственным, а не добровольным. Просто силой заставляли людей, чтобы они тащили в общее стадо своих коров, лошадей, отдавали собственные телеги, сельскохозяйственную технику. Я вспоминаю, как каждый человек, проходя мимо колхозного стада, обязательно говорил: «Вон моя лошадушка, моя красавица». Никогда свою скотинку не забудешь, всегда выделишь ее из всего стада.

Конечно, коллективизация – насильственная мера, но нельзя сказать, что это было так уж плохо. Просто люди еще не готовы были познать всей прелести колхоза. Чем он хорош? Если человек хорошо работал, то ему записывали два трудодня за день; плохо – по половине трудодня. А осенью за трудодни с людьми рассчитывались натурой: кто зерно закупал, кто необходимые вещи.

Но плохо было то, что, по моим воспоминаниям, мужики ходили в галифе, с тетрадами и записывали, кто что делает, а работали одни бабы. Мужики все лезли в начальство, в бригадиры, а женщинам дру-

гой дороги нет, как только идти в работяги. Это уже не-уровниловка началась.

У меня довольно сомнительное отношение к власти. Причиной стал один случай, который произошел в моем детстве. Нас было трое близких друзей. Как-то одна бабушка попросила поправить сгнившие ворота. Точнее, вырыть сваи, на которых эти ворота держались. Говорит: «Я хоть на дрова их распилю». Ну что ж? Взялись за лопаты, стали выкапывать. Один из нас взял и сказал: «Я пойду домой, что-то есть захотелось». И ушел. Мы, конечно, вдвоем закончили работу, но нам стало обидно, захотелось подзадорить лентяя. Когда он появился, мы ему заявили: «Проел, пробегал? А мы копали, и чугунок с золотом нашли внизу!». А этот парнишка пошел да и рассказал все отцу.

Отец оказался больно жадным – ночью в милицию побежал. Милиция долго ждать себя не заставила, той же ночью приехала на тройке. Нас троих подняли с постели и привели в съезжую избу. Сел перед нами милиционер в галифе, револьвер на стол выложил. «Ну, рассказывай, где золото». – «Да не было золота!» – «Как не было? Ну, я тебя...» Начал грозить: «Врешь! Мы вас на чистую воду выведем!» Поставил меня за колодку и вызвал второго парня. А тот тоже подтверждает мои слова: «Да не было золота! Мы решили его поддразнить, потому что он убежал от нас!» Тогда милиционер стал третьего допытывать: «Ты откуда про золото узнал?» – «Да они так сказали... Я сам его не видел...» – «Зачем же ты отцу сказал? Только нас зря вызвали! От дел оторвали, нервы потрепали...»

Вот после этого у меня появилась какая-то неприязнь к милиции, к власти. Неужели взрослые люди не понимают, что ребята могут и приврать друг другу? А даже если и было что, так почему днем не приехать для разбирательства? Почему среди ночи примчались? Вот из таких мелочей и складывается мнение.

Подошел 1936 год. Тут не только единоличников начали притеснять, но и священников. Стали грабить церковь, растаскивать церковную утварь – серебро, старинные иконы. Делалось это от имени государства. Отец и мама, может быть, чего-то не одобряли, но в открытую недовольства не проявляли.

В те дни отец несколько раз ездил в Уфимскую епархию. Возможно, там он советовался, как быть дальше, что делать. Потом стали скидывать колокола с колокольни местной церкви. Они падали и раскалывались от удара о землю. Какие-то выскочки разбойничали. Те, кто только орать умели, а работать не умели и не хотели. Горланили на всю деревню: «Мы коммунисты, мы безбожники – сейчас все тут разгромим». И, конечно, залезли на колокольню, обрезали цепи, веревки... Хорошо хоть не сожгли.

Чуть позже церковь и вовсе прикрыли, службы запретили. После этого верующие собирались по домам. Я сам слышал, как некоторые

монашки и псаломщик распевали свои церковные. Отец дома службы не осуществлял. Единственное, его односельчане приглашали молебен отслужить, если кто-то умер, или свадебный обряд провести. Это, конечно, он выполнял. А так, чтобы проповеди какие-то читать – такого я не слышал.

Конечно, веру так просто не разрушить. У каждого в деревне своя божница, свои иконы. Встанут утром, перекрестятся, про себя помолются (молитвы-то все знали).

И вот началось. Забрали отца. Приехала милиция и увезла его в районный центр – село Киргиз-Мияки. Месяца два, наверное, его не было. Но отпустили. Отец вернулся, месяца три пожил с нами. Лето как раз – самая горячая пора на огороде. И снова приехала милиция. Забрали его – и с концом.

Думаю, его отпустили в первый раз, потому что поначалу хотели привлечь к ответственности по какой-то более мягкой статье. А тут, видимо, вышло специальное распоряжение, чтобы духовных лиц арестовывать, и его подвели под 58-ю статью. Хотя, кто его знает? Всеми этими делами ведали «тройки», про которые мы в то время даже не слышали. Они ведь не рекламировали себя, их, возможно, даже в лицо никто не знал. Я впервые услышал о «тройках», когда стал искать правду об отце.

Сейчас мне кажется, что он знал, что за ним придут повторно. Он ведь сильно переживал, по настроению было видно, что он все время в тревоге, угнетенный. Мама тоже ждала, что придет какое-то горе. Ее от горестных дум отвлекало лишь сознание того, что у нее пятеро ребятишек и надо защитить их.

Семья переживала большое горе. Мы чувствовали страшную неопределенность: что же случилось с отцом? Мы от него даже письма не получили. Конечно, предполагали, что раз церкви закрывались, значит, и служители церкви могут стать ненужными людьми. Но не верилось!

Мы никогда не верили в то, что наши деды и отцы, подвергшиеся репрессиям, в чем-то виновны. Никогда не верили! Мы знали, что это – политика. Политика изгнания наиболее умных, грамотных. Поче-



Фрагмент фотографии. Семинарист Уфимской духовной семинарии Константин Михайлович Салтыков – в будущем отец Леонида Салтыкова. Снимок сделан в 1914 году в Уфе во время учебы в духовной семинарии.

му, например, в начале Великой Отечественной мы потерпели столько поражений? Потому что практически половина военных командиров была расстреляна, и некому было организовывать военные действия. А уничтожили их «высочки» в рядах партии, которые хотели потеснить «старую гвардию». Они и политику Ленина извратили (хотя, с другой стороны, Ленин и сам был жестоким человеком).

Вообще в репрессиях погибли миллионы. Гибли и деревенские, и заводские ребята, у которых максимум четыре класса образования, полегла и интеллигенция. То есть самая думающая прослойка общества. На них обрушились государственные репрессии, потому что они чувствовали неправду. Что власти говорят одно, а делают другое. Говорили: землю крестьянам, а есть ли у них земля? Нет! Одни колхозы. Говорили: фабрики рабочим, а рабочий как стоял за станком, так и остался там стоять. А заводом командуют другие.

Если бы они были врагами, то разве сейчас существовало общество «Мемориал», разве были бы у нас на руках документы, свидетельствующие, что отец, мать, дети, братья – невинные?! Это же исторические документы. Прежде чем их выдать, эту ситуацию сотню раз проверили, переосмыслили. Предателей среди них не было – это я знаю точно.

Мама попыталась узнать, что случилось с отцом. Съездила в районный центр, в Мияки, где ей ответили, что папу увезли в Уфу. И все. «Больше мы ничего сказать не можем». Ни одной записки от отца. Никто ничего не объяснил.

Отца забрали в декабре 1937 года, а в 1939 году мы переехали к бабушке в город Катав-Ивановск Челябинской области. Бабушка сама нам написала: «Надо быстрее вам уезжать, пока самих не забрали». Да и жить не на что стало.

Мама не могла вступить в колхоз, да и не хотела. Пятеро детей, младшей Зине на момент ареста отца три месяца – какой из мамы работник? Старшей Нине 12 лет – она могла только-только за младшими приглядеть. Да и потом, кто пригласит жену арестованного священника в колхоз?

Около года мы кое-как перебивались, и почувствовали, что уже невмочь. Продукты только со своего огорода, а много ли там вырастишь? Только картошку. Но ведь помимо этого нужно еще что-то иметь! А откуда оно возьмется? Сначала соседи нас очень жалели, всегда помогали нашей матери. Помню, возьмет она заплечную котомку, идет в соседнюю деревню. Приходит, стучится: «Вот, трудно нам живется... Помогите, чем можете». Кто ей муки отсыплет, кто зерна даст, кто картошки. Приносит домой – это мы и едим. Что-то продавали, чтобы хоть какие-то деньги иметь. А потом мама подумала, что раз дело отца не предадут огласке, раз не положена переписка, – значит, надо убегать, чтобы хуже не стало.

И тогда она выправила себе и нам документы на свою девичью фамилию. Дело в том, что брак у них был церковный, в метрике они значатся как Салтыков и Котлова. Мы, дети, получили метрики на фамилию Салтыковы. Эти метрики сохранились, по ним и паспорта впоследствии получали. Но после ареста отца мама решила записать нас на себя. Получила паспорт на фамилию Котлова, собрала нас и уехала к своей матери.

Мы все в Михайловке бросили – лишь бы уехать. Потому что боялись. Боялись, что еще мать, не дай бог, куда-нибудь зашлют, а нас в детдом отправят. Дом свой продали и на эти деньги уехали. Доехали, как положено, на поезде. Сняли какую-то комнату. Немножко стали помогать мамини братья. Мы, ребяташки, пошли в школы – надо же продолжать обучение. Учился я хорошо, за каждый класс у меня похвальные грамоты. В школе относились нормально – и одноклассники, и учителя. Про арест отца никто не знал, тем более у нас с ним фамилии разные.

После всего пережитого я почувствовал себя взрослым. Можно сказать, заменил отца. Забота, к примеру, о топливе лежала на мне. А по остальным делам я решал проблемы наравне с мамой. С того времени мне приходилось везде и всегда доказывать, что я не хуже других. Это стало чуть ли не главной жизненной целью. У меня совсем не было детства, не было юности. Пошел работать в 14 лет – какое детство, какая юность?!

Я даже не мечтал ни о чем. Сейчас юноши и девушки гораздо эрудированней, чем мы были тогда. Мы, дети, играли между собой, учились, но нигде не бывали, ничего не видели. Я, конечно, много читал, но для меня это было наравне с божественной историей. Читал про Англию, Францию, – но это настолько далеко от нас, что я даже понятия не имел, где они находятся и как реально там живут люди.

И если бы не память об отце, если бы не мать, которая была для нас опорой, во время войны я вполне мог бы свихнуться. Многие, такие как я, безотцовщина, стали хулиганами и даже ворами. А я боялся, не дай Бог, подвести мать, или что кто-то укажет на меня пальцем, будто отец, мол, нехороший и сын такой же. Мысль об этом предохраняла от плохих поступков.

После того, как я окончил пятый класс, мы переехали в Усть-Катав, поближе к вагоностроительному заводу. Мне было 13 лет, и я пошел в ФЗУ (фабрично-заводское училище). Затем началась война, ФЗУ прикрыли, и я поступил в ремесленное училище. Сразу, как только пришел на завод, я во всех анкетах стал отмечать, что отец у меня умер. А что говорить? Иначе бы меня на завод Кирова (он был оборонным) не пустили и образования я никакого не получил бы. Я это сразу понял. К тому же, не сильно погрешил против правды: для нас его действительно уже не было.



Л.К. Салтыков (во втором ряду крайний справа) в период работы на заводе им. Дзержинского в должности заместителя начальника цеха. Пермь. 1955 год.

И в семье всех предупредил: «Я, пока нет ясности, пишу в анкетах, что отец умер. И вы пишете то же самое, чтобы каждый говорил одно и то же». Окончательно эта легенда сложилась в 1941 году, когда я окончил 6-й класс. Записал сначала в анкете на заводе – перепроверять никто не стал. Ведь в то время было столько смертей, что это никого не удивляло. Отсюда и укрепилось.

Мама пошла работать почтальоном на почту. Специальности у нее никакой не было, но она легко устроилась, без проблем. В то время кругом требовались люди. Работала почтальоном, таскала на плечах сумку с похоронками, с письмами фронтовиков. Помню, частенько приходила расстроенная: «Ой, опять похоронку принесла!» Деньги, разумеется, получала маленькие – где-то около 400 рублей в месяц. На почте проработала всю войну, а после ее окончания уже не работала нигде. К тому же, мы уже подросли, уже встали на ноги. Я рассудил так: слесарь – специальность неплохая. Вот и стремился выучиться.

Жили мы в бараке. У нас было печное отопление, я таскал на себе дрова, пилил их, колол. Водопровода не было, носили воду ведрами из колодца. Комната 18 квадратных метров, жили впятером. Маму я жалел, просто жалел. Ведь запросто мог стать бандитом, но меня удерживало осознание того, что мама и так настрадалась, чтобы мне еще ерундой заниматься.

Честно говоря, я устал постоянно принимать какие-то решения. Но кто другой мог взять на себя ответственность? У матери свои заботы. У нее глаукома появилась на глазах. Она практически ослепла. Ну, с кем посоветоваться? Не с кем. Значит, – принимай решение сам. Вначале за себя, потом за семью, потом за своих младших брата и сестер, потом за родственников. С тех пор эта обязанность лежит на моих плечах тяжким грузом.

Окончил ремесленное, поработал мастером в училище, затем устроился на завод слесарем. Параллельно учился в вечернем техникуме, который окончил в 1949 году. Причем, окончил с красным дипломом – первый в истории этого техникума.

Меня тут же без экзаменов зачислили студентом механического факультета Уральского политехнического института в Свердловске. Стипендия небольшая – 195 рублей. А на нее нужно прожить, одеться, да еще семье часть отправить. Стал подрабатывать – по ночам разгружал вагоны. На одну из зарплат я даже позволил себе приобрести лыжный костюм. Раньше каждый студент считал гордостью ходить в лыжном костюме. Никаких бабочек, никаких костюмчиков. А в лыжном костюме и удобно, и гладить не надо. В нем прилично и в театр сходить, и на занятиях появиться. И тепло. В общем, приобрел самую что ни на есть нужную одежду.

Тяжело работать и учиться, да еще на пятерки и четверки, чтобы стипендии не лишили. Но все равно студенческая жизнь была очень

интересной и насыщенной. В УПИ я проучился три курса, а потом меня забрали в военрем в Ленинграде. Там тоже никто не знал про моего отца. Никто не знал. Но я-то в душе своей не забывал о нем никогда. Не было другого выхода, кроме как скрывать судьбу своего отца. Поэтому что таких не брали в институт.

Мы знали очень мало о политике. Но я вот что должен сказать: хотя у меня отец пострадал, другие репрессированные пострадали, но все-таки к Сталину я отношусь лучше, чем к нашим руководителям сейчас. После войны стали строить заводы, дороги. Мы уже не голодали, у нас появилась возможность что-то купить. И это нас подстегивало. После окончания института у каждого была полная гарантия, что он попадет на нужный завод и получит конкретную должность. А дальше уже от тебя самого зависело, как ты пойдешь по карьерной лестнице.

Хорошо помню день смерти Сталина. В то время я еще учился в УПИ в Свердловске, но уже собирался ехать в Ленинград. У меня сохранилась фотография: мы, студенты, несем почетный караул у большого портрета Сталина. Траурные приспущенные знамена, монотонная музыка. Эти дни в моих воспоминаниях – непрерывная музыка печали. Для нас его смерть была огромной трагедией. Мы знали, пока есть Сталин – жизнь понемногу улучшается. Все надежды связывали с его личностью. И когда его не стало, мы были в растерянности – что будет дальше?

В нашем восприятии Родина и Сталин были одним целым. Ведь мы знали, что наши бойцы, солдаты шли с криками «За Родину, за Сталина!». И мы воспринимали это совершенно естественно. Во время войны забылись репрессии. Люди даже перестали болеть – хворать было некогда, все работали. У всех головы заняты только тем, как помочь фронту. Какой солдат без оружия, без патронов, без снарядов? А кто им все это поставлял? Мы – пацаны, дети, женщины. Мы действительно не считались ни с временем, ни с здоровьем.

Когда кончилась война – это было счастье. Но опять же – разруха кругом. И за какие-то 4–5 лет подняли страну, восстановили заводы. Организатором этого был наш вождь, наш Сталин. Его заслуга в этом неоценима! Ведь весь народ сумел поднять на восстановление. Народ погнал в трудармию.

Трудармия – это был специальный набор людей, которых вербовали только для работы. В трудовую армию набор такой же, как и в обычную армию. Нужно строить – строили, нужно прокладывать железную дорогу – прокладывали ее. Трудармейцам выдавали казенный паек. Все, как положено, только одежда не военного образца. Это было хорошее изобретение. Еще лучше было бы, если кто-нибудь добровольно пошел восстанавливать промышленность.

Ну и, конечно, одно из главных преимуществ Сталина, за что его вспоминают все пожилые люди, – это ежегодное снижение цен. Каж-

дый год – с 1946 по 1948 – мы ждали снижения цен. Мы стали жить получше. Денежки-то те же самые получали, зато продукты стоили дешевле, и их становилось больше.

Я считаю, что Сталин вполне заслуживает уважения, потому что если бы не его политика, то вряд ли эти снижения были бы. Авторитет Сталина был очень велик. Разброд, разлад в коммунистической партии начался уже с Хрущева, который развеял культ личности. Наверное, он хотел обнародовать репрессии. Но после него все кинулись критиковать партию.

О культе личности мне говорить сложно. Потому что мы знали только Сталина. Мы знали, что он наш вождь. Конечно, его окружали члены ЦК и политбюро. Хотя мы их и знали, но роли их не чувствовали и не видели. Так о каком культе тут можно говорить?! Мы знали, что все идеи идут от Сталина, а остальные только исполняли. Культ личности нами не признавался, и он был для нас неважен.

Я считаю несправедливым мнение, что в репрессиях виноват один Сталин. Как раз наоборот. В первую очередь в репрессиях виновато его ближайшее окружение. Это сейчас очень много информации – на разных телеканалах разное мнение, и ты сам выбираешь то, которое считаешь истинным. А в то время ни рекламы, ни информации не было. И Сталина просто пугали, преподносили ему ложную информацию. Говорили, например: «Против тебя затеял заговор Бухарин». И преподносили это так, что хотят его предохранить. Поэтому и получали от Сталина «добро» на арест и ликвидацию.

Оканчивал институт я уже в Ленинграде, куда нас отправили на ускоренный курс. При распределении я выбрал Пермь, завод Дзержинского. Здесь, в Перми, у меня никого не было, приехал сюда один. Потом всю семью вытянул в Пермь. Всю! Только женился – и сразу привез мать, сестер, брата. Долго бились, но устроились и стали жить.

Постепенно я продвигался по служебной лестнице. Анкетные данные у меня не проверяли. Так шло до 1958 года, когда я стал заместителем начальника цеха. Цех приступил к выпуску спецпродукции, и меня, как руководителя, должны оформить на так называемую «группу секретности».

И вот тогда я почувствовал, что необходимо заниматься реабилитацией отца. Это уже не институт, где не обращали внимание на родословную. Обстановка на заводе совсем другая. Ведь при оформлении на группу секретности на заводе проверяли досконально всю биографию, поднимали все архивы. И я готовился к тому, что меня раскроют с мнимой смертью отца. А если бы раскрыли, то, не дай бог, еще в какие-нибудь шпионы записали бы! Нужно было обрести ясность в отношении судьбы отца, иначе мне пришлось бы плохо.

И тогда я, предвидя заранее это дело, в 1962 году написал в Башкирию: «Прошу сообщить, где мой отец». До этого, по сути, у меня не

было необходимости, не было нужды узнавать, что случилось с отцом. Мне прислали ответ, что в 1938 году Салтыков К.М. был осужден по статье 58, пункт 10–11. Я повторно отправил запрос, живой он или нет. Пришло письмо: «Умер в местах заключения от крупозного воспаления легких в 1943 году». Я тогда подумал: Боже ты мой, в 1937 году забрали – и до 1943-го он где-то маялся.

Тогда я обратился в Верховный суд, приложил к запросу копии документов из Башкирии и собственное письмо, где изложил свое мнение, что «не верю, будто мой отец был «врагом народа». Через какое-то время в 1965 году мне прислали документ – справку о том, что отец признан безвинно осужденным и посмертно реабилитирован.

И когда стали оформлять на группу секретности, тут же меня вызвал к себе начальник отдела кадров Казаков. И говорит мне: «А ты ведь неправильно написал!» – «Что неправильно, Иван Иванович?» – «У тебя отец-то ведь не умер. У тебя его арестовали!» – «Да, арестовали». – «А почему же ты так написал?» – «А кто бы меня пустил в институт учиться, на завод работать, если бы я написал правду? Но теперь смотрите справку, – я честный человек. Теперь меня нельзя ни в чем упрекнуть».

После этого мне разрешили исправить анкету: мол, не знал, что отец был арестован и осужден, но теперь на руках имею документ, что отец – безвинный, что он реабилитирован. Рассмотрели, приняли и перевели на группу секретности. После этого началось восхождение по карьерной лестнице: стал начальником цеха, затем секретарем парткома, затем главным инженером, затем директором.

История отца могла помешать моей карьере. Обязательно! И даже сильно помешать. По правде сказать, я даже, наверно, в институт бы из-за этого не попал.

А полученную справку я сразу же размножил и выдал каждому родственнику: «Если вас кто-то в чем-то будет прижимать – вот документ, который подтверждает, что вы чистые». С этого момента мы стали законными людьми.

Потом я уже не интересовался судьбой отца. Получил похоронку – и смирился. Какой смысл переживать дальше? Надо жить, а не горевать. Горе тоже скоро забывается. Жить надо, жить хочется и жить хорошо, как говорил Маяковский. Просто это личная трагедия, которую затаил в себе – и все.

В то же время я, как человек с точки зрения лояльности чистый, подал документы на вступление в партию. Ведь не все же члены партии – дураки. Мне обязательно нужно было доказать, что я сын безвинного человека, чтобы подниматься по служебной лестнице дальше. В партию вступил по нескольким причинам. Во-первых, если ты не являлся членом партии, то не мог занимать руководящую должность. Во-вторых, как мне казалось и как, по правде сказать, я думаю

до сих пор, – не все члены партии карьеристы и болтуны, стремящиеся в КПСС ради собственных «шкурных» интересов. И мне хотелось быть в рядах таких честных, искренних, ответственных людей.

Конечно, я не склонен идеализировать партию. Например, когда был директором Центра стандартизации метрологии, я знал, что при обкоме партии составлен список лиц, которых ни при каких условиях никогда нельзя опустить ниже определенного уровня. Не справился с одной работой – переводят на другую должность такого же ранга. И этот человек уже не исчезает из поля зрения. Раз попал на эту орбиту – он уже с нее не сойдет.

И мне, директору, было очень сложно лавировать между обкомом партии, законом, Госстандартом. Я не мог принимать за чистую монету все, что говорил обком партии, потому что я знал гораздо больше. Но со мной считались, очень сильно считались! Ведь я был в свое время даже секретарем парткома. А секретарь парткома на заводе имени Дзержинского – это уже уровень секретаря райкома, потому что завод насчитывал две с половиной тысячи коммунистов.

Замечу: меня интересовал не уровень должностей, а уровень знаний, и я поднимался в соответствии со своим уровнем. Количество денег и количество влиятельных друзей меня не волновали. Я не гнался за должностями. Предлагали интересную должность, – я соглашался. Но только потому, что мне хотелось. Так я стал главным инженером, стал директором.

Я до сих пор считаю, что факт ареста отца марает мою биографию. Это въелось в мою кровь, хотя я и доказал потом, что отец невиновен. На заводе, пожалуй, до сих пор никто об этом не знает. Кроме отдела кадров и секретного отдела. Из остальных никто не знал и не знает! И кому особенно это надо? Кому какое дело, кем был мой отец? Если бы кто-то спросил у меня, я бы нашелся что ответить: «Вот, извини, у меня есть документ». Я специально позаботился о наличии этого документа, чтобы вопросов не возникало.

Такую справку иметь необходимо, просто обязательно. Возьмите, например, известный сталинский тезис «Сын за отца не отвечает». Это ведь только теория, а на практике все происходит наоборот. Все отвечают за своих отцов. Я чувствовал, что могу пострадать из-за своего отца. Поэтому и стал доказывать, что это неправда, что я такой же, как все. Из-за репрессии чувствовал себя ущербным, неполноценным. И это было очень тяжело.

Даже женился только в 27 лет, когда почувствовал себя более-менее на ногах. А до этого и подумать не смел, как это я, голодранец и с такой биографией... Девушки у меня всегда были очень хорошие. И как я мог любой из них предложить стать моей женой? Что бы сказали ее родители? Не хотелось срамиться. Как скажу, что я сын расстрелянного? Я стыдился этого. Ждал до того момента, когда уже стал

самостоятельным и мог сказать: «Да, у меня отец был такой-то. Но он ни в чем не виноват перед своей Родиной».

Мы с будущей женой Татьяной познакомились в 1961 году и в том же году поженились. Рассказал ей обо всем до свадьбы. Мол, так и так. «Не пугаешься?». Не испугалась. Мало того, ответила: «Ну и что ж? В моей истории тоже есть такая история». Ее деда расстреляли где-то в 1937–38 годах на Донбассе. То есть она понимала, что это такое. Она меня понимала. Поэтому мы и сошлись.

Рассказав об отце, я хотел избежать неожиданности. Разумеется, был уверен, что мой рассказ не повлияет на ее решение. Ведь видишь человека, его характер. Жена у меня хорошая – мне другой не надо. В молодости встречал девушек видных, красивых, но не знаю, как бы они потом стали ко мне относиться. А моя Татьяна всегда верная была.

Можно сказать, из-за репрессии я стал только крепче, упрямее. И всегда считал, что из-за этого нельзя уйти на скользкую дорожку. Мной двигало чувство, что я должен доказать всем: дети моего отца – хорошие люди. Настоящие люди. И так оно и получилось.

У меня две дочери. Я старался, чтобы у них все было хорошо. Пусть моя жизнь исковеркана, но чтоб, не дай бог, до них не дошло. Чтобы они жили с ощущением, что у них отец – нормальный человек! И им некого стыдиться. Я – нормальный. Нормальный для них и для всех остальных.

Правда, до сих пор чувствую себя обиженным. И обиду эту ничем не вытравить, потому что не понимаю – за что мне такое? Своим детям рассказал, что дедушка был репрессирован. Я их собрал и сказал: так, мол, и так, имейте в виду. Не хотел, чтобы они пострадали так же, как я в свое время. Поэтому и рассказал все, как оно было. Правда, им уже все равно. Они мало понимают, что было и как. Это очень плохо, что они не понимают.

Мы довольно часто дома разговаривали с женой на тему репрессий. Жалели наших отцов, наших дедов. Жалели, что их расстреляли, причем не за бандитизм, не за грабеж. И мы с ней сходились во мнении, что это были происки Ягоды, Берии и остальных, что именно они командовали расстрелами. Я действительно в какой-то мере оправдываю Сталина. Потому что окружение нагоняло на него страх, а он уже поступал соответственно.

Я понимаю, что надо было поднимать страну, поднимать экономику. Нужно было проводить индустриализацию, продолжать ленинскую электрификацию. Поэтому и жертвы должны были быть. Без этого наша страна вряд ли поднялась на ноги.

Я не могу сказать, что я любил Сталина, как отца. Слишком высоко от нас он был. Его скорее можно сравнить с богом. Уважение к нему незыблемо.

В 1997 году мой брат Николай решил еще раз написать в Башкирию. Он хотел узнать, где отец похоронен. И вдруг присылают совсем другой ответ: «Ваш отец, арестованный 7 декабря 1937 года, был расстрелян 1 марта 1938 года в Уфе. Похоронен в братской могиле». Вот так и получилось, что у меня теперь две похоронки: одна на 1943 год, а другая – на 1938-й. Дело отца хранится в прокуратуре или в архиве Башкортостана. Но я с ним не знакомился и даже не пытался этого сделать. Мне было не до этого. Ведь когда я доказал, что отец невиновен, я на этом успокоился. Мне этого достаточно.

Мы с братом хотели съездить на могилу к отцу. Думали: если отдельная могила у него – съездим. А раз братская могила... Не поехали.

Сейчас я вновь возвращаюсь к религии. Конечно, больше всеми этими обрядами занималась моя Татьяна Яковлевна. Я, честно говоря, и в церковь-то не хожу. Но ведь важна внутренняя потребность. Верующим можно быть по-разному. Надо не считать себя религиозным, а чувствовать себя таким внутренне. Самое главное – быть верующим в душе. Я прочитал Новый и Старый Завет и знаю, как раньше говорили, все заповеди: не убий, не укради и так далее. И это я и пытался всю жизнь соблюдать. Внутренне, в душе я мысленно себя контролировал, не противоречит ли мой поступок заповедям Божьим. Отсюда и исходило мое поведение.

А в церковь я перестал ходить после ареста отца. Потому что – мало ли что? У отца своя трагедия, а у меня – своя. Мне приходилось жить и скрывать. Вот эта скрытность – и есть наша трагедия. Нам нельзя было уронить себя в глазах окружающих. И нам надо было жить.

МЫ ВСЕ БОЯЛИСЬ...

Интервью с Натальей Ильиничной Степанцевой

Родилась в 1924 году в Красноярском крае, село Усть-Каначув Ирбейского района. Отец, Рублев Илья Карпович, 1887 года рождения, расстрелян в августе 1938 года.

- Наталья Ильинична, а семья у вас большая была?

- Я помню только двух братьев и двух сестер. Но старшая сестра говорит, что я родилась одиннадцатая, значит, еще были дети. Может быть, умирали. Усть-Каначув – небольшая деревня была, на реке Кан. Не знаю сколько дворов. Помню, что нас выселили из дома, мы жили в бане, и все время из дома что-то на возах увозили. Возы нагружали и увозили. А кто увозил, не знаю.

- Вас в 1930-м году раскулачили?

- Наверное, в 1930-м, но я не знаю точно, маленькая была. Помню, как жила в бане. Еще какой-то праздник был, и я в окошечко бани

смотрела, как ребяташки катаются с горки. А у меня не было ни одежды, ни обуви. В бане висела какая-то большая шуба. И были большие валенки. А я голая, ни рубашки, ничего на мне нет. Потому что я болела то ли ветрянкой, то ли оспой и на меня ничего не надевали. И вот я надела эти валенки и шубу и убежала кататься с горки. А больше из этого времени ничего не помню.

- Сестра вам рассказывала о хозяйстве, которое было у вашего отца до раскулачивания?

- У нее есть документ, подтверждающий, что во время раскулачивания у него отобрали пятистенный дом с железной крышей, амбар, теплую конюшню, 7 лошадей, 8 коров, 20 овец, две свиньи, пасеку – 18 ульев, 2 плуга, косилку, молотилку, жнейку.

- Крепкое хозяйство.

- Ну, так нас ведь много было. И все работали. Дети-то. Дом до сих пор стоит. Отец сам срубил его. Мама Татьяна Даниловна умерла после родов. Мне жизнь дала, а сама умерла. Когда я приезжала в Усть-Каначув в 1940 или в 1941 году, чтобы взять свидетельство о рождении для получения паспорта, меня соседка, которая через дорогу жила, двор в двор, сводила к маме на могилку. Видимо, не такие уж плохие у меня родители были, раз люди их помнят. И меня приютили. Спать уложили на лавке, раньше кроватей не было. И на дорогу она мне хлеба напекла.

Отца сослали в Хакасию. Вместе с ним выслали братьев Сашу и Леонида. Старшую сестру раскулачивание не коснулось, потому что она уже не жила с отцом, была замужем и жила в Канске. Она увезла меня к себе. А потом они с мужем завербовались на Игарку. Тогда осваивали Игарку, молодежь требовалась. Там сестра родила мальчика, второго ребенка. Но из родилки уже не вышла, умерла зимой. Морозы сильные были и ветры: дом заносило до крыши за одну ночь.

Когда она умерла, свекровь, мать ее мужа, приехала на Игарку и вывезла меня в Канск. А потом... Не помню, как я оказалась одна. Брошенная я была, жила на завалине. Хозяин дома, на завалине которого я спала, ночью меня домой принес. Когда я проснулась, его жена все с меня сняла, замочила в корыте, в котором стирала белье, меня туда же посадила и вымыла. А потом они стали думать, куда меня девать. Документов никаких, в детдом меня не берут. Я ходила в детдом все время, просила, чтобы меня взяли, но ворота и двери были для меня закрыты. (Плачет.)

Потом меня взяли к себе поляки. Тоже переселенцы. Бежали с русско-германской войны из Польши. И дорогой встретились. Он поляк, она литовка, до Сибири добежали. Его звали Май Иван Матвеевич, а ее – Волоскова Полина Францевна. Они пожилые уже были. Года четыре я у них жила.

Они меня сначала в школу не пускали. Но ходили по домам учителя, записывали детей в школу, и они заставили моих хозяев меня в школу отдать. Тогда они купили мне новое пальто, чтоб было в чем в школу ходить. Я пришла карман к нему большой, чтобы деньги не потерять. Они меня то за хлебом посылали, то за вином, когда к ним друзья приходили. Воспитывали в строгости. Я у них просто как работница была. Мыла полы, печки топила, дрова носила, воду из колодца черпала, за скотиной ухаживала. Все делала, и зимой, и летом. Утром часа в четыре разбудят, они еще в постели, а я печку топлю и ведро картошки начищу. Это все до школы нужно сделать.

Как меня нашел отец, не знаю. Но к 1938 году мы снова жили вместе всей семьей. Папа, я, братья - Саша и Леонид – и папина гражданская жена. Очень была хорошая женщина. Добрая. Я ее звала «мама». Жили мы на руднике имени Кирова. Это в глубине Хакасии. Отец работал в шахте плотником. Там золото добывали.

Отец все время работал. И на шахте, и еще в поселке дома рубил. Себе срубил дом. Мы в Хакасии в собственном доме жили. Сначала, как туда привезли спецпереселенцев, они жили в палатках. Потом построили бараки, жили по несколько семей в одной комнате, а со временем и собственные дома срубили. Их раскулачивали и выгоняли с мест, высылали в Сибирь. А они и там освоились. Все себе дома понастроили. И отец очень трудолюбивый был: скамейки, лавки, топчаны – все делал сам. Всю мебель.

На руднике была только начальная школа. Четыре класса, в каждом по два-три ученика. А потом нас на Малый Анзас перевели. Там школа-интернат находилась, и со всех поселений детей туда собрали. Неделю живем, а на выходной уходим домой. Час или два пешком до дома ходили.

Отца забрали 14 мая 1938 года. Я тогда уже в шестом классе училась. Его ночью увели. Сколько человек пришло, не знаю. Мы спали, нас не будили. Потом нам сказали, что отца забрали. Брат Леонид жил на Кижаке. Он там кузнецом работал. После ареста отца он меня прямо из интерната забрал и увез к Клавье в Таштып. И я жила у нее.

Муж Клавьи, Анатолий, не был спецпереселенцем, он работал бухгалтером. В 1940 году, после финской войны, он завербовался на работу в Выборг, чтобы уехать из Хакасии. Тогда голод был в Хакасии. Анатолий все вещи променял, чтобы прокормить нас. Потом продали дом и уехали в Абакан. Доехали до Абакана, а потом по железной дороге в Выборг. Не знаю, сколько ехали. Но доехали до Перми. Здесь у Анатолия жила мама и отчим. У них остановились. Пока праздновали встречу, въезд в Выборг прекратили. Здесь в Перми и остались.

А потом война. Анатолий на фронт ушел. А Клавдия Карповна осталась с тремя детьми, и я у нее еще была. Она работала на военном заводе в Левшино. А я на лесокombинате обмерщиком бревен. В вой-

ну и после войны жили очень голодно, пока в 1947 году не отменили карточки. Помню, пришла соседка и дала нам с Клавой по десять рублей. Мы пошли и купили буханку хлеба, 200 граммов сахара и 200 граммов масла. Сели, через стол обнялись и рыдали, ели этот хлеб и рыдали. Она говорит: «Я хоть ребятишек накормлю». У нее трое детей было, муж погиб на фронте.

- Так почему же арестовали вашего отца?

- И не пытались думать об этом или что-то узнать. Мысль не допускали. Все молчали. Как будто и не случилось ничего. А то еще хуже было бы. Боялись, запуганные все были. Нигде, ни в одном доме, никто об этом не говорил. Слезы потекут, обнимут друг дружку и молча плачут, все-все понимали. Если плачешь, кто-то из взрослых прижмет тебя к себе крепче и все. Никто ничего не говорил. Понимали. В автобиографии писали: ни отца, ни матери нет. Родители умерли.

Боже упаси сказать, что родители раскулачены! Только в 90-х годах начали говорить и писать. Я не знала, куда обратиться. Пошла в архив, мне там все объяснили. Ходила в ФСБ. Везде ходила. Вот здесь написано, что отца арестовали 14 мая, в июне вынесли приговор, а в августе расстреляли. 24 ноября 1954 года дело нашего отца прекращено.

После смерти Сталина в отношениях людей, в разговорах ничего не изменилось. Все так же молчали. Никто ничего нигде не говорил, боялись. Та же власть-то была. Сталинская. Его же остались прищешники. Ничего говорить нельзя было.

ОТЦА Я НИКОГДА НЕ ЗНАЛА

Из воспоминаний Тамары Константиновны Трубиной

Я родилась в 1937 году. Отец, Селецкий Константин Степанович, 1913 года рождения. Расстрелян 3 января 1938 года. Мама, Кравцева Капитолина Ивановна, 1911 года рождения.

Мама окончила Пермский медицинский институт. В 1935 году ее послали работать на Дальний Восток, в город Сычан, это недалеко от города Владивостока. Она там работала врачом при системе исправительных колоний.

Она попала к таким людям, которые говорили ей: «Никому ничего не говори, все документы, касающиеся мужа, оставь, чтобы никто ничего не знал». Она с отцом не была расписана, у нее был гражданский брак. Она прожила со мной на Дальнем Востоке пять лет. Шестилетней девочкой меня привезли в Пермь. Когда мы жили на Дальнем Востоке, то бабушка мне рассказывала, что моя мама ей говорила: «Если за мной придут, то девочку мою отправьте в Пермь». То есть она

все время жила в страхе. Одна из сестер отца пошла его искать. Ей сказали: «Девочка, не ходи, не выясняй, иначе ты попадешь туда же». И они больше искать его не стали.

В 1950-е годы, после смерти Сталина, когда уже стало посвободнее и можно было что-то выяснять, сестры искали отца, но никто ничего им не говорил. А потом оказалось, что его расстреляли в 1938 году.

Я часто спрашивала маму про отца. Мама на эту тему со мной не говорила. Она хранила письма от отца, телеграммы. Но разговоры все она пыталась отвести, только говорила: «Что он такое сделал? Что? Не знаю. Или за язык свой попал? Или люди такие были? Работал начальником участка на стройке КВЖД. Я пришла с работы домой, а его нет, забрали». Больше она его не видела. И когда мама умерла в 1996 году, мой дядя – тоже работник МВД – мне сказал: «Тамара, подай прошение об отце, что случилось с ним». И я написала во Владивосток, в прокуратуру. Мне ответили, что Селецкий по делу проходил в Хабаровске, и в Хабаровске его расстреляли. Мне оттуда пришли документы. Он был ни в чем не виноват. Он был обвинен в участии в троцкистско-зиновьевском блоке. Судила его «тройка».

Жизнь была нарушена. Мама личную свою жизнь больше не построила. И я отца не знала. Я очень жалею, что мама умерла, не узнав всей правды. Мы всегда жили в страхе. Особенно мама боялась. Она работала на такой работе – в «органах». Там лишнее слово обронить нельзя было. Поэтому никто у нее ничего не спрашивал. И, видимо, благодаря тому, что она была в гражданском браке, никто не знал, что у нее есть ребенок. Она была на своей фамилии всю жизнь. Поэтому, наверно, я осталась цела и невредима. Росла среди родственников мамы, с бабушкой и дедушкой.

Отец мамы, мой дедушка, был служащим на железной дороге. Бабушка до революции работала белошвейкой в домах пермских купцов Грибушиных и Любимовых. Бабушка очень хорошо шила. А после революции работала поваром. Она была на все руки мастер. Но какой-то особой специальности она не имела. А дедушка был чиновником. Обеспеченный человек. Но время было трудное. Они бежали то с белыми, то с красными. Пережили тоже очень многое. Дедушка был чрезвычайно верующий человек. Всегда ходил в церковь Всех Святых, на Разгуляе. А в церкви Петра и Павла они венчались с бабушкой.

Мама моя была член партии, работала в органах, она не ходила в церковь, ей нельзя было. Но в душе она все чтит. Я после ее смерти нашла у нее две маленькие иконки. В душе у нее где-то это все было, но раньше нельзя было это показывать. Нельзя было ходить в церковь. Если что, сразу с работы – долой.

Я советскую идеологию хорошо знаю, потому что работаю в школе 40 лет. Я все эти школы прошла – атеизма, марксизма, ленинизма. Этой идеологией была сыта по горло. Я к ней относилась очень отри-

цательно, потому что все это очень давило на детей, все эти «ленинские зачеты», «ленинские уроки».

В Перми мы жили на улице Кирова, 21. Двухэтажный дом. Верх был деревянный, низ каменный. У нас была очень хорошая комната на втором этаже, большая, метров 30. Раньше все по комнатам жили. Удобств, конечно, не было. На кухне было четверо соседей. Бабушка говорила, что с революцией мы все потеряли. Я все время думала, почему у меня нет отца, у всех есть, а у меня нет. Но как-то мне никто ничего не говорил. Старались эту тему обходить.

Мама была очень интересной, зажигательной, веселой. После ареста отца она стала настороженной, напряженной, не стало в ней той простоты. Она приехала в Пермь совсем другим человеком.

Мама работала целый день. Она все время была врачом. Работала в 5-й колонии в Мотовилихе. Потом была начальником медсанчасти в областном управлении МВД в звании майора. Она часто выезжала в командировки: в Соликамск, Березники, Ныроб и в другие места области, где были колонии. Она проработала в системе НКВД 30 лет.

Она рассказывала, что в колонии были и настоящие «враги народа», но 50% людей были абсолютно незапятнанные ничем. Раньше как? Опоздал на смену – «сажали», поднял колосок пшеницы – «сажали». Похвалил журнал американский – «срок». Она говорила: «Ни за что сидели, давали по пять, по десять лет». У нее в колонии сидели и учителя, и врачи. Она рассказывала, что попадались в колониях врачи, которые такие делали уникальные операции, что просто диву давались. И роды принимали и оперировали.

Еще помню, бабушка рассказывала, что у нас тут жили раскулаченные. Она говорила, что в деревне никогда не было никаких «кулаков». Просто были хорошие хозяева. И деревня кормила нашу Пермь. Бабушка говорила, когда я была еще девочкой, что мы всегда ходили в деревню за мясом, за молоком. Там были крупные хорошие хозяйства. И хозяева были настолько хороши, что ни один гвоздь не пропадал. А потом их всех порушили. Это все привело к разрушению деревни.

Справка из Хабаровска: «Из прокуратуры Хабаровского края. Елецкий Константин Степанович, 1913 года рождения, отбывал наказание по закону от 7 августа 1932 г. за хищение на строительстве № 421 Дальлага НКВД ДВК. Постановлением Тройки НКВД ДВК от 22 октября 1937 г. за то, что являлся участником контрреволюционной правотроцкистской организации в системе Дальлага НКВД, проводил вредительства на стройке, сорвав сроки окончания строительства. Произвел большие перерасходы средств и материалов. Без квалификации содеянного приговорен к расстрелу и расстрелян 3 января 1938 г. По данным ИЦ УВД Хабаровского края, архивный номер его уголовного дела 64 55 ц дробь о».

МАМА ВЕРИЛА, ЧТО ОН НЕВИНОВЕН, ЧТО ВЕРНЕТСЯ

Из воспоминаний Резеды Шамсувалиевны Тайсиной

Я родилась в селе Барда Пермской области в многодетной семье. Мама – Гульчара Сайфутдиновна Тагирова после окончания педучилища работала в Бардымском районе учительницей младших классов. Отец – Шамсували Кадырович Тагиров в середине 30-х годов также работал учителем в сельских школах Бардымского района. Родители были верующими людьми, но им приходилось это скрывать. Спустя два года после рождения Резеды семья переехала в соседнее село Елпачиха, где отца назначили директором местной школы.

В 1937 году на нашу семью обрушилось горе – яко-

бы за участие в «троцкистском» собрании молодых учителей арестовали отца, ему тогда было тридцать восемь лет.

Мама, совсем еще молодая, осталась одна с шестью детьми. Большой отцовский дом в Елпачихе обменяли на корову и мешок пшеницы и переехали в село Екшур. В начале войны мы переехали в село Акбаш,



*Резеда Шамсувалиевна Тайсина (Тагирова).
20 мая 2004 года. Во время посещения
Мемориального комплекса жертв политических
репрессий в 12-ти километрах от Екатеринбургa.
В 1930-е годы здесь было расстреляно около
7 тысяч пермяков. Р.Ш. Тайсина показывает
фамилию своего отца.*



Гульчира Сайфутдиновна Тагирова (Шункарова) с сыном Амануллой Шамсувалиевичем Тагировым. Надпись на снимке: Дорогой сынок! Вот твоя мама и родной брат Амань. На вечную память. Снялись 12/VI 46 года в г. Сарапуре. Получил: 24/VII 46 года в городе Владивостоке. Тагиров.

Гульчира Сайфутдиновна Тагирова (Шункарова) с детьми. Стоят слева направо: Аманулла (1929–1981) и Равагат (1927 г.р.); сидят на стуле слева направо: Махмут (1925 г.р.) и Роза (1932–1996); в центре фотографии – Резеда (1935 г.р.); на руках у матери – Рифнур (1937–1942). Снимок сделан в 1937 году в Сарапуре. Фотографировались для того, чтобы послать фотографию отцу, находившемуся в заключении. Отец получил фотографию, об этом он сообщил в своем последнем письме.





Члены литературного кружка, школа в деревне Акбаш. Стоят учащиеся 5-го класса, все проживали в деревне Юкиур, в Акбаш ходили пешком за 7 километров. Резеда Тайсина (Тагирова) – стоит крайняя слева, Тагиров Масгут (двоюродный брат Резеды, сын родного брата ее отца.) С детьми – учитель литературы, руководитель литературного кружка Раис Габтукаев.



Ученицы 8-го и 9-го классов Бардинской средней школы. Все живут в одной комнате общежития. Стоит вторая слева – Резеда Тайсина (Тагирова). Село Барда. 1951 год.



Шамсували Кадырович Тагиров (1899-1937). Снимок сделан на Уральской конференции школ колхозной молодежи (ШКМ), г. Свердловск. 16–23 июня 1929 года.

где мама работала учительницей в две смены. Она вспоминала, что после ареста отца два года вела уроки под наблюдением сотрудников НКВД. По совету сестры мама писала письма на имя Н.К. Крупской с просьбой вернуть мужа и отца. Писала от себя и от имени детей. Но за эти письма ее вызвали в «органы» и устроили допрос.

Мы жили в страхе, но верили в невиновность отца и надеялись на его возвращение. Многие, узнав об аресте, отвернулись от нас, в частности, родня отца. Другие, помня, каким трудолюбивым и честным он был, не отвернулись и помогли одинокой матери с семейством. Но соседи частенько напоминали нам, детям, «чи вы» и что «ваш отец – враг народа».

За все то страшное время от отца пришло только два-три письма, в одном из которых он писал, что получил фотографию мамы с детьми (мы сфотографировались специально, чтобы отправить арестованному отцу). Писал, что видел в тюрьме среди заключенных секретаря райкома – того самого, кто приказал арестовать его.

Страх с тех времен остался на всю жизнь. Но надо было жить и растить детей. Успеваемость в классах, которые вела мама, была отличная. В годы войны она организовала пошив теплой одежды для фронтовиков, пекла хлеб для всей школы, растила детей. После смерти Сталина на отца пришла похоронка, где говорилось о том, что он умер от болезни печени спустя год после ареста и реабилитирован посмертно. В качестве компенсации маме выплатили месячный оклад отца.

До этого старший сын Махмуд долгое время не мог поступить в аспирантуру – «сын врага народа»... В 1953 году я закончила школу, поехала в Пермь и поступила в библиотечный техникум. Вышла замуж, родила дочь. Мама, Гульчара Сайфутдиновна, прожила 94 года. Она до последних дней, хоть и знала о смерти мужа, все же верила в его возвращение и невиновность. Она так и не узнала о том, что на самом деле он был расстрелян в 1937 году в Свердловской области.

СТОЛЬКО ГОРЯ, НИЩЕТЫ, УНИЖЕНИЙ ПЕРЕЖИТО

Из воспоминаний Прасковьи Якимовны Черепановой,
дополненных ее сестрой Людмилой Якимовной
и ее старшим сыном Евгением Александровичем

Я, Черепанова Прасковья Якимовна (в девичестве Мехрякова), родилась в 1924 году в деревне Петрово Лязгинского сельсовета Лысьвенского района Пермской области в крестьянской семье. Дед по отцу, Иван Иванович Мехряков, был священником (настоятелем) старообрядческой часовни в деревне Мехряково, имел немного земли, лошадь, корову, сеял хлеб.

У деда по матери, Григория Григорьевича Мехрякова, была большая семья: пять дочерей и один сын. Дед имел землю, держал скотину. Сын его Максим Григорьевич в 1920-х годах стал заниматься мелкой торговлей,

открыл магазин в деревне и магазин в городе Лысьве. За что и пострадала семья: раскулачили деда, сына с семьей выслали на север Урала.

Престарелые дед Григорий Григорьевич и бабушка Анисья доживали в деревне. У двух маминых сестер мужа в 1937 году были репрессированы, как и мой отец. А младшую сестру со всей семьей тоже выселили на север Урала, у них было пятеро детей.

Мой отец, Мехряков Яким Иванович, взял себе отдельную усадьбу, начал строить свой дом, так как в семье было уже к 1928 году пятеро детей. Построил большой двор для скота, надеясь обзавестись хозяйством, да не успел – началась коллективизация. К этому времени он имел лошадь и две коровы.



*Черепанова Прасковья Якимовна.
Снимок конца 1950-х гг.*



*Мехряков Яким Иванович
(отец Прасковьи Якимовны).
Снимок сделан в 1915 году в период
службы в Ижевском полку.*

Отец читал газеты, понимал, что власти нужно подчиняться, что настали совсем другие времена. Я смутно помню, как плакала мама, когда отец повел своего любимого вороного жеребца и корову на колхозный двор. Он вступил в колхоз вместе со многими односельчанами, потом вступил в ряды партии и был избран в правление колхоза, отвечал за животноводство.

Свой дом ему некогда было достраивать, большой новый двор для скота он безвозмездно отдал колхозу, двор перевезли в деревню Выломово и сделали в нем ремонтные мастерские для сельскохозяйственных машин. Мы переехали жить в дом деда Григория Григорьевича, дом был большой, пятистенный, где и доживали дедушка с бабушкой Анисей.

Дед вскоре умер, а бабушка ушла жить в маленькую избушку, где жила Аниска – женщина-инвалид, калека, за ней нужен был уход, бабушка опекала, кормила и обихаживала ее,

жила на подавания добрых людей. Бабушка жила еще долго в небольшой семье монашек, которые ее потом и похоронили.

Дед по отцу, Иван Иванович, в колхоз так и не вступил, его облагали большими налогами как единоличника, отбирали собранный урожай. У деда были еще сын и дочь. Дочь вышла замуж, а сын Афанасий ушел работать на Лысьвенский завод, так как не ладил с мачехой, родная его мать рано умерла.

Иван Иванович считал большим грехом идти в колхоз и упорно сопротивлялся. Закрыли часовню, старший сын (мой отец) вступил в

партию и в колхоз, дед осуждал его и молился. В дальнейшем младший сын вернулся в родной дом, женился и тоже вступил в колхоз. А дед стал совсем стар и доживал в одном доме с младшим сыном.

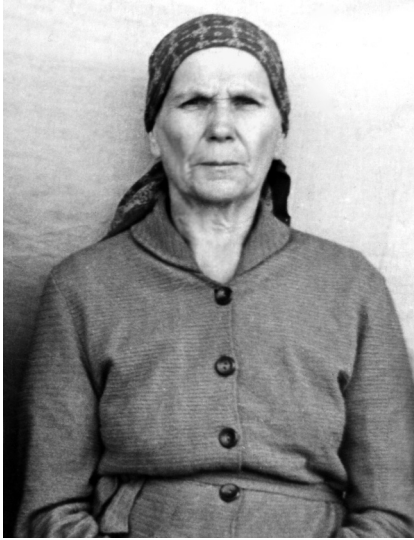
В 1933 году, 14 октября, в праздник Покрова Пресвятой Богородицы, стадо колхозных коров пасли на отавах, а потом загнали на луга, где была убрана капуста. Ранее выпавший снег растаял, было тепло, но сыро. Коровы, с аппетитом поедая капустный лист, объелись, их стали гонять, ветеринар делал какие-то проколы. Мы с ребятами, идя из школы, увидели такую картину: некоторые ко-



Мехрякова Пелагея Григорьевна (мать Прасковьи Якимовны) с детьми. Снимок 1939 года. Отец уже два года в сталинских лагерях.

ровы стали падать со вздутыми животами, около них хлопотали деревенские мужики. Девять коров пришлось прирезать. Старый опытный пастух не учел, что нельзя было с отавы гнать коров на капустный лист, а отвечать за это пришлось моему отцу – якобы за то, что не дал инструктаж пастуху.

Отца посадили. Хоть убытка колхоз не понес – мясо реализовали – отец отвел на колхозный двор последнюю нашу корову. Без всяких решений суда у нас забрали пять овец и двух огромных свиней. Пропали все заработанные трудодни трех человек: отца, матери и брата-подростка, который после учебы в ФЗУ тоже работал в колхозе. Из дедушкиного дома нас выгнали – дом-то теперь был колхозный! Мама плакала и причитала: «Вот, за грехи отец наказан в самый Покров,



*Мехрякова Пелагея Григорьевна
(мать Прасковьи Якимовны).
Снимок 1963 года.*

за то, что вступил в партию, забыл про Бога, пошел против воли своего отца...» А дед Иван Иванович приютил маму с пятью детьми.

До суда еще отца объявили «врагом народа», наказали невинных детей голодом и нищетой. Люди жалели маму: несли кто муки, кто молока, кто кусок мяса. Младшей сестренке Люсе было всего полтора месяца, от горя и слез у мамы пропало молоко, ребенок плакал, и мы все жались в уголок, не смея плакать, очень жалели маму. Нам было непонятно, за что посадили отца, ведь не он пас коров.

Долго длилось следствие, и зимой состоялся суд. Дедушка привез нас на суд, что-

бы повидаться с отцом. У деда тогда еще была лошадь. Отца осудили не как «врага народа», а по 111-й статье – за халатное отношение к делу. Председатель сельсовета был возмущен таким послаблением. Отцу дали три года и отправили строить канал «Москва–Волга».

Мама и брат Павел работали в колхозе, брату было 17 лет, и он работал молотобойцем в кузнице. Как-то в колхозе организовали комсомольскую свадьбу для парня, присланного из города на работу в колхоз; местных ребят не пригласили, а гуляли на свадьбе люди из колхозного начальства, комсомольцы и коммунисты. Местные ребята туда заявили незваными гостями, их подвыпившие гости погнали в шею, как тогда говорили, началась драка. Утром приехала милиция, и моего брата Павла и еще нашего двоюродного брата Витю арестовали и увезли в город. Брату определили срок – 6 лет, Вите – 4 года. Отец сидит, значит, и его «отродье» надо наказывать как следует.

Вскоре отец вернулся, отбыв наказание за два года, – его освободили досрочно. Мама не дала ему вернуться в колхоз, и отец поступил рабочим на железную дорогу, в четырех километрах от деревни Петрово, где мы жили в недостроенном доме. Родные люди помогли выделывать прируб, сбить глинобитную печь, а в другой половине дома не было ни пола, ни потолка. Потом мама держала там козу в холоде, и даже один год – корову. Двор весь отец отдал колхозу. Ходить на работу отцу было далеко, околоток железной дороги протянулся



Мамин дом в деревне Мехряково. Снимок начала 1960-х гг.

километров на десять. Решили переехать жить в железнодорожную казарму, где освободилась небольшая каморка.

Отцу как многодетному и хорошему работнику-путейцу дали корову – уплата в рассрочку. Стоила корова 300 рублей, а зарплата отца была 60 рублей. Это уже был 1937 год. Отца снова посадили, корову забрали. Он так и не успел выплатить за нее нужную сумму. (**Справка:** Мехряков Яким Иванович, ремонтный рабочий, 13.11.1937 г. осужден тройкой при УНКВД Свердловской области по ст. 58-9 к 10 годам ИТЛ.)

Мы с мамой вернулись в свой недостроенный дом, мама умолила взять ее снова в колхоз. Младшему братику Вене было 1 год и 3 месяца. Мне 13 лет, брат Валентин десяти лет умер, сестре Александре было 12 лет, Людмиле – 4 года. Старшая сестра Лиза была замужем, жила в Лысьве и работала на заводе.

Мама все десять лет без отца работала дояркой, телятницей. Тогда еще не было никакой механизации на ферме – все делалось вручную. Я часто бегала на ферму – помочь маме подоить хоть 3–4 коровы из 15, почистить стойла, помыть коридор. Летом приходилось работать на сенокосе, зарабатывать трудовни.

Когда началось «укрупнение» деревень, колхозов, все из деревни Петрово стали перевозить свои дома в деревню Выломово, где было правление колхоза, где построили большой скотный двор, там был пруд, и стояла водяная мельница для размола зерна. Потом завод помог построить маленькую электростанцию.

Привезли турбину, установили ее вместо водяного колеса. И появилось в деревне электричество, линию тянуть помогали заводские



*Мехрякова Прасковья Якимовна (справа).
Снимок сделан 26 августа 1940 года
после окончания 8 классов.*

шефы. Колхозная электростанция работала с вечера до 12 часов ночи и утром с 5 часов до рассвета. Появилась кое-какая механизация: работала лесопилка, качали мотором воду на скотный двор, поставили автопоилки, доярки освободились от таскания ведер с водой, но это произошло гораздо позднее, уже после войны, и стали аппаратами доить коров.

Мама продала наш недостроенный дом, его увезли в Лысьву. А купила она маленький домишко, где рядом стояла маленькая конюшня, можно было заводить скотину. За хорошие удои от коров, за сохранение родившихся телят маме дали премию – трехмесячную телочку. Вот было радости! Будет своя коровушка-кормилица! И дождались. Стало свое молоко. Можно и сколько-то сэкономить и продать. Носили за 9 км в Лысьву литров по 10 молока. Нужно его продать, а на вырученные деньги купить детям одежду к школе, тетради, карандаши и ручки. Носили с сестрой по очереди на коромысле, в пятилитровых бидонах молоко. Иногда ходили за ягодой – земляникой и малиной, за смородиной, чтобы продать.

Случилось так, что оба наши «зэка» оказались в Забайкалье: отец работал в шахте угольной, а брат на какой-то стройке, кажется, строил железную дорогу. Теперь многое забылось. Стыдно было говорить с посторонними, что сидят и брат, и отец. Письма приходили от них, я отвечала, мама только могла читать, а писать не умела, диктовала мне и плакала. Отец благодарил за письма, хвалил меня за грамотность. Брат Павел писал реже.

В 1939 году я окончила семилетку с похвальной грамотой – училась отлично. В деревне не было средней школы, и, наверное, мое образование закончилось бы. Но моя учительница уговорила маму отправить меня в город, в 8-й класс. Она сказала ей: «Пусть хоть одна из семьи получит образование, будет опорой и помощницей». Младшие

сестры закончили только по три класса, надо было помогать по дому, работать в колхозе.

Окончила я восьмой класс, живя у двоюродной сестры в Лысьве, они меня кормили и одевали. И тут ввели плату за обучение в 9–10-х классах, мама не могла платить за обучение – денег в колхозе не давали, сказала: «Будешь работать в колхозе». И снова мне повезло. Наш бывший директор школы устроил меня работать учителем начальных классов. Я поступила на заочное отделение Пермского педучилища и стала учить детей. Коллеги мне помогали освоить эту профессию.

Первая моя учебная сессия была в январе 1941 года, вторая – в июне. Как сейчас помню воскресенье 22 июня. Толпа народа на улице утром у репродуктора, бежим тоже туда и слушаем выступление Молотова: Гитлер напал, бомбили наши города. У военкомата очереди мужчин, а к вечеру готовились эшелоны и отправлялись на фронт. Паники не было, только слезы жен и матерей, и уверенность в скорой победе.

Утром 23 июня мы пришли сдавать какой-то экзамен, но увидели во дворе педучилища вынесенные столы, парты: в здании готовились принимать раненых, оборудовали госпиталь. Вот тут мы все ощутили серьезность событий. Нас отпустили по домам.

Еще когда училась в 8-м классе, меня приняли в комсомол, а когда стала работать в школе, выбрали комсоргом небольшой деревенской комсомольской организации. Проводила собрания, в летний отпуск все учителя работали в колхозе, как могли, помогали фронту: собирали теплые вещи, писали письма, отправляли посылки на фронт, проводили с колхозниками политинформации, ходили по бригадам и рассказывали о событиях на фронтах.

Радио в деревне не было, читали газеты, из райкома партии присылали сводки. О политике разговоры не вели, верили и в Сталина, и в победу Красной Армии. Мама верила в Бога, по ночам иногда молилась, но нам веру не навязывала. Мы жили своей жизнью. Сестра Александра работала в колхозе, но потом ее мобилизовали в Чусовской домноремонт. Они ездили с бригадой ремонтировать доменные печи, труд был непосильным для девушки, но зато там давали хлебную карточку. А в деревне колхозникам почти не сходилась хлеба, все отдавали фронту. Вторая сестра, Людмила, подросла и в 13 лет стала дояркой на колхозной ферме.

В 1942 году брата Павла из колонии, не отпустив домой, отправили на фронт. В 1943 году он погиб на Курской дуге, пришла похоронка, мама рыдала, мы все плакали. Брат похоронен в братской могиле около деревни Кашара Поныровского района Курской области. Ему было всего 26 лет!

В деревне люди голодали, карточек колхозникам не давали, хлебзерно сдавали государству, порой и семян мало было, чтобы засеять



Мехрякова Прасковья Якимовна с будущим мужем Черепановым Александром Арсентьевичем. Снимок сделан 10 января 1940 года.

поля, площади занимали под картофель, капусту, свеклу и даже редьку. Люди, получая какие-то уже отходы от зерна, мололи на мельнице с высушенными очистками от овощей, ягодой черемухи, корой ильма – все это шло на выпечку «хлеба», пекли лепешки из отваренной крапивы, лебеды, пиканов. Люди за зиму съедали все свои запасы овощей, у картошки срезали верхушки для весенней посадки, даже зеленый лист капусты солили про «черный день» или на корм скоту. Весной в колхозе делили оставшиеся овощи в хранилищах, даже редьку давали по 100 килограммов на семью. Редьку терли, смешивали с суррогатной мукой или вареной травой – пекли лепешки, похожие на хлеб. Хорошо, если есть корова, с молоком проглатывали любые лепешки, все не пусто – было бы что жевать.

В 1942 году я вышла замуж за комбайнера-тракториста, Александра Арсентьевича Черепанова, в семье которого еще водился хлеб от старых запасов – комбайнерам давали зарплату зерном, как работникам МТС. У мужа была «бронь» – кому-то надо было и на трудовом фронте быть. В 1943 году у нас родился сын Евгений. И тут нас обокрали: увели со двора корову, унесли мешок муки, одежду из чулана. И начался тоже голод. Летом во время посевной и уборочной работникам МТС давали в поле обед и 500 граммов хлеба, муж нес этот хлеб ребенку и больному отцу и матери. Мне как сельской учитель-

нице давали на месяц 9 килограммов муки. Она шла на сдабривание травяных и овощных лепешек. Если иногда пекли хлеб, то из тертой сырой картошки с примесью муки.

В 1944 году мужа взяли на фронт, но до фронта он не доехал: в городе Кирове его сняли с поезда с приступом аппендицита, сделали операцию. Потом его направили в город Свердловск, где стоял танковый полк. Там же ремонтировали поврежденные танки, прибывшие с фронта. Муж был в транспортной роте, а потом принял танк и проходил ученья. Танкисты готовились к отправке на Восток, там открывался фронт с японцами. Война близилась к концу, муж на фронт не попал, в 1946 году его демобилизовали.



*Черепанов Александр Арсентьевич.
Снимок сделан в апреле 1945 года
в г. Свердловске.*

1 февраля он был дома. За время его отсутствия умер его отец Арсентий Федорович, а в 1947 году 11 мая умерла его мать Евдокия Савельевна.

Муж работал дежурным электриком на колхозной электростанции, я работала в школе. 7 ноября 1946 года у нас родился второй сын – Михаил. Вскоре отменили карточки. Мы купили корову, жить стало легче. Муж за работу получал зерном, так как денег в колхозе не было.

В октябре 1947 года, отбыв 10 лет лагерей, вернулся мой отец. Я случайно встретила его на станции Лысьва, он меня не узнал, принял за старшую сестру Лизу. И я еле узнала его, скорее, догадалась – по деревянной ноге и костылям, и не удивительно: ведь когда его брали, мне было 13 лет, а теперь я была мать двоих детей.

Столько горя, нищеты, унижений было пережито.

Отец стал работать в колхозе: то был сторожем, то возил с фермы молоко в Лысьву на молзавод, то пас телят – работа находилась. Колхоз стал вскоре совхозом, вроде и легче стало жить.

Сестры, не получив образования, трудились в колхозе, потом вышли замуж. А младший брат Веналий поступил на завод учеником фрезеровщика и окончил 11 классов вечерней школы рабочей молодежи.



Черепанов Арсентий Федорович (свекор, отец мужа Прасковьи Якимовны). Снимок сделан в 1916 году в период службы в Павловском полку в г. Петрограде (на фото слева).

5-й класс, Вася – во 2-й, уже в Кормовище. Было еще двое малышей: дочке Гале исполнилось 6 лет, сыну Паше – 1,5 года.

Я не знаю, кто доносил на отца. В нашей деревне арестовали еще пять человек, мужчин-колхозников. Ну что можно было доносить на полуграмотных людей? Честно трудились, были в передовиках, не лодыри, не пьяницы – примерные труженики и семьянины. Никто не верил, что они «враги народа». Даже в школе мы – дети «врагов народа» – не слышали порицания со стороны учителей, нас жалели, сочувствовали. Конечно, мы старались молчать, не афишировать все это. Спасибо добрым и чутким людям.

Он стал кадровым рабочим Лысьвенского металлургического завода. Отец и мать получили пенсию по 45 рублей, были рады, держали корову. Мама от непосильного труда и лишений очень долго болела, в 1964 году 15 ноября она умерла.

Отец женился снова и уехал в Лысьву. Жил еще 12 лет, умер 27 марта 1976 года.

В 1957 году закрыли школу в Лязгино, оставили только начальные классы. Мы переехали на станцию Кормовище, где планировалось открытие средней школы. В семье было уже три школьника: Евгений учился в Лысьве в 7–8-м классах, Миша пошел в

Мама часто плакала и винила отца – зачем пошел в партию, забыл Бога, принимала это как кару Божью. Отец говорил, что и в лагере не винили Сталина, а винили его соратников: Ягоду, Ежова, Берия и других. А когда умер Сталин, я помню, в школе был траурный митинг, многие учителя плакали, и было ощущение страха – что теперь будет? А было вскоре выступление Хрущева о культе личности Сталина. Вот только тогда мы стали понимать, в чем причина репрессий.

Отец стал более разговорчив, кое-что стал вспоминать. Но когда говорил сквозь слезы, мы жалели его и боялись сделать ему больно, а он только вздыхал и говорил: «Сколько хороших людей погублено...». Когда он прочитал

«Один день Ивана Денисовича» Солженицына, то сказал: «Только один день, и день не самый плохой. А сколько дней в десяти годах?»

Архивы не сохранились. Письма из лагеря сожжены. Многие друзья даже и не знали, что мой отец репрессирован, об этом старались не говорить.

У моей подруги брат Николай служил в Красной Армии танкистом, остался в кадровых войсках сверхсрочно. Когда посадили его отца Александра Кузьмича Сергеева, сын от него отказался. Николай воевал, в звании майора командовал танковым подразделением, погиб под Сталинградом – сгорел в танке. Посмертно ему было присвоено звание Героя Советского Союза, похоронен он в братской могиле. Многие дети репрессированных отцов погибли на войне за Родину.

Сегодня живы мои младшие сестры, Александра и Людмила, и самый младший брат Веналий. Все живут в городе Лысьве Пермской области, все пенсионеры.



*Мехряков Яким Иванович
(отец Прасковьи Якимовны).
Снимок сделан в октябре 1947 года
после 10 лет лагерей.*



*Прасковья Якимовна с детьми
Евгением, Михаилом, Василием и младшим
братом Веналием. Снимок 1949 года.*

Ареста отца в 1937 году, конечно, никто не ждал. Но вокруг шли аресты. Все недоумевали – за что? Отцу даже обвинений не предъявили. Остановился товарный поезд против нашей казармы, вылезла группа милиционеров, стали делать обыск: якобы у нас хранится оружие. Тятя лишь усмехнулся. Мы собирались в школу, все были перепуганы, мама плакала, держа маленького братца на руках, а отец спокойным голосом нас успокаивал: «Да вы что, я ведь ничего не сделал. Вот разберутся, и я приеду домой». Смотрели все фотографии, искали письма, и совсем не искали никакого оружия.

Забрали карточку, где тятя в форме унтер-офицера. Мы думали – за это, вообще не понимали, за что его посадили.

Когда он отбыл срок, сказал после десяти лет лагерей: «Так за что я все-таки сидел? Сам не понимаю». Ему там вычитали: сверло на работе сломал, в царской армии служил. А отец им говорил, что другой-то армии тогда не было. Приписали тоже, что коров отравил. Кто-то там давал показания, совсем неправдоподобные. Пять-шесть мужиков еще с ним посадили, деревенских, совсем простых работников, колхозников. Их-то за что? Да, отец был сыном священника и взял в жены дочку кулака. И когда младший сын умер, десятилетний мальчик, брат мой, мама перекрестилась и молитву прочитала, а сказали: ага, по религиозному обряду хоронил сына-то. Да ведь отец уж был тогда не коммунист, да и мама только, может, молитву прочитала. А отец вовсе и не молился, только после того, как мама умерла, он стал молиться, совсем престарелый.

Рассказ Полины Якимовы дополняет ее сестра – Людмила Якимовна Мехрякова:

- Когда отец вернулся, мы, младшие дети, думали: что за человек? Как чужой он нам. Ревновали его к маме. Нам больше нужна была

мама, а не он. Вот какой-то мужик пришел, мешает. И ревели, бывало, даже. Веня ревет, я реву – не надо нам его. Потом привыкли, а сначала как чужого боялись.

До ареста он большой авторитет имел. В Лысьву один раз с мамой нас возил, в театр. Я первый раз тогда в театре была. После пленума районного какого-то было посещение театра. Так это было для нас событие! Отца уважали. Может, только кто-то из старых верующих людей роптал на него, за то, что сын священника вступил в партию. Как это так можно было – нарушить часовню, принимать в этом участие сыну-то священника? Нет, крест он не сам сбросил. Даже моя свекровь говорила: как это у него руки поднялись крест-то с часовни снимать? Я говорю, что не он ведь снимал. «Но он тут стоял. Он все видел». И это ему вся деревня в вину ставила.

Люди не понимали, может, многого. Но иногда что-нибудь в газете напишут – не верилось. Вот это было. Не верилось. Думали, что все привирают маленько, приукрашивают. И с усмешкой, между собой – конечно, только между собой: ну, опять новый лозунг Сталина! Вот, например, строили великие стройки-то. Это ведь просто поразились. Канал построили, это – ладно. А потом что еще строили при нем? Много ведь каналов-то построили. Тогда даже не понимали, что это даровая сила строит.

Конечно, были неурожайные годы... А на трудодни хороший ведь хлеб получали по первости. В тот год, когда тятю за коров посадили, семь килограммов на трудодень пришлось. Все полные амбары забрили. А у нас все отобрали. Ведь не было же такого закона, и суд еще ничего не решил, а уже все у нас забрали. Вот мы и голодали.



*Мехряков Яким Иванович.
Снимок 1966 года.*



*Дети Прасковья Якимовны.
Снимок 1963 года.*

Да, по-моему, в 1930 году у нас колхоз организовали. Все наново еще было, все наново. По одной корове было, жили, работали... Кого-то надо было посадить. Всех лучших работников посадили – вот нас что удивляло. Никогда больше колхозники столько не получали. А то и горох, и мед, все культуры, все амбары, все лари были полные насыпаны. А потом колхоз пал. Пришли к управлению те, у кого и раньше-то не было ничего. Мама все говорила: вот, лодырям дали портфели, а они и управлять-то не умеют, да и сами-то сроду не рабатывали.

Продолжает разговор Прасковья Якимовна:

- Отец со всей душой работал для колхоза. Он даже говорил так: «За чем нам корова, ведь можно молока принести для ребят с фермы?» И корову-то отвел в колхоз. Ни в чем неповинных наказали нас. Ну, тятя... Его «за халатность». А семья-то при чем тогда была? Его посадили, мы остались. А мама свету белого не видала, все мантулила в колхозе... А ее уважали, ее всегда даже хвалили, да и Люся всегда в ударниках была. Честно потому что работали, не привыкли работать спустя рукава.

В деревне случай один был. Это мне потом по секрету сказала сестра Николая Сергеева, Лида, мы в одном классе учились. Нас же пять человек в классе было – у всех отцов посадили. Мы отдельной кучкой и держались все. Она говорит (она все Николаем его звала): «Никола-то ведь отказался от папы». Отказался, и им не велел с ним связь держать. И Николая оставили в кадровых войсках, и он потом прошел почти всю войну, звание Героя Советского Союза дали. Так вот, может, Бог-то и наказал за то: погиб, в танке сгорел. За то, что отказался от отца. А отец простой мельник был. Но любил анекдоты загибать, маленько над советской властью насмеяться, это он умел. Его тоже все уважали.

Конечно, была такая радость, когда отца реабилитировали. Ну, пято это как бы смылось. Тятя как ожил. Стал ездить в редакцию газеты «Искра» – работал внештатным корреспондентом. Он о недостатках в колхозе писал, вообще был активный. Всегда газеты читал, слушал радио, любил быть в курсе всей жизни. У него образование – всего три класса сельской церковно-приходской школы, но он был грамотнее многих. Пел в церкви, когда его отец там служил. А потом сразу как-то перестроился на новое. Ну, что делать-то было, раз новая жизнь пришла.

Реабilitировали его в 1959 году. Многие не дожили до этого. Андрей Фомич умер, Тимофей Иванович умер, многие не вернулись отсюда. Вот Иван Николаевич Черепанов тоже не вернулся, и неизвестно, как он умер и где. То ли расстрелян, то ли умер.

Разговор продолжает старший сын П. Я. Черепановой – Евгений Александрович Черепанов, 1943 года рождения:

- Голодали и мы. Босоногая ребятня грызла подсолнечный жмых, что привозили на ферму скотине, брикеты фруктового чая, дикую редьку, корни лопуха и всякую съедобную ягоду – костянику, смородину, жимолость, черемуху. В урожайные годы малину и черемуху сушили ведрами, из малины зимой можно было сварить немного варенья (если был сахар). Черемуху осенью весь колхоз в определенный правлением день молот на мельнице, из этой муки зимой заваривали начинку для пирожков. Из гороховой и ржаной муки варили кисель и кашу-повалиху. Посередке тарелки или миски с варевом бабушка делала ложкой углубление, куда наливала растительного масла. Зачерпнув киселя или каши, можно было обмакнуть в это озерко ложку. Масло помнится разное – подсолнечное, хлопковое, льняное.

Бабушка всю жизнь проработала в колхозе дояркой. Это труд каждодневный без выходных и, по тем временам, тяжелейший. Раздать корма, напоить, подоить, убрать навоз, почистить коров, подлечить, принять при отелах телят – одной и вручную.

Дома тоже надо все поспеть сделать, отдохнуть и даже болеть – некогда. Привыкшая жить в изнурительном темпе, бабушка и после выхода на пенсию по деревне не ходила, а «летала». Деду за его медлительную обстоятельность в любом деле «доставалось на орехи» постоянно. Старшие дети знали его в молодости жестким домостроевцем, перечить ему не смел никто. После лагерей он всех удивлял своей невозмутимостью, мягкостью в общении. Я не слыхал от него грубых, резких слов даже в адрес самых отъявленных разгильдяев или по поводу многих головотяпских выкрутасов властей. За одиннадцать с половиной лет заключения в душе его не накопилось ненависти, все происходящее с ним он принимал с истинно христианским смирением

и несокрушимой верой в то, что справедливость, рано или поздно, будет восстановлена.

Только после 1953 года, а тем более после полной реабилитации дед стал скупко рассказывать о прожитом за колючей проволокой: о прекрасных товарищах, о том, как спасал от самоубийства слабых духом, о работе. И никогда не вспоминал вслух об унижениях и страданиях – это было сугубо личное, о котором близким людям лучше не знать. Все мы стали понимать его скрытность, когда прочитали «Один день Ивана Денисовича». Дед читал и плакал, а на наши вопросы не в силах был отвечать – молча отмахивался рукой...

Повторно вступать в «ряды КПСС» он отказался; к протезу, который ему изготовили бесплатно, так и не смог привыкнуть и до конца дней своих ходил на «деревяшке». Много читал, слушал радио. Лысьвенская «Искра», «Роман-газета», «Известия», «Труд», «Советская Россия» – на эти издания ежегодно оформлялась подписка. Его интересовало многое из того, что происходило в стране и за рубежом. Все дед пытался осмыслить с разных точек зрения, понять цели, ради которых партия раскручивала очередные кампании.

Урезали приусадебные участки, но собирали обязательный продналог. Расформировывали МТС – в деревне появилась своя (колхозная) техника, но, как правило, донельзя разбитая, для которой не было ни ремонтной базы, ни толковых механизаторов. Сносили хутора и маленькие деревушки – укрупняли колхозы, а когда те окончательно рушились, преобразовывали их в совхозы. В деревнях появились переселенцы из Тамбовской области и других разоренных войной краев, их почему-то звали у нас «вербованными».

А в Москве в эти годы шла ожесточенная борьба за власть, и продолжалась охота на инакомыслящих – только власти знали, какие народу можно песни петь и что должно писать и читать...

МЕНЯ СПАС ВАГНЕР

Рудольф Готлибович Готман, родился 5 июня 1922 года в деревне Адаргин Джанкойского района Крымской области.

Адаргин – немецкая деревня, домов сто. Дед был учителем, его дочери и мужья дочерей занимались сельским хозяйством. Поля, бахчи, зерновые, фруктовые деревья всех сортов, виноградники. Рядом жили крымские татары. Жили с ними мы дружно.

Отец еще до революции уехал в Москву и поступил в институт. Он готовился стать дипломатом. В 1919 году вернулся домой. Его ждала невеста, в будущем мама моя. Он вернулся и тяжело заболел. Во всю

шла Гражданская война. Несколько раз занимали деревню врангелевцы. Потом красноармейцы пришли. Отец в войне не участвовал. Его старший брат, мужик деловой, организовал так называемое «Товарищество по обработке земли», ТОЗ. А в 1928 году его арестовали и выслали в Архангельск. Отец в это время в Джанкое работал финансистом района.

4 марта 1929 года пришли к нам. Все имущество забрали себе, а не государству. Это называется, обобществили. А нас выселили к соседям – трое детей и мать беременную. Власти считали, что отец тоже кулак, раз его брата кулаком объявили. Отец

после окончания университета получил направление в Архангельск. А потом вернулся в деревню и успел вывезти нас. Это было в сентябре 1930 года. К тому времени уже всех выслали из нашей деревни: в Коми, в Казахстан, в Омскую, Тюменскую области.

В Архангельске отцу сказали: «Ты человек грамотный – нужен здесь». Он знал четыре языка: английский, французский, немецкий, русский. В это время мать родила Эрвина. И вот, с такой оравой мы приехали в Архангельск. Отцу, видимо, помогали друзья, с которыми он учился. Начальство им было довольно. В то время директора малограмотные были, а он встречал заграничные пароходы, которые приходили за лесом, и работал в качестве переводчика.

В 1934 году, в декабре, мы сидим за столом. Отец говорит: «Слава Богу, еще прожили год». Вдруг стучат, вламывается милиция, отца забирают. За что? Отец не читал газеты, не интересовался политикой, он только семью кормил. Этот день я запомнил на всю жизнь!

Ревели все. Мать – у нее была грыжа страшная – работать совсем не могла. Пять человек кормить надо, а чем? Мама пошла на биржу работать уборщицей. А мы, дети, ходили по лугам, ромашки



*Рудольф Готлибович Готман, 1954 год.
Снимок сделан в г. Молотов.*



*Готлиб Фридрихович Готман
(1893–1978) – отец Рудольфа Готмана.
Снимок сделан в Симферополе,
примерно в 1912 году.*

собирали, кололи дрова и возили в Архангельск продавать, чтобы выжить.

Отец говорил следовательно: «Я ни в чем не виноват. Я честный рабочий, не кулак. Все, что у меня нажито, мебель, которую вы конфисковали, это все сделал дед». В это время к нему в камеру следователь вводит Иванова – первого секретаря архангельского обкома: «Он тоже не признается, а завтра будет расстрелян». Отец подписал все, что от него хотели, и ему дали пять лет. Мы с матерью в Архангельске передачи ему носили. Тогда все тюрьмы были переполнены. Мы письма от него получали один раз в месяц: «Слава Богу, вы

живы. Все нормально, жизнь продолжается».

Сначала в заключении работал коноводчиком, а потом, когда узнали его биографию, назначили бухгалтером. В 1939 году его выпустили на свободу. До 1942 года отец работал главным бухгалтером Ухтинского нефтеперерабатывающего завода.

В 1938 году я окончил семь классов архангельской средней школы. Восьмой класс окончил заочно в 1939 году, когда мы переехали к отцу. А потом я поступил в Печерский горно-нефтяной техникум. 22 июня 1941 года я готовился к экзаменам. В это время вбегает мой товарищ и кричит: «Война!». Я выскакиваю во двор и первое, что слышу: «Вон фашист бегает». Это обо мне. Потому что я немец.

Наш техникум закрыли, и там расположился госпиталь. Главным врачом госпиталя был Евгений Антонович Вагнер (позднее он станет ректором Пермского медицинского института). Он из Одессы, был призван на фронт. А когда Сталин издал приказ выслать всех немцев Поволжья, Вагнер тоже попал в список на высылку.

В конце августа меня вызвали в НКВД: «Вас высылают. Все лишнее продайте и купите продукты, ехать придется долго». Нас погрузили

в вагоны. Маршрут необычный: Куйбышев, Свердловск, Семипалатинск в Казахстане. Вагнера оставили в Айягусе, а нас отправили за 120 километров в степь...

Меня с товарищем в подвал бросили. Приехал комендант: «Это, – говорит, – немцы, враги народа». В начале января 1942 года везут в Айягус. На следующий день снова в поезд. Доехали до Свердловска. Поезд перезаселен. Оказывается, везде в Сибири и на Урале подбирали немцев в трудармию. Всех без разбора немцев высылали.

Теперь путь через Пермь в Соликамск. Прибыли 23 февраля 1942 года. Разгрузили нас, загнали в овощехранилище. Там нары, мокрые все. Хорошо, что у меня было пальто зимнее и валенки. Это меня спасло. Дня три держали. Я ходить почти не мог. И вот нас погнали на Камский мыс. Оказывается, мы приехали в последней партии, а до нас высылали в Соликамск тысячи людей еще с августа. Они умирали от голода. 13 тысяч немцев погибло за это время.

Бригадир видит, что я в валенках, а надо колоть лед для бумкомбината: «Иди, коли лед». Я пошел и провалился. Провалился и кричу: «Не подходите! Утонете. Бросьте веревку или палку. Меня вытащите». Они так и сделали, вытащили. Мороз 24 градуса. А до Камского мыса не меньше полкилометра. Прибежал, а там полный барак немцев. Я около печки немножко отогрелся, обсушился и побежал до нашего убежища, до вокзала, полтора километра, мне помнится. Прибежал, заскакиваю, а там Вагнер. Наливает спирт. «Пей» – говорит. – «Я в жизни не пил». – «Пей». Я выпил. – «А теперь дуй до барака».

Наступила весна. Мы работали на сплаве: по Каме сплавляли лес, который был вырублен еще до войны. В мае меня вызывают: «Организуется совхоз в Соликамске и подсобное хозяйство для того, чтобы кормить трудармейцев. Вагнер тебя записал туда».



Фрида Христиановна Риккер (1891–1945) – будущая жена Готмана Г. Ф. – мать Готмана Р.Г. Снимок сделан в Симферополе, примерно в 1912 году.



Слева направо: первая жена Готмана Р.Г. – Лидия Александровна (1924–1981 гг.), сын – Готман Евгений Рудольфович (1951–1997 гг.), Готман Рудольф Готлибович, родной брат – Готман Эдгар Готлибович, дочь – Готман Розалия Готлибовна, 1947 г.р. Снимок сделан в районе реки Мулянка, Пермский район, во время отдыха.

И вот я оказался в совхозе. Все под охраной. Картошку садили под охраной. Лес корчевали тоже под охраной. На нарах спали. А ночью приходили за людьми, забирали и больше мы их не видели.

Зимой на лесозаготовках, осенью картофель убирали, кто-то строил овощехранилище. А я был на лесозаготовках, дрова заготавливал. 1942 год страшный был. Голод! 400 грамм хлеба, и вкальвай. Бригадиром был у нас Фрицлер, лейтенант, из армии изгнанный как немец. Он нас организовал в трудовую бригаду, и мы заготавливали дрова.

Помню, шли из леса домой в деревню. Я упал по дороге. Думал, конец, до того я уже «дошел». Не мог идти. Сил нет! Лежу на дороге. Вдруг подъезжают сани, выскакивает Вагнер: «Рудик, ты?» А я уже говорить не могу. Меня – на сани и в деревню. Привез домой, накормил. Потом говорит: «Все. Сейчас я тебя устрою сторожем к Фильдману», на продуктовый склад. Фильдман – немец. И Вагнер – немец. И они меня спасли: отлежался, в столовой наедался остатками и выжил.

Работал в совхозе и учетчиком, и бригадиром, и потом, в конце концов, Вагнер меня поставил хлеборезом в столовую. Это был уже 1947 год. А освободили меня в 1956 году.

«НЕ ДЛЯ ТОГО ВЕЗЛИ, ЧТОБЫ ОСВОБОДИТЬ...»

Из воспоминаний Василия Степановича Лапчева

Я родился 6 февраля 1931 года в селе Кабурчак Карасу-Базарского (ныне – Белогорского) района Крымской АССР, где 99 процентов населения были по национальности болгарскими. И говорили тоже на болгарском, правда, со времен Екатерины, когда мои предки попали в Крым, язык претерпел существенные изменения.

Семья наша относилась к числу середнячков. Я сейчас думаю, что родители мои вряд ли с воодушевлением отнеслись к установлению советской власти, особенно в период коллективизации, когда у семьи все отобрали, даже пай в общественном саду. Несколько семей раску-



*Василию 14 лет.
Пионерлагерь Молотовстроя. 1955 г.*

лачили, в том числе и дальнюю родню по отцу. Их сослали куда-то на Урал. А моего деда, Петра Степановича, первый раз арестовали в 30-е годы за недонесение на человека, который агитировал поднять восстание против советской власти. Срок отбывал в Мелитополе (Запорожская область, Украина). После его вновь арестовали и теперь уже сослали в лагерь на Соловках. А в третий раз его выслали в Алма-Ату, откуда ему удалось сбежать и вернуться домой. Умер он где-то в 1936–37 году. Вот такая жизнь.

Отец, Степан Петрович Лапчев, работал на свиноферме извозчиком. Когда началась Отечественная война, он в первые же дни явился в военкомат, но по возрасту его не призвали. И когда пришли немцы, мы остались дома.

Самым большим ударом для меня стал день, когда старшую сестру Дусю угнали в Германию. Ей не было и 16 лет. Слухи об этом ходи-



*Комсомольский проспект – одна из главных улиц Перми.
В. Лапчев в окружении однокурсниц. Зима 1955 года.*

ли за несколько дней. Говорили, что возьмутся за мужчин, если будут укрывать молодых девушек. Сестра спряталась в доме у тетки, но кто-то увидел, нашли...

А после оккупации – выселение. Это был конец июня, – вишня еще не поспела. Сначала выслали татар из соседней деревни. Поползли слухи, что следующими будут болгары. Я не верил. Ведь это свои, советские...

У нас была собака, дворняжка, все время на посторонних лаяла. И когда немцы пришли, и когда стреляли. А в то утро, когда появился какой-то лейтенант и сказал: «Собирайтесь», она молчала. Отца дома не было. Мама собрала какие-то остатки продуктов, постельное, одежду... Пальто мое, перешитое из шинели. Собрали всех в одном месте. Подходили машины и увозили людей – до станции Сейтер (сейчас Нижегородск) было километров 40. Ждали мы часа три, и я захотел в туалет. Маме сказали, чтобы отвела меня домой. Заходим во двор, а там уже соседка, в нашем белье ковыряется...

Как вела себя моя мама, Степанида Степановна? Она уже так настрадалась за время войны и оккупации, что была спокойна. У нее на руках остались 70-летняя бабушка Дарья (Рада) Степановна, я, инвалид по зрению, и моя четырехлетняя сестренка. Мама

и от религии отошла по этой причине, хотя до революции пела в церковном хоре. Говорила: если бы Бог был, он бы не допустил столько горя – сын больной, дочь в плену, война...

Когда стали нас грузить, не хватило места. Выбросили какой-то из наших мешков и мою гармошку. Я сказал, что не поеду, почти закапризничал. Все стали возмущаться, и гармошку мне вернули.

Везли нас в «телячьих» вагонах. На остановках варили, у кого что было – первые дни ничего не давали. Потом стали раздавать по норме хлеб – сырой и тяжелый. Ехали че-

рез Ростов, Казань, Пензу. На некоторых станциях стояли очень долго, военные эшелоны пропускали. В Чусовом нас разделили. Часть вагонов отправили на Городки, на Комарихинскую, на Пермь и дальше, а часть, где были мы, – на Губаху. Здесь же нам сказали, что родственники могут переходить друг к другу в одни вагоны.

Когда подъезжали к Губахе, у одной женщины начались роды. Мужа рядом нет, врачей нет. Ребенок умер. Больше она вообще не могла родить...

В Губаху приехали вечером. Утром нас поселили в барак при стройконторе треста «Андреевуголь». Рядом «речка» – грязная вода из шахт. В 1946 году мы уже жили в другом бараке, в строительстве которого принимал участие мой отец (он приехал через два месяца после нас). Какие специальности у деревенских? Плотники да штукатуры.

В первый год мы опять голодали. Местные-то картошку садили, а у нас ничего не было. Крапиву ели. Мне, сестренке и бабушке давали хлеба по 300 граммов как иждивенцам. Сколько-то крупы и сухие пряники вместо сахара. Как на это прожить? Местное население отно-



*Концерт студенческой самодеятельности
в Пермском педагогическом институте.
Аkkomпанирует Василий Лапчев.*



*Василий Степанович и жена Галина Васильевна
Лапчевы. 2004 год.*

силось к нам лояльно. Ведь там очень много раскулаченных было. Поэтому они понимали. Правда, однажды на речке Загубашке кто-то бросил камень в нашу сторону и крикнул: «Предатели!» Камень попал в голову Мусе, младшей сестренке, она даже в больнице лежала.

У меня тогда была страшная обида на власть. Но вера в Сталина оставалась незыблемой. Я считал, что это кто угодно, только не Сталин. Просто он так высоко и далеко, что до него

не доходит эта информация. Вы ни одной газеты того времени – ни местной, ни областной – не найдете, чтоб там не было имени Сталина со всеми превосходными степенями: великий, любимый, прозорливый...

И потом, когда мы жили в Губахе, все время люди говорили: «Вдруг война кончится и нас освободят?!» А мой дядя, брат мамы, сказал: «Не для того везли, чтобы освободить»... Позднее я выяснил, что из Крыма выслали больше 12 тысяч болгар.

Учиться в обычной школе по причине своей слепоты я не мог. Специализированная школа была в Молотове (Перми). Отцу очень долго не давали пропуск, чтобы отвезти меня. И к тому же у меня никаких документов, даже свидетельства о рождении – оно осталось в школе в Феодосии. Выписали справку в комендатуре, и меня приняли.

Раньше паспорт выдавали после окончания школы. Когда наступило время его получать, мне уже было 19 лет. За ним ходила бухгалтер. Вернулась и говорит: «Тебе паспорт не дали, потому что ты болгарин». А ведь мне дальше учиться надо было, – в Молотове я окончил только восьмилетку. Специализированных школ, где можно было получить полное среднее образование, во всем СССР было только десять.

Прошло полтора месяца. Я уже сдавал выпускные экзамены. После обеда директор мне говорит: «Подожди. Пойдешь в 9-е отделение милиции Сталинского (сейчас Свердловский) района, получишь паспорт». Пришел, получил паспорт – чистый, без отметок. Мир не без добрых людей. Потом мне сказали, что у директора кто-то работал в органах. Когда я приехал домой и рассказал эту историю, Дуся (сестра вернулась к нам в 1946 году) поделилась радостной новостью с соседками по бараку. А одна из них и говорит: «Дуся, ты вообще-то не болтай. Ну, вдруг кто-нибудь скажет: почему ему можно, а мне нельзя?»

Я уехал учиться в город Шадринск Курганской области. Окончил школу с золотой медалью. Директор мне сказал, что мне надо ехать в Ленинград – поступать на экономический или юридический факультет. С медалью вряд ли откажут. Но в Ленинград я не поехал. Приехал один выпускник, рассказал, что там сильно копаются в биографии. И я не рискнул, испугался. Помню, когда мы после окончания школы провожали на вокзале наших ребят, которые уезжали в Москву, Ленинград, я думал с горечью: «А я вот дальше Урала никогда не уеду...»

Поступил в Пермский педагогический институт на исторический факультет. Никто, даже друзья в студенческом общежитии не знали, что я был репрессирован. Я и в школе не рассказывал. Эвакуирован – и все. Зачем рассказывать?! Правда, своей будущей жене Галине Васильевне я рассказал, она знала обо мне все, когда в 1955 году выходила за меня замуж.

В 50-е годы Хрущев развенчал культ Сталина, для многих это был шок. А я не удивился, к тому времени о многом передумал и многое пережил. Маленький когда был, верил, а когда уже сам в Чусовской школе рабочей молодежи преподавать стал, понимал, какая это все ложь. Помню, когда Сталин умер, мама сказала: «Ну, может быть, немножко полегче вздохнем теперь...» И действительно, в 1956 году фактически мы были реабилитированы: родные получили паспорта, получили возможность выезжать. Правда, Хрущев в своем докладе ни слова не сказал о выселении крымских народов, – как будто нас и не было...

ВО ВСЕМ ВИНОВАТА ФАМИЛИЯ?

Интервью с Ивольдом Моярдом

– Здравствуйте! Представьтесь, пожалуйста.

– Моярд Ивольд Иванович, 1926 года рождения. 18 июня мне исполнилось 80 лет.

Я родился в Крыму. В 1941 году нас, немцев, оттуда выслали. Наши руководители боялись, что Гитлер подойдет, и мы пойдем за него. Но мы этого никогда не сделали бы. Крым – наша родина. Наши прадеды, деды, отцы – все родились в Крыму. Немцы приехали в Россию еще во времена Екатерины II. Обжились на новом месте, да так и остались.

– Расскажите, как вы жили в Крыму.

– Очень хорошо жили. У нас был свой дом. Отец выстроил его в 1931 году. Я ему еще помогал. Ну и остался дом пустой. Рядом жили бабушка, два моих дяди, но обоих забрали еще в 1938-м. И отца моего тоже забрали. Ежовщина была...

– Кто забрал?

– НКВД. Приехали в два часа ночи, обыск устроили, все перерыли. А отец учил районных допризывников, которые должны были в армию идти. Дома находились винтовки, патроны... Шинель у отца была, шлем – еще с тех пор, как он служил в армии. Но вот забрали отца – и ни слуху ни духу. Уже после войны, в 1954 году, мне присылают бумагу: «Ваш отец расстрелян как враг народа». А потом сообщили, что «невинный ваш отец реабилитирован посмертно».

– Как вы оказались в Александровске?

– Из Крыма нас отправили в Северный Казахстан. Там жили я, мать, брат и сестра. А в декабре 1942 года меня мобилизовали в трудармию – а мне всего 15 лет. Привезли в Александровск. Эшелон большой, 100 вагонов, народ собрали со всего Советского Союза. В основном пацаны 14, 15, 16 лет – одни немцы. Чуть раньше в Александровск отправили казахов. Нас поселили в конюшне Первомайского кирпичного завода. Лошадей оттуда вывели, поставили в кирпичной конюшне, а нас – на их прежнее место... Там еще стоялки были, нас туда по 5–6 человек селили. Условия ужасные, лечь страшно. На улице сена набрали, постелили и легли спать.

На следующий день в столовую повели. Накормили, а потом в бане дали помыться. Вскоре пришел представитель завода, спросил: «У кого какая специальность?» А какая специальность могла быть у меня в колхозе? Работал с братом, косили пшеницу, ячмень да на молотилку возили. Вот представитель и записал меня. «Ты, – говорит, – колхозник. Можешь работать». Ну и друзей моих, ребят с нашей деревни, тоже взял с собой – всего 10 человек.

– А что случилось с другими?

– Их всех тоже устроили на заводы. 200 человек отправили на кирпичный, остальные – на машиностроительный. В Александровский совхоз отправили человек 15. Тяжело было. Многие не выдерживали, умирали... Я сначала работал на конном дворе, на лошади возил частникам сено, дрова. А в 1948 году меня взяли на завод, в транспортный цех № 21. В 1973 году стал мастером этого цеха.

– А какие нормы были на заводе? Тяжело приходилось?

– Очень! Техники – никакой, все делали вручную. Весь металл, который привозили на завод, сами выгружали. Кормили ведь плохо. Что там давали – супчик с крапивой. Две картошки в бульончике плавают. Так мы эту вьюшку выпьем с хлебом, а потом картошку съедим. Ни крупы, ничего.

– А больница у вас была?

– Была. Лечили, конечно... Но умирали больше. Где у нас церковь, там жили немцы, узбеки, казахи. Многие из них умирали, я каждый день на кладбище возил по 10 человек. Зимой они мерзлые лежали в сарае. Потом покойников на сани мне погружат, веревкой перевяжут – и везу на кладбище. Там в общих могилах и хоронили.

– Где это происходило?

– На Александровском кладбище.

– Как вы уживались друг с другом?

– Русские товарищи очень хорошие были. На заводе работали такие мастера! Из нашей бригады помню Телятников Павла, Давыдова Леню... Старший мастер Чеботарев Николай Иванович. Очень хороший мастер! Когда тяжело было, подходил, помогал. А мастер был Механошин Сергей Иванович. Сейчас уже никого нет – все умерли.

Мастера относились к нам с пониманием. Потому что их самих в 1932 году раскулачили. С Ростова высылали сюда на Урал. Их тоже привезли, дали топоры, они сами лес пилили, бараки строили. И в этих бараках жили. Они пережили то же, что и мы, репрессированные, поэтому и понимали нас. В отличие от местных. Некоторые из них были, как звери. Кричали нам: «Эй ты, фашист! Воюешь против нас!» Не понимали: я же в Советском Союзе родился! Мои родители, мой дед, прадед... Они ж тут ничего не знали. Для них мы были фашистами. Вот Телятников Паша, Давыдов Леня – золотые ребята. Всегда заступались за нас.

– А как с дисциплиной было на заводе?

– С нас требовали, чтобы аккуратно ходили на работу. На 40 минут опоздаешь, тюрьма светит. Пьянки, гулянки не было. Утром все бегут на завод. В проходную и каждый в свой цех. Здесь же у нас и власовцы были, на заводе работали. Их загоняли в цех: с той стороны охранник с винтовкой и с этой. На обед в столовую их строем водили. Закончили работу – опять в бараки увели. Ну, а мы вольно ходили.

– Вот сняли комендантский запрет на выезд, чем вы стали заниматься? Остались на заводе?

– Да, до выхода на пенсию. У меня стаж 56 лет. Все 56 лет на заводе. У меня был средний заработок 309 рублей, и я получал самую большую пенсию – 132 рубля.

– Как сложилась судьба близких?

– В 1960 году мне удалось вызвать к себе моих родных из Северного Казахстана. Был приказ, по нему разрешалось соединяться семьям. Помог брату и сестре устроиться на наш завод. Брат работал шофером в заводском гараже, а сестра – оператором в транспортном цехе.

В 1994 году сестра уехала в Германию, а брат еще раньше переехал на Украину, в Сумскую область. Там работал. Купил себе дом. Мой сын тоже уехал на Украину, в Одессу. Мы ездили к нему. У самого Черного моря живет...

– Что знаете о спецлагерях в Пермском крае? Слышали что-нибудь о Кизеллаге?

– Помню, туда отправляли многих заключенных. Рассказывали, тех, кто убежал оттуда, ловили и отправляли обратно на 5–7 лет. Слышал, что там было очень тяжело. Заключенных кормили плохо, держали очень строго, били даже! Многие не выдерживали, умирали... Помню, был большой Башмаковский лагерь. Заключенных там содержалось очень много. Лес рубили, возили. Кто вернулся из этого лагеря, говорили: не попадайте туда, а то останетесь там навсегда... Страшно было. Люди зверели от тяжелой работы, плохой кормежки. Убивали друг друга – вот до чего доходило.

– Трудно было приспособиваться к мирной жизни после войны?

– Очень трудно! И голодные, и холодные были. Зимы в те годы стояли суровые. Морозы доходили до – 40, 45, 56 градусов! Воробей летит – и падает, замерзает. Очень тяжело было. На заводе, конечно, спецовку давали – рукавицы, ватные брюки, валенки...

А мы соберемся несколько человек, поедem в лес за дровами – привезем в один дом, выгрузим. Потом для другого соседа снова едем в лес. Во всем помогали друг другу. Я когда приехал, здесь ни воды, ни дороги, ничего не было.

Уличный комитет выбрал меня квартальным. И я начал действовать. Самой большой проблемой была вода. Ее приходилось за километр ведрами носить. Решили сами строить водопровод. Директор завода Блинов, очень хороший человек, помог нам с трубами. Директор кирпичного завода дал экскаватор. Потому что его рабочие – немцы, русские, татары – жили на той же Северной улице, и им тоже нужна была вода... С 1963 по 1990 год я был председателем уличного комитета. Каждый месяц по поручению паспортного стола должен был обходить свой квартал, проверять домовые книги и расписываться, мол, нарушений нет. Нарушений действительно не было никаких. Дружно жили люди...

– А что вообще Вы проверяли?

– Смотрел по домовым книгам, кто не прописан. Проверял, чтоб паспорт был непросроченный. Мог по всему Александровску в любой дом зайти, проверить книжку. Тогда с пропиской было очень строго. Без прописки никто не жил.

– Как к вам относилась администрация поселка? Помогала?

– Обращались – всегда помогали. Для нас самое главное, чтоб работа была. Раньше на заводе трудились 6 тысяч 200 рабочих, а сейчас стало 2 тысячи. Вот как завод стал работать...

НАЦИОНАЛЬНОСТЬ СВОЮ НИКОГДА НЕ СКРЫВАЛ

Интервью с Робертом Августовичем Янке

– Роберт Августович, расскажите о своей семье. Она была лютеранской?

– Лютеранской, верующей. Я тоже поддерживаю эту веру, хотя сам-то, конечно, неверующий. Учился в русской школе.

– А вы были пионером?

– Да, конечно. Пионером был.

– А отец был партийным человеком?

– Нет. Не знаю, почему. Отец был строителем, с 1929 года работал в Новоград-Волынске. Трудился на военстрое. Почти до самой войны. А потом его арестовали. И все, с концами. Это было осенью 1939 года.

– А вы не пробовали писать письма в архив, узнавать?

– Писали, конечно. Ответили: расстреляли – и все. Статья известная – 58-я. А потом реабилитировали.

– Сколько вам было, когда отца арестовали?

– Тринадцать лет. Я отнесся к этому – не сказать, чтобы спокойно. Понял только: забрали отца – и все тут. Тогда каждого третьего забирали. Немец, русский – не разбирали. Наша деревня большая – километра четыре длиной. Пригородная. Восемь километров от Новоград-Волыньска. И вот машина идет, «черный ворон», и каждый дрожит, хоть ты турок, хоть немец, хоть русский, хоть кто. Брали всех подряд. Половина селения осталась без отцов.

– Как после ареста относились потом к родственникам, к женам, детям?

– Расскажу такой пример. Про моего друга Хульцеп Вильгельма Петровича. Он умер в прошлом году. У него в 1941 году арестовали отца. Здесь уже, в Яйве. Вильгельм учился в 4-м классе. Утром директор школы пришел и сказал: садись на заднюю парту. Весь год проучился, и ни разу его не вызвали! Он по национальности был эстонец. Со мной так не поступили, но все равно для всех я был фашистом. Любая ссора, конфликт – это фашист виноват.

– Вы говорили, что в 1930-е годы ваш отец предчувствовал свой арест...

– В 1929 году он уже предчувствовал, что будет коллективизация. Так и случилось. Вышел Указ, что создаются колхозы. В деревню привозят председателя сельсовета и колхоза. Говорят: все должны вступить в колхоз, подавайте заявления. Свое имущество всем нужно сдать. Будет коллективное хозяйство, и все будем жить коллективно.

– И что, отец вступил в колхоз?

– Нет. Как раз в то время он в Новоград-Волынке устроился на строительство прорабом. Но пришел 1930 год, и всех, кто не вступил в колхоз, раскулачили и выслали на Урал, в Сибирь. Но это касалось крестьян, а отец же рабочим был. Потом он ушел работать на производство. А у нас землю отобрали. Вокруг дома 15 соток отмерили, колья поставили – все, занимать больше не имеете права.

– Чем еще запомнились 1930-е годы?

– В 1933 году страшный голод был. Трупы по дороге лежали – и в городе, и за городом. Не успевали хоронить... Тяжело было. Люди за кукурузным хлебом по четверо суток стояли. Очереди выстраивались на 300-400 метров. Сегодня не получишь – завтра снова идешь. На человека булку хлеба давали. Многие не выдерживали, падали тут же в очередях, умирали. В нашей семье все выжили. Мать, какие были драгоценности – часы золотые, серьги, кольца – все на муку поменяла. Были заграничные торговые синдикаты – «Торсины». Они меняли золото на муку. Так мы и пережили этот страшный 1933 год.

– А почему был голод? Из-за засухи?

– Дело не в засухе. А в том, как велось коллективное хозяйство. Например, сказали ликвидировать всех лошадей, которые были. Признали у них какую-то болезнь. Пристрелили всех. После этого облили керосином, чтоб люди мясо не брали. И закопали в большой яме.

Пришла весна – надо сеять. А чем поля вспахать? Прислали американские колесные трактора – форзоны. Они маломощные. Как ими управлять – никто не обучен, никто ничего не знает. Поехал – перевернулся трактор. И залил маслом барабан. Все. Посевная закончилась – ничего не посеяли. А единоличных хозяйств не осталось. Вот и голод...

– А потом государство как-то закупало и раздавало зерно? И в 1935 году все-таки смогли посеять...

– Да. В 1934 году уже немножко обучили людей управлять тракторами. Лошадей откуда-то пригнали, чтоб хоть как-то посеять...

– Вы не помните, сколько человек умерло в вашем поселке?

– Точно сказать не могу, но счет шел на сотни...

– И как долго продолжался голод?

– До 1938 года. Тогда впервые собрали хороший урожай. Уже в колхозах машины были полуторатонные. Полуторками назывались. Потом ЗИС-5 появилась – самая сильная машина. Сталинского завода...

– Завод имени Сталина?

– Да. В нашем селе закупили шесть машин. Было что возить. На машинах стали ездить. Да и лошадей уже развели. Посеяли. А потом урожай хороший. И жизнь пошла повеселей.

– А вы помните, когда начались аресты?

– В конце 1936-го. А в 1937-м уже пошли массовые... Рядом с нами учитель жил – Трофим Захарчук. Хороший сосед. Образованный человек. Сын у него тоже учитель, оба работали в школе. Но вот пришли к ним ночью и обоих арестовали. Другой сосед, по фамилии Козел, тоже арестован. Забирали без разбора – немец ты или украинец... Рабочий, крестьянин, интеллигент... Каждую ночь в 12 часов приезжает «черный ворон». Забирали сразу помногу. Говорили, что у них там норма. План был, что столько-то людей должны посадить. И всех туда – на север...

Арестов люди боялись как огня. Это делалось для того, чтобы народ молчал, не говорил ничего. Даже соседу боялись слово сказать...

– А в вашей семье что-то обсуждалось?

– Конечно, обсуждалось.

– А вы помните какие-нибудь случаи доносов?

– Вот семья эстонцев. Пять человек. Три сына и отец с матерью. Все они спецпереселенцы. Сидят и разговаривают. Ой, да так плохо, власть, мол, виновата, то, се... А один из них смеется: «Подождите, – говорит, – красная чесаловка придет, так разберется с вами быстро». На второй день уже забрали... Стукачом оказался.

– То есть внутри самой семьи это даже могло быть?

– Да. Тому, кто больше всех возмущался, власть критиковал, десять лет дали. На Колыму выслали.

– Как вы думаете, зачем они это делали?

– Эти люди подчинялись НКВД. Я в молодости не понимал, а теперь понимаю, для чего это все делалось. Это делал Сталин. Чтоб железную власть удержать...

– Но ведь доносы писал не Сталин...

– Все шло от него. Одни подчинялись другим – сверху донизу.

– А почему они подчинялись? Им за это хорошо платили?

– Ничего им не платили.

– Или они считали, что если напишут, то выгородят себя? Старались для своей безопасности?

– Совершенно правильно. Они даже ничего не писали. Только приходили и говорили что надо. В каждом селении был работник НКВД.

– А вы знали, кто в вашем селе был из НКВД? Или он маскировался?

– Да нет, он открыто ходил, в форме. У него обязательно были помощники – стукачи. Из местных жителей. Со мной был такой случай. Начну с того, как я в трудовую армию попал. Это случилось в ноябре 1942 года. В то время наша семья жила в Казахстане, куда нас с Украины выслали. Приходит повестка с военкомата, что вы призываетесь в трудовую армию. Ра-

ботать для фронта. Чтобы через пять дней были готовы. В то время мне только исполнилось 16 лет. И вот привезли нас, 350 человек, в поселок Долгое, на лесозаготовки. Там собрались люди разных национальностей – румыны, немцы, украинцы... И среди нас были стукачи. Мы не знали, кто именно, но догадывались, что такой есть. Время от времени приезжали и забирали тех, кто с нами работал. Человек двадцать забрали.

– Скажите, когда вас призывали в трудовую армию, у вас не было внутреннего сопротивления?

– Не было. Наоборот, считали, что едем родину защищать.

– Расскажите, как вас встретили.

– Привезли, поселили в домики. Дали нам форму – ватные брюки... Правда, вместо валенок лапти. Да, да, зимой. Холодно, конечно, но пойдешь на конный двор, сена раздобудешь. Ноги им обмотаешь, сверху – портянки. Ну, и тепло. Работали по 12 часов. Но надо было ходить пешком пять километров – туда и обратно. Утром подъем в 6 часов. Идешь в столовую. Там уже приготовлен паек. На день полагалось 600 граммов хлеба, а он наполовину с картошкой или со свеклой, брюквой. Еще давали суп, одно название. Если попадет мороженая картошка, так рад, не знаешь как.

– А мясное хоть какое-то давали?

– Полагалось 75 грамм мяса на день. Но если вечером придешь, уже мало что остается. Одни кости. Иногда масла немного перепало. Это был паек 3-й категории. Самую лучшую, первую, получал солдат. Мы, конечно, питались – так себе. Недоедали. И вот, в начале 1943 года началась эпидемия, тиф. И пошло!

– А у вас был хоть какой-то медицинский пункт?

– Был большой барак, назывался он стационар. Туда помещали всех тифозников. И был знаменитый врач – из наших же. Коп Иван Петрович.

– Больных много?

– Стационар на 70 человек был забит полностью. Одни пациенты сменяли других. Многие умирали. Трупы складывали в одном месте – 100 покойников набралось. А в марте нас заставили копать братскую могилу. Она находится в километре от поселка Долгое. В свое время хотели там мемориал поставить. Да парализовало здесь него организатора, Петра Афанасьевича Литвиненко. Сейчас это место уже и найти трудно. Там все заросло...

– Скажите, а кто у вас начальником был?

– Васев Устин Алексеевич.

– Это он издевался?

– Да.

– Говорят, он тоже из раскулаченных был?

– Нет, здешний, из деревни Горшково. При нем вообще беспредел был. С нами в трудовой армии работал прокурор из Новосибирска – Иван Августович Рынос-Прибылов. Он написал на Васева жалобу в Москву. И вот, в мае 1943 года приезжает комиссия. Выяснили, сколько

человек от тифа умерло. Посмотрели, в каких условиях люди живут, работают. Выяснилось, что людей одолевают вши... Комиссия работу закончила. И вскоре Васева уволили. После этого в столовой стали получать полный паек, а не разворованный. Сразу появилось мясо, чему все очень удивились. После того, как Васева сняли с работы, в его квартире провели и обыск. И оттуда на лошади вывезли 15 ящиков яичного порошка, американские шпроты – тоже ящиков 15. И сахар, и еще много чего. Все продукты перевезли в столовую. И жизнь наша изменилась в лучшую сторону.

– **Расскажите, пожалуйста, о бывшем спецкоменданте Яйвы.**

– Осипов.

– **Он за линией раньше жил.**

– За линией. В нашем доме, там ему квартиру дали.

– **А вы с ним общаетесь?**

– Увидимся, – всегда поздороваемся.

– **А вы вообще как к нему относитесь?**

– Нет, я к нему претензий не имею. Он исполнял свою службу. Как поставили нас под комендатуру.

– **А вспомните, сколько у вас было охранников?**

– Два человека. Они были как милиционеры. Из фронтовиков...

Отношения с ними? Да нормальные...

– **Охранники жили отдельно от вас?**

– У них отдельный домик был. И в столовой их отдельно кормили, свой рацион...

– **Женщин у вас вообще не было?**

– Были, в столовой работали.

– **А вот такой личный вопрос. Вы молодые парни. А рядом девчата. Любовь-то была?**

– Безусловно. А как же! В конце войны уже почувствовались послабления. Стали встречаться с девушками. Я женился в 22 года. Жене тоже было 22. Я ее в Яйве встретил.

– **А кем работали после освобождения?**

– Начинал с приемщика леса. В 1944 году закончил семь классов. Начальник меня присмотрел и взял к себе. Сначала табельщиком. А потом поставил на приемку леса. После войны работал уже мастером лесозаготовок. Перед этим закончил в Свердловском лесотехническом институте 9-месячные курсы. Мне было уже 25 лет. Без хвастовства скажу: где бы ни работал, план на моем участке всегда выполнялся. В 1964 году меня избрали делегатом партийного съезда.

– **А когда вы вступили в партию?**

– В 1955 году.

– **А в 1956 году состоялся XX съезд партии. Какое впечатление у вас было от этого съезда?**

– Конечно, хотелось верить в лучшее. Особенно после того, что пришлось пережить. Сначала в Казахстан выселили, потом в трудар-

мию отправили, работали голодные, холодные... Женился, в общезжитии отгородили одеялом – вот так начиналась наша супружеская жизнь. Через год дали комнату – 18 квадратных метров, на две семьи. И только через 3 года появилась отдельная комната. И дальше было все лучше и лучше, поселок выстроили, появились 4-квартирные финские домики. Работали все, хозяйство свое держали. Весело жили, молодежи много было.

– Это после войны такой подъем был?

– Да, подъем такой. Думали, самое плохое уже позади... До войны в Яйве сплошное болото было. Вместо вокзала – какая-то избушка. Люди в деревянных домах жили. Потом дорогу стали строить. С 1970 года здесь уже строили пятиэтажки.

– Потому и было, наверное, ощущение того, что жить стали лучше.

– Да, конечно...

– А как вы восприняли развенчание культа личности на XX съезде?

– Сначала для нас это был шок. Но потом люди все чаще стали говорить: «Правильно! Наконец-то!». Помню март 1953-го. Приехал к нам замполит и объявил, что Сталин умер, мол, мы потеряли такого вождя... Дело было в клубе. В толпе стояли два парня – Валовик Петя и Туран Петя, они по вербовке приехали, вместе с нами работали. И вот Валовик говорит Турану: «Ну и что, умер. Другой будет». А за трибуной стоял секретарь, Трусов, он все услышал. И ведь посадили Валовика. Не знаю, сколько ему дали. За длинный язык пострадал.

Если говорить обо мне, я в Сталина никогда не верил. И тогда в марте не рыдал. Думал, наконец-то, наверное, освободились. От таких репрессий.

– Но до этого ни с кем на эту тему говорить вы не могли?

– Нет. Не говорил. И после не говорил. Но про себя думал...

– Другие, наверное, тоже так, да?

– Конечно. Да все почти что. Вы думаете, что-то изменилось, что ли? Как НКВД был при Сталине, так и остался. Чуть что – ага, стой... И по национальному признаку продолжали преследовать. Видишь, это немец там что-то сказал...

– А было различие между русскими и немцами?

– За всю мою жизнь, а я прожил 79 лет, ни один русский немец не закончил престижный вуз. Поступить, с огромным трудом, но можно было только в Уральский лесотехнический институт и Пермский сельскохозяйственный...

– А вы себя кем больше чувствуете – немцем или русским?

– Конечно, я немец. Всегда говорил об этом открыто. И свою национальность никогда не скрывал.

*Поселок Яйва, Александровский район
Пермской области.*



**45-й
И ДАЛЕЕ**

Позади Победа – великий, выстраданный народом День. Многие советские люди надеялись, что уж теперь-то они начнут жить нормальной жизнью. Без страха за себя и семью, без ночных арестов и публичных судебных процессов, без каторжного подневольного труда в лагерях и спецпоселках. Но нет, сталинизм набрал дьявольский ход, ему понадобились новые жертвы.

ТРИ СУДЬБЫ

Что чувствовал человек, за которым «пришли»? Недоумение? Испуг? Растерянность? А. Солженицын в «Архипелаге ГУЛАГ» посвящает этому моменту в биографии миллионов советских людей целую главу. Попробуйте представить: до сих пор вы жили вполне нормальной, обычной жизнью. Учились или работали, любили дорогих вам людей, гордились своими маленькими победами и своей страной. И вот враз – конец прежней жизни. Впрочем, нет, что всему конец – еще нужно было понять.

В момент ареста студент второго курса МИИТа Иван Гренадеров испытал уверенность в том, что все это недоразумение, ошибка. За ним «пришли» 12 июня 1945 года. Еще не до конца пережито и отпразднована Победа. «В комнате общежития я был один и штудировал математику – готовился к экзамену». Первое, что он заявил следователю – у него сессия, и надолго он здесь задерживаться не собирается. И потребовал, чтобы ему создали условия для подготовки к экзаменам.

Художница Галина Михайловна Якубова (урожденная Бердичевская) родилась 21 мая 1911 года в Перми. В ночь на 16 января 1948 года она была арестована и осуждена по статье 58 пункт 10 Мотовилихинским судом г. Молотова (Пермь) сроком на 5 лет с поражением в правах на 3 года. На самом деле причиной ареста стал донос, в котором утверждалось, что изображенные на ее портретах вожди партии намеренно искажены и прорисованы не в тех пропорциях.

Ивану было всего 19 лет. Мог ли он, нормальный человек, представить, какая безжалостная махина набросилась на него? Как и миллионы людей, попавших в эту мясорубку, – не мог. Но школа страданий – школа ускоренного обучения. И когда приходило осознание горькой реальности, главное было, по крайней мере, для Ивана Владимировича, остаться человеком, не дать растоптать свое человеческое достоинство. Он не подписывает фальшивые протоколы допросов, за что попадает в холодный карцер. Он не предает арестованных вместе с ним друзей-сокурсников. И с гордостью говорит, что они поступили так же, как и он.

Бутырская тюрьма, этапы, лагеря... Новый 1946 год Иван Владимирович «встречает» в Молотовской (ныне Пермской) области. Симское лагерное отделение, 70 км от Соликамска. Командировка Долгая. Как говорили зеки: «командировка Долгая, а жизнь на ней короткая». Лесоповал, работа на уничтожение. К весне – предельное истощение. Доходяга. Рядом со смертью. Иван Владимирович вспоминает: было чувство, что «кто-то меня защищает».

Галину Михайловну арестовали на первом месяце беременности. Срок отбывала неподалеку от тех мест, где мыкался Иван, – в лагер-

ном подразделении а/я № 33 в г. Боровске (позднее этот город вошел в г. Соликамск). Ее дочь, Анна Бердичевская, родилась в лагере, то есть репрессирована с младенчества. Больше двух с половиной лет девочку держали в «детской зоне». Чуть не померла, – когда ей было всего четыре дня, начался сепсис. Потом доживала без мамы два года в детских домах.

Врагу не пожелаешь такую судьбу. Но вот какую закономерность я заметил: люди, прошедшие круги лагерного ада, чем-то важным отличаются от нас, какой-то особой прочностью, цельностью. Аня Бердичевская, осмелюсь сказать, давний и верный друг «Мемориала», стала большим поэтом, писателем, издателем. Она написала о прошлом, о маме и о себе. Ее пронзительные по силе чувства рассказы из книги «Чемодан Якубовой» мы печатаем в этом томе Книги памяти.

И Иван Владимирович выжил, прошел все. Клеймо врага народа еще долго преграждало ему путь к открытому общению с людьми, к образованию, нормальной карьере. Об одном он всегда мечтал, – чтоб страшное прошлое не повторилось, чтоб человек в его родной стране, наконец, почувствовал себя человеком. Пожалуй, не свершилась еще его мечта. Но надо верить и надеяться. Не терять вкус к жизни. Он и прежде никогда не плакал, не стонал, не жаловался на трудности. Не делает этого и сейчас. Сохранил ясную память. И написал свою книгу лагерных воспоминаний, отрывок из которой мы представляем читателям.

Неподалеку от тех мест, где отбывали свои лагерные сроки Иван Гренадеров, Галина Якубова и ее дочь, стоит город Красновишерск. Недавно в городе открыт памятный камень, на котором написано: «Здесь с 1928 по 1934 гг. находился концлагерь «Вишералаг». Тысячи невинно осужденных – жертвы сталинских репрессий – строили ЦБК и заготавливали лес. Узником этого лагеря был и великий русский писатель Варлам Шаламов, автор антиромана «Вишера» и «Колымских рассказов».

В разные годы нелегкой истории страны они оказались в ГУЛАГе. ГУЛАГ ломал их жизнь, здоровье, топтал личную свободу и достоинство. Но несмотря ни на что они выжили, сохранили в себе человека. И главное – написали свои книги-свидетельства. Чтоб знали следующие поколения. Чтоб знали политики. Некоторые из них сегодня пытаются реабилитировать сталинский террор бессовестными «размышлениями» о том, что ради могущества страны можно было принести и большие жертвы. Другие доказывают, что в сталинских лагерях люди жили с полным комфортом – можно сказать, лучше, чем на воле. Эту расчетливую, циничную ложь опровергают показания свидетелей, тех, кто выжил, кто на собственной шкуре пережил «комфорт» политических преследований.

ОСТАТЬСЯ ЧЕЛОВЕКОМ

ГЛАВА I. АРЕСТ И СЛЕДСТВИЕ

Я был арестован 12 июня 1945 года. Прошел месяц после окончания войны с Германией, и все мы еще находились под впечатлением Победы.

Утро выдалось теплое, ясное, на стенах играли солнечные блики. Под стать ясному утру и настроению у меня было ясным и радостным. В комнате общежития я был один и штудировал математику – готовился к экзамену. Двое моих товарищей, Бросалин и Журавлев, были в институте. Мы все трое заканчивали второй курс Московского института инженеров железнодорожного транспорта.

Началась экзаменационная сессия, и все наше время было отдано ей. Вдруг постучали в дверь. Заходят двое незнакомых и комендант общежития. Одеты прилично, в гражданскую одежду. Старший спросил:

- Вы Гренадеров?

- Да, – отвечаю.

Показывая на меня, он говорит коменданту: «Это спекулянт».

Я возмутился:



*Иван Владимирович Гренадеров**

*Фотографии, представленные в этой книге, сделаны осенью 2005 года. Тогда Иван Владимирович Гренадеров вместе с сотрудниками Пермского отделения общества «Мемориал» побывал в тех местах на севере Прикамья, куда его занесла лагерная судьба.

- Я не знаю вас. Вы зашли ко мне в комнату, да еще бросаетесь такими оскорблениями.

- Ладно, не сердитесь, – говорит он. – Может быть, так для вас было бы лучше. Пойдемте с нами в институт.

Мы вышли. Общежитие находилось недалеко от института – лишь перешли улицу Бахметьевскую. Зашли в кабинет начальника гражданской обороны института Щетинкина. Хозяина в кабинете не было. Он тоже был студентом, но писал уже дипломный проект, одновременно занимая в институте эту должность. Я был знаком с ним, и, думаю, что он сыграл не последнюю роль в моей судьбе.

Младший из моих конвоиров вышел из кабинета, а старший, оставшись со мной, стал меня расспрашивать, по-видимому, чтобы не сидеть молча:

- Не собираетесь ли вы стать отцом в скором времени?

- Нет, – говорю, – не собираюсь, рано еще.

- А то, знаете, – рассуждает он, – если что-то совершить недоброе, – это нехорошо, но обидеть человека морально – нехорошо вдвойне.

- Согласен, – говорю, – только ко мне это никакого отношения не имеет.

Я знал, что у моего товарища по общежитию Виктора Бросалина был такой грех: в деревне, откуда он родом, осталась беременная от него девушка.

- Значит, подумал я, Витьку тоже должны забрать, как и меня. А мне этот конвоир приписывает его грех только потому, что плохо ознакомился с нашими делами и путает, к кому что относится.

Вошел младший конвоир со словами:

- Машина подана.

Вышли на улицу. У здания института полно студентов: снуют туда-сюда, чем-то озабочены, куда-то торопятся. Да это и понятно – сессия началась. На нас никто не обратил внимания. Мы сели в автомашину и поехали.

Раньше я несколько раз проходил мимо этого здания на Лубянке, на полтора этажа облицованного мраморными плитами. Я не знал, что это за здание, и у меня почему-то о нем сложилось мнение: почтамт. Но вот ворота «почтамта» распахнулись, и мы заехали во двор Центральной тюрьмы. Меня ввели в здание и посадили в бокс – такую каморку без окон, размером примерно метр на метр. У стены напротив двери – деревянная лавка.

Я сел и задумался. За что меня арестовали? Перебрал в уме все, к чему можно было бы придраться, но причины так и не нашел. Однако вспомнил, что где-то читал, что арестованного человека можно держать в неведении о причине его ареста не более 3-х суток. Это меня несколько успокоило: значит, не позднее 3-х суток я буду знать, что со мной происходит.

Вскоре я услышал какое-то движение за стенкой в соседнем боксе и голос Бросалина: он отказался от ужина. Голос был хриплый. Чув-

ставалось, что он сильно переживает. Выходит, я был прав, когда в кабинете Щетинкина подумал, что Виктора должны тоже арестовать. Так оно и случилось. Только за что бы? Об этом хотелось поговорить, но это было невозможно.

Виктор жил со мной в одной комнате общежития, был одних лет со мной, учился в той же группе. Как и я, он приехал в институт из деревни, только Тамбовской области, а не Рязанской. Самым интересным в нем было его поразительное сходство с артистом кино Борисом Андреевым: такой же высокий, плотный, чем-то похожий на медведя, флегматичный, медлительный увалень. Даже лицом и голосом они были схожи. Выходит, теперь он был моим подельником - в этом я не сомневался. После фотографирования и отпечатки пальцев поздно вечером меня перевели в настоящую тюремную камеру. Так началась моя арестантская жизнь.

Недели две меня держали в Центральной тюрьме, потом перевели в Бутырскую, где мне пришлось испытать все «прелести» тюремной жизни: жил и в 3-местной, и в одиночной камере, и в карцере, и в общей камере, и там услышал свой приговор. Но этому позже я посвящу отдельный рассказ.

На следующий день вызвали на допрос. За столом сидел человек с погонами майора.

- Ого, – подумал я, – значит, меня считают солидным преступником, если следователем назначили майора.

После представления он говорит мне:

- Признавайтесь в своей антисоветской деятельности. Вы обвиняетесь по статье 58-10 часть II Уголовного кодекса.

Я опешил: так вот в чем дело! Но в антисоветской деятельности меня обвинить невозможно. Я не всегда соглашался с тем, что происходило в стране, но антисоветчиком никогда не был. Ответил, что признаваться мне не в чем, произошла какая-то грубая ошибка.

- Вы что ж думаете, что мы берем всех подряд? Нет, мы берем только тех, в чьей антисоветской деятельности убеждены. Мы не один раз проверим, прежде чем идем на арест.

- Я не знаю, как и кого вы берете, – ответил я, – но, повторяю, в отношении меня допущена явная ошибка, в которой вы скоро убедитесь и меня выпустите отсюда. У нас началась экзаменационная сессия, и я не могу здесь долго оставаться.

- Чтобы мы вас выпустили, – на это не рассчитывайте.

Однако я еще не мог поверить, что участь моя решена. Попросил разрешения готовиться к экзаменам, пока будут разбираться в недоумении, из-за которого я здесь. Но получил отказ:

- У нас здесь не академия.

Я понял, что разговаривать с ними бесполезно. Обвинение в антисоветской деятельности было настолько абсурдным, что я нисколько не сомневался в своем скором освобождении. Но невозможность го-

товиться к экзаменам меня сильно огорчила: это могло повлиять на оценки.

Таким образом, на первом допросе я познакомился со своим следователем, узнал, в чем меня обвиняют. Во-первых, обвиняют в клевете на советскую действительность. Летом я был в отпуске в родной деревне и видел своими глазами, как плохо живут мои односельчане. На трудодни за прошлый год они ничего не получили и жили лишь за счет огородов и личного хозяйства, да при том платили налоги и деньги, и молоком, и мясом.

Обычно после возвращения из отпуска ребята рассказывали друг другу, что они видели, что на них произвело впечатление. Так и я рассказал о жизни своих односельчан, а это уже оказалось клеветой на советскую действительность: не могут у нас люди жить плохо, голодать, хотя идет война.

Во-вторых, в клевете на вождя. Как-то, сидя за столом в комнате общежития, я читал книгу академика Тарле «Наполеон». В ней был эпизод: когда Наполеон собирался форсировать Ла-Манш, он получил сразу два известия: о том, что его эскадра потерпела поражение, и о том, что Австрия выступила против Франции, и ее войска направились на Париж. Прочитав эти сообщения, Наполеон сказал, что если Англии угодно, чтобы ее били на материке, то мы так и поступим. Он повернул свои войска против Австрии и разбил ее.

Незадолго перед тем, как я прочитал это, корреспонденты обратились к Сталину с вопросом: как он расценивает форсирование Ла-Манша нашими союзниками – Америкой и Англией. Сталин ответил примерно так:

- «Непобедимый» Наполеон позорно провалился с форсированием Ла-Манша, а вот союзники, не в пример ему, форсировали его удачно.

Я оторвался от книги и сказал:

- Почему же Сталин говорит, что Наполеон позорно провалился с форсированием Ла-Манша? В описании этого события у Тарле нет ничего позорного для Наполеона. Если бы он форсировал Ла-Манш, а Австрия в это время оккупировала Францию, вот это было бы для него настоящим позором.

Это расценили как клевету на вождя. Якобы я его обвинял в том, что он не знает истории.

Еще случай. Как-то я читал в газете выступление Мехлиса на каком-то, уж не помню, собрании. Он говорил о Сталине в его присутствии: великий, дорогой, любимый. Я отложил газету в сторону и сказал ребятам: «Неужели ему не стыдно? Ведь это же явная лесть». Эта реплика была расценена как клевета на руководителей партии и правительства.

Я тогда еще не знал, что вся огромная страна превращена в сплошной сыск. Всюду, в каждом коллективе имелись секретные агенты НКВД. Конечно, такой беспокойный контингент, как студенчество,

был особенно нашпигован агентами, они следили за поведением молодых людей, выискивали «неблагонадежных». По-видимому, Журавлев – второй мой сожитель по комнате в общежитии – был одним из таких агентов. Он был постарше нас с Бросалиным, фронтовик. На фронте был ранен, почему и оказался в МИИТе. Где-то он подрабатывал, лучше нас одевался, с нами хотя и не ссорился, но и не очень дружил. Он-то, наверное, и доносил о разговорах в нашей комнате.

Для проверки его доносов к нам послали уже упоминавшегося Щетинкина. Это был молодой человек лет 27–28 с симпатичной наружностью и приятным голосом. Он неплохо играл на гитаре. Это я сейчас говорю уверенно, что он был послан к нам для проверки доносов Журавлева. Но тогда ни у кого подозрений не было. Только после анализа реакции следователя на мои замечания стало ясно, кто они такие. Я для проверки несколько раз рассказывал следователю о тех разговорах, которые они вели с нами в комнате, но следователь пропускал мои слова мимо ушей и ни разу не включил их в протокол. Этим он как бы прямо сказал мне, что они люди НКВД и выполняли его задания.

Щетинкин, бывало, придет к нам в комнату, поиграет на гитаре, что-то споет. Нам лестно: мы еще второкурсники, а он дипломник и к нам заходит запросто. Посидит, поест, если мы ужинаем, поговорит о том о сем, и как-то незаметно начнет рассуждать:

- Сейчас рабочим тяжело приходится: продукты по карточкам, по неделям не выходят из цехов, чтобы фронт обеспечить всем, что ему нужно. А колхозникам? На трудодни они хлеба получили вдоволь. Зимой в деревне делать нечего, вот они и лежат на печке да в потолок поплеывают.

Спрашиваю:

- А ты давно был в деревне?

Он отвечает:

- С год.

- Тогда ты отстал от жизни.

И рассказываю, что видел в деревне, как трудно там живется колхозникам. Вот вам и клевета на советскую действительность.

Или же он спрашивает:

- А знаете, кто считается лучшим оратором двадцатого века?

- Черт его знает.

Он говорит:

- Троцкий.

Я подтвердил, что тоже где-то читал, что он был хорошим оратором. Потом это преподнесли как восхваление врагов народа.

Вот уж сколько обвинений получается: клевета на советскую действительность, клевета на вождя, клевета на руководителей партии и правительства, восхваление врагов народа.

Следователь, поскольку я с этим не соглашался, выходил из себя и кричал:

- Ты фашист. Хуже фашиста – те хоть признаются, кто они такие. Особенно он просвещал меня в отношении Сталина:

- Он – самое дорогое, самое ценное, самое любимое, что есть у нас в стране. Как же вы этого не понимаете? Он не знает истории... Да по любому вопросу он может пригласить любого академика, хотя бы того же Тарле, чтобы ему разъяснить, что требуется.

- Может быть, для вас Сталин и есть самый любимый, самый ценный и самый дорогой. Но для меня он не царь. У меня есть и более дорогие понятия: Родина, семья, мать, – отвечал я.

Конечно, такие ответы воспринимались как вражеские, и были они не на пользу мне. По вопросам, которые задавал следователь, я понял, что помимо знания о содержании наших разговоров в общежитии у него имеется целый набор обвинений в антисоветской деятельности, которые он старается приписать каждому подсудственному, в том числе и мне. Это – восхваление зарубежной жизни, восхваление буржуазной демократии, отступление от марксизма, восхваление белогвардейщины и другое. Сейчас весь перечень «ярлыков» и не упомяну.

Из разговоров со следователем я скоро понял, что одновременно со мной были арестованы мои друзья Витя Бросалин и Миша Соколов. Об аресте Бросалина я догадался сам, а арест Соколова был для меня неожиданностью. Он учился со мной в одной группе, был спокойным, уравновешенным, вдумчивым парнем. Родом из Ярославля. По возрасту года на два старше меня, но на фронт его не взяли, потому что на один глаз он был слепой. В общежитии жил в другой комнате, но у нас бывал часто.

Нас с ним связывала еще одна ниточка. На курсе училась одна девушка – Валя Нестерова. Высокая, стройная, красивая, очень нежная и хрупкая. Меня поражала даже ее одежда, всегда настолько чистая и выглаженная, как будто каждый раз Валя надевала ее впервые. Мы часто садились с ней рядом на лекциях, разговаривали. Она занималась общественной работой: шефствовала над одной группой в детском саду. Зная мою склонность к стихосложению, она заставила меня написать сказку в стихах про зайцев, лису и петуха, которую ребяташки поставили на своем новогоднем утреннике. Валя рассказывала, что постановка прошла успешно, она понравилась и детям, и взрослым.

Я чувствовал, что Валя меня выделяет из общей студенческой массы. Но между нами встала непреодолимая, как мне казалось, преграда – Валя была выше меня ростом. Поэтому я познакомил ее с Мишей и, кажется, не напрасно: они стали вместе готовиться к занятиям, ходить в кино, на танцы. Валя и была той ниточкой, которая нас с Мишей еще связывала.

Чтобы я подписывал протоколы в духе, желательном для следователя, он стал говорить мне, что Бросалин и Соколов признались в своей антисоветской деятельности и обо мне говорили то-то и то-то. Поэтому мне лучше всего тоже признаться, как и они. Я этому не ве-

рил, потому что был уверен в честности и порядочности своих товарищей, и говорил:

- Это дешевый прием. Не верю, они не могли оболгать себя и меня.

Чувствовалось, что начальство недовольно нашим следователем: время идет, а он не может уломать каких-то мальчишек. К его чести нужно сказать, он не оказывал на меня силового воздействия, меня не били. Но дважды случалось следующее: на вопросы следователя я отвечаю одно, а он в протокол заносит совсем другое. Меня это возмущало, и такие протоколы я рвал. Следователь злился и сначала перевел меня в одиночную камеру, а после второго такого случая отправил в карцер со словами:

- Посидишь – поумнеешь, согласишься и не такое подписать.

Меня увели прямо из его кабинета. Стоял конец августа. На улице жарко. В окно кабинета следователя заглядывало солнце. На мне был костюм, под ним майка, на ногах туфли на босу ногу. В этой одежде я был отправлен в карцер. Карцер – клетушка без окон в подвале тюрьмы, по ширине – я упирался руками в стены, потолка касался ладонью. Длина по диагонали – четыре моих мелких шага. Дверь металлическая с глазком и кормушкой, над дверью ниша в стене с электрической лампочкой, закрытой металлической решеткой и стеклом. Пол бетонный. По середине одной стены «кровать» в виде рамы из металлических труб, пространство между трубами заполнено досками и залито элабастром. Все это покрашено половой масляной краской. На день эта конструкция поднималась к стене на шарнирах и запиралась на замок, а на ночь откидывалась на деревянный столбик диаметром 16–18 сантиметров и тоже запиралась. Никакого постельного белья, конечно, не давали.

Я стелил на эту «кровать» майку, туфли ставил под голову в качестве подушки, а пиджаком укрывался. Так спал. Мерзли ноги, болело тело. Но я терпел. Спать разрешали с 12 часов ночи до 6 часов утра. Утром приходил надзиратель, поднимал «кровать» к стене и запирал на замок. Днем я мог стоять, ходить от стены до двери и обратно или сидеть на столбике. Сидеть или лежать на полу не разрешалось. Питание – 400 граммов хлеба в сутки и кружка воды, через 3 дня – миска «баланды».

На следующий день утром надзиратель сводил меня в туалет, там я умылся, вытерся майкой как полотенцем, и, возвратившись в карцер, стал делать зарядку. Вдруг открывается дверь, появляется надзиратель и говорит:

- Прекратить! Здесь вам не спортивный зал.

Пришлось прекратить, хотя было прохладно, а согреться я мог только физзарядкой.

Через день меня вызвал следователь и еще с порога спрашивает:

- Ну как?

- Хорошо, – отвечаю.

- Тогда посиди еще.

Увели обратно. За неделю он вызывал меня трижды, и разговор происходил почти один и тот же. С помощью карцера он рассчитывал сломить мою волю и превратить в послушное животное. У меня боле-ли бока и спина от деревоалебастровой «кровати», зад превратился почти в сплошную рану. Из-за боли я уже не мог сидеть на столбике, подошвы ног пылали от постоянной ходьбы и стояния. Но я дал себе слово: умру, но не сдамся, не доставлю ему такого удовольствия.

В карцере есть время подумать. Уже было ясно, что моя надежда в самом скором времени выйти отсюда оправданным не имеет ника-ких оснований и просто наивна. Я понял, что обречен. И стал думать о предстоящем суде. В карцере сочинил последнее слово для суда в стихотворной форме. Привожу его здесь (в сокращении – ред.), хотя произнести его мне так и не пришлось.

Я не предал Отчизну свою,
Не продажной я тварью родился,
Не смутьян я и водку не пью,
От которой б мой мозг помутился.

Я ни в чем не виновен. И что ж?
Клеветой меня гнусной облили
Так, что стал на врага я похож,
А по ней и в тюрьму посадили!

И попробуй теперь доказать,
Что из лжи состоят обвиненья:
Можешь клясться, терзаться, рыдать, –
Будут тщетны твои объясненья.

Моя совесть спокойна. Стране
Верный сын я, не враг я народа.
Его счастье дорого мне,
Вместе с ним и мне будет свобода!

Я пощады себе не прошу.
Пусть суд ложно меня осуждает.
Не ропщу я, как трус, не дрожу –
Приговор лишь виновных пугает.

Но несчастье не сломит меня,
Не растопчет мой дух и сознание,
Не остудит святого огня,
Что мое согревает дыханье!

Не нужно забывать, что стихи «последнего слова» были сложены 19-летним юношей в тюремном карцере на память, без бумаги и чернил. Никакого суда надо мной не было: просто привели в небольшой каби-нет, и сидевший там за столом капитан унылым голосом объявил, что особым совещанием НКВД я приговорен к 8 годам лишения свободы.

- Распишитесь.

Вот и весь суд. Мой поэтический пыл пропал даром.

Но все это было позже. На следующий день после возвращения из карцера вызвали на допрос. Помимо следователя в кабинете сидел мужчина лет 35. Оба одеты в гражданскую одежду. Начался обычный допрос. Каково же было мое негодование, когда этот второй стал мне возражать и задавать вопросы. Тебе-то что нужно, сидишь и сиди.

После карцера настроение было не из добрых. Я и следователю отвечал дерзко, с вызовом, а уж его «гостю» тем более. Под конец следователь объявил, что скоро у меня очная ставка с Бросалиным.

Почувствовалось, что, наконец, он хочет закончить нашу эпопею. Конечно, Витя знал, что я здесь, так как следователь не раз упоминал обо мне. И, конечно, требовал, чтобы он наплел про меня всякой грязи, обвинил бы в антисоветской деятельности. Интересно узнать от него самого, в чем он «признался». Впрочем, в том, что он ничего не наговорил на меня, я был уверен. Очень хотелось увидеть друга, узнать, как он себя чувствует, какое впечатление произвел на него арест. Поэтому очной ставки я ожидал с нетерпением.

В тот день меня в кабинет следователя ввели первым, через несколько минут привели Виктора. Следователь сидел за столом, мы на стульях поодаль. Спросил:

- Вы, надеюсь, знакомы?

- Знакомы, – отвечаем почти одновременно.

Я до сих пор не могу объяснить наше поведение при той встрече. Стоило посмотреть друг на друга, как мы рассмеялись. Не поспешили с расспросами, не расплакались, а рассмеялись. Смотрим друг на друга и смеемся. Может быть, потому, что все, что с нами происходило, казалось скорее смешным, чем трагичным. А может, нервы не выдержали, они и так были натянуты до предела.

Так продолжалось несколько минут. Наконец, следователь потребовал, чтобы Виктор рассказал, какие разговоры тот вел в комнате, кто в них участвовал, как я на них реагировал. Виктор рассказал, что было на самом деле, в каких разговорах я принимал участие. При этом он признал, что эти разговоры можно квалифицировать как антисоветские, но никакой антисоветской деятельностью ни он, ни я не занимались. Потом следователь обратился ко мне: признаю ли я все это. Я сказал, что признаю, хотя в рассказе Виктора была одна деталь, которой не было в моих показаниях – признание наших разговоров антисоветскими. Если Виктор признал это, то почему я должен отрицать? Я понимал, что и Мишу Соколова принудили признать наши разговоры антисоветскими. После их признаний я не считал возможным утверждать иное.

Прошло много лет, но и теперь я говорю, что не ошибся в Викторе и Мише, в их порядочности, в их честности. Думаю, что и они могут сказать обо мне то же самое.

Никто из нас не признал, а следствие не доказало, что мы занимались целенаправленной антисоветской деятельностью. Вот в чем заключалась тактика нашей самозащиты. Разговоры были просто разговорами, и вся наша вина, как говорят, не стоила выеденного яйца.

Судить за такие разговоры, лишать людей свободы за них – это преступление, преступление, которое не каралось по закону! Судить нас было не за что, поэтому и не было суда. Но особое совещание НКВД определило нам сроки лишения свободы по статье 58-10 часть II за антисоветскую агитацию и пропаганду. Выходит, что мы, разговаривая друг с другом, вели агитацию и пропаганду против Советской власти. Смешно и нелепо. Но эта нелепость нам стоила дорого.

ГЛАВА II. В КАМЕРАХ

Поздно вечером меня перевели из бокса в камеру Центральной тюрьмы. Дежуривший по коридору надзиратель показал свободную койку. Я огляделся: камера представляла собой мрачное помещение с одним окном в стене против двери, в откосы оконного проема вмонтирована массивная металлическая решетка, а снаружи окно прикрыто уширяющимся кверху металлическим «забралом», открытым вверху. Через это отверстие виден клочок неба. Вдоль стены установлены шесть металлических кроватей, при них тумбочки. В углу, сбоку от двери, стоял металлический бачок – «параша». Стола и стульев не было.

Люди уже спали. При моем появлении один из проснувшихся сел на кровать и спросил сонным голосом:

- Откуда?

- Московский студент, – ответил я.

- За что?

- Пока не знаю.

На этом его любопытство к моей персоне иссякло, больше вопросов не последовало. Я разделся и лег. Сон не шел. В голове крутились тревожные вопросы, но внутренне я был спокоен. Незаметно уснул.

Утром сокамерников поднял надзиратель, предупредив, что следующими идем умываться мы. После возвращения из туалета, через «кормушку» выдали по 400 граммов хлеба, немного перловой каши и металлический чайник с кипятком. Хлебом каждый распорядился по-своему: кто-то съел сразу, кто-то поделил на две, а то и на три части.

Конечно, 400 граммов хлеба, при скудном приварке, очень мало. Я и не заметил, как его не стало. После завтрака кто-то лег доспать, кто-то ходил по камере, кто-то читал.

Я плохо помню своих первых коллег по несчастью. Помню только, что был там инженер-сантехник, мужчина лет 42–45, невысокого ро-



Соликамск. Здесь размещалась бывшая пересыльная тюрьма, через которую прошли сотни политзаключенных.

ста, плотный, замкнутый. Был Володя, лет 25–26, высокий, худой, все время читал.

Часов в 11 меня вызвали на первый допрос. Хорошо помню, как надзиратель вел меня по коридорам: руки велел держать сзади, не разговаривать, не смотреть по сторонам, а если кто шел навстречу, ставил меня лицом к стене, чтобы я не видел, с кем повстречался. У поворота останавливались, надзиратель ставил меня лицом к стене, а сам стучал ключом по бляхе на пояском ремне, выглядывал за поворот и, если там никого не было, движение продолжалось.

После допроса тот же надзиратель, тем же порядком и по тому же маршруту возвратил меня в камеру. Здесь вопросов ко мне было немного: у каждого хватало своих забот. Меня это даже радовало, потому что разговаривать не хотелось.

Между часом и двумя обед. Разносили его осужденные на небольшие сроки бытовики. Мы выстроились перед «кормушкой» каждый со своей миской и получили порцию брюквенного супа.

Те, кому приносили передачи, что-то добавили к нему от них, а остальные, как я, довольствовались супом. Даже сейчас представляю, каким он был неприглядным на вид, но, как говорят, голод не тетка, и такое заставит есть.

Между 6 и 7 часами вечера принесли ужин – немного жидкой магаровой каши. Магар – это что-то вроде пшена, только мельче и на вкус

хуже. Как и где он растет – не знаю, раньше никогда не видел. Ужин не отнял много времени, а до отбоя еще далеко. Чтобы скоротать время, я подошел к Володе, который сидел с книгой, и спросил, что он читает.

- «Избранные письма» Флобера, – был ответ.

- Наверное, это не очень интересно – читать чужие письма.

- Не скажите. Отдельные письма даже очень интересные.

Я сел с ним рядом. Он прочитал мне отдельные места из писем, высказал свое мнение об эпистолярном творчестве.

- Кстати, – сказал он, – при тюрьме есть библиотека художественной литературы для нашего брата, причем неплохая. Раз в неделю разносят книги по камерам. Книги можно заказывать и, если они есть в библиотеке, то заказ выполнят. Можете и вы заказать, что вас интересует.

- Спасибо за совет. Закажу с радостью, не представляю, как здесь можно сидеть, ничего не делая и не читая. От одних дум можно с ума сойти.

Незаметно разговор с литературы перешел на более близкие нам темы. Я рассказал о себе, о нелепости обвинения, которое мне инкриминируют.

- Это для нас с вами такие обвинения нелепы. А для следователей... Они знают только одно направление в следствии – обвинительное, оправдательного для них не существует. И чем нелепее доказательств, тем больше к ним доверия у их начальства. В этом я убедился на собственном примере.

На следующий день после обеда принесли книги из библиотеки. Мне тоже дали книгу. Я уж не помню название и автора, но помню, что в ней рассказывалось об обычаях жителей Ближнего Востока и об английском шпионе, помнится, по фамилии Стэнли.

Спустя дня четыре, как меня водворили в эту камеру, при разносе передач меня тоже позвали к кормушке:

- От кого ожидаете передачу?

- Ни от кого не ожидаю.

- А кто такая Надежда Попова?

- Она студентка МИИТа.

- А как ее отчество?

- Павловна.

Кормушка захлопнулась. За дверью разговаривали, по-видимому, решали, как быть с передачей. Через несколько минут кормушку опять открыли:

- Получите – от нее.

И мне выдали небольшой сверток. В нем хлеб, немного сахара и немного сливочного масла. Передача, как гром среди ясного неба: я и подумать о таком не мог. Самым большим удивлением было то, что она от Нади Поповой. Надя училась в одной группе со мной, но я был мало знаком с ней. Среднего роста, плотная, рыженькая, она была обыкновенной студенткой, каких большинство. На студенческих вечерах я несколько раз приглашал ее на танец. Танцевала она хорошо, во всяком случае, гораздо лучше меня.

И вот теперь – это ее внимание.

Мало того, что продукты были отняты у самой себя. Их ведь нужно было передать, а для этого выстоять в очереди, и не где-нибудь, а у тюрьмы, что само по себе не рождает восторга и не украшает человека в глазах прохожих. Как она узнала, что меня арестовали – ведь это делалось втайне? Как нашла меня здесь, в Центральной тюрьме? Как отвечала на вопросы, кто я для нее и кто она мне?

Мое сердце переполнено благодарностью. Но все-таки что побудило ее сделать все это? Не простое же любопытство. Пусть простит Надя, если я не прав, но в 19 лет, мне кажется, могла быть только одна причина – любовь. Неужели Надя любила меня, а я, как слепец, ничего не видел? Выходит, нужно было меня арестовать, чтобы я прозрел.

Не будучи в силах переварить эту историю в себе, я рассказал о ней сокамерникам. Они долго обсуждали ее и пришли к единому выводу: не каждая девушка, даже если она очень любит парня, способна на такой подвиг. Для этого нужна очень верная, благородная душа.

Через несколько дней Надя принесла еще одну передачу. Но и на этом ее забота не закончилась – она послала родителям, живущим в Рязанской области, телеграмму такого содержания: «Сообщите, дома ли Ваня, если нет, то с ним произошло несчастье, срочно приезжайте. Надежда Попова». Опять не могу понять: как она узнала имя моего отца и адрес родителей? Телеграмма составлена так, чтобы смягчить удар – в ней не сказано о моем аресте. Но переполох в семье она вызвала большой: отец стал собираться в Москву.

К сожалению, я больше никогда не встречался с Надеей, и все мои вопросы остались без ответа. Я даже не поблагодарил ее за доброту, за благородство, за хлопоты.

С тех пор прошло много лет, я уже далеко не юноша, но воспоминания до сих пор возвращают меня в то время, бередя сердце раскаянием. Я виноват перед ней. Но в те дни... После объявления приговора я понял, что он проложил непреодолимую пропасть между прежней жизнью и тем, что меня ожидает впереди. Эта пропасть навечно отделила от всего и от всех. Нужно забыть, забыть, как бы это ни было тяжело и для меня, и для моих друзей.

...Все-таки следователь и его начальство, по-видимому, надеялись, что со мной – мальчишкой – им долго возиться не придется. Но своим упрямством и нежеланием признаваться в антисоветской деятельности я сломал их планы. Наверное, поэтому меня из Центральной перевезли в Бутырскую тюрьму, где, видно, у них больше возможностей, чтобы принудить и запугать.

Как я узнал позднее, настрой следователей на обязательное обвинение подсудимых официально поддерживался тем, что признание кого-либо из подсудимых не виновным считалось проколом в работе следствия. Это означало, что против такого человека по ленности не было собрано нужное количество обвинительного материала.

ла. Такие случаи становились событиями, они ставили под сомнение профессиональную пригодность следователя.

Вначале меня поместили в пятиместную камеру. Она мало чем отличалась от только что оставленной мною камеры в Центральной тюрьме – разве была немного поменьше размерами. Жизнь в камере, если можно так назвать быт заключенных, была сумрачной, тягостной. Время тянулось однообразно.

Однако вспоминается такой случай: как-то после обеда в камеру поместили молодого человека, одетого в военную форму, только без погон. Он без расспросов объявил всем, что арестован за то, что в каком-то учреждении сорвал со стены портрет Сталина. Такое признание походило на провокацию, поэтому разговор с ним никто не поддерживал. Какое-то время он ходил по камере, потом подошел к параше, открыл крышку, посмотрел внутрь и, сняв сапоги, полез в нее с ногами. Постоял так немного, снял гимнастерку и стал мыться содержимым параша... Пришел надзиратель, посмотрел на происходящее и увел молодого человека из камеры со словами:

- Ты не первый косишь под сумасшедшего – вряд ли пройдет.

Этот инцидент стал темой общего разговора: был ли молодой человек настоящим умалишенным или, как выразился надзиратель, только косил под него. Во всяком случае, нужно все-таки иметь нарушенную психику, чтобы искупаться в параше.

Здесь я познакомился с одним художником – человеком лет под пятьдесят. Уж не помню, как его звали. Он мне рассказал о себе:

- Родом я из бедной дворянской семьи. Еще совсем молодым юношей был отдан учиться в кадетский корпус, хотя карьера военного меня не прельщала. В 1918 году кадетский корпус был вывезен в Болгарию. Там этот корпус скоро распался. Встал вопрос, как жить. Какое-то время жил случайными заработками, бедствовал. В 1922-м поступил в художественную школу и стал художником. В основном был портретистом, но писал и жанровые картины. С трудом жизнь налаживалась, появился достаток. Я женился, появились дети. Но тут началась война – она все спутала. Болгария вступила в нее на стороне Германии. Я был взят в армию, но на фронте не был, служил при военном ведомстве. Когда Красная Армия вошла в Болгарию, меня арестовали и привезли в СССР. А теперь вот собираются судить, как старого врага Советской власти.

В его рассказе не чувствовалось вражды к Советам, но во всем облике виделась безысходность. Я чем-то понравился ему, и он написал мой портрет на носовом платке тушью, которую сам приготовил в камере из резиновой сажи, сахара и воды. Портрет получился удачным, я его хранил под одеждой. Но однажды при обыске его у меня нашли и отобрали. Не знаю, чем он помешал охранникам – все равно ведь выбросили, – а мне до сих пор его жаль.

По телеграмме Нади в Москву приехал отец, чтобы выяснить, где я и что со мной произошло. Нашел он меня в Бутырской тюрьме. Свидания ему, конечно, не дали, но сказали, что я обвиняюсь по статье 58-й Уголовного кодекса за антисоветскую агитацию, сейчас идет следствие. Больше ничего ему не удалось выяснить, со следователем он встретиться не смог. Я о его приезде узнал только по передаче, которую он мне переслал. Было очень горько. Сам того не желая, я создал столько горя своим родным.

Поняв, что ничего больше он для меня сделать не сможет, отец вернулся домой. Теперь родные знали, какое «несчастье» со мной произошло, но от того им легче не стало. Они не ведали, что это за агитация, за которую меня посадили, кого я агитировал и за что.

В первые годы революции мой отец был ярким коммунистом, но его честный мужицкий ум не мог смириться с кампанией уничтожения кулачества как класса, во время которой погибло много честных тружеников, лучших крестьян, которых он знал лично. Отец не верил в необходимость массовых репрессий, не верил, что время НЭПа прошло, что НЭП выполнил свое предназначение. Поэтому отошел от политики, порвал с партией. Маме он не стал рассказывать про свои думы о сыне, чтобы не расстраивать ее еще больше – она и так вся исстрадалась. Я ее очень любил.

Родные не знали, в чем состоит «преступление» сына вплоть до зимы 1948 года: тогда отец приезжал ко мне в Сим на командировку «Долгая» (Соликамский район Пермской области – ред.), и я рассказал ему, что со мной приключилось. В письмах я об этом писать не мог.

Но я забежал вперед.

Здесь, как и в Центральной тюрьме, нам в камеру приносили художественную литературу из тюремной библиотеки. Меня она отвлекала от невеселых дум, помогала забыть. Я буквально погрузился в чтение. Может быть, потому у меня сохранилось так мало воспоминаний об этой камере. Я прочитал здесь «Соки земли» Кнута Гамсуна, «Сагу о Форсайтах» Джона Голсуорси, «Красное и черное» Стендаля, «Тартарен из Тараскона» Альфонса Додэ. Это были последние книги, которые повезло прочесть в тюрьме, в других камерах мне их уже больше не давали.

А следствие продолжалось. Однажды, рассчитывая, что я не глядя подпишу протокол, следователь написал совершенно противоположное тому, о чем шла речь. Его поведение меня страшно возмутило: я сказал ему, что так следствие не ведут, это подлог. И протокол порвал. За это был переведен в одиночную камеру.

Одиночная камера, в которую меня привели, отличалась от тех, в которых я уже содержался, только шириной – все остальное то же. Но жизнь в ней, конечно, другая. Здесь я заперт в каменном мешке: можно ходить от двери до окна, сидеть, лежать, но поговорить не с кем, не с кем посоветоваться, некому излить душу. Один днем и ночью. Развле-

чением стали вызовы к следователю, хождения в туалет утром и вечером, да раздача завтрака, обеда и ужина. Вот и все. Книг не давали.

Особенно тревожно было в первую неделю по ночам. Начиная часов с 12-ти и примерно до 2–3-х часов откуда-то снизу неслись душе-раздирающие крики: по-видимому, пытали мужчин. Прислушивался к ним с содроганием: меня ведь тоже могли так пытаться – попади только палачам в руки. Им не важно, кто в их руках, – отъявленный преступник или невинный человек.

В газетах тогда писали, что у нас в стране пытки отменены и дознания ведутся только методом предъявления неопровержимых фактов, доказательств. Со мной было не так, но крики из подвала тюрьмы убеждали в том, что газетные статьи – байки для непосвященных. Меня это угнетало, рождало чувство беспомощности. Но вместе с тем, появилось упорство, стремление сопротивляться произволу. По-видимому, следователь, преследовал цель сломить мою волю каменным мешком и этими криками. Но это ему не удалось.

Пока я был в одиночке, следователь, по-видимому, уверовал в исполнение своего напутствия «в одиночке посидишь – глядишь, спесь-то с тебя и слетит». Он опять записал в протокол допроса такое, о чем я и помыслить не мог. Естественно, я возмутился и протокол порвал. И снова – карцер.

На этот раз крики истязаемых прекратились. Но в каменном мешке тишина – тоже не благо, она угнетает. Мне захотелось описать мой нынешний быт в стихотворной форме. Конечно, бумаги и карандаша не было, я ложился на кровать, и стихи складывались сами собой. Я помню их до сих пор – вот они:

Уж осень в небе водворилась
Седым покровом своих туч,
Туманом утро задымилось,
По-летнему не греет луч,
Жары уж нету и в помине.
Чтоб разогнать тоску и лень,
Пожалуй, расскажу, как ныне
В тюрьме я коротаю день.
Встаю и делаю зарядку –
Щекочет тело холодок.
Сомну фунт хлеба всухомятку,
Попью холодный кипяток,
Заем все это жидкой кашей,
Вымою чашку и опять,
Закрыв вонючую парашу,
На койку завалюся спать.
Уже не рано. Смотришь, солнце,
Отмерив ровно три часа,
Вползает в мрачное оконце.
Зевнешь, почешешь в волосах,

О всяком помечтаешь вздоре.
А там затопает сосед,
Загремят ведра в коридоре –
Щи разливают на обед.

Поешь и ходишь, ходишь, ходишь:

Дверь – стена, стена и дверь.

Порою про себя завоеешь,

Как пойманный в неволю зверь.

Роятся мысли пестрым роем,
И в голове моей тогда
Воспоминанья строй за строем
Живят минувшие года.

Отец и мать, родные сестры

И на войне погибший брат,

Друзья, знакомых толпы пестры

Незримый заполняют ряд.

Полузабытые картины
Из жизни в школе и в семье
Вдруг возникают, как руины
Неясные в вечерней мгле.

Как хламовщик с тоской желаний

Я роюсь в памяти моей,

Сметаю пыль с воспоминаний.

Обрывки мыслей и страстей.

Вновь извлекаю для просушки.
А сердце полнится тоской...
Но, впрочем, к черту все игрушки –
На все уж я махнул рукой.

В шесть снова щи дают на ужин.

Отбой не скоро. Ну и что ж?

Подтянешь поясок потуже,

На койку ляжешь, запоешь.

Все пропоешь, что только знаешь,
Увы, не с радости. Стихи,
Какие знал, припоминаешь,
Припомнишь прежние грехи,

Ругнешь себя за них покрепче.

А то фантазия порой

Раскинет крылья – станет легче:

Забудешься ее игрой.

А время скачет понемногу –
Уж ночь чернеет за окном.
Вот и отбой – ну, слава Богу.
Сплю крепким безмятежным сном.

Меня перевели уже в четвертую по счету камеру, где до меня находились два человека: Фиш – экспедитор с красильной фабрики и Карл – парень из Чехословакии. Их я хорошо помню. Фиш был среднего роста, тщедушный, с глубоко посаженными коричневыми глазами, весь какой-то издерганный и жалкий. Ему 42 года, он не был женат. На красильной фабрике проработал несколько лет и... проворовался. Я не расспрашивал его, что он там натворил, но знал, что его обвиняли по Указу от 7.08.32 года, по которому за сбор колосков на колхозном поле после уборки давали 10 лет. Фиш очень боялся, что его приговорят к высшей мере наказания – расстрелу. У него была одна особенность: он не мог думать про себя, думал вслух. Бывало, ходит по камере и говорит, говорит. Конечно, это нас утомляло. Как-то раз я даже сказал ему об этом стихами:

Скажи на милость, добрый Фиш,
Когда нытье ты прекратишь?
Уж сколько дней подряд, о боже,
Ты говоришь одно и тоже:
Что ты несчастный и больной,
Что жизнь промчалась стороной,
Что ты посажен, как злодей, –
И все по глупости своей.

Карл был раза в два моложе Фиша. По национальности он чех, но хорошо, без акцента говорил по-русски. Он был высокого роста, стройный. В камере вел себя скромно, приветливо. Как-то в разговоре со мной он рассказал:

- Во время войны меня призвали в немецкую армию. Какое-то время я находился в пехотной части, там меня готовили для фронта. Не знаю почему, но вскоре меня перевели в школу, в которой готовили диверсантов против СССР. В ней я прошел полный курс. Здесь меня обучили русскому языку и всему, что должен знать и уметь диверсант.

После окончания диверсионной школы меня с одним напарником забросили с самолета за линию фронта со специальным заданием: взрывать мосты на железнодорожных и автомобильных дорогах, нарушать линии связи и т.д., другими словами, всячески вредить Красной Армии. Но мы с напарником решили не заниматься диверсиями, а пробираться домой. Так и сделали: перешли линию фронта, бросив оружие и снаряжение, обогнали Красную Армию, и я вернулся в родные места. Какое-то время я прятался дома, а когда прогнали немцев, стал жить открыто. Но обо мне уже знали, арестовали и привезли сюда. Вот, коротко, вся моя история.

Насколько она правдива, я судить не берусь. Да если она и не была правдой – какое для меня это имело значение? Мы с ним были на одинаковых правах – товарищами по несчастью и только. Я это уже

хорошо понимал, не считал нужным его сторониться или высказывать какую-то враждебность.

Нужно сказать, что, питаясь лишь скудной тюремной пищей, мы с ним сильно голодали. А в это время у Фиша, который получал передачи с воли, накопился целый мешок сухарей, он их сушил на будущее. Однажды вечером, когда Фиш спал, Карл предложил:

- Давай возьмем у него сухарей из мешка – он даже не заметит. Живот подвело – есть очень хочется.

- Если хочешь, бери – я не возражаю, но участвовать в этом не буду, – ответил я.

Я скорее умру от голода, но не возьму чужое без разрешения. Есть такая у меня черта. «Хорошую» школу прошел. Рано узнал, что такое голод и холод. Приведу несколько примеров, чтобы было понятно, о чем я хочу сказать.

По обычаю в праздник Троицы большинство взрослых и детей из моего родного села семьями шли с едой и выпивкой в лес, который назывался «Бабкина роща». Там они, расположившись под кустами орешника, пили, ели, пели песни. Молодежь танцевала под гармонь на лесной поляне.

Мне 11 лет. Очень хотелось со всеми пойти в «Бабкину рощу», но не мог, потому что не было штанов. Те, в которых я ходил в школу и на улицу, состояли, как говорят, из одних деток – заплаток, а маток – родной ткани – в них уже не осталось. У мамы нашлись полметра полусукна. Вот из него она, плача, сшила мне штаны длиной до коленок – на более длинные ткани не хватило. Пока шила, я сидел с ней рядом, дожидаясь, когда штаны будут готовы. Надел их и побежал в лес, радуясь, что одет в новое.

Или другой случай. Пришла весна, снег бурно тает, появились первые проталины. Мне так хотелось пойти на улицу, а не в чем. Я приладил к ботинкам с оторванными подошвами деревянные колодки, чтобы ноги были выше воды и снега. Но выйти на улицу не пришлось, т.к. не нашли ни носков, ни портянок. Для взрослого не пойти на улицу – всего лишь эпизод, а для ребенка – трагедия.

Помню еще случай. Как-то зимой мы со старшим братом Леней пошли в город Скопин на базар, чтобы продать мамину шерстяную юбку и кожаные голенища от старых сапог и купить хлеба. От нашего села до Скопина было 12 километров. Дома есть нечего. Мы пошли без завтрака, надеясь на удачу на базаре. Но нужная палатка оказалась закрытой, мы ничего не продали и ничего не купили. Целый день во рту ни крошки. Пришлось не солоно хлебавши возвращаться домой. Уже свечерело, поднялся сильный встречный ветер. Скоро я выбился из сил. А нужно пройти еще пять километров. Леня посильнее меня, я обнял его за плечи. Как мы шли, не помню, потому что был почти в бессознательном состоянии.

Считается, что инстинкт сохранения жизни самый сильный из всех инстинктов. Но в то время он у меня молчал. Так хотелось лечь на

дорогу и не двигаться. Если бы не Леня и другие односельчане, с которыми мы шли, я так бы и сделал и через какое-то время замерз. Когда вошли в село, я все-таки лег на дорогу. Леня тоже выбился из сил и лег со мной рядом. Пролежали несколько минут. И тут нас догнала соседка с пустыми санками.

- Да вы замерзнете на снегу, вставайте скорее.

А когда Леня рассказал ей, почему мы лежим, она забеспокоилась:

- Ложись, Ваня, на санки – мы с Леней тебя повезем.

Провезли с километр. Соседка ушла домой, а я пошел на своих ногах. И когда до дома оставалось метров 15, показалось, что их не преодолеть. Мама встретила нас со слезами, накормила чем смогла. Я, не раздеваясь, упал на лавку и мгновенно уснул. А утром мы с Леней побежали в школу. Я учился тогда в 6-м классе, Леня в седьмом. Такие истории не забываются.

Даже будучи студентом высшего учебного заведения, я все еще носил отцовские ботинки, которые были на три размера больше моего, и его брюки, в которые мог поместиться Пепе из одноименного рассказа М. Горького.

К тому времени я прочитал уже груды книг. Из них узнал о нормальной обеспеченной жизни, о чести, о совести. Книги и трудные условия жизни сформировали и закалили мой характер, сделали его таким, каким он был в тюрьме, каким остался навсегда.

Карл, по-видимому, не ожидал получить от меня отказ на его предложение взять сухарей у Фиша. Но я видел, что его, как и меня самого, мучил голод. Подумав, я предложил:

- А давай лучше объявим ему бойкот.

- А как это?

- Очень просто. Он не может обходиться без общения с нами. И если мы с тобой перестанем с ним разговаривать, то, не сомневаюсь, это подействует.

На следующий день утром, как обычно, принесли завтрак. Мы с Карлом быстро расправились со своими порциями и стали о чем-то разговаривать. На Фиша мы не обращали никакого внимания. Наевшись и вымыв посуду, Фиш обратился ко мне с каким-то вопросом. Я притворился, будто ничего не слышал. Он повторил вопрос, я не ответил опять. Тогда он обратился к Карлу – результат тот же. Это его озадачило.

Весь день мы стоически уклонялись от его разговоров, хотя видели, что это его не только огорчило, но и встревожило. Он понять не мог, почему мы, всегда такие приветливые, вдруг перестали с ним разговаривать.

Ночью он плохо спал, ворочался, вздыхал, а утром его как будто подменили. Если он и так был, как говорят, не от мира сего, то за прошедшие сутки сильно изменился, причем не в лучшую сторону. Ему подумалось,

что нам с Карлом стало что-то известно о его несчастной участи, поэтому мы так сильно переменялись к нему, стали его сторониться.

После завтрака он высказал нам эти свои «открытия» и страхи. Но мы, соблюдая договоренность, промолчали.

Было воскресенье. После обеда Фиш получил большую передачу. Разложив на кровати полученные продукты, он долго смотрел на них, что-то соображая, потом вдруг сказал:

- Если уж мне суждено погибнуть в тюрьме, то хоть вы вспоминайте обо мне иногда. Присаживайтесь, вместе пообедаем.

Мы не заставили долго себя уговаривать.

Мой психологический опыт удался. После бойкота Фиш стал более человечным и менее эгоистичным. Он в нас с Карлом вдруг увидел таких же, как и он, арестантов, которые помимо ожидания своих горьких судеб, еще испытывают муки голода. Передачами он стал делиться постоянно, причем по-дружески, без нажима с нашей стороны.

Понятно, в камере вновь воцарились мир и взаимопонимание, даже лучше прежнего. Так продолжалось около трех недель. Первым из нашей троицы взяли Фиша: по-видимому, его увели на суд. Расставаясь, мы обнялись. Он ушел от нас успокоенным и уверенным в том, что его осудят не более, чем на пять лет. Больше я его не видел и ничего о нем не слышал.

На следующий день меня перевели в другую камеру. Она была шире, чем прежняя трехместная. Вдоль стен установлены сплошные одноярусные нары, между ними был проход шириной примерно 1,3–1,4 метра. Окна выходили в сторону улицы. Через них можно увидеть только два лоскутка неба, порой слышны уличные шумы.

На нарах размещалось человек 20–25. Кто-то лежал. Несколько человек, сидя кружком и положив посередине круга подушку, играли в самодельные карты. Рядом играли в шахматы, слепленные из хлеба. Кто-то пришивал заплатку к одежде, используя расщепленную с одного конца спичку вместо иголки.

Население разнообразное: здесь и политические, и бытовики, и уголовники. Несколько человек именуют себя урками. Это пестрое общество и на нарах распределено постатейно: уголовники и часть бытовиков – с левой стороны, политические и другая часть бытовиков – с правой стороны, если смотреть от двери. К следователям из этой камеры никого не вызывали, т.к. у всех следствие было закончено, все ждали суда.

Атмосфера гнетущая – никто на чудо не рассчитывал и доброго для себя не ждал. Одни лишь уголовники, а точнее, урки, чувствовали себя здесь как рыба в воде. Они жили своей привычной жизнью, играли в карты, страшно ругаясь и сквернословя. Со стороны могло показаться, что урки ненавидят друг друга и готовы друг другу в горло выпендиться. Но это впечатление обманчиво. Их ругань и озлобление выполняли одну только роль – они так выпускали из себя пар, выра-

жали свое недовольство. Но если кто-то угрожал их безопасности или привилегиям, они мгновенно забывали все распри и выступали как единое целое.

Меня удивляло их единство, согласованность действий – они умели стоять горой друг за друга. В этом была их сила. Кое-кто из жителей камеры получал передачи с воли, урки отбирали половину, и никто не противился грабежу, потому что строптивного избивали и отбирали все, что ему принесли. Жаловаться бесполезно, охрана смотрела на этот произвол сквозь пальцы.

Сосед по нарам Николай Михайлович получал с воли небольшие передачи. Видно было, что его родные живут бедно, отрывают от себя последнее. Но он без разговоров отдавал половину уркам.

- Мы с вами здесь люди временные, – говорил он, – мы свой срок отбудем, а назад возвращаться не станем. А для них тюрьма и лагерь – дом родной, они почти и не выходят на свободу. Ничего удивительного нет в том, что они пользуются нашими продуктами. Считаю, что это справедливо.

Я не стал возражать ему, хотя и согласиться не мог. В действиях урок я видел только жестокость, наглость, неуважение к таким же несчастным людям, как и они. Забегая вперед, скажу, что урки чувствуют себя хозяевами в тюрьме и лагерях только тогда, когда основная масса заключенных истощена голодом, бессильна, не имеет возможности объединиться и дать отпор. Но когда стали кормить чуть-чуть получше, и люди почувствовали в себе силу, произвол урок почти прекратился.

Вспоминается случай, происшедший в этой камере. К нам вселили одного молодого мужчину лет 26–27, широкоплечего, крепкого и неистощенного. Он был арестован в армии по статье 58-10. На фронте в чине старшины воевал в разведроте. Повидал много, не один раз смерть смотрела ему в глаза. Дня через три ему принесли передачу. Как обычно тут же появились урки и потребовали половину. Он резко отказал. Тогда трое набросились на него, пытаясь свалить с ног. Но он двоих отбросил от себя, а третьего, главного, прижал коленом к нарам и взял за горло:

- Я на фронте фашистов не боялся, а уж вас, сволочей, тем более. Сейчас задавлю, как вошь.

Прижатый к нарам хрипел:

- Никола, дай нож. Никола, дай нож.

Но Никола не тронулся с места. Старшина встал, поднял урку и бросил его на нары. Взял стоящий рядом ведерный чайник и сказал:

- Если кого-то из вас увижу рядом хоть днем, хоть ночью, убью без разговоров. Знайте – я даром слов не бросаю.

На этом инцидент был исчерпан: никто из урков к нему больше не подошел.

Дня через два после моего вселения в камеру Николай Михайлович попросил рассказать что-нибудь, чтобы можно было отвлечься от

грустных дум. Я рассказал ему то, что к тому времени было опубликовано М. Шолоховым из романа «Они сражались за Родину». Меня слушали и другие арестанты. На следующий вечер попросили рассказать еще что-нибудь. Я пересказал «Аэлиту» Ал. Толстого. Теперь слушала вся камера.

Люди вдруг увидели во мне человека, который может отвлечь их от тревожной действительности. Они попросили меня стать постоянным рассказчиком по вечерам. Установили следующий распорядок: днем меня не трогать, я должен думать о том, что буду рассказывать вечером. Конечно, невозможно помнить все, что когда-то читал. Забытые подробности приходилось придумывать самому. Получалось неплохо. Как-то один бывалый арестант мне сказал:

- На своем веку я слышал многих рассказчиков, некоторые делали это очень умело. Но такого рассказчика, как вы, встретил впервые.

Я и сам чувствовал вдохновение, мне легко удавалось присочинять забытые подробности к произведениям.

Однажды я рассказывал «Вия» Гоголя. Камера внимательно слушала, стояла тишина. Я старался говорить с выражением, чтобы еще больше усилить впечатление у слушателей. Повествование уже подходило к концу: я излагал, как Хома Брут читал в церкви молитвы по умершей панночке, последнюю – третью ночь. Некоторые места из книги я знал почти наизусть:

- Приведите Вия! Ступайте за Виём! – раздались слова мертвеца. И вдруг настала тишина в церкви: послышалось вдали волчье завывание и скоро раздались тяжелые шаги, звучавшие по церкви. Взглянув искоса, увидел он, что ведут какого-то приземистого, дюжего, косолапого человека. Весь он в черной земле. Как жилистые, крепкие корни, выдавались его засыпанные землей ноги и руки. Тяжело ступал он, поминутно оступаясь. Длинные веки опущены были до самой земли. С ужасом заметил Хома, что лицо на нем железное. Его привели под руки и прямо поставили к тому месту, где стоял Хома.

- Подымите мне веки: не вижу! – сказал подземным голосом Вий.

И все сонмище кинулось подымать ему веки.

«Не гляди!» – шепнул внутренний голос философу. Не вытерпел он и глянул.

- Вот он! – закричал Вий и уставил на него железный палец.

Только я произнес эти слова, как случилось что-то невероятное – в камере раздался страшный грохот. Кто-то побледнел, несколько человек вскрикнули от неожиданности и испуга. Было такое чувство, будто Вий пришел в камеру, и грохот произвела та самая нечистая сила. Потом выяснилось, что это деревянный щит упал с нар на пол. Эффект получился потрясающий. Можно было подумать, что произошло это, как в театре, по договоренности. На самом деле никакой договоренности не было.

Поскольку численность населения камеры была довольно-таки большой, пищу на завтрак, обед и ужин арестантам выдавали не че-

рез «кормушку», а заносили ее в общей таре через дверь и уже в камере раздавали каждому. Арестанты из своей среды выбирали постоянного раздатчика. Интересно, что урки не претендовали на это место и не старались поставить своих шестерок. За раздачей следили все, она выполнялась у всех на виду. Равноправие соблюдалось строго.

Вскоре из камеры забрали арестанта, занимавшегося раздачей пищи, это место стало вакантным, и на него избрали меня. Почетное повышение! Дело это было несложным и не очень обременительным. Я согласился.

А время шло своим чередом. С Николаем Михайловичем я вскоре подружился, мы с ним разговаривали на разные темы. Его обвиняли по 58-й статье, но я не расспрашивал, в чем его обвиняют.

- У меня, да и у тебя тоже, – говорил Николай Михайлович, – есть только одна возможность остаться человеком после освобождения – поступить на работу в учреждение НКВД.

- Это что, стать надзирателем в тюрьме или охранником в лагере?

- Нет, НКВД – это не только охрана в тюрьмах и лагерях, это огромная империя, страна в стране. Он ведет основные стройки, занимается лесозаготовками, добывает полезные ископаемые, имеет свои научные и проектные институты, конструкторские бюро. Только в этой системе человек может считаться человеком, его не арестуют снова и не посадят за старые грехи. Я постараюсь поступить только так, да и тебе советую.

В другой раз Николай Михайлович меня учил:

- Ты постарайся попасть в строительную организацию. Хотя ты еще студент, но навыки и знания, которые приобретешь, потом пригодятся.

Он даже читал что-то вроде лекций по строительному производству. Однако в будущем мне его наставления не пригодились. Правда, после освобождения я поступил на должность инженера-изыскателя в Гипроспецлес при Усольлаге, но это уже не по его совету.

Я как-то посчитал, что в той камере рассказал содержание 52-х романов, повестей и рассказов. И продолжал бы заниматься этим делом, если бы не вмешался тюремный надзиратель. Я рассказывал историю России: про правления ее царей, про войны, которые она вела почти постоянно. Все внимательно слушали. Вдруг щелкнул дверной замок. Мгновенно все притворились спящими. Вошел надзиратель. Пальцем поманил меня. Но я как будто сплю и ничего не вижу. Тогда он подошел к нарам и велел крайнему поднять «рассказчика». Потом вывел меня из камеры.

- Все должны спать, почему ты в такое время рассказываешь?

- Люди измучены, они рады отвлечься от мрачных дум. Мы же не хулиганим, не деремся, не шумим, – ответил я.

- А ну-ка пошли со мной.

Он ввел меня в санузел. Стены и пол там были плиточные, а воздух сырой и холодный. Велел мне раздеться донага, а когда я разделся, сказал:

- Хочешь, окачу сейчас тебя водой, и ты окочуришься?

- А за что?

- А чтоб в другой раз ты не устраивал из камеры клуб. Положено спать после отбоя, нечего фантазировать и нарушать режим.

Я промолчал. Продержав меня в холоде еще минут 15, он велел одеться и отвел в камеру.

Через пару дней меня перевели в новую, шестую по счету камеру. Население в ней – человек сто, а может, и больше. Здесь я, наконец, встретил моих товарищей Витю Бросалина и Мишу Соколова. Рассказали друг другу все, что пережили – как были арестованы, как велось следствие, как содержались в камерах.

Следующий день запомнился на всю жизнь. Один за другим нас вызывали для объявления приговора. Приговоры вынес не суд, а особое совещание НКВД. Не напрасно оно называлось особым: оно нас не видело, с нами не разговаривало. Приговоры лишь подтвердили то, что назначило следствие. Им безразлично, на какой срок приговорить человека, за что приговорить, они не знали и не хотели знать, в чем его вина и есть ли она вообще.

Первым вызвали Виктора Бросалина. Через недолгое время вернулся: пять лет лагерей. Позвали Мишу Соколова. Пять лет лагерей.

Последним вызвали меня. Против двери за столом сидел человек с погонями капитана. Не предложив мне сесть, он унылым голосом спросил:

- Фамилия, имя, отчество, год рождения?

Я ответил.

- За антисоветскую агитацию и пропаганду вы приговорены особым совещанием НКВД по статье 58-10 часть вторая УК к восьми годам лишения свободы с отбыванием в лагерях.

- Сколько, сколько? – переспросил я.

- Восемь лет.

- Ну что ж, спасибо и за это.

- Распишитесь.

Я расписался и вышел из кабинета. Вот и весь суд.

Витя и Миша страшно удивились, когда я им сообщил, что мне дали на три года больше, чем им. Они даже смутились, не знали, что сказать мне.

- Выходит, я более опасен для власти, чем вы.

Я отлично понимал, что надбавку в три года мне дали за порванные протоколы и за поведение на следствии. Сказалась месть следователя, его мелкая, грязная душа... Да бог с ним!

Мы знали, что теперь нас разбросают по лагерям, но очень не хотелось терять друг друга. Витя решил, что лучше всего списаться

через его мать, дал мне ее адрес. Повторив несколько раз, я его запомнил, помню даже теперь. С Мишей мы договорились списаться через Валю Нестерову.

Нам выдали тюремное довольствие сухим пайком на три дня и на следующий день отправили в разные пересылки.

Что-то ожидает нас впереди? Прощай, МИИТ, прощай, вольная жизнь...

ГЛАВА III. ЭТАП ОТ МОСКВЫ ДО СОЛИКАМСКА

Со дня ареста до объявления приговора прошло пять месяцев: арестовали меня в начале лета, а сейчас стояла глубокая осень. Одежда, которая была на мне при аресте, уже не спасала от холода. При поступлении в Краснопресненскую пересыльную тюрьму-пересылку мне выдали длинный бушлат какого-то третьего срока носки, суконные штаны не первой свежести, шапку-ушанку и матерчатые ботинки на деревянной подошве.

Пересыльная тюрьма отличается от тюрьмы предварительного заключения, в ней нет отдельных камер с металлической дверью, кормушкой и глазком, нет кабинетов для следователей, где они ведут допросы, нет кроватей и спальных принадлежностей, не приносят книг, не раздают пищу. Режим более свободный, можно громко разговаривать, кричать, петь, спать или не спать, когда угодно в течение суток.

Без преувеличения могу сказать, пересылка – это вотчина урок. Здесь они чувствуют себя полными хозяевами, надзирателям безразлично, что происходит внутри тюрьмы. Урки легко находят общий язык с ними, они держат остальных заключенных в постоянном страхе, поддерживают покорность и дисциплину. Не брезгают поделиться с надзирателями вещами, которые отбирают у сокамерников.

Урки обыскивают, кого захотят, отбирают все, что понравится. С разрешения надзирателей посещают женщин, даже приводят женщин в мужские отделения. Но главное их занятие – игра в карты, за ними они просиживают ночи напролет. При этом непрерывно курят, безбожно ругаются, а кому не повезет – проигрываются, как говорят, в пух и прах, оставаясь почти нагишом. Бывали просто дикие случаи, когда на кон ставилась жизнь, причем не собственная, а постороннего человека. Проигравший совершает убийство. Убийцу никто не останавливает и не отговаривает, потому что такое явление считается нормальным – карточные долги надо платить.

Помещение, в которое я попал, – человек на 150. Вдоль стен установлены сплошные металлические одноярусные нары с деревянными щитами, между нарами проход шириной побольше метра. Все помещение разбито на секции поперечными стенами небольшой дли-

ны. Света мало – он исходил только от электрических лампочек, вмонтированных в перекрытие, окон не было.

Я нашел место недалеко от входа, расстелил свои вещи и лег. Люди лежали впритык друг к другу. Отходить далеко от спального места опасно: около нар постоянно шныряли шестерки урок, выискивая, чем бы поживиться. В этой пересылке я пробыл всего неделю, но в памяти она засела прочно: здесь я был ограблен и избит.

Под бушлатом на мне был шерстяной костюм темно-серого цвета, первый в моей жизни, купленный родителями, когда я стал студентом. В нем и был арестован. Уже зная повадки урок, я старался не показывать костюм, прятал под драной одеждой, которую выдали в пересылке. На второй день, под вечер, когда я прохаживался недалеко от своего места, ко мне подошли пять человек и потребовали отдать им костюм. Я отказался и, встав спиной к поперечной стене, сказал:

- Ничего я вам не должен и ничего не отдам, а кто сунется – загрызу.

Надежд на успех одному против пятерых было мало. Но нет другого выхода, рассчитывать на чью-то помощь не приходится. Они все пятеро набросились на меня одновременно, повалили и стали избивать. А бить умели: посыпались удары кулаками и ногами по голове, в живот, по спине. Через несколько минут я лежал, как мертвый, не в силах пошевелить ни рукой, ни ногой.

Они спокойно сняли с меня костюм и ушли. Бушлат и драные сумочные штаны остались возле меня. Все это произошло на глазах у людей, но никто не заступился, каждый боялся за себя.

Через какое-то время я пришел в себя, кое-как добрался до своего спального места. Мучили боль, досада и злость. Я понимал, что в этих условиях костюм сберечь невозможно, да и не жаль мне его – он был только приманкой для новых неприятностей. Но все-таки осталось недоумение: как же урки, которым я ничего не сделал плохого, могли так жестоко расправиться с себе подобным?

Выходило, что они не такие, как все остальные заключенные. Работать не хотят, на воле живут за счет того, что им не принадлежит, и в заключении их психология остается той же. Получается, заключенные в тюрьмах и в лагерях находятся как бы между двух огней: с одной стороны надзиратели и охрана, а с другой – урки и их шестерки. И трудно сказать, кто хуже: и те и другие дополняют друг друга в жестокости.

Мои обидчики потом исчезли из поля зрения, как сквозь землю провалились: ни в этой пересылке, ни в лагерях я их больше не видел. Правда, одного из них все-таки встретил через пять лет в Соликамске на командировке «Гараж». Я был тогда бесконвойным и учился на курсах мастеров лесозаготовок, а жили мы на этой командировке. Он тоже узнал меня, и я видел, что он очень боится мести. Мне было легко это сделать: я рассказал о нем своим ребятам. Те охотно расправились бы с ним. Но мне было противно мстить, я согласия не дал.

После избиения я стал анализировать свое настоящее, вспомнил детство, как бы вновь увидел свою не очень ласковую жизнь. Что меня ждет впереди? Рабство, каторга, несправие, может быть, еще худшее, чем в этой тюрьме. А когда выйду на волю? Если выйду. Мне будет 27 лет – взрослый человек. Но останутся ли силы и желание начать все сначала? Трудно ответить на эти вопросы.

Знаю, что две жизни мне не жить. Почему же эта одна такая нескладная?

Вспомнился случай, который произошел в деревне, когда я учился в шестом классе. Как-то зимой возвращался домой от дяди Андрея – старшего брата отца. Снега уже выпало много, санная дорога не очень хорошо укатана, подгонял мороз, уже начало смеркаться. Недалеко от дома я увидел такую картину: навстречу ехали сани, а за ними шла привязанная к ним телка. В санях сидели трое мужиков, один из них был мне не знаком. Лошадь по морозцу шла бодро. Сошел с дороги, чтобы пропустить сани. И вдруг узнал, что привязанная к саням телка, – наша. Я подскочил к ней, обхватил за шею и закричал:

- Не отдам, куда ведете?

Мужики поднялись с саней, незнакомый стал мне объяснять:

- Я налоговый инспектор. Ваша семья не выполнила мясopоставки, вот за них мы и забрали телку.

В учебнике за шестой класс был помещен рассказ бабушки о том, как в царские времена у них за недоимки увели единственную корову, а рядом рисунок: за санями ведут корову на глазах у плачущей семьи. Сходство с рисунком заставило меня заплакать: зачем же тогда у нас в стране совершена революция?

Плача, я высказал все это налоговому инспектору и его помощникам.

Мужики оторвали меня от телки и сказали:

- Ты не реви, если хочешь поехать с нами в сельсовет, садись в сани. Там все и объяснишь.

И мы поехали. В сельсовете было много народу. Плача, я повторил все, что недавно кричал инспектору и его помощникам. Рассказал про бабушку из учебника, про революцию, что она совершена именно для того, чтобы таких случаев больше никогда не было. Меня слушали, не перебивая – стояла глубокая тишина.

Скоро в сельсовет пришла моя мать. С моей помощью договорилась с инспектором, что мы за мясopоставку заплатим деньгами, а телку нам отдадут. Она сходила к дяде Андрею, который жил недалеко от сельсовета, взяла у него денег займы и расплатилась с инспектором.

Вспомнилось и такое: как-то в правлении колхоза я прочел висевший на стене плакат:

Работа разная, а цель одна:

Как можно больше дать стране зерна.

У нас первейшая задача:

Молотьба и хлебосдача.

Сдача хлеба государству была объявлена первой заповедью. Выполняя ее, колхозы свозили в город весь урожай до последнего зернышка, ничего не оставляя даже на семена. А весной по районной разрядке собирали для посевной зерно, все, что осталось. О какой кондиции семян можно говорить? Лишь бы засеять чем попало. А ведь от качества семян зависел будущий урожай. Это понимал даже я – мальчишка. Понятно, урожаи зерна собирали не больше 6–10 центнеров с гектара. На трудодни, конечно, давать было нечего, скот колхозный кормить тоже нечем.

В 1935–36 годах из-за бескормицы в колхозе был сильный падеж скота. Не спасла его и солома, которую снимали с крыш домов и других помещений. Солому резали серпами и резку обдавали кипятком, чтобы она стала помягче. Но все равно это не фураж и не сено, от нее скот не становится упитаннее. Каждый день гибли 3–4 лошади, а коров подвязывали веревками в стойлах, сами они не могли подниматься.

Все это происходило буквально на моих глазах, в конюшню было страшно заходить. До этого кошмара в колхозе было больше 300 лошадей, а после него осталось не более 50. То же происходило и в других колхозах.

Когда Сталин объявил, что в СССР социализм в основном построен, я был в полном недоумении: как же так – социализм построен, а жизнь в деревне у колхозников хуже некуда. Разве при социализме может быть плохая жизнь? Многого тогда я еще не понимал, но свято верил в революцию, в социализм. Верил, что революция совершена, чтобы построить социализм, при котором все ранее угнетенные люди станут свободными и счастливыми. Так в теории, в книгах, а на практике получается что-то совсем другое.

Теперь вот эта тюрьма, моя искалеченная жизнь... Выходит, чтобы быть осужденным, вовсе не нужно совершать преступление, для этого вполне достаточно быть в чем-то не согласным с властью, со Сталиным.

Мои горькие мысли прервали уголовники, они решили развлечься и затянули песню. Я привстал, осмотрелся. Пели блатные песни, и пели хорошо. Особенно выделялись голоса двух молодых парней – братьев-близнецов. Я даже теперь помню их фамилию – Васильевы. Красивые, голубоглазые, они вдохновенно выводили, как гимн Таганской тюрьме:

Таганка, ты – ночи полные огня,
Таганка, зачем сгубила ты меня,
Таганка, я твой бессменный арестант,
Пропали юность и талант
В стенах твоих...

Один, закрыв глаза, запевал:

Опять по пятницам пойдут свидания...» –

второй подхватывал, как будто все это происходило с ними сейчас:

И слезы горькие моей семьи.

Заключенные жадно слушали. Слова песни воспринимались ими, как собственная боль. Потом Васильевы затянули другую песню, почему-то особенно близко принимаемую молодыми уголовниками:

Я сын трудового народа,
Отец мой родной – прокурор.

Остальные певцы дружно подхватили:

Он сына лишает свободы,
Скажите же, кто из нас – вор.

Я давно не слышал песен и теперь был зачарован, буквально впитывал в себя каждое слово, каждый звук. Потом запели песню про Колыму:

Я помню тот Ванинский порт
И вид парохода «Угрюмый»,
Как шли мы по трапу на борт
В суровые мрачные трюмы.

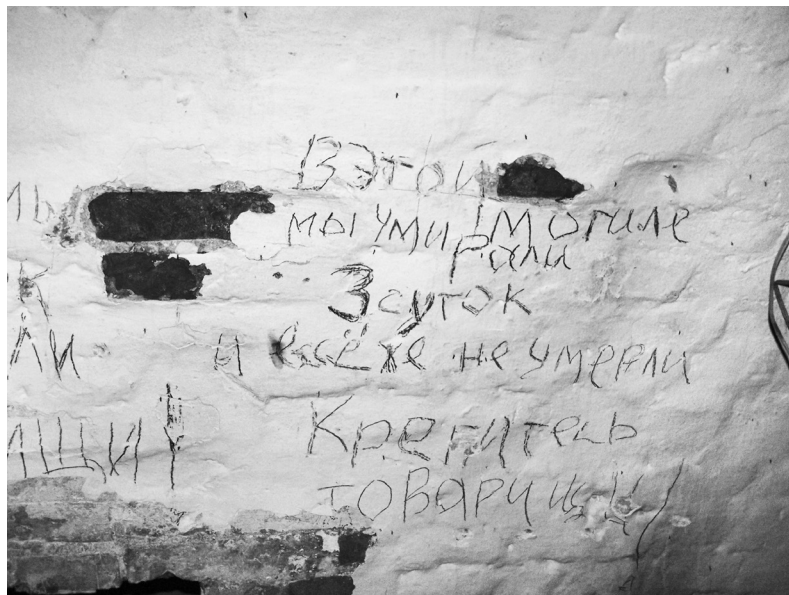
Мне особенно грустными показались мрачные слова этой песни:

Будь проклята ты, Колыма,
Что названа чудной планетой!
Сойдешь поневоле с ума,
Отсюда возврата уж нету.

Ведь я не знал, куда меня отправят, может быть, на эту самую Колыму, откуда уже возврата не будет.

Через день нас погрузили в столыпинские вагоны и повезли из Москвы. Куда повезли, мы не знали. В серый, ветренный, холодный осенний день поезд остановился у станции города Ульяновска. Нас высадили из вагонов, построили в колонну по пять человек, по сторонам встали солдаты с винтовками наизготовку, несколько человек с собаками. Начальник конвоя объявил: шаг влево, шаг вправо считается побегом, солдаты будут применять оружие без предупреждения. Пешком нас вели через весь город, разговаривать не разрешали. Улицы узкие, мостовая покрыта булыжником, дома по обеим сторонам одноэтажные, еще дореволюционной постройки, с крылечками, с печным отоплением.

Какое-то время вели по городу, потом свернули в сторону и вывели на окраину. Вдали показался деревянный забор и какие-то строения – это и была зона. Нас подвели к воротам и приказали сесть. Все сели,



Соликамск. Свято-Троицкий мужской монастырь. В 1920-е годы он был превращен большевиками в пересыльную тюрьму ОГПУ (НКВД). Именно ее описывал в своем антиромане «Вишера» Варлам Шаламов. И сегодня здесь можно увидеть бывшую камеру, на стене которой осталась надпись: «В этой могиле мы умирали 3 суток. И все же не умерли. Крепитесь, товарищи».

прижавшись друг к другу, ветер пронизывал нас сквозь. За воротами в зоне что-то не ладилось, нас держали перед ней часа два с половиной. Было жутко холодно. Здесь я узнал по-настоящему, насколько вынослив человек. Порою казалось, что терпение иссякло, пришел конец: все тело заледенело, мозг не работает, никаких мыслей, никаких чувств. Но вот что-то отвлекло твоё внимание, соседи зашевелились, ты опять ожил на какое-то время...

Стало темнеть, на заборе зажглись огни. А мы все сидим... Наконец, разрешили подняться и войти в зону.

Человек 50, в том числе и меня, почему-то разместили в бане, но мы были рады и этому, здесь нет ветра, можно согреться. Спать легли на полу. Но заснуть не удалось. Ни до, ни после этой бани я нигде не встречал столько клопов. Непонятно, откуда они могли взяться в таком количестве: создавалось впечатление, будто кто-то специально их разводил, чтобы обрушить на заключенных. Из трещин в полу, со стен эти твари лезли стаями, как немецкие танки в кино. Спастись невозможно. Некоторые, умудренные опытом заключенные, поливали

вокруг своего лежбища водой в надежде, что через воду клопы не переберутся. Но не тут-то было: они ползли на потолок и пикировали на людей, как самолеты.

А утром нас, не спавших, вывели на работу – на уборку картошки. Начальство спешило убрать все, что родилось в земле, до заморозков. Я попал в группу, которую под отдельным конвоем вывели в степь километра за четыре от зоны. Дали лопаты в руки, мешки, ведра и велели убирать картошку вручную. Было холодно, дул сильный ветер, черные тучи закрыли солнце. Картошка плохая, мелкая. Мы истощены и голодны, но от голода картошка нас не избавила: не было дров, а собранная трава сгорала, как порох. Испечь картошку на таком костре невозможно.

Работники из нас были плохие. За день собрали картошки всего несколько мешков. Вечером возвратились в клопиное царство. Уснуть я снова не смог. На следующий день все вновь повторилось. Так я не спал подряд трое суток. На четвертые сутки, несмотря ни на что, уснул как убитый.

Через день нас переселили в барак. Здесь двухъярусные нары были сколочены из сырых досок, паразиты на них не селились. Никаких постельных принадлежностей, каждый стелил на нары то, в чем ходил на работу. Кормили плохо, впроголодь.

Через несколько дней землю заморозило, выпал снег. В поле де- лать стало нечего, сидели в бараках без работы.

В этой командировке культурно-воспитательная часть (КВЧ) имела свое помещение. Как-то я зашел туда вечером. В небольшой комнате сидели и стояли несколько заключенных – мужчины и молодые женщины. Один играл на баяне, второй подыгрывал на гитаре. Пели песни, причем не блатные, декламировали стихи. Особенно старались женщины. Вдруг у одного вольнонаемного я увидел книгу, он не читал ее, а просто держал в руках. Книга произвела такое впечатление, как будто я увидел что-то родное, близкое, с чем давно не встречался. И ведь фактически так оно и было. Последний раз держал книгу в руках в Бутырке, с тех пор прошло несколько месяцев. От волнения на глазах навернулись слезы – так соскучился по книгам, по чтению. Чтобы никто не увидел моих слез, я вышел.

В середине декабря нас вновь погрузили в товарные вагоны, повезли куда-то на север. Стены вагона обшиты вторым слоем досок, в четыре окошка вставлены стекла и вмонтированы металлические решетки. Вдоль стен – двухъярусные нары, сколоченные из промерзших досок. В середине вагона металлическая печка-буржуйка. Для отопления выдавали на сутки по одному ведру угля. Вначале хотя и было холодно, но еще терпимо, но чем дальше на север продвигался поезд, тем морозы становились круче, тем холоднее становилось в вагоне. Чтобы не замерзнуть, стали разбирать нары и сжигать доски, а спать

перебрались на пол. Что-то из того, что было на нас, мы стелили под себя, ложились, прижавшись друг к другу, а сверху укрывались тем, что оставалось. Охрана смотрела на наше творчество сквозь пальцы и сжигать нары не запрещала. Потому что понимала: без этого она могла привезти в пункт назначения одни замерзшие трупы.

Каждый день нас дважды пересчитывали – утром и вечером. В вагон заходили три охранника, один с деревянным молотком на длинной ручке – своеобразной киянкой. Заключенных сгоняли в одну сторону вагона, а затем заставляли бежать в другую. При этом конвоир ударял каждого пробегающего по спине своей киянкой. Так нас считали.

Но из нашего вагона все-таки совершили побег. Произошло это так. В вагоне ехали несколько урок. Перед посадкой в вагон нас тщательно обыскали. Но урки каким-то образом умудрились пронести финский нож. Среди урок был вор в законе – мужчина лет 30-ти, среднего роста, не истощенный голодом. Одет в чистую телогрейку, приличные штаны, шапку-ушанку, на ногах начищенные кожаные сапоги. Голос у него негромкий, спокойный, разговаривал на нормальном русском языке, блатные слова в его речи не заметны. Выглядит, как приличный человек, на уголовника не похож.

Пока нары еще не были разобраны и сожжены, урки за печкой и почти против дверей по ночам бесшумно резали в полу финским ножом люк. Заключенные, спавшие на полу, закутавшись в тряпье с головой, ничего не видели и не слышали. А если что и видели, то молчали.

Не помню, где мы проезжали, когда утром, проснувшись, увидели дыру в полу: значит, кто-то сбежал. Как обычно, пришли конвоиры. Они согнали нас в одну сторону вагона и перегнали в другую, но не досчитались двух человек. Снова перегнали нас в другую сторону, жестоко избивая «киянкой», и опять двоих не досчитали. Кинулись под оставшиеся нары и обнаружили в полу люк.

Побег был чрезвычайным происшествием – это знали конвоиры, понимали и мы. Пришел плотник и плотно заделал дыру. Нас построили в шеренгу, мы стоим чуть дыша. Конвоиры озлоблены, несется нецензурная брань. Объяснили, что побег нам даром не пройдет – мы за него ответим. А мы-то в чем виноваты? Это они проворонили финский нож, не заметили, как прорезали люк в полу, а теперь готовы сорвать зло на нас. Вина конвоя в побеге была очевидна. Но стоя перед шеренгой, они исходили яростью. Один из них вдруг крикнул:

- Что глаза вылупил, рад побегу?

И изо всей силы ударил заключенного по лицу скруткой из проволоки. У того сразу все лицо залилось кровью.

Выяснилось: нет вора в законе, о котором я говорил, и еще одного урки. С первым все понятно: он готовился к побегу, у него приличный, не вызывающий подозрения вид, наверняка были деньги, а, возможно,

и документы. Но побег второго вызвал недоумение. Это был парень лет 25, выше среднего роста, чернявый, с воспаленными красными глазами, в грязной и рваной телогрейке и таких же драных штанах. На его физиономии написано, что он бандит. Любой встречный тут же сдал бы его в милицию.

Неожиданно за дверями закричали:

- Сюда, вот он!

Несколько человек побежали в конец поезда. Потом стало слышно, что кого-то волокут по снегу. У нашего вагона остановились, бедолагу стали избивать. Он уже не мог кричать, лишь глухо стонал при каждом ударе. Ясно, поймали второго урку: то ли побоялся падать на ходу поезда, то ли слишком поздно решился бежать... Его специально избивали у нашего вагона, чтобы мы слышали и понимали, что такое будет с каждым, кто решится на побег.

А вор в законе, по-видимому, ушел благополучно. Это событие, пожалуй, стало самым важным в нашем этапе. Оно не прошло бесследно: к нам стали придираться и относились более жестоко, чем прежде.

Однажды я заглянул в окошко. Поезд шел мимо молодого соснового леса. На соснах лежали сугробы снега. На моей родине, в Рязанщине, я не видел хвойных лесов. Правда, в трех километрах от моего родного села находился Ерлинский сад, когда-то посаженный помещиком Худяковым. Он обсажен двумя рядами елей, образующих ровные коридоры. Сосен я раньше вообще не видел, очень удивлялся длине иголок на их ветвях.

Между тем, наши нары убывали: осталось лишь несколько лежаков, на которых располагались урки. Когда подъезжали к Соликамску, мороз стоял за 40 градусов. Я еще никогда такого мороза не испытывал. Суточную норму угля нам не увеличили. Если бы не сожженные нары, мы вряд ли выдержали суровые морозы, но благодаря им никто не замерз, всех довели до Соликамска.

Был конец декабря. Этап от Москвы до Соликамска закончился.

ГЛАВА IV. В СИМЕ

Стоял лютый мороз. В вагоне холодно, но снаружи еще холоднее: мороз схватил тело так, как будто меня погрузили в холодную воду. Кроме конвоя никого не видно. Из вагона нас вывели по трапу и построили в колонну по 5 человек. Каждый кутался в свои лохмотья, чтобы спасти от мороза лицо и уши.

Я впервые в Соликамске, хотелось посмотреть, что за город. Но мою любознательность парализовал холод. В памяти о Соликамске сохранилась только жуткая стужа и ничего больше.

Нас погнали в зону, недалеко от станции. Вскоре ввели в командировку с названием КОЛП. В деревянном бараке, по сравнению с улицей, было тепло.

КОЛП – это большая командировка, состоящая из двух зон: пересыльной, куда размещали прибывших заключенных, и зоны, где жили заключенные, оставленные здесь для obsługi и работы в городе.

В бараке выдали по кусочку мыла, сводили в баню, а одежду прожарили в специальных камерах, чтобы уничтожить насекомых, в которых у каждого недостатка не было. Чему-чему, а бане после сильного мороза я был очень рад, потому что за полгода пребывания в тюрьмах и в Ульяновском совхозе ни разу не мылся. Теперь, обливаясь горячей водой, чувствовал себя на вершине блаженства.

Выдали нашу одежду: горячую и сильно «пахнущую». Страшно неприятно надевать ее, грязную и рваную, на распаренное тело. Но все-таки надо признать, что в ней стало спокойнее, чем до обработки. В бараке я нашел место на верхних нарах, постелил свои лохмотья и лег. За окном быстро темнело, включили электрический свет. Ужином нас не кормили – так голодными и легли спать. Утром подняли часов в шесть, сводили в столовую, где выдали по 400 граммов хлеба на день и по черпаку баланды.

После этапа нас на три дня оставили в покое: по-видимому, в это время лагерное начальство решало, куда кого отправить, или, может быть, просто ждало, чтобы мороз немного спал.

Так и наступил Новый 1946 год. Этот день ничем не отличался от остальных дней, но его я отметил стихотворением:

Я в новый год вошел под крики вертухая,
Больной, униженный, с тупой тоской в груди.
В просторах прежних лет мысль птицею порхая,
Страшится предсказать, что будет впереди.
 А что предсказывать? И так предельно ясно:
 Теперь я раб, а раб – не человек.
 На эту каторгу я прислан не напрасно:
 Быть может, здесь в тайге закончится мой век.
Ну что ж ... Ведь жизнь меня и так не баловала:
Я горькую нужду изведаль с детских дней
И вылезти хотел на солнце из подвала,
Чтоб посмотреть на свет, на жизнь и на людей.
 Прощай, мечта! Увы, мои желанья
 Уйдут со мной, покинув этот свет.
 Я так хочу, чтоб кончились страданья...
 Теперь я зэк, а зэк – не человек.

Настроение такое, что я стал задумываться о смерти. Но, по-видимому, звать ее было еще рано: я не испил до дна горькую чашу, предназначенную мне.

На следующий день рано утром погрузились в тракторные сани. Везли целый день – на Урале зимой дни очень короткие. Хотя мороз немного спал, но было очень холодно: в санях, да еще с вооруженной охраной, нет возможности согреться, можно только сильнее прижаться к соседям и терпеть. На Долгую привезли вечером. Кругом лес, а в нем темнота, как в пропасти. На вахте встретили недружелюбно:

- А, новенькие. С прибытием. Только знайте, командировка наша зовется Долгая, а жизнь на ней короткая.

Видно, что бараки построены недавно, новые, бревна еще не успели высохнуть. Отопление печное. Вдоль наружных стен, как в КОЛПе, двухъярусные нары, сколоченные из новых досок. Утром после завтрака пришли начальник командировки, техрук и старший надзиратель. Выступил начальник:

- Мы пришли, чтобы рассказать, куда вы прибыли, как должны вести себя и чем заниматься. Наша командировка лесозаготовительная. Не забывайте, вы – заключенные и присланы сюда для трудового перевоспитания. Это означает, что вы должны строго соблюдать установленный режим. Кто хорошо трудится, выполняет нормы выработки и соблюдает режим, тот будет лучше питаться, лучше жить. А для тех, кто плохо работает, нарушает порядок, у нас есть карцер и другие меры воздействия. Загатавливать лес будете в делянке, по периметру которой расставлены солдаты с оружием. Бегать отсюда не советую, живым от нас никто не уходил.

Поскольку никто из вас до этого на лесозаготовках не работал, первые две недели даны для того, чтобы освоиться и втянуться в работу. В течение этого времени с вас будут требовать только половину нормы, а после двух недель вы должны давать полную норму. Выполняющий норму получает 850 граммов хлеба и три раза приварок. Тот, кто ее не выполняет, будет получать хлеба 600 граммов в день, а то и меньше. К ним будут применяться и другие меры воздействия, смотря по причинам. Вот так.

Затем говорил техрук. Он рассказал, как организованы работы.

- В какой бригаде вы будете работать, вам скажут, – сказал он. – Хочу особенно подчеркнуть: та специальность, по которой вы будете работать, сама не придет, ее нужно освоить. А хорошо освоенная специальность вам нужна как гарантия сохранения жизни.

После ухода начальства нас пригласили в санчасть на медосмотр. Цель была – установить каждому вновь прибывшему заключенному категорию трудоспособности. Но на самом деле никого не интересовали наши болезни. Главным мерилom трудоспособности заключенного считалась его неистощенность, которую определяли по наличию

мяса на той части тела, на которой люди обычно сидят. У детей это место кое-кто называет объектом воспитания. Если объект воспитания заключенного был исправным, ему назначали первую категорию. Это значит, он может работать на любых участках. В нашем этапе таких не оказалось.

Если запасов на объект воспитания было поменьше, давали вторую категорию. С ней можно работать на лесоповале и коновозчиком на вывозке леса. А если фигура заключенного состояла лишь из костей, обтянутых кожей, то давали третью категорию, с которой заключенный мог работать на легких работах. Таких в этапе оказалось большинство. При третьей категории и наличии тяжелых болезней назначали четвертую категорию. Заключенных с четвертой категорией в лес не посылали: они работали в зоне дежурными бараков, дворниками.

Такой медосмотр – лагерное изобретение. Медицинская наука до такого еще не додумалась. Членами комиссии были: врач, обычно заключенный, санинструктор, который близко не стоял с медициной, и кто-то из надзирателей. Вся процедура – сплошное шарлатанство. Но от выводов комиссии, как это ни печально, зависела жизнь заключенного.

Как я и ожидал, меня определили в лесоповальную бригаду. Она еще не вернулась из леса. А покуда я сходил в каптерку и получил одежду. Ясно одно: нужно готовить свою мускулатуру для того, чтобы через две недели выполнять полную норму. Другого пути выжить нет. Сам же труд меня не пугал, мне казалось, что здесь в лагере у всех судьба одинакова, все должны трудиться в равной мере.

Когда вернулась бригада, уже после ужина, я переселился в барак, где она размещалась. Бригадир Петр Васильевич, мужчина с грубым обветренным лицом и властным взглядом, посмотрел на меня без особого восторга, указал место на верхних нарах и сказал, что утро вечера мудренее. Новеньких, кроме меня, оказалось еще двое: Борис Новиков – 19-летний парень, сын сельского учителя, закончивший 10 классов, и молодой татарин Ахмет.

Утром нас объединили в звено. Петр Васильевич дал поперечную пилу, два топора, мерку для раскряжевки деревьев, две деревянные лопаты. Привел на рабочее место и сказал, что и как нужно делать. После этого ушел, оставив нас одних. Я окопал елку, подрубил ее, Борис стал со мной пилить. Мы с ним повалили первое дерево, обрубили сучья и стали распиливать, а Ахмет сносить сучья на костер.

Как я ни старался, а дело продвигалось очень медленно. Борис, как он сам признался, никогда не работал физически и теперь не собирался. Ахмет даже не смог снести сучья на костер, который у него почему-то не хотел гореть. Пришлось идти на помощь: разжечь костер и стаскать оставшиеся сучья.



Вместе с И. В. Гренадеровым мы побывали рядом с памятной ему лагерной зоной (действующей и поныне) в поселке Кушмангорт Чердынского района.



До сих пор действует узкоколейная железная дорога, построенная руками лагерников в 1940 – 50-е годы

Петр Васильевич раз прошел мимо, ничего не сказав, потом другой, потом вдвоем с мастером, и я услышал их разговор:

- Этого паренька нужно убрать из звена, иначе он долго не протянет.

Я понял, что разговор шел обо мне.

Снега очень много – по пояс. Чтобы дерево окопать, к нему нужно вначале подобрать, а сделать это не просто. Еще сложнее подкатывать бревна к волоку, буквально купаясь при этом в снегу.

Наконец, услышали звук гонга, извещающего об окончании рабочего дня. Мы с облегчением вздохнули.

Вечером в бараке, когда все вернулись с ужина, бригадир объявил:

- Кто хочет валить по 12 кубометров, дам такого сучкоруба, только поворачивайся.

Это меня он имел в виду. Хотел кто или не хотел давать по 12 кубометров на двоих, мне не известно, но один лесоруб – Павел Назаров – согласился взять меня к себе. Следующий день я работал уже с ним. Он окапывал деревья, валил и раскрывеживал их лучковой пилой, я обрубал и сжигал сучья, вместе мы подкатывали бревна к волоку. Трудиться с ним приятно, и усталость чувствовалась меньше, чем прошлым днем. Под вечер десятник замерил заготовленный за день лес и объявил, что мы напилели 12,6 кубометра. Я был очень до-



На северной стене ныне возрождаемого Свято-Троицкого мужского монастыря висит мемориальная доска, посвящённая бывшему политзаключенному Варламу Шаламову.

волен. Вчера Петр Васильевич говорил о 12 кубометрах на двоих, как о хорошей производительности, а мы дали даже больше. Выходит, он верно оценил меня, хотя видел в работе первый раз.

На следующий день во время развода около ворот я увидел лежащий на снегу труп. По одежде видно, что это бывший заключенный. Но почему труп лежит у всех на виду, непонятно. Я спросил у Павла, он охотно рассказал:

- Вчера этот заключенный сбежал из производственной зоны, но ночью его поймали и убили. А сюда его положили, чтобы все знали, что так будет с каждым беглецом. Зимой из этой глуши сбежать и остаться живым практически невозможно. Есть здесь такой собаковод по фамилии Черненко: не было случая, чтобы беглеца он не настиг. Но, несмотря на обязательный печальный финал, люди все равно бегут, считая, что все равно от чего умирать – либо от пули, либо от голода.

Весь тот день Павел был хмурый, ни со мной, ни с кем другим не разговаривал и работал как одержимый. По-видимому, смерть беглеца не давала ему покоя.

После ужина я поднялся на свое место на нарах, готовясь ко сну. Неожиданно меня позвал бригадир. Его спальное место было внизу через нары от моего места. Я подошел к нему. Он протянул мне миску с половиной порции супа и куском хлеба:

- На, поешь. Я знаю, ты голоден.

В нормальных условиях такая подачка выглядела бы насмешкой. Вряд ли уважающий себя человек стал бы доедать остатки чье-то ужина. Но в условиях, в которых находился я, это было выражением особого расположения ко мне бригадира: недостаточно сытый сам, он отдал половину порции мне. Я взял миску, поблагодарил и пошел на свои нары.

Прошло несколько дней. Вечером, когда, закончив работу, все потянулись к пропускному пункту, я оказался рядом с УЖД: по ней медленно продвигался груженный лесом состав. Мелькнула мысль: а не подъехать ли до пропускного пункта. Не колеблясь, забрался на заднюю платформу и поехал. Но вдруг вспомнилось, что на выходе из зоны вагоны с лесом тщательно осматриваются, проверяют, чтобы никто не сбежал. Я спрыгнул с вагона и подался в лес, но меня уже заметили. И тут же, решив, что я беглец, организовали погоню. К счастью, удалось скрыться.

Когда я подошел к пропускному пункту, там уже шли разговоры, что кто-то пытался бежать. Вот только тогда я понял, что чуть не оказался в беде: охрана вряд ли бы стала слушать мои объяснения о том, что я не собирался бежать. Наверное, не застрелили, но все внутренности отбили бы – это точно.

После того случая я стал более осмотрительным. Шли дела и на лесоповале. В бригаде ко мне относились хорошо.

Но, независимо от моей воли, надвигались большие перемены. Они были связаны с тем медосмотром, который провели на второй день после прибытия на командировку. Мне тогда установили третью категорию трудоспособности. Об этом я узнал от бригадира Петра Васильевича, поскольку ему на планерке велели, в связи с этим, передать меня в дорожную бригаду.

Весть о третьей категории была для меня как гром среди ясного неба. Я видел, конечно, что физически не тяну, но не смел в этом признаться. Теперь узнал, что стал доходягой или, другими словами, обреченным на смерть. За несколько дней пребывания на Долгой мне многое стало видно: люди здесь мерли как мухи, каждый день за зону увозили по несколько человек. Тот же голод был причиной бессмысленных побегов. До весны пытались сбежать еще четыре человека. Все были пойманы и расстреляны.

Как же мне жить с третьей категорией: плыть по течению, дожидаясь конца, или что-то предпринять, чтобы выжить? Почему-то свое выживание я связывал с лесоповалом, поэтому на сообщение Петра Васильевича ответил:

- Если не возражаете, я предпочел бы остаться в вашей бригаде и нигуда не уходить. Чувствую, в дорожной бригаде мне лучше не будет.

- Я тебя не гоною, – сказал он. – Работник ты хороший, а кто от хороших работников отказывается? Порешим так: работай на лесоповале сколько сможешь, станет тяжело – уйдешь.

С этой бригадой я выходил еще два дня. На третий на разводе нарядчик отвел меня в сторону:

- Вы что, инженер-строитель железных дорог? По документам у вас такая специальность.

- Нет, – ответил я, – мне не дали им стать. Проучился два года в МИИТе и был определен сюда.

- Ну, ладно: пойдете сегодня чистить снег с УЖД, а там посмотрим.

Вместе с такими же доходягами, под отдельным конвоем меня с лопатой повели очищать от снега железнодорожные пути. По сравнению с лесоповалом это была райская работа, скорее отдых. Не нужно было лазить по пояс в снегу, не нужно целый день махать топором, таскать по снегу сучья и, наконец, не нужно потом сушить одежду на костре. На УЖД я впервые понял, что и в лагере работа работе рознь, что и здесь люди устраиваются по-разному: кто-то вытягивает жилы, а кто-то валяет дурака. Это открытие в какой-то мере успокоило меня, но не настолько, чтобы помирить с третьей категорией, которая угнетала своей безысходностью.

Километрах в двух от командировки произошел несчастный случай. Мы работали в снежной выемке, когда навстречу выехал порожний состав, направляющийся за лесом на верхний склад. Машинист паровоза просигналил, чтобы освободили дорогу. Мы, как могли быстро полезли наверх, спасаясь от надвигающихся платформ.

Но один заключенный, которому подъем на бровку выемки оказался не по силам, не стал подниматься вверх, а прижался спиной к снежной стене, надеясь, что поезд пройдет мимо и не заденет его. Однако первой же платформой его зацепило и затянуло под колеса. Произошло это на глазах пораженной бригады и кондукторов, сопровождавших поезд.

Кондукторы закричали машинисту, поезд остановился. Все, в том числе и я, бросились к той платформе, под которой лежал пострадавший. Его тело лежало между колесами вагонной тележки, значит, колеса по нему проехали несколько раз. Несчастный был еще жив, закрыв глаза, он тихо стонал. Мы стояли как вкопанные, с широко раскрытыми от ужаса глазами. Мы, доходяги, ничего не могли сделать для спасения своего товарища, – он умирал на наших глазах. Как его извлекли из-под платформы, я уже не видел, потому что конвой увел нас от места происшествия.

Вечером я рассказал Петру Васильевичу об этом происшествии, он нахмурился и проговорил:

- Такова лагерная жизнь. Нас сюда привезли не для того, чтобы мы процветали. Кто-то задавлен платформой, кто-то падающим деревом, кто-то рассыпавшимся возом, а кто-то умер с голоду – у всех судьба одна. Нужно только не опускать руки – иначе отсюда живым не выйдешь.

После планерки он объявил, что я переведен в бригаду строителей УЖД и завтра утром должен выходить с ней. Так закончилась моя карьера лесоповальщика. Тяжелая она, но с бригадой Петра Васильевича расставаться было грустно. По-видимому, профессия инженера-строителя железных дорог гипнотически действовала на лагерное начальство, поэтому меня и послали на строительство УЖД. Бригада строителей состояла из 18 рабочих, таких же истощенных, как я, и мастера. Мастера звали Дураков Иван Иванович. Хотя он носил не очень благозвучную фамилию, специалистом был хорошим, к тому же добрейшим человеком и, как выяснилось позже, моим земляком из города Скопина Рязанской области. Там я прожил два года, учился в девятом и десятом классе второй скопинской средней школы.

Бригада вела строительство железнодорожного тупика в новую делянку. Длина тупика метров 500. Он проходил по относительно ровной трассе без искусственных сооружений, поэтому не требовал серьезных рабочих специальностей. Переход в новую делянку ожидался не

скоро, со строительством железнодорожного тупика не спешили. В то время, когда меня перевели в эту бригаду, она занималась заготовкой шпал.

Конечно, в лес для строительства УЖД никто готовых шпал не завозил, их готовили на месте из местного леса. Дело несложное: нужно знать длину шпал, диаметр леса, из которого они готовились, да протесать две плоскости у сваленного дерева – вот и вся премудрость. Поскольку бригада состояла из заключенных, которые могли выполнять только легкие работы, дело с заготовкой шпал продвигалось очень медленно. Каждый изготавливал за день не больше трех-пяти шпал.

Разумеется, я не мог слету стать мастером в этом деле. Но в первый же день без особого напряжения изготовил одиннадцать шпал – в два раза больше самых искусных плотников бригады. Правда, небольшой опыт все-таки был. После окончания первого курса меня с группой студентов послали в Осташевский район под Волоколамском с заданием построить избу одной колхознице. Район сильно пострадал во время войны. От бывшей усадьбы Осташково сохранилась только арка въездных ворот, а от деревни, в которой жила наша хозяйка, из ста дворов остались целыми один сарай и один амбар. Этот амбар мы должны были перестроить в избу. За месяц залили фундамент, срубили стены, положили половые и потолочные балки.

Тогда и научился кое-как держать топор в руках, но и только. Все-рез плотничать, конечно, не мог, научиться этому было не у кого. А теперь я вдруг показал самую высокую производительность труда в бригаде. В первый день мои коллеги ничего не сказали. Смолчали и на второй день. Но на третий во время перекура я услышал:

- Хороший ты работяга, но зачем ты нам нужен? С тобой не отдохнешь. Убавь свою прыть и не выделяйся.

Я внял этому совету, только следовать ему пришлось недолго. Спустя несколько дней после того разговора мастер Иван Иванович попросил развести костры для охраны и для него. После того, как задание было выполнено, он усадил меня рядом у своего костра. Я рассказал о жизни в Скопине, об учебе в институте, об аресте и приговоре. Он слушал внимательно, обрадовался, что мы с ним земляки.

Ивану Ивановичу было за сорок. Среднего роста, широкоплечий, коренастый, волосы с проседью, кожа на лице обветренная. В Скопине закончил среднюю школу, потом железнодорожный техникум, работал на железной дороге. На Долгую Ивана Ивановича привезли три года назад с 58-й статьей и десятью годами срока. Ему повезло: назначили мастером на строительстве УЖД. Дома осталась семья – жена и двое детей. Наверное, сейчас бедствуют, а он ничем помочь не может. Под конец разговора он сказал:

- Хватит, поишачил, теперь отдохни. Будешь поддерживать костры охраны и мне. А чтобы не было скучно, рассказывай, о чем читал, что знаешь.

Я рассказал, как в тюрьме был постоянным рассказчиком. Иван Иванович улыбнулся:

- Вот видишь, значит, я не ошибся.

Моя жизнь намного облегчилась: поддерживать два костра гораздо легче, чем заготавливать шпалы.

Поскольку бригада уходила на работу километров за 5 от Долгой, обед она получала сухим пайком, как правило, камсу, горох или пшено. Через три дня после того, как я стал заведовать кострами, Иван Иванович вменил мне еще одну обязанность – поварскую. Раньше в деревне приходилось готовить что-то вроде обеда для брата и сестер, когда по какой-то причине дома отсутствовала мама. Но на большее моих кулинарных способностей не хватало. Отказываться от варки обеда на бригаду я не мог, да и не хотел. Пища была простой в приготовлении. От новой должности я ничего не имел, разве только еще острее ощутил голод. Пища варилась у всех на виду, а в котле – только 19 порций скудного лагерного пайка.

В смысле сытости особенно невыгодным был горох: он не разваривался, не превращался в кашу. При раздаче на порцию приходилось лишь несколько горошин. Конечно, ребята ворчали, голод мучил еще больше после такого обеда. Нетрудно догадаться, какую отдачу они могли дать. Иван Иванович все понимал и смотрел, как говорят, сквозь пальцы на результаты нашего труда.

Незаметно подошла весна, стало пригревать солнце, снег растаял, зазеленели деревья. Все живое пробуждается от сна, оживает. Кроме нас, заключенных. На меня весна повлияла совсем плохо: я сильно ослабел, ходил, еле переставляя ноги. Истощен был настолько, что походил на глубокого старца. Казалось, могу рассчитать день своей смерти от голода. Было даже предвидение: какая-то сила подводит меня к концу, делает его неотвратимым. Но тут появляется другое, неожиданное, оно в корне изменяет обстановку, и я вновь оживаю. По природе своей я не мистик, не верю в сверхъестественные силы, но то, что было со мной, то было. До сих пор живу с чувством, будто кто-то меня оберегает, только не знаю зачем.

Таких истощенных на командировке было много. Мы уже не могли работать. А с лагерного начальства требовали лес. Нужны крепкие люди, иначе проблему не решить. В конце концов на Долгой создали откормочный пункт на 20 человек – что-то вроде дома отдыха на 10 дней. По ходатайству Ивана Ивановича я вместо мира иног попал в тот дом отдыха. Нельзя сказать, что кормили вдоволь, но все-таки получше, чем обычно. А главное, освободили от работы.

Через 10 дней я еще мало походил на нормального человека, но легкий труд уже был по силам. Послали на строительство лежневых дорог, где я проработал месяца два. Бригада лежневых строителей, численностью человек 30, состояла сплошь из заключенных с третьей категорией трудоспособности, то есть из доходяг. Работали звеньями по три человека.

Рельеф тайги вокруг Долгой сложный: много глубоких логов с крутыми боковыми склонами, с бегущими вниз ручьями. Дороги, как правило, прокладывались вдоль склонов логов, по их тальвегам или поперек логов. Длинные и крутые подъемы не допускались, так как на подъем лошадь воз с лесом не повезет.

Премудрости строительства лежневок я схватывал на лету и усваивал прочно. Но дальше работы моя любознательность не простиралась: ко всему, что меня окружало, я стал совершенно равнодушным – ни быт в лагере, ни люди, ни природа не интересовали. А ведь началось лето, – тайга превратилась в писаную красавицу. Что могло расцвести – расцвело, птицы радовались жизни и распевали. Но мне было не до лирики. От 10-дневного отдыха не осталось даже воспоминаний. Я жадно искал в тайге что-нибудь съедобное, но кроме кислицы ничего не находил. Кислица не притупляла голод, скорее наоборот, усиливала аппетит.

Силы мои таяли. Но к работе я относился добросовестно, понимал, что из-за моих ошибок могут произойти аварии, пострадают люди. Не все понимали меня. Некоторым бригадникам казалось, что я излишне старателен, а потому добавляю им лишнюю работу людям, у которых и так силы на исходе. Мы даже поскандалили с моим звеньевым Николаем Егоровым, даже подрались.

Дело было так: мы с ним укладывали лежни на подготовленные шпалы. Он стал прибивать конец лежня в чашку, когда я заметил, что конец этот очень тонок и не выдержит тяжести воза с лесом, неминуема авария. Сказал ему об этом. Но Николай грубо ответил:

- Обойдусь и без твоих подсказок. Кто ты такой, чтобы советовать мне? Как считаю нужным, так и делаю, и весь сказ.

Мы заспорили. Неожиданно он набросился на меня, обхватил за пояс, стараясь повалить на землю. Какое-то время мы молча боролись, хотя у обоих силы были ничтожны. Наконец, я сказал:

- Ладно, сдаюсь. Считай, что ты одолел меня.

- Ну уж нет. Сейчас возьму топор и покажу тебе, кто сильнее.

- Только этого нам с тобой не хватает, – мы и без топора отдадим богу души. Ладно, я заменю лежень, и на этом спор закончим.

Мы разошлись и вновь стали работать, как будто между нами ничего не произошло.

...Как-то утром на разводе человек 25 заключенных с третьей категорией трудоспособности, в том числе и меня, отделили от остальной

массы и отправили на соседнюю командировку с названием «21-й километр». Новое начальство встретило неласково: уж очень некрасивы мы на вид – истощенные и измученные. Позвали врача. Тот осмотрел нас и обратился к конвою:

- Зачем привезли их сюда? Их не на работу нужно посылать, а класть в стационар. Везите обратно, нам такие доходяги не нужны.

Начальник и техрук командировки его поддержали:

- Какая от них отдача – умирать они могут и на Долгой.

И нас повезли обратно. Под вечер вновь оказались на Долгой. На 21-м километре нас обедать не пригласили, а на Долгой ужин никто не приготовил. Так что остались без обеда и без ужина. На следующий день снова повезли на 21-й километр, и там приняли уже без разговоров. Так мы стали жителями и строителями лежневых дорог на этой командировке.

Я вновь ослабел, еле переставлял ноги. Если в лесу попадалась валежина, то вначале перелезал через нее руками, потом уже тянул ноги. Просто перешагнуть не мог: не было сил поднять ноги.

Заклученные обратили внимание на то, что с ростом истощенности человеку больше хочется пить. Как будто организм хочет заменить водой недостаток пищи. Но вода, как известно, еще больше ослабляет, вызывает отеки лица и тела. Я не чувствовал особой жажды, пил, казалось, как обычно, но товарищи по бригаде заметили у меня опасную тягу к воде.

- Если не прекратишь увлекаться водой, мы тебя побьем – так и знай. Вода, как говорят, не только камень точит. Тебе еще рано на тот свет, не торопись.

Я стал пить меньше. Может быть, это спасло от водянки. Напарники были не лучше меня. Мы с трудом валили и переносили лежни, пилили шпалы.

Во мне жило только одно чувство – чувство голода. Оно убивало все живое во мне, мертвило мысли. Голодным я был всегда, каждый день и каждый час, после завтрака, обеда и ужина. Такое состояние продолжалось уже больше года.

Вот тогда-то я понял, что муки голода – самые страшные муки. Влияние голода на человека хорошо понимала администрация лагерей, она умело использовала его в своих интересах. С помощью голода поддерживалась дисциплина, выполнялись и перевыполнялись производственные планы, создавались новые объекты, порой очень крупные, делались открытия в науке. За перевыполнение производственных заданий заключенному давали дополнительно к пайке 200–250 граммов черного или белого хлеба, причем белый хлеб громко именовался пирогом. За дополнительные граммы хлеба люди насило-

вали свою природу, вытягивали из себя жилы. У Некрасова есть такие строки:

В мире есть царь: этот царь беспощаден,
Голод названье ему.
Водит он армии; в море судами
Правит, в артели сгоняет людей,
Ходит за плугом, стоит за плечами
Каменотесцев, ткачей.

Ко всем бедам прибавилась еще одна: заболел воспалением легких. Как-то утром сходили в столовую, позавтракали и вернулись в барак. До развода оставалось около часа, я лег на нары. А потом едва встал: болела грудь, во всем теле пылал жар. Почувствовав недоброе, пошел в медпункт к врачу.

- У меня, кажется, температура и грудь болит.

Смерили температуру, оказалось 39 градусов.

- Ого, дело серьезное. Сейчас освобожу тебя от работы, а вечером придешь снова, посмотрим, что с тобой. Сейчас иди в барак и полежи до вечера.

К вечеру совсем раскис: боль в груди усилилась, стало трудно дышать, температура не спадала. Кое-как добрался до медпункта. Врач смерил температуру, проверил пульс:

- Да у тебя, милый, воспаление легких, – сказал он. – Это не шуточная болезнь. Выпей лекарство и потерпи до утра. Завтра после развода положу тебя в стационар.

Врача звали Александром Александровичем Ерошкиным. Не хотелось уходить из медпункта, давно не встречал такого доброго отношения к себе. Я рассказал ему о своем прошлом, о прошлых и нынешних мытарствах. Он внимательно слушал. Потом рассказал о себе:

- У нас с тобой судьбы схожие. До войны я ведь тоже жил в Москве, учился в медицинском институте. Когда началась война, я только что закончил четвертый курс. В армию пошел добровольцем. Хотел помогать раненым солдатам, защищать страну. Всю войну проработал в санитарном поезде, сделал больше тысячи операций, спас много жизней, рисковал своей. Бывали налеты фашистов и на наш поезд – они ведь не очень щадили красный крест, не считались с ним. Есть у меня и военные награды. Да что говорить об этом... После окончания войны меня арестовали и по той же статье, что у тебя, на пять лет уперли сюда. Конечно, тоже исковеркали жизнь, хотя не настолько и не так сильно, как тебе. Хорошо еще, что я – врач, работаю в медпункте и не знаю, что такое лесоповал, не испытал всех прелестей лагерной жизни. Ты не горюй: пока я жив, ты не умрешь, сделаю все возможное, чтобы ты поправился. А теперь до завтра.

Меня положили в стационар. Состояние было очень тяжелым. Александр Александрович возился со мной, как с ребенком. Истратил все антибиотики, что были в его распоряжении. Порой я терял сознание. Несколько дней жизнь качалась, как стрелка у весов: душа в любое мгновение могла расстаться с телом. Через неделю кризис миновал. В мою пользу: буду жить!

К стационарной порции Александр Александрович выписал два дополнительных больничных пайка. Но мне все мало: появился зверский аппетит. Молодой организм, поборов болезнь, требовал пищи. В дополнение у меня стали отекать ноги. После сна все вроде нормально, но стоило походить с час, как они становились в несколько раз толще. Надавишь на ногу пальцем, образуется яма, потом она медленно, медленно исчезает. Александр Александрович, видя это, говорил мне:

- Ты сейчас не вставай, полежи. Если будешь ходить, знай, что даром это не пройдет – у тебя может появиться серьезная болезнь сердца.

Я все понимал. Но как исполнять его советы, если голод не дает покоя? Однажды написал письмо родителям и пошел с ним к нарядчику, чтобы отправить. Отдал письмо и спросил:

- У вас какая-нибудь работа не найдется?

- Документы сумеешь переписывать? – спросил он.

- Да умел когда-то.

- Тогда садись, – и он дал мне чистой бумаги и списки бригад на командировке. Моя работа ему понравилась.

- А ты из какой бригады, в каком бараке живешь? – спросил он.

- В стационаре.

- Тогда приходи завтра снова.

Что скрывать – надеялся, что он накормит меня за работу, но он, видно, забыл. На следующий день пришел после обеда. Он снова дал переписать те же списки. С едой результат тот же. Так продолжалось несколько дней. Александру Александровичу мои хождения очень не нравились, потому что отечность ног не проходила.

- Не ходи туда, ничего тебе эта работа не даст, кроме новой болезни. Лучше поправляйся скорее, я оставляю тебя при стационаре медбратом. Какое-то время поухаживаешь за больными, освоишься, а потом, смотришь, я введу тебя в медперсонал.

Само собой, Александр Александрович говорит это из лучших побуждений. Но в то время я, глупец, еще не понимал лагерной субординации: мне казалось, что в лагере врач – фигура помельче нарядчика. У врача кое-какие возможности защитить заключенного есть, но они временные, непрочные, а у нарядчика – все сможет, если захочет.

А кроме того, не воодушевляли меня обязанности медбрата: постоянно с больными, менять им утки, давать лекарства... Нет, это не

для 20-летнего юноши. И еще не верилось, что смогу быстро освоить медицинские знания. Латынь выучить не сложно, но ведь она еще не медицина. Мне казалось, Александр Александрович ошибается и переоценивает мои и свои возможности. Так думал я тогда.

Со временем мои представления о лагерьном враче поменялись на 180 градусов. Он может освободить заключенного от работы по болезни, устанавливает категории трудоспособности, комплектует штат в стационаре, кладет больных в стационар, назначает санинструктора. Толковый врач имеет бесспорный авторитет очень нужного людям профессионала, его выводы и заключения не оспариваются.

Пусть Александр Александрович не обижается на меня за невежество, земной ему поклон за сочувствие и помощь в очень трудное для меня время.

До меня статистом в учебно-распределительном бюро командировки (УРБ) работал Василий Мартыанов – парень лет 24-х, со средним образованием. Я не расспрашивал его, как долго он в УРБ, но чувствовалось, что недолго, потому что у него не было связей на кухне, и выглядел он – буквально кожа да кости. Вскоре его отправили на сельскохозяйственную командировку Верхнее Мошево на откорм. Место статиста нарядчики предложили мне. Я еще болел, ноги днем отекали, но ждать было нельзя. Я попросил Александра Александровича списать меня из стационара. Он проворчал:

- Я предвидел, что этим закончатся ваши хождения в УРБ. Зря не согласились со мной. Вы еще больны, вам нужно долечиваться. Да ладно: дали согласие, значит, идите. Будет хуже – я здесь.

С дистрофией IV степени меня списали из стационара. Дистрофия – это болезнь, вызванная истощением организма. А дистрофия IV степени – ее последняя стадия, при которой в организме происходят необратимые процессы: он съедает сам себя. На мое счастье, в УРБ я стал, хотя очень медленно, но все же поправляться.

Нарядчик, Алексей Кротов, велел перейти жить в домишко, в котором жил сам. Обязанности статистика не были для меня ни утомительными, ни сложными: я их освоил еще до перевода на эту должность. Контингент на командировке небольшой – человек 750, причем, более или менее постоянный. Странно, но здесь люди умирали реже, чем на Долгой, а о побегах я и не помню.

Какими бы причинами ни определялся этот феномен, но он упрощал мне работу. Память была хорошей, через какое-то время я знал всех заключенных на командировке по фамилиям, именам и отчествам, и бригадные списки писал по памяти, не заглядывая в предыдущие. Это значительно ускоряло работу.

Но не работа была главной проблемой. Первая задача – наладить хорошие отношения с работниками кухни. Постоянный голод

не давал покоя, а я ведь настоящий дистрофик. Во что бы то ни стало надо поправиться, укрепить организм. Вначале работники кухни на меня, доходягу, не обращали внимания. Вид истощенного человека всегда вызывает пренебрежительное отношение у здоровых и сытых. Но нарядчик, от имени которого я обращался к ним, был личностью авторитетной. Постепенно и ко мне стало меняться отношение. Кухня есть кухня, потихоньку подкармливали. Я стал, хотя и медленно, но все же поправляться. Это везение, зековское счастье. Судьба помогла уйти от истощения и, может быть, сохранила меня как личность, как человека. Те необратимые изменения в организме, которых я так боялся, или не произошли вовсе, или оставили меня в покое.

...Шла осень 1946 года, еще не отменили карточную систему. Трудно жилось не только заключенным в лагерных зонах, но и вольнонаемным работникам, особенно семейным. Конечно, тем, кто связан с продуктовыми складами или с кухнями, полегче, они не ведали, что такое голод. Остальным приходилось перебиваться, кто как может.

Работал у нас техруком бывший заключенный. Он жил с семьей недалеко от зоны. Обычно, находясь в промышленной зоне, обедал из котла заключенных, а если был у нас на командировке, то заходил к нарядчику, и я бежал на кухню за обедом для него. Зарплата у него небольшая, жене работать негде. Тут все понятно.

Сложнее с другими постоянными клиентами на кухне – надзирателями. Не сказать, что они за счет заключенных отращивали животы и наедали шеи. На нашей пище не разъешься. Но все же, питаюсь здесь, они значительно ухудшали и без того скудное наше питание. Прибавьте еще урок, они тоже имели привилегированное положение в столовой и отнимали свою часть пищи у заключенных.

Теперь мне понятно, почему на 21-м километре заключенные умирали от голода значительно реже, чем на Долгой. Ответ прост: на 21-м километре было значительно меньше тех, кто объедал заключенных. Сюда не присылали урок и надзирателей меньше. И потому отсюда зеки не бежали.

В УРБ моя жизнь шла однообразно. Ежедневно составляя списки, я знал, кто работает на лесоповале, кто коновозчиком, кто строит дороги, но сам не принимал в этом участия, да и с людьми общался нечасто. Теперь я не был уже тем пареньком-романтиком, который полагал, что только в тяжелом труде и крепких мускулах заключено мое спасение от гибели.

Осенью 1947 года вместо Алексея прислали Василия Упадышева. Конечно, с Алексеем было жаль расставаться: все-таки под его началом я проработал больше года, плохого от него ничего не видел, наоборот, с его помощью вновь стал походить на человека.

Василию не больше 25 лет. Выше среднего роста, подвижный, веселый. Откуда его прислали, и кем он был до приезда на 21-й километр, я не знал. Но видно, нарядчиком он работал и раньше, потому что быстро вошел в курс дела. У нас с ним сложились нормальные деловые, а бы даже сказал, хорошие отношения: он доверял мне, иногда даже спрашивал совета.

Время от времени симское лагерное начальство проводило так называемые слеты передовиков производства. Привозили туда заключенных – и мужчин, и женщин. Делалось это не случайно. Знакомство, возможность близости с женщиной входило в число поощрений, все кто ехал на слет, считались счастливицами. Об этих слетах потом говорили много и вспоминали долго.

Случился такой слет и в то время, когда я работал в УРБ. Меня, доходягу, конечно, на него никто не посылал. Но среди счастливиц оказался молодой парень, работавший на нашей командировке постановником-учетчиком. Плановики были в фаворе у начальства. Они составляли рапортчики, комбинировали цифрами заготовки и вывозки леса, подгоняли их под план. Потом плановик рассказал мне, как познакомился с одной девушкой и уединился с ней в бараке. Она понимала, что слеты бывают не часто, уговаривать ее не пришлось.

Подходил конец 1947 года. Как-то вечером Упадышев сообщил мне, что на командировке вскоре должны поменять контингент: мужчин отсюда переведут на другие командировки, а сюда привезут женщин. Оставят на первое время несколько человек: лучших вальщиков леса, коновозчиков, грузчиков в качестве инструкторов. Конечно, остается нарядчик.

- А как же я?

- О тебе подумаем, – ответил Василий. – Ты хороший парень, постараемся оставить. А сейчас давай готовить документы.

Переселение произошло сразу после Нового года. Так я остался на командировке 21-й километр, но уже не мужской, а женской. Что греха таить, хотелось посмотреть на арестантов-женщин вблизи. Как они выдерживали каторжный труд? Я себя не считал слабым, но чуть было не отдал богу душу из-за голода и болезней. Если мне так тяжело, как же женщины?

Но дело не только в этих переживаниях. Я был молод, мне исполнился двадцать один год. Женщины тревожили воображение, я мечтал о любви. Правда, смущала недавняя дистрофия, я чувствовал неуверенность, робость. Но я не строил больших надежд: нужен был просто объект, чтобы вспыхнула, если не любовь, то привязанность.

К нам в домишко стали заходить старые знакомые Упадышева, но уже не мужчины, а женщины. Помнится, первой появилась (я помню даже ее имя и фамилию) Рая Бугрова. Она знала Василия по головной командировке, где содержались заключенные мужчины и женщины. Там она была пассивной парикмахера. По-видимому, и здесь она с по-

мощью нарядчика надеялась устроить свой быт, но не получилось. Вскоре стала частой гостьей Зоя Морозова, она приходила к Василию чаще всего до развода.

Мне часто приходилось бывать на разводах. Однажды я увидел молодую женщину. Даже в лагерной одежде она была красива: русоволосая, с большими голубыми глазами. На вид – лет 19–20. Я узнал, что зовут ее Маруся. Женщины, работавшие с ней в лесу на погрузке леса, охотно рассказали мне, что на воле она была продавщицей в магазине, что сюда ее упрятали на пять лет за растрату и что на головной командировке она встречалась с молодым уркаганом. Время шло, а Маруся не выходила из головы. Меня не смущали ни ее растрата, ни полученный срок, ни молодой уркаган. Она мне нравилась. Скоро и для нее это перестало быть секретом.

Как-то Василий уехал на головную командировку, я остался один. После рабочего дня зашли три женщины: Рая Бугрова, Маруся и еще одна женщина, не помню ее имя. Я сбегал на кухню и принес растительного масла. Мы устроили настоящий пир: макали хлеб в масло и ели. Потом женщины ушли, но Рая задержалась:

- Хочешь, приглашу Марусю? – спросила она.

Я подумал и отказался. Это был единственный и последний случай, когда мы могли остаться вместе один на один, но... не случилось.

На следующий день меня перевели в бригаду Борисова коновозчиком. Вновь на производстве, но уже в другом качестве. Мне дали лошаадь, сани с прицепом и определили в звено, где была и Маруся. Я не был огорчен ссылкой в бригаду, в лагере можно ожидать чего угодно. А главное рядом Маруся. Я испытывал боль, наблюдая как она надрывается на погрузке леса. Как мог помогал ей, было приятно видеть, как она радуется моей поддержке. Теперь мы познакомились поближе. Она сама рассказала о своей связи с уркаганом и еще добавила:

- Ведь я не любила его, а встречалась с ним от забоюсь.

«От забоюсь» – это значит, что она боялась урку, он мог с ней сделать все, что вздумается. Как истинный рыцарь, я старался отгородить ее от неприятностей лагерной жизни. Но возможностей-то мало – я ведь тоже был заключенным.

ГЛАВА V. СНОВА НА ДОЛГОЙ

Как всегда неожиданно пришло распоряжение убрать с 21-го километра всех мужчин, в том числе и меня. Начальство посчитало, что инструкторы свое дело сделали. Вот так я вновь оказался на командировке Долгая. Увезли меня отсюда в конце июля 1946 года, а привезли обратно в феврале 1948 года. Полтора года! Я вернулся другим, много испытывавшим человеком, опытным зеком. Когда-то на

Долгой я стал доходягой, но это – в прошлом, в далеком, как мне казалось, прошлом.

Сама командировка мало изменилась: та же ограда с колючей проволокой по верху и сторожевыми вышками по углам, та же засыпанная снегом запретная зона вдоль ограды, те же вооруженные охранники на вышках. О них командир взвода охраны как-то сказал:

- Работа у них тяжелая, целый день сидеть на вышке и смотреть в одну сторону – это тебе не печенье перебирать.

Те же засыпанные снегом деревянные бараки, баня, медпункт со стационаром, карцер. Картина не из веселых. Но быт заключенных на командировке все-таки изменился. Из пищевого рациона исчезли гнилая брюква и гнилая картошка, а вместо них появились перловая и овсяная крупы, лапша и даже овсяная мука для приготовления затирухи. Во-вторых, явно меньше урок и их шестерок. А значит, спокойнее жить, меньше воровства. Наконец, прекратились побеги заключенных. Может, мне показалось, но вроде бы исчезает былая «слава»: командировка Долгая, а жизнь на ней короткая.

И еще немаловажная новость – в бараках появились постельные принадлежности. Не новые, не чистые, но теперь не нужно стелить под себя портянки, под голову ставить ботинки и укрываться драным бушлатом. Появилось даже что-то похожее на народный контроль: из бригад стали ночью посылать на кухню рабочих, чтобы контролировать закладку продуктов в котлы.

Изменения, конечно, мизерные, но мне они бросились в глаза, я не забыл, что тут было до отправки на 21-й километр. Не знаю, чем были вызваны эти изменения. Создавалось впечатление, что цена на заключенных повысилась. Возможно, кто-то во властных верхах сообразил, что их массовое истребление в лагерях – это роскошь, так можно остаться без дармовой рабочей силы, особенно в тех местах, куда нормальные люди добровольно не едут.

Да, появились другие продукты. Но нормы питания заключенных оставались прежними, а они не только не насыщали их вдоволь, но даже не избавляли от чувства голода. Я лично постоянно чувствовал его вплоть до 1950 года, когда стал, наконец, наедаться. Но произошло это не благодаря заботе государства, а товарища, такого же заключенного, как я. Самым вкусным его блюдом для меня стала затируха из овсяной муки. Она казалась верхом кулинарного искусства.

На Долгой меня опять зачислили в коновозческую бригаду. Дали лошадь, а в лесозаготовительной зоне – сани с прицепом. Утром до развода нас вели на конюшню за лошадьми, там мы надевали на них сбрую и под конвоем ехали в рабочую зону. К тому времени, когда приходили грузчики, мы уже были каждый на своем волоке с санями, готовыми к погрузке. Я тщательно выравнивал цепи, соединяющие сани с прицепом, потом проверял состояние подушек на санях и прицепе.

Все это я делал, чтобы при движении прицеп не заехал в сугроб и воз не развалился.

Когда-то в первое пребывание на командировке Долгая все новички, да и не только новички, постоянно мерзли и старались закутаться в свои одежды, чтобы не обморозиться. А на воле, хорошо помню, холодная погода меня не пугала: я по утрам делал зарядку и обливался холодной водой. И тогда и сейчас я был молод. Но физическое и нравственное состояние совершенно иное. Однако и здесь при морозе под сорок градусов я однажды работал с незавязанными ушами на шапке и с распахнутой грудью. В тот день у меня с что-то не ладилось, я нервничал и не заметил мороза.

Но мне пришлось видеть на верхнем складе и более выносливых людей – грузчиков. Как-то стоял мороз градусов 35, все живое попряталось, никто без нужды не выходил на холод. Я подъехал с возом леса к штабелю и остановился, ожидая, когда разгрузят воз передо мной. На УЖД стояло шесть платформ, поданных под погрузку. Грузчики расцепили и поставили платформы против штабелей. Работали они попарно. В какую-то минуту сбросили с себя бушлаты и рубашки – они им мешали – и, оставшись в одних майках, приступили к погрузке.

Все рабочие приемы у них были четко отработаны. Они почти не разговаривали, понимали друг друга без слов. Пока они грузили лес, от них шел пар. Так продолжалось до последнего балана, уложенного на вагон.

Я был зачарован их работой. Разгрузив свой воз, отъехал в сторону и, несмотря на мороз, оставался до конца погрузки. По сравнению с этими ребятами, при сильном морозе работавшими в одних майках, незавязанные уши на моей шапке и распахнутая грудь выглядели более чем скромно.

Однажды я ехал по лесовозной дороге с груженым возом, все шло, как обычно. Ничто не предвещало несчастья. У спуска я притормозил, но лошадь сдернула воз, и он покатился вниз, толкая ее впереди себя. Лошадь села на задние ноги и выгнула спину. В конце спуска она еле встала и как-то странно поставила задние ноги. На мои понукания не реагировала.

Я взял лошадь под уздцы, но стало ясно, что везти воз она не может. Тогда я выпряг ее и повел на нижний склад, она шла за мной, как пьяная. В конюшне ветеринар установил, что у нее образовалась трещина в позвоночнике, возить лес она больше не может.

Меня на несколько дней отстранили от обязанностей коновозчика и перевели в грузчики. Я сильно переживал тогда, и было от чего. Несколько раз вызывали к оперуполномоченному отделения, по командировке поползли слухи, что меня собираются судить за пострадавшую лошадь. И даже называли возможный срок, который могут мне дать.

Эти слухи сильно действовали на мою психику, – настроение мрачное, на душу легло чувство безысходности. Находясь в этом состо-

янии, я написал письмо отцу с матерью, в котором, помнится, были такие строки: «Мне угрожает новый срок и, если мне его дадут, то вряд ли я буду жить». Понимал, что письмо больно ударит моих родителей, но мне казалось, что будет лучше, если они будут знать все заранее.

Письмо буквально потрясло моих родителей и сестер. Они еще не успели опомниться от одной моей судимости, как я пишу о другой, которая может стать роковой.

- За что? Почему судьба так безжалостна к нему? – недоумевали они.

После долгих слез и разговоров моя мать сказала отцу:

- Ну что ж, поезжай к нему и узнай на месте, что с ним происходит, чем он так не угодил власти и Господу.

Так и решили. Еще лежал снег, когда мой отец приехал на Долгую. Это был настоящий подвиг. Жили они с матерью и моей младшей сестрой бедно, денег на поездку ко мне не было, и я до сих пор не знаю, где и как они их наскребли. Нужно было совершить две пересадки с поезда на поезд, проехать более 1000 километров. А как добрался от Соликамска до Долгой, – вообще остается тайной. Никакой транспорт туда не ходил, кроме лагерных тракторных саней до Сима. Но он доехал.

Прежде всего, отец встретился с начальником командировки и оперуполномоченным, разговаривал обо мне и моих грехах, показал им мое письмо. И тот, и другой его успокоили, что я не виноват в инциденте с лошадью, судить меня не будут.

Нам дали свидание в комнатухе, которая размещалась в одном здании с проходной, где сидели охранник и надзиратели. Разговаривать не мешали. Отец рассказал о доме, о том, что они с матерью пережили, когда узнали о моем аресте и когда получили мое последнее, злополучное письмо. Рассказал и о своих похождениях по лагерному начальству и успокоил, что судить за лошадь меня не будут.

Только тогда, в апреле 1948 года, отец впервые узнал, в чем состояла антисоветская агитация, за которую я получил восемь лет, из-за которой так безжалостно искорежили мою жизнь. Я вспомнил все, что пришлось пережить, особенно в первый год. Вспомнил момент, когда, мне казалось, я мог точно рассчитать день своей смерти, но остался жить.

Отец плакал, слушая мою грустную повесть. Мы проговорили с ним весь день и всю ночь. Когда на следующий день он уезжал с Долгой, на душе у него было гораздо спокойнее. Он узнал все. И узнал, что я, его сын, остался таким же, каким был всегда. Отец уехал, а я еще долго грустил и думал о нашей встрече.

х х х

Повесть И.В. Гренадерова печатается в сокращении. Полный текст можно прочесть на сайте Пермского общества «Мемориал» www.pmem.ru

ЯКУБОВА, С ВЕЩАМИ!*

КРАСНАЯ МОСКВА



Мама вернулась из лагеря с чемоданом, с которым потом мы долгие годы не расставались, а когда мамы не стало, то и я не расстанусь с ним вот уже сколько лет. Сколько же? Четверть века.

У чемодана множество достоинств. Не тяжелый, потому что фанерный, и очень прочный. На вокзалах мы сидели на нем всей семьей – мама и я. Его никто и ни разу не вздумал украсть. С его-то красотой. Потом, вору прекрасно видели, откуда он родом. Стильная, лагерная вещь, не имеющая цены. С ременной ручкой, вернее, кирзовой, сделанной из голенища солдатского сапога, четырехслойной, проши-

той настоящей дратвой. Чего только в чемодане ни возили, от картошки до книг, ручка выдержала. Запирался чемодан на висячий замок. Мог запираться. Но что-то я не видела, чтоб он был заперт хоть раз.

В тот вечер, когда мама появилась с ним в дверях бабушкиной кухни, на чемодан никто внимания не обратил. И на потертый футляр натуральной кожи, который мама несла в левой руке, тоже никто не обратил внимания...

Я помню, как это было, как мама появилась в дверях кухни.

В наших краях зимой темнеет часов в пять, а это, наверное, произошло часов в семь-восемь. В окнах было чернехонько, и лампочка в ветхом абажуре освещала жаркую кухню. Бабушка знала, что старшая ее дочь возвращается из лагеря именно сегодня. И она волновалась. А была моя бабушка человеком на редкость сдержанным, еще и насмешливым, и строгим. На ее веку случилось две революции, три войны, а в промежутках – экспроприация, коллективизация, индустриализация. И жизнь она прожила с вечно ссыльным меньшевиком, с

* Орывок из повести «Чемодан Якубовой» (М.: Футурум БМ, 2004).

которым кочевала по ссылкам от Сургута до Казахстана с заездом на Соловки... И все-таки она волновалась. Очень.

Я стояла на шаткой табуретке напротив зеркала в деревянной раме.

...Мне пять лет, в зеркале отражается белобрысая, румяная и лохматая девочка с маленькими глазками. Странность: я не могу с девочкой просто перегляднуться, я могу посмотреть ей только в один или в другой маленький темный и блестящий глаз. Только так. Это я. Вот я какая. Бабушка, ожидая мою маму, борется с моей лохматой головой, наматывая похолодевшей нервной рукой пряди на палец и смазывая их слабым сахарным сиропом. Лохмы превращаются в локоны. Я преображаюсь. И не знаю, нравится ли мне это...

Мне нравилось, что бабушка занята мной...

На плите и в духовке что-то булькало, жарилось и пеклось, бабушка поминутно отвлекалась от меня, тогда я оставалась на шаткой табуретке в одиночестве и мне становилось боязно. Все-таки, я не роптала. Вообще, мне помнится, что я была одновременно терпелива и упряма. И молчалива. Я была занята. Помимо реальной жизни со мною всегда происходила еще какая-то, сказочно прекрасная либо, напротив, сказочно ужасная. Но на этот раз на своей табуретке я оказалась в той единственной во вселенной точке, в которой сошлись и встретились просто все страхи, надежды и чудеса. Я чувствовала, в каком важном месте судьбы нахожусь еще и потому, что бабушка волновалась. Даже бабушка.

Не помню, была ли моя голова по бабушкиному замыслу вся осыпана золотистыми локонами, когда вошла мама. Думаю, дело не было вполне закончено, поскольку, когда открылась дверь, я оставалась на табуретке. Только уже спиной к зеркалу и лицом к двери. Я именно осталась на табуретке, потому что вдруг все, и первая – бабушка, забыли обо мне. Шаткое мое положение усугубилось еще и невозможностью сделать ни шагу навстречу происходящему. Я должна была ждать, терпеть, молчать.

Это «столпничество», это чувство заброшенности, опасного одиночества очень отчетливо сохранилось во мне. И, возможно, многое определило. Я помню его, распознаю, когда оно возвращается, готова к нему. Как бы знаю, что будет дальше.

А дальше все, кто был в большой комнате-кухне (кстати, совершенно не помню, сколько было человек, ожидавших маминго возвращения, трое, четверо, пятеро?) перестали быть важными для меня. Бабушка перестала быть главной.

Случилась перемена жизни, есть такой термин в гадании на картах.

Вот так. Когда ко мне приходит чувство шаткости и заброшенности, я просто знаю, что дальше будет. Перемена жизни.

Дальше я увидела даже и не женщину, не маму, а только ее лицо. Лик. Его-то и помню. Надо сказать, что это отпечатавшееся в памяти лицо – темное, как на старых иконах, худое, с большими, страдающими светлыми глазами, с отчетливо очерченной поволокой – ничем не напоминает тот повседневный, позднее возникший, подробный и любимый мамин облик. Лик и облик – понятия из разных миров. Такая была минута в моей, да и в маминой жизни, что обнажилась в нас обеих первооснова. И запечатлелась в моем неправильном сознании. В сознании детдомовской девочки с поломанной памятью, начавшей говорить в три года и писать в четыре. Производившей иногда впечатление глухонемой или умственно отсталой.

Мама, окруженная всеми, кто ее ждал, смотрела на меня, только на меня, никто еще в жизни так на меня не смотрел. И я, хотя очень ждала маму, была не готова к такому взгляду. Я ждала маму, как дети ждут подарок. А тут возникла судьба, и захватила меня всю. При том, что я продолжала стоять на шаткой табуретке и чувствовать уже упомянутые страхи и одиночество.

В конце концов, побывав во всех объятиях и всем наспех ответив, мать вырвалась ко мне, и налетела как явление стихийное и незнакомое, и окружила, и напугала совершенно мне незнакомой силой страсти, желанием слиться – стать мною, меня сделать собой. Я не хотела. Я, подхваченная с моей табуретки, уже даже тосковала о ней, о шаткой опоре, об островке одиночества... Потом было застолье с горячими картофельными шаньгами, самой моей любимой едой, самой домашней, самой бабушкиной. И с необыкновенной скоростью я стала привыкать к этому стихийному, совершенно не похожему на приятный подарок явлению – моей маме. В смысле, смиряться с ее неизбежностью. Я поняла, что этого все окружающие как раз и ждали, что все так и считают, что я принадлежу этой удивительной женщине, как прежде принадлежала к серой и невнятной жизни в детских домах, в которую лучше было и не вглядываться, как и она, эта детдомовская жизнь, не вглядывалась в меня... Мама же продолжала пожирать меня глазами и замечать во мне ВСЁ, то есть гораздо больше, чем когда-либо замечала в себе я. Я расширялась. Меня как будто накачивали прошлым и будущим. Это было физическое, не слишком приятное, но неизбежное ощущение. Я прислушивалась к нему, занималась им, и того гляди готова была всплыть шариком к потолку... Если бы не бабушкины горячие, румяные, прекрасно пахнущие картофельным пюре и сметаной шаньги...

В общем, как-то все обходилось. Я и вообще-то была не скандальная. Да и все-таки было в мамином поведении что-то напрямую и необъяснимо трогающее меня. Она в самом деле имела на меня право. Исподлобья и из-за шанег я подглядывала за мамой, и отводила глаза, когда она обжигала меня своим всевидящим «ярким оком», и

с огромным удовольствием хлюпала чай из блюдца, как бы заливая пожар, который мама разжигала в моем сердце. Все обходилось.

К тому же становилось поздно, встречающие маму люди поредели, мне, наевшейся и напившейся, пора было спать укладываться.

И вот я уже лежу в своей кроватке, которую очень люблю, потому что после детдомовских коек она вся какая-то домашняя, нежная, с чудесной небольшой пуховой подушкой и мягким и легким одеялом в пододеяльнике... Кроватка стоит в единственной жилой комнате. В которой живет бабушка, и моя тетья с мужем, и младшая двоюродная сестра Алька. Но взрослые все толкуются на кухне и продолжают долгий свой и неинтересный разговор про все, что случилось за те годы, пока мама сидела в лагере. А сестра моя Алька давно уже спит в своей совсем детской кроватке с веревочной сеткой, чтоб не вывалиться. Моя-то постелька, хоть и небольшая, но совсем как у взрослых... И вот я лежу и смотрю на длинную, будто ножом прорезанную светящуюся щель в двери на кухню и жду, когда все закончится, и мама ко мне придет, и сядет в ногах, и я спрошу у нее – что в тех двух сундуках-чемоданах, что она принесла с собой?.. Как-то так надо бы спросить, чтоб не показалось ей, что я жду подарков. Нет, то есть я, конечно, жду, но гораздо больше меня просто разбирает любопытство. Потому что я люблю вещи. Потому что по ним я, как следопыт, могу разгадать жизнь, которую я еще в глаза не видела, но которая может случиться со мной. (Я уже знаю, что у каждого мгновения есть продолжение и что мне предстоит Жизнь.) Так, когда из детского дома меня бабушка привезла на эту квартиру, я никак бы не поняла и не вошла в здешнюю жизнь, если б не ящички в кухне со всякой деревянной и скобяной всячиной, не комод в комнате, не ковер с оленем на стене, не герань на окошке, не металлическая шкапулка с тройкой лихих коней на крышке, полная ниток мулине, деревянные грибочков для штопки и разноцветных пуговиц, не бабушкина швейная машинка с пронзительно прекрасным именем Тевтония и с золотым кудрявым узором на черной перегибчатой талии... Мир вещей – отражение прошлого, в котором я никогда не бывала, и будущего, в которое любопытно же заглянуть!..

Мне хочется спать, глаза слипаются, но вот все-таки мама входит и садится на мою кроватку, в ноги ко мне, и я чувствую ее легкую руку на своем колене, запах табака, которым вся она пропитана, и еще какой-то восхитительный и горький, отчетливый и безымянный запах... И вот я шепотом спрашиваю ее, но совсем, совсем не о том, что планировала. Я вдруг спрашиваю ее с гаденькой, фальшивой интонацией «хороших детей»:

- Мама, ты всегда будешь такая старенькая? Или потом помолодеешь?

Мама не отвечает. Она молчит. Слава Богу, я не вижу ее лица. Но ее начинает потрясывать, дрожь передается через матрас мне, и вот короткий раскат сдавленного то ли рыдания, то ли смеха вырывается из маминой груди и горла. Нет, все-таки она смеется... или плачет?.. Я жду в страхе. Нет, я не готова к встрече с этой женщиной, я ее не ждала. Но что это за боль в моем... не знаю, в чем. В голове? В животе?.. Где во мне то место, которое так тонко, так неуловимо болит, что хочется плакать, и я задыхаюсь, и, кажется, сейчас исчезну. Какой ужас!..

Но мама, наконец, успокаивается и говорит низким своим хрипловатым голосом, похожим на родной, бабушкин. Она говорит:

- Девочка моя, не бойся, это я просто очень устала. Я потом стану моложе. У меня просто болит душа, и у тебя она, наверное, тоже болит. Это пройдет. Мы будем жить очень весело и счастливо. Как никто никогда не жил! Все будет чудесно, вот увидишь...

Много после я никак не могла понять, откуда во мне взялся тот дурацкий, как бы наивный, вопрос. На самом деле фальшь и пошлость втираются к нам с младенчества, они подсказывают самые легкие, самые быстрые, но и самые постыдные, самые подлые способы уйти, сбежать, избавиться от настоящей жизни. Которая так часто бывает трудна, ну просто невыносима. И все-таки она лучше, чем эти уловки, эти глупые хитрости. Настоящая, откровенная жизнь содержит возможность ослепительного счастья. Очень, правда, редкого. Но пошлость и фальшь – ничего не содержат. Они пусты, как шутки идиотов, которые нет-нет да норовят подарить ребенку аккуратно свернутую конфетную обертку без самой конфеты.

Мне стыдно до сих пор за ту минуту, за тот мой вопрос. Но мама – она была на высоте. Она все знала про мою совсем еще маленькую и напуганную душу...

В общем, и тут все обошлось.

Мама поцеловала меня на ночь, и я тут же уснула. А во сне я всегда выздоравливала от всех болезней. И от стыда – тоже.

А чемодан оказался полупустым. В нем лежала перемена лагерного, убогого, но тщательно проштопанного и чистого белья, включавшего простые чулки, голубые панталоны, полотняный пояс с подвязками, бязевый бюстгальтер, пару носков и нижнюю рубашку с кальсонной пуговкой у ворота. Была еще вязаная фуфайка неопределенного горчичного цвета и тапочки-тенниски, пахнущие зубным порошком. В отдельном пакете из желтоватой пергаментной бумаги лежали пахнущие скипидаром кисти и краски. Еще там был вонючий мешочек, туго набитый махоркой. Еще там был синий маленький томик Александра Блока, несколько исписанных общих тетрадей в дерматиновых обложках, пачка писем и открыток, полученных мамой в лагере. И еще какой-то рулон из бумаги разного достоинства – от обоев до ватмана. Еще – старинная

чугунная чернильница-непроливашка без чернил с откидывающейся крышкой, похожей на богатырский шлем с кушаком. Всё.

Был еще подарок мне. Он был плотно завернут в невероятно красивую тисненую золотом бумажку и обвязан золотым шнурком. Сама обертка была подарком, никогда я не видела такой роскоши. Эту бумагу и эту тесьму маме отдала одна литовская женщина, сидевшая с нею в лагере. Что это была за женщина и почему в лагере у нее оказалась такая красота – особая история. Мама же терпеливо ждала, когда я развяжу и разверну ее подарок.

От свертка пахло тем самым загадочным горьким и прекрасным запахом, который я почувствовала накануне вечером. Это был почти пустой флакон «Красной Москвы». Лучшие и навсегда утраченные духи моей жизни. Та «Красная Москва», что очень редко, но еще и сейчас продается в дешевых ларьках, пахнет леденцами и пудрой, она ничего общего не имеет с теми духами. Только Шанель № 5 слегка напоминает их. Но запах мамино флакона был чище и проще, бесценнее. Запах судьбы. С ним можно было начинать жить.

АККОРДЕОН

В кожаном футляре жил небольшой итальянский аккордеон.

С ним связана такая история.

В мамином лагере в женской зоне не было бани. И колодца не было, воду привозил с воли в большой деревянной бочке вольнонаемный старик-инвалид. Бочка стояла на повозке со смазанными дегтем колесами, и эту повозку волок огромный и неторопливый черный бык.

Баня, как и артезианский колодец, находилась в мужской зоне, за тремя высоченными, увитыми колючей проволокой глухими заборами. Арестанток водили мыться строем и под конвоем в мужскую зону. Мама множество раз рассказывала при мне или даже просто мне, как это происходило.

Банный день устраивался раз в две недели по воскресеньям, и с самого утра начинались приготовления к предстоящему событию. Несколько суток перед тем женщины копили «водяную пайку», чтобы хоть как-то помыть головы и накрутить бигуди, сделать прически, постирать и подсинить белые, простроченные или кружевные воротнички, которые выпускались поверх ватников или сатиновых курток, лагерной униформы, обязательной для передвижения праздничным строем (по будням начальство не следило, в чем арестантки ходят, им и платья носить не возбранялось, только мало у кого они были). Даже зимой женщины шли в баню с непокрытыми головами, повязывая разве что шарфики и яркие ленты на свои кудри и пышные прически. На выходной макияж шли подручные средства – из борщей загодя вытаски-

вались и копились жалкие кусочки вываренной свеклы, припасались также уголь из печей и побелка со стен. Особую заботу у женщин вызывали туфли. Все, как могли, приводили в порядок обувь, а несколько умели приноровились прибивать каблуки к арестантским бахилам. Все блестящее – от консервных банок до битых стаканов – отыскивалось и похищалось из нехитрого тусклого инвентаря лагерной жизни и превращалось в бижутерию.

Со всем этим безумием когда-то давно начальство пыталось бороться. Но плюнуло.

И вот наступал торжественный час. Женщины в полной боевой раскраске, с шайками и мочалками собирались на плацу перед баракком, в котором размещалась столовая, она же «красный уголок». Там строились в колонны по четыре, и маленькие смертельно завидовали высоким, потому что высокие становились правофланговыми и вообще были виднее. Однако общее радостное возбуждение объединяло всех. Но вот строй замирал, начальник лагеря лично осуществлял перекличку и, наконец, командовал: «В баню шагом арш!» И открывался проход в трех заборах с колючей проволокой, вертухаи на четырех вышках прижимали щеки к прикладам длинных винтовок довоенного образца, держа «на мушке» самых видных красавиц. У последних ворот, тех, что вели уже туда, в чужой и волнующий, пахнущий мужиками мир, раздавалась команда: «Запевай!». И Натка Звездочка, молодая краснощекая рецидивистка, во всю матушку разевая от природы румяный рот, запевала «Катюшу». Строй женщин входил в мужскую зону.

Лагерь, в котором все это происходило, размещался на лысой вершине холма на окраине городка Усолье, под которым в недрах холодной уральской земли на многие десятки километров кружили просторные тоннели соляных шахт, а небо над городом заволакивали пышные и разноцветные дымы химических заводов, выпаривающих из подземной соли всю таблицу Менделеева. С женской половины лагеря, размещавшейся на самой маковке холма, из-за забора ничего кроме верхушек заводских труб и ядовитых клубов дыма видно не было. Но стоило пройти сквозь ворота между зонами, как со ската холма открывался немыслимо величественный вид на отроги Уральских гор и тайгу, их покрывавшую. Там не пахло ни ленинизмом-сталинизмом, ни бандитизмом-уголовщиной, ни химией, ни даже русским духом. Вообще не пахло человеком. Только вечностью.

Однако мало кто эту устрашающую красоту из входящих в мужскую зону женщин замечал. Она простиралась по левую руку от входящих. А по правую руку вдоль пути женской колонны метрах в пятнадцати стоял ряд арестантских бараков, точь-в-точь таких же, как в женской зоне, вот только жили в них мужики. И все население этих бараков в женский банный день не должно было и нос высовывать из своих узилиц, не ступать на деревянные мостки за порог, в сортир по нужде не

бегать. У каждой барачной двери стояло два конвоира с винтовками. Как будто не женская колонна, а чума шла в гости в мужскую зону.

Но чума – она и есть чума. Нет от нее спасения. Все население барakov, от мальчишек карманников, до старичков колхозников, от сильных духом доходяг политических до черных душою могучих урок и мокрушников – выстраивалось на барачных крышах. Мужчины в молчании наблюдали за тем, как в зону входит колонна баб в бантиках, в ослепляющих белизной воротничках-решелье, с размалеванными свеклой и гашеной известкой лицами... Расцветали яблони и груши, и выходила на берег мужской тоски Катюша, кося направо сияющими, подведенными углем глазами...

Путь до бани – такого же, как прочие, только стоящего чуть на отшибе барака – был недолог. Однако многое за эти несколько минут успевало случиться.

И случилось так, что в первый же раз высокую мою, хотя и совершенно не раскрашенную маму, заметил Некто. Некто, стоявший среди прочих сотен молодых и старых мужчин на крыше одного из барakov...

Когда она вошла вместе с поющей колонной в запредельное государство, то сразу увидела невероятной мощи и печали пейзаж, развернувшийся далеко за лагерем. Он врезался в нее и стал рефреном всей лагерной жизни. Раз в две недели пять лет по любой погоде...

И только потом она почувствовала тысячеглазый немигающий взгляд справа. И этот взгляд вошел в ее жизнь как жесткое излучение, вошел так же просто, как уральский пейзаж.

На следующий день ей принесли письмо.

Некто не подписавшийся описал ей в нескольких неизящных, но ярких выражениях страсть другого Некто, кто так полюбил высокую женщину, шедшую в третьем ряду справа, что заболел и сам писать не мог. Дальше следовал вопрос – какого цвета у нее волосы.

«Шестерка», принесшая записку, спросила, будет ли ответ, и мама твердо сказала, что нет, не будет.

Кстати, о «шестерке». Этот мелкий лагерный сервис не был положен моей маме, политической, не «цветной», не «человеку». Однако одно событие в первый лагерный день создало маме странную репутацию. Как-нибудь надо будет об этом рассказать.

Ответ мама писать не стала, но в следующий раз во время банного похода заранее вымыла светлые свои волосы, завязала их узлом и платком не покрылась. Хотя начался октябрь, лагерь и тайгу за ним накрыли пушистые снега, все стало мягким, размытым, и легкий пар из поющих ртов окутывал женскую колонну как бы туманом...

Через день мама получила большое письмо в настоящем конверте, запечатанном стеарином.

№ 305
Акт экспертизы портретов одного из вождей ВКП(б),
выполненных Г. М. Якубовой

6 февраля 1948 г.
г. Молотов

Мы, нижеподписавшиеся: председатель Союза Советских художников Молот. обл. Ф. И. Дорошевич, старший следователь отдела контрразведки МГБ войсковой части 15931-й капитан Попов В. Т. и председатель политотдела воинской части 10760-й полковник Патрит Б. Н. составили настоящий акт о нижеследующем:

Осмотрев портреты на одного из вождей ВКП(б) и советского государства, исполненных художником при клубе воинской части 10760-й Якубовой Галиной Михайловной, нашли:

Из представленных 3 портретов на одного из вождей ВКП(б) и советского государства в своей элементарной основе все 3 искажены, так, например: непропорциональность рук к туловищу, вывернутость ног, искажение образа данного портрета.

Одежда воспринимается как на манекене, но не как на живом человеке. Отступление от фото не в лучшую сторону, а в худшую. Лица мало похожи. Портреты должны быть изъяты, как не отвечающие элементарным требованиям.

Предправл. ССХ* *Дорошевич*
Стар. следов. ** окр. МГБ воен. *** части 15931-й *В. Попов*

№ 306
Приговор Молотовского областного суда по делу Г. М. Якубовой

28 апреля 1948 г.
г. Молотов

Именем Российской Советской Федеративной Социалистической Республики

Молотовский областной суд, в составе председательствующего Пиликиной и народных заседателей Устькачкинцевой, Зарецкого при секретаре Протопопове с участием прокурора Беляева и адвоката Малкиной рассмотрел в закрытом судебном заседании в городе Молотове 28 апреля 1948 года дело по обвинению

Якубовой Галины Михайловны, 1911 г. рождения, уроженка гор. Молотова, из семьи рабочих, образование среднее, б/парт., не судима, на иждивении имеет ребенка 9 лет, работала художницей при клубе войсковой части 10760-й. Предана суду по ст. 58-10 ч. I УК.

Материалами предварительного и судебного следствия областной суд установил:

Подсудимая Якубова, работая по найму художницей при клубе войсковой части 10760, будучи враждебно настроенной, среди окружающих ее лиц систематически с 1946 по 1947 годы включительно вела антисоветскую пропаганду. Клеветала на руководителей ВКП(б) и советского правительства.

Клеветала на условия жизни трудящихся СССР. Восхваляла англо-американских империалистов.

Виновной себя признала полностью.

Областной суд считает преступление доказанным по ст. 58-10 ч. I УК.

На основании изложенного руководствуясь ст. 319–320 УПК,

Приговорил:

Якубову Галину Михайловну на основании ст. 58-10 ч. I УК подвергнуть к пяти годам лишения свободы с поражением в избирательных правах на три года.

Зачесть предварительное заключение в порядке ст. 29 УК с 16/I 1948 года.

Меру пресечения оставить содержание под стражей.

Приговор может быть обжалован в Верховный суд РСФСР в течение 72 часов с момента вручения копии приговора на руки осужденной¹.

Пред-щий *Пиликина*
Н/заседатели: *Устькачкинцева*
Зарецкий

Почерк был другой, чрезвычайно разборчивый и аккуратный, ошибок почти не было, а стиль... О, это был высокий стиль!

Письмо было на четырех страницах и содержало описание того, как Некто, подписавшийся Борисом, смотрит с крыши четвертого барака на раскрывающиеся ворота и ждет. Потом различает Ее в колонне. Потом падает с крыши и ломает руку. И сейчас рука еще в лангете, так что «извините за почерк и за то, что письмо короткое» (это на четырех-то страницах!) Самым интересным было то, что Борис писал о маме. Писал он о ней почему-то в третьем лице. «Эта женщина шла необычайно легкой и естественной походкой балерины, для которой длинные ноги, их ритмичное, совершенное, как у крыльев птицы, движение – не способ передвигаться, нет! Это способ вообще жить, являть себя миру и постигать мир. И подчинять всех вокруг своему ритму, своему дыханию. Полету души и мысли»... Там было, конечно, и про мамины волосы цвета спелого ячменя, и про гордую посадку головы. Он успел заметить, что она не пела со всеми вместе, и что смотрела не столько направо, сколько налево, на холмы и тайгу – божественный театральный задник, на фоне которого каждое ее движение словно запечатлялось в вечности...

Борис даже имени мамы тогда не знал. Его письмо было адресовано «высокой блондинке, шедшей в минувшее воскресенье в третьем ряду справа».

И на это письмо мама не ответила.

Правда, еще и потому, что лагерная почта имела весьма специфический и публичный характер. Письма, или по-блатному «малявы», буквально как голуби летали через три забора в предрассветные сумерки до утренней переключки или после вечерней переключки, совсем уже ночью. Письма никогда не подписывались, потому что нередко не долетали до адресатов, а падали между заборами, на грядки вскопанной земли или разрыхленного снега – на полосы отчуждения, где их поднимали «попки»-охранники, а потом развлекались вертухаи, читая письма вслух с вышки на вышку. Замеченных же в перекидывании писем сажали в карцер.

Нельзя сказать, чтоб мама не боялась карцера. Боялась. Но и сами письма Бориса не позволяли уронить планку, так что мама ответить не решалась долго.

Но вот после третьего или четвертого похода в баню письма от Бориса не последовало. А через пару дней шестерка принесла мятую писульку с уже знакомым расхлябанным почерком, из которой следовало, что Борис попал в карцер, застигнутый за раскручиванием «почтовой пращи». Именно так, пращи. Для больших пакетов ээки придумали использовать это древнее метательное орудие. Однако способ этот производил специфический шум, жужжание своего рода, которое ловили вертухаи на вышках и «попки» в зоне.

Борис сидел в карцере неделю. А потом написал короткое, грустное письмо. О том, что, наверное, он смешон.

Тут уж мама не утерпела. Она ответила ему длинным (для себя, т.е. в две неполных страницы) сдержанным, но сердечным письмом. И стала получать пакеты каждый день, а в них послания – огромные, пылкие, прекрасные и ужасные. Что ей было делать? Она влюбилась. Правда, вряд ли Борис об этом смел догадываться.

Переписка длилась и длилась, и мама уже во все глаза глядела на крышу четвертого барака, где, как и на крышах остальных восьми барачков, стояло, сидело и даже лежало около сотни человек в сером, с белевшими из-под солдатских драных ушанок лицами. Что она могла рассмотреть на фоне хмурого неба? Но что-то такое ей чудилось. Был там один высокий, и однажды он помахал рукой. Ей помахал, так показалось маме.

Прошло почти два года, и к маме в крохотную ее мастерскую (в конце концов в лагере ей нашлась непыльная работенка по профессии – писать лозунги и плакаты, а также рисовать с плохеньких любительских фотографий, по клеточкам портреты членов семьи начальства) прибежала знакомая шестерка – «мужа вашего назначили к пересылке, через неделю его отправят до зеленого прокурора». Мужьями по лагерной традиции называли постоянных адресатов воздушной почты. А зеленым прокурором – Сибирь.

Любопытно, что при оперативности и фактической точности, «вести с воли» или из мужской зоны были зыбки и неполны. Мир за пределами зоны был ирреален, как Тот Свет... Можно ли было точно знать о пересылке Бориса, когда даже фамилия его оставалась неизвестна? Мистика какая-то...

К этому времени в женской зоне появился новый начальник. Прежнего интеллигентного очкарика со слабыми легкими и сострадательными, умученными глазами сменил коренастый бритоголовый хряк, выпивоха и матерщинник, с твердыми серыми зенками, спрятанными под хмурыми бровями. Но при симпатичном очкарике воды в женской зоне не было, а при хряке пробрили артезианскую скважину. И баню с прачечной начали строить. Но самое главное – в лагере появилось кино. Кинопредвижку и коробки с фильмами раз в неделю привозил из мужской зоны настоящий живой молодой мужчина кинемеханик. Правда – католический монах. Литовец. И этот самый монах Юозас хотя и не глядел на женщин, однако другой грех на душу брал – перевозил со своими ящиками кое-какую контрабанду через границу между зонами. Он и привез маме последнее послание от Бориса, а также его прощальный подарок. После сеанса монах окликнул маму странным в те времена образом:

- Госпожа художница, стойте. Вам презент. Сами знаете от кого. Забирайте, быстренько, быстренько...

Рядом с полуторкой, на которой возили технику, топтался «попка», и монах нервничал. Он подпихнул ногой к маме один из своих футляров и сунул ей в руки бумажный рулон - именно так теперь выглядели письма Бориса. Что было в том, последнем письме, я не знаю.

У себя в бараке, на нарах, мама раскрыла восхитительной формы кожаный футляр и обнаружила небольшой перламутровый красный аккордеон. Ничего более невероятного в маминной жизни не случилось... Все обитательницы барака сбежались посмотреть на подарок Бориса. История любви художницы и этого загадочного человека была все это время предметом и зависти и сочувствия едва ли ни всего населения женской зоны... Но такого никто и вообразить не мог. После первого «Ах!..» женщины стояли в молчании над этой невероятно красивой, просто драгоценной вещью, которая к тому же была музыкальным инструментом. Аккордеон мерцал цветом гранатовых зерен в барачном сумраке и, естественно, тоже молчал.

Никто в лагере на такой штуке играть не умел. Сидела, правда, в соседнем бараке Дуська-гармонистка, у которой когда-то была гармонь, привезенная из деревни, да она проиграла ее в буру. И еще литовская графиня Рута была когда-то в своем Каунасе неплохой пианисткой. И вот оставшиеся три года эти две музыкантши учили маму играть на аккордеоне, Рута учила правую мамину руку, а Дуська левую.

Борис исчез из маминной жизни навсегда. Постепенно в бесконечных наших скитаниях исчезли рулоны его писем. А однажды исчез и аккордеон: мама продала его в минуту жизни крайне трудную.

Но до сих пор я не могу спокойно слышать звуки этого, редкого теперь, инструмента. Я сразу вижу мамину голову, склоненную чуть влево, сосредоточенное лицо, рубиновые блики на щеке и шее, и разворачивающиеся как бы в глубоком дыхании нежные замшевые меха итальянского аккордеона...

НЕПРОЛИВАШКА

Эту чернильницу подарил маме один из ее следователей, юный Попов. Дело в том, что она облила чернилами из этой непроливашки предыдущего, очень опытного следователя, в результате чего угодила в карцер, но и этот опытный отказался вести маминное дело, а его обязанности вместе с повышением по службе получил Попов, студент юрфака, заочник. Он к своей подследственной относился по-человечески. Вопросов не задавал вообще, просто они тихо сидели в кабинете с большим окном, в котором видно было небо. Попов писал свои контрольные, готовился к сессии, а маму угощал

папиросами «Норд» и, чтобы не скучала, давал читать огромной толщины дело, в котором его опытный предшественник собрал с пристрастием полученные показания от всех маминых друзей, родственников и сослуживцев. Мама свое дело не дочитала. Слишком печальное было чтение. Удивил и порадовал ее один свидетель, парнишка из клуба военно-морского училища, в котором она работала художницей. Парнишка был курсантом и приходил в клуб заниматься вокалом, если можно так называть его мучительные попытки спеть Алябьевского «Соловья». Мучительные для всех, кроме парнишки. Он был уверен, что поет. Звали его Беня Фишер, он и выглядел как Беня Фишер, кучерявый носатый заморыш, неведомо как попавший вместо фронта в военно-морскую богадельню в тысячах миль от моря. Еврейское счастье. Он был уверен, что станет тенором. Мама была к нему беспощадна. «Беня, – говорила она, – у вас больше шансов стать адмиралом немецкого флота, чем тенором в филармонии. Пощадите мои уши и свои легкие. Нельзя так фальшивить в публичных местах». Беня хлопал своими верблюдьими ресницами, застенчиво улыбался, но занятия не прекращал. Правда, отправлялся петь в самый дальний от маминной кают-компании клубный кубрик. (Все помещения в училище назывались по военно-морскому...)

Так вот, Беня оказался едва ли ни единственным человеком, который на все иезуитские домогательства следователя отвечал незамысловато: «Ничего плохого кроме хорошего о Якубовой мне сказать нечего». Все остальные как-нибудь да вступали в диалог со следователем, и он в протоколах допросов умудрялся делать из всех подонков. Способный был человек, очень опытный. Кто знает, может, дело с метанием чернильницы-непроливашки потому и сошло маме с рук, что уж больно гадостным был этот гад. Всех достал, не только подследственных, но и сослужив, и начальников...

Чернильница оказалась не такой уж непроливашкой, она брякнулась о стену и выстрелила содержимым прямо в физиономию следователю. Чернильница была небольшой, но чугунной, каслинского литья. Ею ничего не стоило угробить бегемота, правильно попав в слабое место. Но мама и не думала никого убивать. Просто шархнула чернильницей о стенку.

Студент Попов подарил маме эту чернильницу, деревянную ручку с пером «Звездочка» и блокнот. Потом уехал на сессию, и больше мама его не видела. Ее стали перевозить из тюрьмы в тюрьму по городам Урала. Тем временем беременность у мамы развивалась, а соседки по камерам в один голос говорили, что рожать надо не в тюрьме, а в лагере. Там легче.

Наконец, состоялся суд. Безмятежность, свойственная беременным, сочеталась у мамы с творческим подъемом. Благодаря подарку

Попова она неожиданно для себя стала писать в тюрьме стихи, сонеты и даже венки сонетов. Потом, уже в лагере, она пустила их на самокрутки...

Суд состоялся в городе Молотове, и хотя суд был закрытым, но в качестве свидетелей проходила тьма народу, в том числе близких маминых друзей и родственников. Всех их собрали в небольшом зале. Был там и мой папа-моряк... Много лет спустя мамыны друзья рассказывали мне, как все это было, что это был за суд. Мама отказалась от адвоката, защищала себя сама. Потому что адвокат, тетка неглупая, но халтурщица, пыталась все свалить на обывательскую озлобленность и трудное материальное положение гражданки Якубовой. Гражданка Якубова оказалась не согласна. И провела свой суд сама. Это отдельная история. Как-нибудь расскажу.

Сейчас – о непроливашке. Странно, но за всю свою жизнь мама дважды проявила несвойственную ее характеру агрессивность, и оба раза пришлось на позднюю ее и такую желанную беременность. Оба эпизода были рискованны, но имели счастливый исход. Кто знает, что было бы, если бы первый следователь довел дело до конца, того подлого конца, который задумал... Так что непроливашка очень и очень кстати пришлась.

А второй случай произошел уже в лагере.

В те времена арест беременной женщины или кормящей матери был делом настолько заурядным, что для них создавались специальные лагеря. Именно в такую зону Усоллага отправили по этапу гражданку Якубову с огромным животом отбывать пятилетний срок. Вышла она из «воронка» уже в зоне, прямо напротив каптерки.

После тюрьмы в лагере ей очень понравилось. Почти воля. Особенно неба над головой – сколько угодно. И вот в очень хорошем строении мама отправилась – своим ходом, без конвоира, прямо чудеса! – в столовую, полный гомона и запаха пшенной каши барак. Она встала к раздаче, получила миску отлично проваренной пышной и горячей пшенки и стала оглядываться, куда бы сесть. Место нашлось, за столом всего-то и было четыре женщины, в то время как за другими на лавках теснилось по восемь. Довольная и спокойная моя мама усаживается и слышит за своей спиной:

- Эй, фашистка, ты куда?!

И вот моя мама, худого слова не говоря, разворачивается с миской в руке и завозит пшенной кашей прямо в физиономию той тетке, которая так про нее сказала. Кончался сорок девятый год, пяти лет не прошло, как отремела Великая Отечественная война с фашистами. Откуда моей, не умевшей «ботать по фене», маме было знать, что «фашистами» в лагерях звали просто всех политических. А блатных звали «цветными» или «людьми».

Миска с кашей еще только начинала свой роковой полет, как мама раскаялась в этом своем порыве. Она испугалась, но главное, она остро почувствовала, что не права. Нельзя горячей кашей лепить в лицо женщине, даже если она грязно выругалась.

Но дело было сделано.

После, вспоминая, мама, бывало, сама себе удивлялась – что на нее нашло? Может, это воздух свободы, небо над головой вскружили ей голову?

Дело было сделано. Тетка орала благим матом, мама ждала, что ее растерзают, а я в ее животе пиналась вовсю.

Маму не растерзали. Вся столовая сбежалась посмотреть, что творила новенькая. Драться, будучи на сносях, горячей кашей – такого еще не видели в женском лагере для беременных женщин, молодых матерей и инвалидов. Но облепленная кашей физиономия огромной тетки никого не огорчила. Вся столовая хохотала долго, до изнеможения. Хохотали и блатные, и политические, и попки-охранники, и хлеборезка, и вольнонаемная повариха, и шестерки на раздаче. Хохотала до слез и Натка Звездочка, главная из тех четырех, что сидели за столом, где мама нашла себе место. В конце концов тетка как-то отскребла кашу хлебом, умылась под стоявшим у дверей рукомойником и ушла в дальний угол столовой. А маме юркая шестерка с раздачи принесла новую миску каши с кубиком настоящего масла, оплывающего на вершине дымящегося и душистого пшеничного кургана. И мама без разговоров принялась кашу уплетать, не глядя особенно по сторонам, заедавая и собственный страх, и неожиданный успех. Маме в то время все время хотелось есть. Потому что это мне хотелось.

А Натка Звездочка тоже ела с аппетитом, потому что была розовой и кудрявой кормящей матерью маленького Славика. А также плечистой и грозной рецидивисткой, промышлявшей на воле грабежом и разбоем.

Натка ела и поглядывала на маму с любопытством. И вот она спросила:

- Вы что такая смелая? Никого не боитесь?

И мама ответила:

- Никого.

И они продолжали есть кашу. А когда настала очередь жидкого и мутноватого чая, Натка вдруг еще спросила:

- И меня не боитесь?

И мама ответила:

- Пока нет. А что, надо бояться?

Мама подняла на Натку глаза от чая, посмотрела в ее румяное лицо, заглянула в холодные глаза и стала бояться, в тот самый миг. А Натка помолчала чуть-чуть, подумала. И сказала:

- Посмотрим.

Она встала из-за стола и пошла не спеша к выходу в своих ватных стеганых штанах, облегающих могучие бедра. А соседки по столу переглянулись и со значением посмотрели на маму.

Маме попка-охранник указал место в третьем бараке. Здесь обитали «фашистки», шестерки, старухи-колхозницы, попавшие в лагерь по доносу соседней за украденное в поле ведро картошки, проштрафившиеся кассирши сберкасс – много их было после отмены карточек и обмена денег... Барак был грязным и холодным, дрова кончились с началом холодов. После отбоя к маме на нары присела уже знакомая девчонка с раздачи и зашептала скороговоркой, без знаков препинания, но с одышкой:

- Вам бы поосторожнее... вам темную... вам и до родов... Натка не спустит... ей нельзя... вы бы того... в другой барак...

И ушла.

Тогда мама свернула свой тюфяк и одеяльце с подушкой, взяла узелок с одеждой и пошла из третьего барака в соседний. Там места не нашлось. Не нашлось и в следующем. И везде на маму смотрели как-то по-разному, но одинаково пристально. В конце концов нужно же было где-то ночевать. Мама набралась храбрости и вошла в последний барак, из трубы которого сыпали искры веселого жаркого огня вместе с кудрявым, как волосы Натки Звездочки, дымком.

Это был барак, где жили «люди» и «цветные». Здесь было тепло и чисто, и просторно. Нары стояли пореже, и не все они были заняты. За столом в центре барака сидели в голубых майках и ночных рубашках дородные женщины. В белой сорочке с красно-черной украинской вышивкой по вороту сидела у стола и Натка Звездочка. Мама стояла в дверях, все смотрели на нее и молчали. Натка встала, потянулась, хрустнув плечами, и пошла к своим нарам. И тогда староста барака Вера Харина, сидевшая за убийство мужа, тоже встала и указала маме ее нары.

Вера все годы была маминой соседкой, молчаливой, справедливой и спокойной женщиной с обрубленными на левой руке пальцами. Про мужа она говорила, что не жалеет, и сейчас бы убила. Такой уж был муж. А про пальцы ничего не говорила, но все знали, что мужа Вера зарубила топором, а потом от отчаяния тем же топором хватила себя по пальцам.

Укладываясь на ночь, мама положила под подушку чугунную непроливашку – единственное имевшееся у нее грозное оружие. Так она и спала в этом разбойничьем, но теплом и чистом гнезде – с чугунной непроливашкой вместо маузера под подушкой. Пока не родилась я. И Натка стала одной из моих кормилиц. А Вера Харина – одной из моих нянек.

СОДЕРЖАНИЕ

К ЧИТАТЕЛЯМ. СУД СОВЕСТИ. СВИДЕТЕЛЬСТВА ЖЕРТВ	3
«МЕМОРИАЛУ» 20 ЛЕТ	4
СОХРАНИТЬ ПАМЯТЬ.....	13
«ЛИКВИДИРОВАТЬ КАК КЛАСС»	17
«Мне всегда больше всех было надо...»	19
Нас рубили под корень, но мы выстояли	27
Боялись, ждали, что сейчас придут	32
Прошлое – тяжелый крест	37
У нас даже фруктовые деревья вырубали, когда раскулачивали.....	40
За нами никакого греха не было.....	43
Это не власть, а преступники	58
Чтобы помнили	64
Хлеба досыта не ели	69
Если ты ссыльный	73
Дважды плененный.....	82
1937	87
Что нам делать с этой памятью, с нашим прошлым?.....	88
1937 год и современность.....	90
Статистика большого террора	100
Решение Политбюро ЦК ВКП(б) № П51/94 от 2 июля 1937 г.	103
Оперативный приказ народного комиссара внутренних дел С.С.С.Р. № 00447 об операции по репрессированию бывших кулаков, уголовников и др. антисоветских элементов.....	103
Оперативный приказ народного комиссара внутренних дел Союза ССР № 00486 от 15 августа 1937 г.	115
КУЛАЦКАЯ ОПЕРАЦИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ПРИКАМЬЯ В 1937–1938 гг.	121
Подготовка кулацкой операции	125
Сценарий кулацкой операции.....	133
Идеология кулацкой операции	140
Технология проведения кулацкой операции.....	144
Итоги операции	157
А нам ничего и не сообщили.....	161
Не кричи, не плачь.....	162
Добрых людей больше	192
Невиновен, но осужден и расстрелян	198

Без права переписки	203
Мне было три года, когда маму и папу забрали.....	206
Без родителей.....	213
Факт ареста отца марает мою биографию	219
Мы все боялись... ..	235
Отца я никогда не знала	238
Мама верила, что он невиновен, что вернется	241
Столько горя, нищеты, унижений пережито	245
Меня спас Вагнер	260
«Не для того везли, чтобы освободить...»	265
Во всем виновата фамилия?	270
Национальность свою никогда не скрывал	273
45-Й И ДАЛЕЕ.....	279
ТРИ СУДЬБЫ	281
ОСТАТЬСЯ ЧЕЛОВЕКОМ.....	283
Глава I. Арест и следствие.....	283
Глава II. В камерах.....	292
Глава III. Этап от Москвы до Соликамска	308
Глава IV. В Симе	316
Глава V. Снова на долгой	334
ЯКУБОВА, С ВЕЩАМИ!	338
Красная Москва	338
Аккордеон	343
Непроливашка.....	349

ГОДЫ ТЕРРОРА
Книга памяти жертв политических репрессий
Часть шестая
Том 1

Редактор

А. М. Калих

Корректор

И. И. Плотникова

Верстка

Евгения Лаверухина

Дизайнер

Наталья Коновалова

Подписано в печать 20.11.2008. Формат 84×108 ¹/₃₂
Бумага ВХИ. Печать офсетная. Тираж 1000 экз. Заказ № 1585

ООО «Пермское книжное издательство»
614064, г. Пермь, ул. Героев Хасана, 15-22
Тел. 241-40-04
e-mail: pki15@perm.ru